

# НАШ СОВРЕМЕНИК

---

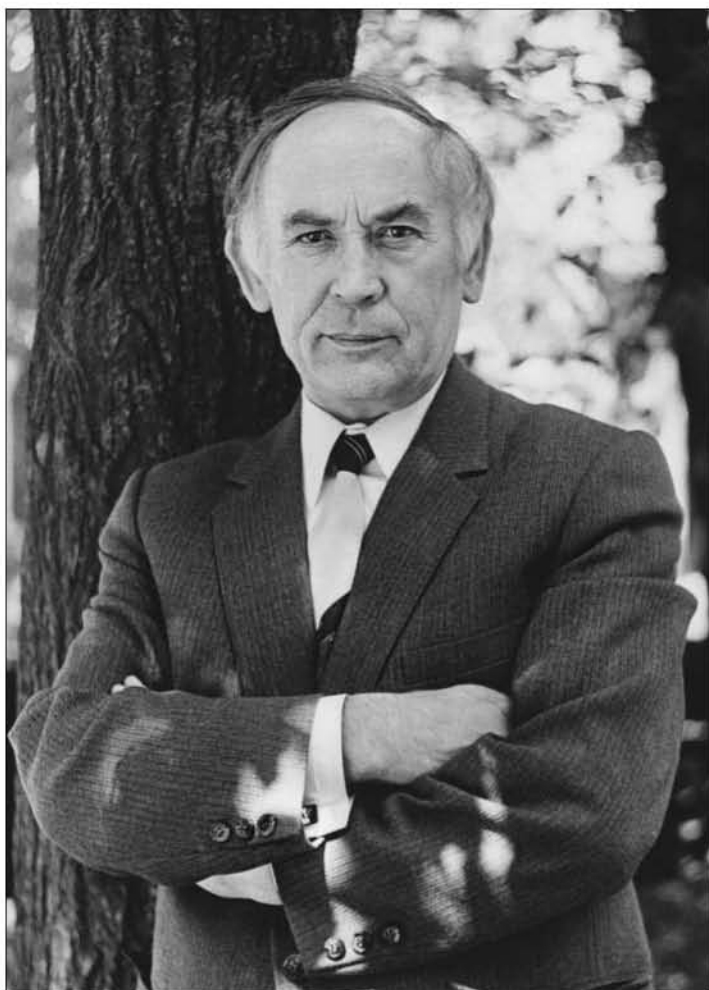
*Журнал писателей России*

---



**№ 9 2022**

## К 100-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ВИКУЛОВА



“Я люблю Вас. Вы явление обновляющейся России — своеобразный Иоанн Креститель, готовящий почву для русского “Христа”, человек великой правды и великого мужества.

Работать с Вами — это работать для грядущего. Так что, независимо от сиюминутных настроений, я готов выполнить любую Вашу просьбу.

Если есть серьёзное намерение поговорить о проблемах молодёжи в журнале, пусть кто-либо из критиков или читателей выскажется о моей “исповеди”, а я дам ответ. Это будет самый результативный вариант”.

*(Из письма Эдуарда Скобелева Сергею Викулову).*



## Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор  
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Л. Г. БАРАНОВА-  
ГОНЧЕНКО,  
А. В. ВОРОНЦОВ,  
Т. В. ДОРОНИНА,  
Л. Г. ИВАШОВ,  
С. Г. КАРА-МУРЗА,  
В. Н. КРУПИН,  
А. Н. КРУТОВ,  
Ю. М. ЛОЩИЦ,  
Д. Н. НИКОЛАЕВ,  
Ю. М. ПАВЛОВ,  
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,  
З. ПРИЛЕПИН,  
Е. С. САВЧЕНКО,  
А. Ю. СЕГЕНЬ,  
В. В. СОРОКИН,  
А. Ю. УБОГИЙ,  
В. Г. ФОКИН,  
Р. М. ХАРИС,  
М. А. ЧВАНОВ,  
С. А. ШАРГУНОВ,  
В. А. ШТЫРОВ

### Поэзия

Ольга ФОКИНА Ненадолго росстани .....	3
Константин СМОРОДИН А небо плачет то дождём, то снегом... ..	33
Илья ВИНОГРАДОВ Чистой радости родник .....	91
Евгений ЭРАСТОВ Наш вечный город не для слабаков... ..	113
Ярослав ВАСИЛЬЕВ “Времена года” .....	160
Поэтическая мозаика .....	174

### Проза

Владимир КРУПИН Я не могу внезапно использовать душу. Рассказы .....	7
Валерий ХАЙРЮЗОВ Амурские ворота. Рассказ .....	17
Василий КИЛЯКОВ Последние. Повесть .....	35
Олег КУИМОВ Иван Сергеевич. Рассказ .....	79
Вячеслав МОЙСАК В доме престарелых. Повесть .....	94
Степан РАТНИКОВ Школота. Роман .....	117
Виктор ГОБОРОВ Первый концерт Чайковского. Рассказы .....	164

### Очерк и публицистика

Елена ПОНОМАРЁВА, Евгений РЯБИНИН “Цветные революции” в контексте стратегии “управляемого хаоса” .....	190
Михаил ЧЕРНУШЕНКО Революция и Россия. Сталин и Победа .....	199
Владимир ШУЛЬГИН “Бюрократическое иго” Санкт-Петербурга в отображении русской классики XIX – начала XX века .....	213
Сергей БЕРЕЖНОЙ Этюды войны .....	222

## Редакция

Приёмная —  
(495) 621-48-71

С. С. Куняев —  
*заместитель главного  
редактора, зав. отделом  
публицистики* —  
(495) 625-01-81

А. Ю. Сегень —  
*зав. отделом прозы* —  
(495) 625-30-47  
ns-proza@yandex.ru

К. К. Сейдаметова —  
*зав. отделом поэзии* —  
(495) 625-02-81  
ns-poetry@yandex.ru

А. Н. Тимофеев —  
*редактор отдела  
критики* —  
(495) 625-30-47  
ns-kritika@yandex.ru

Е. Н. Евдокимова —  
*зав. редакцией* —  
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —  
*гл. бухгалтер* —  
(495) 625-89-95

## Память

Нет для меня роднее  
и ближе издания,  
чем “Наш современник”... ..... 234  
Наталья МЕЛЁХИНА  
“Остался в поле след...” ..... 248  
Никита БРАГИН  
Человечество и природа  
в стихах Сергея Викулова ..... 251  
Александр ШУРАЛЁВ  
Памяти Сергея Янаки ..... 255

## Критика

Алексей ТАТАРИНОВ  
Юрий Павлов и Захар Прилепин:  
драма на правом фланге..... 257  
Андрей МИНАКОВ  
Трудный опыт большой книги  
о славянстве ..... 263  
Александр БАЛТИН  
Космос Евгения Степанова..... 271

## Книжный развал

Александр НЕСТРУГИН  
“Тёплый свет издадека...” ..... 274  
Анатолий САЗЫКИН  
Путеводитель по русской душе .... 278

## Слово читателя

Александр ТОР  
События на Украине  
в свете экранизации романа  
“Белая гвардия” ..... 285

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2**

Сайт в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**, эл. почта: **n-sovrem@yandex.ru**

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.  
При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП “ПараТайп”.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова  
Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 29.08.2022. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 117342, Москва, Севастопольский проспект, 56/40 с1.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr\_zvezda@mail.ru

ОЛЬГА ФОКИНА



## НЕНАДОЛГО РОССТАНИ

\* \* \*

Скажите на милость:  
Река изменилась,  
Замолкла, заилилась,  
Бечь изленилась,  
Забилась в ольшаник,  
Прикрылась крапивой,  
Чтоб спать не мешали,  
Завесилась ивой.  
А прежде бежала  
Такой говорливой!  
К ней стадо коровье  
Попить приходило,  
В ней рыбы водились,  
В ней дети плескались.  
Хозяюшки, сиясь,  
С бельём полоскались,  
Но — было, да сплыло!  
...Уехав от речки,  
Утратили силу  
И мы, человечки.

---

*ФОКИНА Ольга Александровна — уроженка Архангельской области. Окончила Литературный институт имени Горького. Автор более двадцати стихотворных сборников. Лауреат Государственной премии РСФСР имени Горького. Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.*

\* \* \*

Без чиновника хозяин  
Разве что сообразит?  
Доверять никак нельзя им:  
Всяк хозяин — паразит!  
Всяк хозяин сумасброден,  
Автор замыслов, злодей:  
Вот он выкопал колодец —  
Сам! Без ведома властей!  
Иссушает плоть и недра  
Государственной землицы,  
Поливает корни кедра,  
Чтобы шишечки росли;  
И соседу дал напиться  
Из колодца своего  
С явной целью поднажиться, —  
Бизнес! — только и всего.  
Угождают: он — соседу,  
а сосед потом — ему?  
А вот я на них наеду:  
Протокольчик — и в тюрьму!

\* \* \*

*Памяти Александра Комарова*

Между Пеленьгой и Варзеньгой —  
Наших двух немудрых рек —  
Запастись грибами на зиму  
Собирался человек.  
Понедельник был... тринадцатым  
Обозначенным числом...  
Ох, ему позапинаться бы  
Пред соседовым углом!  
Нехорошим ветром дунуло —  
Несентябрьским! — поутру!  
А ему и не подумалось:  
Заблужусь, мол, и умру.  
Ничего в груди не ёкнуло.  
Удалился, не простясь,  
Второпях: “Пока не смокнула  
От дождя травинок вязь”.  
Думал; тропочки заветные  
Как всегда, не подведут!  
...Вот уж две недели нет его:  
Не нашли. И не найдут...

\* \* \*

Как девушки — коряжемки  
Не могут жить без ряженки,  
Так жёнки-котлашаночки  
Хранят на щёчках ямочки!  
А в Красноборске бабушки  
Берут внучат в охапушки  
И тянут в бор по белый гриб —  
Кузовьев хор! Корзинок скрип:

И маленьким, и стареньким  
Тут — рай; ведь ни комарика,  
Ни овода, ни мошки тут,  
Одни грибы ладошки жгут!  
А чуть попозже — ягоды!  
...Туда мне тоже надо бы...

\* \* \*

На отаве снег не тает:  
Пятый день во всей красе  
Он лежит себе, блистает  
Жемчугом на бирюзе.

\* \* \*

Дню убывать — одна неделя,  
Потом начнётся прибыль!  
И мы, живые еле-еле,  
Вспомним бодренький мотив.  
Земля черна, и небо низко,  
Умы и души поразив,  
В России осень-рекордистка

Завоевала все призы.  
Взяла всё золото у лета,  
Все серебрянки — у зимы,  
И бронзу — мелкую монету —  
Не упустила из сумы.  
Но то ж — грабёж, на самом деле:  
Пресытась, вскрыется нарыв!  
...Дню убывать — одна неделя;  
Потом начнётся прибыль!

\* \* \*

Взрослые люди всё время спешат  
С самого раннего утра и до ночи.  
Папы и мамы, замедлите шаг!  
Не успевает за вами ребёночек.  
Ваши шаги чересчур широки,  
В вашей горсти потонула ладошечка.  
Ей не убраться из вашей руки —  
Бечь-семенить запыхавшейся крошечке.  
Взрослые люди! Не стоит спешить!  
Будете старые, будете хворые,  
Будут ли “крошечки” вас не строжить,  
Что не варовые вы? Что не скорые?

\* \* \*

Все мои любимые  
Во гробах лежат.  
Мимо, мимо, мимо их  
Можно ль пробежать?  
Все мои хорошие —

Вне нуды земной,  
Господом допрошены,  
А не мной, не мной.  
Господом наказаны  
Иль награждены.  
Мне о том не сказано  
С небной вышины.  
Вновь грешат иль молятся  
В крепостях иных.  
Без меня обходятся,  
Как и я — без них.  
Просто — мне и просто — им;  
Нечего беречь!  
...Ненадолго расстани,  
Не избегнуть встреч.

\* \* \*

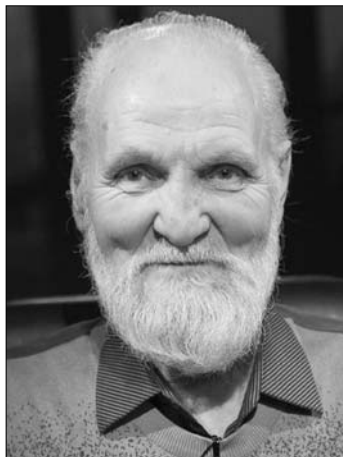
Из неведомой Калуги  
Позвонил в мои Кулиги  
Никогда меня не знавший,  
Не знакомый человек:  
Он моё стихотворенье  
Прочитал, как подаренье,  
И сказал своё “спасибо”,  
И здоровья пожелал!

.....

**Поздравляем нашего доброго друга и многолетнего автора  
дорогую Ольгу Александровну Фокину с юбилеем!  
Многая лета!**



ВЛАДИМИР КРУПИН



## Я НЕ МОГУ ВНЕЗАПНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДУШУ

РАССКАЗЫ

ХМЕЛЁВКА

Село, в котором я жил весной, стояло близко к Уральскому хребту. Сразу за увалом была деревня Хмельёвка, в которой я мечтал побывать. Именно на хребте, на границе Европы и Азии.

Но весна хлынула такая дружная и жаркая, такой грязницей затопило село, что я оставил мечту ходить куда-то и больше сидел дома. Топил печь, делал вылазки только за хлебом в магазин да кое-как ползал по закрайкам дороги к колодцу. Вечерами ходил в кино. Нравы в сельском клубе напоминали итальянские: молодёжь курила, выражала мнения, радовавшие энергичной краткостью. Однако, когда действие захватывало, публика замирала. Но фильмы шли таковы, что замирала публика редко.

Утрами, когда не то чтоб подмерзало, но чуть отвердевало, выбирался из дома. Ходил по улицам Заовражной, Запрудной, Подсобной. Сильно донимали собаки. Политика с ними была одна — не замечать. Но как не заметишь, когда какой-нибудь гадёныш бросается под ноги, изображает тигра, а по-

---

*КРУПИН Владимир Николаевич родился в 1941 году на Вятской земле. Служил в армии, окончил Московский областной пединститут. Автор многих повестей и рассказов, романа “Спасение погибших”, путевых заметок о Ближнем и Среднем Востоке, о Константинополе. Автор “Православной азбуки”, “Детского церковного календаря”, книги “Русские святые”. Лауреат Патриаршей литературной премии имени Кирилла и Мефодия. Печатается в нашем журнале с 1972 года. Живет в Москве.*

одаль сидят большие псы и ворчанием одобряют нападки. Наедине собаки вели себя иначе: злые ворчали и отходили, трусливые лаяли издали, те, которые рассчитывали на дружбу или подачку, виляли хвостом. Но на одной улице я повёл себя неправильно — обидно стало, за что на меня лаять, жизнь отравлять, и швырнул в собак всего-навсего снежком. И не стало мне по этой улице прохода. А именно от этой улицы шло направление в Хмелёвку.

В магазине, где продавщица молча швыряла на весы, а затем сметала в пакеты каменные пряники и окостеневшую сельдь иваси, я узнал секрет такого количества собак на этой улице. Их расплодила одна старуха, которую упрекали женщины за то, что она жалуется на судьбу, а сама кормит собак, штук двадцать, не меньше.

— А я не считаю, сколько, — отбивалась старуха. Была она в лёгонькой спортивной куртке и огромных сапогах. — А вот кто бы мне шерстяные носки дал, а то мёрзну.

— Начеши шерсти с собак, да и связи, — отвечала ей толстая тётка.

— Как я свяжу, если я ложку в чашке не вижу.

— Куши.

— Денег нет.

— Ну, и не проси.

— Какие вы все злые, — говорила старуха, прося меня посмотреть, нет ли макарон в продаже. — Злые какие. И живёте ещё так хорошо. А жили бы как я, давно бы сбесились. С мужьями живёте, вот и причина. И обзовёт, и пьёт, ещё и ударит. А я захочу поругаться, кричу на собак, они на меня лают, заплачу — они укусят...

Спал я с открытой форточкой и однажды утром почувствовал решительное похолодание. Солнце было, как новенькое. Я не стал затапливать печку, а собрался на лыжную прогулку. Обулся, взял лыжи под мышку и пошёл к окраине села именно по той, “собачьей”, улице.

Но не было на ней ни одной собаки. Не теряя бдительности, встал на лыжи и помчался. Наст держал, было даже ощущение полёта над бездной, особенно когда наст проседал огромной своей площадью под моей тяжестью.

Бег навстречу солнцу, когда раскрепощённые остатки сил, помноженные на воспоминания о спортивной лыжной юности, затмили зрение, вдруг прекратился: я оказался в центре огромной собачьей стаи. Их было не меньше сотни. Они умчались из своих дворов, конур, укрытий, чтобы на окрепшем насте порезвиться, порадоваться жизни. Я не заметил среди них ни склок, ни грызни, всех примиряло это солнечное утро на безграничном пространстве, где никому не тесно. И то ли от того, что я был с железными палками, то ли им было не до меня, но я пронёсся сквозь стаю, не снижая скорости.

В лесу перевёл дыхание. Послышался дятел. Долго и медленно, то “ёлочкой”, а то и “лесенкой” поднимался на увал, откуда открывалась Хмелёвка. Семь дымов стояли над ней: от белых до сиреневых. Они стройно поднимались до одной высоты, дальше которой не шли, а смешивались на одной плоскости, образуя над деревней разноцветный покров. Только над часовней не поднимался дым.

Итак, подо мной и надо мной была граница Европы и Азии. Уральский хребет, пологий, поросший седыми лиственницами, видимо, смирился с тем, что у него не хватит сил вздыбиться, подтянуть ближе друг к другу Азию и Европу. Но подумалось вдруг: если б это у него получилось, сам-то Урал куда бы делся?

В Хмелёвке пошёл к часовне. Снял лыжи, обошёл вокруг. Да-а, тут уж будь я хоть трижды потомок вятских плотников, такую бы мне ни в одиночку, ни в артели таких же, как я, не сделать. Брёвна были одно к одному, запилы и зарубы “в лапу” были такими, что до сих пор меж брёвнами не прошло бы лезвие. У основания часовни углы восьмиугольника были рублены “в замок”, прямоугольник паперти соединялся “в чашу”, будто мастера сговорились показать разные способы плотницкого искусства.

Двери в часовню были только на закладке. В центре часовни, занимая почти всё место, на белых плитах лежало огромное полотно старинных ворот. На нём, под натянутой поперёк верёвочкой, лежали теннисные ракетки.

Все стены были изрисованы фигурами разных зайцев, волков, медведей. Над бывшим алтарём огромными буквами значилось: “Без улыбки не входить!” Под надписью на гвоздике висела тетрадь, озаглавленная “Дневник событий”.

С детства и отрочества, читая книги, в которых печатались найденные на чердаках, или в подвалах, или на погибших кораблях рукописи, я думал, что так оно и есть, рукописи найдены, и отчаянно завидовал везению авторов книг — вот бы и мне найти заброшенную рукопись. И вот — не прошло и жизни — мечта сбылась. Это был дневник компании молодых ребят. Я так понял, что они вели его, приезжая домой на лето и выходные из города, где учились. Фамилий их не было. Только одна — Аникин, и то оттого, что его особенно ругала автор записей Люда С. Например: “Аникину дать в лоб за неявку”.

Вначале шли споры, как назвать их союз. “Мы с Галей предлагаем назвать “Союз старожилов Хмельёвки”, а Саня предлагает назвать “Союз бластных и нищих”.

Далее шли записи по датам, когда кто был, кому и за что сделан выговор. Аникину доставалось больше всех. “За выпивку перед заседанием”, “За подстрекательство к выпивке после заседания”, “За привод в клуб недействительного члена Союза” — это когда из города Аникин приехал не один, а со знакомой девушкой. Доставалось и Сане. Он, в отличие от Аникина, наказывался более строго за сущие пустяки — сломал шарик пинг-понга, тайком курил, нарисовал углём усы, дёргал Люду С. за косу.

Летние даты сборов “Союза”, так и неназванного, были часто, после сентября гораздо реже. “Аникина забирают в армию”. Тут же другой рукой: “Не плачь, Люда, пройдут дожди, Аникин вернётся, ты только жди”. Снова рукой Люды: “Объявить благодарность Аникину за то, что на проводы он приехал в Хмельёвку, не изменил нашему союзу”. Рукой Сани: “Присвоить Аникину звание генерал-ефрейтора”. Рукой Люды: “Аникин, напиши что-нибудь на прощание”. — “С губвахты напишу”.

Последняя запись: “Никого нет сегодня, я одна. И Саня. Он учит меня играть в теннис, но это бесполезно”.

Вернув дневник событий на место, я вышел. Солнце начинало расходиться, уже, совсем похоже на синиц, тенькали с крыши капли, воробьи возились в маленькой светлой лужице у крыльца. Обнажённые глыбы земли начинали потеть и сверкать. Надо было спешить обратно, пока держал наст.

У крайней избы стал обуваться. Вдруг услышал сильный стук по оконному стеклу. За окном избы сидел мальчик лет четырёх-пяти и барабанил кулачком, подзывая меня. Я подошёл, он замахал рукой и закричал: “Отопри меня! Отопри меня!” Я зашёл со двора — изба была на замке. Вернулся к окну, мальчика не было видно, убежал к двери. Тогда по стеклу постучал я. Мальчик прибежал. “Ты запертый. На замок. У меня же нет ключа. Ну, ничего, придёт кто-нибудь скоро. Еда есть у тебя?” Мальчик сделал мне знак, чтоб я не уходил, исчез, скоро вернулся и стал показывать мне маленькую машинку, объясняя знаками, что она хорошая и что с ней было бы интересно вдвоём играть.

И снова я был на вершине увала, снова увидел Уральский хребет. Насмотревшись на него, оглянувшись на Хмельёвку, на крайнюю избу, на часовню, оттолкнулся и поскользился вниз, по своим следам. Захватило холодом сердце. Я думал, от страха. Нет, от ветра. Но пока разбирался, страшно мне или холодно, потерял ощущение, где юг, где север, где запад, где восток. И только старался не упасть, хотя никто бы и не видел моего позора.

А впереди была встреча с собаками.

## МИШКА-ЦЫГАН

Интересно, почему Мишка-цыган, а не Михаил-цыган? Как-то не подходит. Именно Санька-цыган, Лешка-цыган, а не Александр и не Алексей.

У этого Мишки-цыгана на берегу Азовского моря, в посёлке Кучугуры, жил я, когда дочке было десять лет. Меня отправили, завалив всё купе

продуктами. От переправы в Керчи нанимали машину, но куда делись все продукты, не знаю. Их помог разгрузить Мишка-цыган и его тёща. Сейчас смешно, а тогда было не до смеху — дочка через три-четыре дня стала питаться, как зверёк, срывая зелёный горох и поедая зелёные початки кукурузы. Ещё она быстро запустила волосы, я не мог их расчесать.

Мишка-цыган был оседлым, боялся жены, приходил ко мне и на неё жаловался. Жена работала сварщиком, а Мишка бегал с работы на работу и очень надеялся, что я “заклеймлю” воров, которые проникли в руководство совхоза “Голубая бухта”. Мишка и сам подворовывал. Но как-то несерьёзно, по мелочам: авоську огурцов, сумку комбикорму, а то и совсем по-детски нагребал в рубаху зерна и приходил — под пиджаком не видно. Раза два я заставал с полчиным и свою дочь, она по заданию дяди Миши притаскивала от него сумку с продукцией совхоза.

Не добившись от меня поисков справедливости, Мишка-цыган сажал писать обвинения мою дочь. Но это бывало, когда он был пьяный, и никогда в этом случае не додиктовывал, начинал плакать. Заплакав, шёл ко мне и, сверкая мокрыми глазами, говорил: “Рубль на время без отдачи до зарплаты!”

Возвращался и начинал один из двух рассказов: как он служил моряком, или то, как он работал на “черепахе” — земснаряде.

На корабле у него был командир. Этот командир любил жену. Жена ему изменила. Командир этого не перенёс и утопился. “Гантели привязал к ногам чтоб не всплыть. Так, стоячего, и нашли. Жена тоже пришла на похороны, но к ней никто не подошёл. И она тоже утопилась”. А того, с кем она изменила, утопили, по рассказу Мишки, те, кто не мог забыть своего командира. “Я же и топил, — говорил Мишка. — Не веришь?” Попробовал бы я не поверить. Мне казалось, что он и меня утошит, когда у меня кончатся рубли.

Во втором рассказе он работал механиком на углублении фарватера. Ещё попадались мины (дело было в Керченском проливе), и им платили “гробовые” деньги, добавочно по два пятьдесят. “Разве это деньги, ты согласишься, — это ж за смерть”. Мину обнаружили под утро. “Я гляжу — вакуум не показывает, я ж механик. А багером был Валька, бежит с кувалдой. Да уже и ударил — представляешь?! Я гляжу: а это далеко не булыжник. “Валька, тикать!” Дальше, по-моему, шло враньё. “Пока смена разбегалась кто куда, она рванула, но я успел”. — “Чего ты успел?” — спрашивал я, ибо знал, что он будет держать паузу, пока не спрошу. “Закрыл грудью!” — отвечал Мишка.

Как после этого не выдать рубль?

Дочка тосковала по маме особенно сильно перед сном. Я, как мог, утешал. Письма из Кучугур, как потом оказалось, шли по десять дней, позвонить можно было только из Темрюка, а туда добраться можно было только на попутных, куда с маленькой, не бросишь же её писать детским почерком жалобы. Вода там была плохая, сводить дочь в баню было некому. Но с утра и до вечера дочь барахталась в голубом море, и это приглушало как-то наши дела. Особенно мы любили волны. Они шипели, и дочь называла их нарзанными. “Ух, нарзанелла!” — кричала она, завидя “девятый вал”.

Ходили далеко по побережью, мечтали, что придет к нам наша мамочка. Но не было нам ни писем, ничего. Да и спокойна за нас была она — уехавши мы с едой на полгода и с деньгами.

— Кучугуры, Кучугуры, — говорил Мишка, начиная очередной заход, — ходят гуси, ходят куры. Нет, ты представляешь, до чего могут довести офицерские жены...

В одну из ночей мы с дочкой задумали побег, который наутро и осуществили. С пустым большим чемоданом, в котором лежали два тоже пустых, поменьше, мы, оставив записку, вышли за посёлок и пошагали к Фонтале, к посёлку на шоссе Керчь — Краснодар. Шли и пели: “И бегут винограда Валы — от Кучугур до Фонталы”.

Нас подобрал трактор.

## ЛЕВЫЙ ЖЕНИХ

В Мурманске никто не удивляется, если две девушки, говоря друг с дружкой о женихах, спрашивают:

— Он у тебя какой: левый, правый?

Под этим вопросом кроется вот что. Юношей в Мурманске, не причастных к флоту, нет. И они делятся на две группы — те, кто, выйдя на корабле из Кольской губы, поворачивает налево, и те, кто направо. Те, кто налево, идут в заграничье. Это чаще всего торговый флот, “торгаши”, а те, кто идёт вправо, идут в Арктику, на тяжёлую работу. Это трудяги.

Знакомый, избородивший всю Арктику мореман говорил мне, что левых от правых он отличит сразу.

— По какому признаку?

— По разговорам. Кто налево ходит, у нас их “леваками” зовут, выпьет рюмку, и пошло про барахло, да куда выгодней ходить, да какой язык, кроме английского, лучше учить. Ну, может, ещё про баб поговорят. А мои трудяги, как выпьют, и всё про работу, про работу и про работу. Ещё выпьют, и опять про работу. А те всё про тряпки. Зато, конечно, жёнам всего навезут.

Я понимаю, что деление огрублённо, и не хочу обижать торговый флот. Но факт есть факт — работяги Арктики почти никогда не уходят в “левые” рейсы, не переходят почти в “торгаши”. Последних же иногда списывают. Обычно они не идут в Арктику, а находят работу на берегу. Не смогут в Арктике, так говорил мой арктический знакомый. Но списывают их редко, они держатся за место, пьют аккуратно, в разговорах сдержанны.

Есть, о чём подумать мурманским девушкам.

## ПЕРЕДАЮ

Я шёл быстро, но не с такой скоростью, чтобы проскочить мимо, когда он крикнул:

— Думай хоть немного!

Он не ожидал, что я остановлюсь, но обрадовался. Протянул крепкую сухую руку. Бесцветные глаза его выражали просьбу. Я постоял и дёрнулся, чтобы идти дальше, но он удержал мою руку и виновато улыбнулся.

Я увидел седую щетину на подбородке, худую шею, старый китель с медными пуговицами и, не отнимая руки, сказал:

— Думаю. Как же иначе?

Он выпустил мою руку, свою вскинул к козырьку кепки и торжественно объявил:

— Триста пятый полк, Двенадцатая гвардейская! — сник, уронил руку и добавил: — Сколько полегло.

Я не знал, что ответить, и сказал негромко:

— Ничего. Так уж... Что делать.

Ещё помолчал и шагнул было, но он выпрямился и надменно произнёс:

— Я не пьян! Фронтные сто грамм.

Я пожал плечами, мол, я и не говорю, что вы пьяны, — и пошёл.

Он догнал меня и торопливо, громко заговорил:

— Живите! Ладно, погибли. Гусеницы в крови! Вы молодые... Если что, мы хоть сейчас. Гвардейцы! Грудью! Живите! Понял? Передай своим.

Я кивнул и зашагал, а он кричал вслед:

— Передай по цепи! Слышишь?! Всем передай!..

Передаю.

## ЗЕРКАЛО

Подсела цыганка.

— Не бойся меня, я не цыганка, я сербиянка, я по ночам летаю, дай закурить. — Закурила. Курит неумело, глядит в глаза. — Дай погадаю.

— Дальнюю дорогу? Казённый дом?  
— Нет, золотой. Не веришь, потом вспомнишь. Тебе в красное вино налили чёрной воды. Ты пойдёшь безо всей одежды ночью на кладбище? Клади деньги, скажу зачем. Дай руку.  
— Нет денег.  
— А казённые? Ай, какая нехорошая линия, девушка, выше тебя ростом, тебя заколдовала.  
— И казённых нет.  
— Не надо. Ты дал закурить, больше не надо. Ты три года плохо живёшь, будет тебе счастье. Положи на руку сколько есть бумажных.  
— Нет бумажных.  
— Мне не надо, тебе надо, я не возьму. Нет бумажных, положи мелочь. Не клади чёрные, клади белые. Через три дня будешь ложиться, положи под подушку, станут как кровь, не бойся: будет тебе счастье. Клади все, сколько есть, бумажных.  
Вырвала несколько волосков. Дунула, плюнула.  
— Видишь зеркало? Кого ты хочешь увидеть: друга или врага?  
— Врага.  
Посмотрел я в зеркало и увидел себя.

## ГРЕЧИХА

Вот одно из лучших воспоминаний о жизни.  
Я стою в кузове бортовой машины, уклоняюсь от мокрых еловых веток. Машина воеет, истёртые покрывки, как босые ноги, скользят по глине.  
И вдруг машина вырывается на огромное, золотое с белым, поле гречи-хи. И запах, тёплый запах мёда, даже горячий от резкости удара в лицо, охватывает меня.  
Огромное поле белой ткани, и поперёк продёрнута коричневая нитка до-роги, падающая в следующем тёмном лесу.

## В ЗАЛИВНЫХ ЛУТАХ

Поздней весной в заливных вятских лутах лежат озёра.  
Дикие яблони, растущие по их берегам, цветут, и озёра весь день похо-жи на спокойный пожар.  
Ближе к сенокосу под цветами нарождаются плоды, красота становится лишней, цветы падают в своё отражение. И на воде ещё долго живут. Озё-ра лежат белые, подвенечные, а ночью вспоминается саван.  
Падает роса. Лепестки, как корабли, везущие слёзы, покачиваются, ка-саясь друг друга.  
Постепенно вода оседает, озёра уходят в подземные реки. И как будто лепестки вместе с ними.  
Вода в вятских родниках и колодцах круглый год пахнет цветами.

## ТОГДА И ТЕПЕРЬ

Весной некоторые места в парке обрабатывают химикатами. Деревья и трава неестественно розовеют. Зрелище отличное, но ядовитое. Сдохла за-бежавшая собака.  
И когда-то я записал о таком будто бы жившем художнике и имевшем своё видение. Видение подавалось иронически. Будто бы он встал утром и увидел розовую траву и деревья. Я записал его восторг, как он выбежал и стал обнимать деревья, отравился и умер. Смерть была б моралью. Мол, реальность есть реальность.  
А сейчас и сам жду, что проснусь утром, подойду к окну и увижу розо-вые деревья.

## КАТИНА БУКВА

Катя просила меня написать букву, а сама не могла объяснить, какую. Я написал букву “К”.

— Нет, — сказала Катя.

— Букву “А”. — Опять нет.

— “Т”? — Нет.

— “Я”? — Нет.

Она пыталась сама нарисовать, но не умела и переживала.

Тогда я крупно написал все буквы алфавита. Писал и спрашивал о каждой: эта?

Нет, Катинной буквы не было во всём алфавите.

— На что она похожа?

— На собачку.

Я нарисовал собачку.

— Такая буква?

— Нет. Она ещё похожа и на маму, и на папу, и на дом, и на самолёт, и на небо, и на дерево, и на кошку...

— Но разве есть такая буква?

— Есть!

Долго я рисовал Катину букву, но всё не угадывал. Катя мучилась сильнее меня. Она знала, какая это буква, но не могла объяснить, а может, я просто был непонятливым.

Так я и не знаю, как выглядит эта всеобщая буква.

Может быть, когда Катя вырастет, она её напишет.

## ПЁТР И ПАВЕЛ

— Я только что вернулся с заседания суда! — объявляет он. — Там судили деточек, которые убили свою мать. Мать — это поэзия, а деточки — имажинисты.

Его имя Павел. Как ни зайдёшь, он всегда торчит в пивной. Но, в отличие от другого завсегдашняя, Петра, Павел пьёт на свои. Если встретиться с ним глазами, он радуется и повышает голос:

— Имажинизм от слова имажио — выражаю. Возник в нашем веке как протест официальному правительству.

В пивной привыкли к нему и знают, что он обязательно начнёт читать Есенина. Точно.

— “И всё, что думаю, я расскажу. Я расскажу в письме ответном”. Ответном! — громко говорит Павел.

— Ты у меня доорёшься, — осекает его буфетчица.

— Мария! — высокомерно отвечает Павел. — Ты ни разу не была на Ваганьковском. Как ты можешь жить? Как ты живёшь?! Как ей не стыдно жить? — спрашивает он, встретившись взглядом.

— Пей, — говорю я.

— “Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?” — Он немного отпивает, мучительно проглатывает. Так морщится, будто его заставляют пить насильно. — Вы были на могиле Серёжи?

Если б он так не орал, с ним можно б было поговорить спокойно. Ничего не выйдет: от того, что его не слушают, он говорит громко и сам перестал слышать нормальную речь. Но когда он читает Есенина, многие замолкают.

— Я служил на флотах! — объявляет он. — Баренцево море — шесть месяцев! Остальное Балтийское и Белое!

— Все на “бэ”, — говорят из очереди.

— Идёт снежный заряд, нечем дышать! — кричит Павел. — Когда меня проважали, оркестр заиграл! “Прощение славянки”!

— Анна! — кричит буфетчица Мария на сборщицу кружек. — Заснула?

Подходит Пётр. Он всегда выбрит, ходит с магнитофоном. Сплёскивает из кружки Павла себе на пальцы. “Рыбу ел”, — объясняет он. Вытирает

пальцы чистым носовым платком. Берётся за магнитофон. Так как номер отработан, то публика оживляется. Спорят: будет или нет Павел плясать. На магнитофоне записано “Яблочко”. Павел не хочет, но его подзуживают.

— “Яблочко”! Какой же ты моряк?

— Да не может он!

— Я не могу внезапно использовать душу.

— Нич-чего!

— Хотите, я вам почитаю немного стихи про кабацкую Русь?

— Пляши!

Павел не пляшет. Анна, сборщица кружек, приносит из подсобки балалайку. Пётр начинает тенькать струнами, помогая магнитофону, и доводит Павла до пляски. Павел отчаянно топает, начинает с выходкой, но пляшет медленно. Скоро на него никто не смотрит, только Пётр и те, с кем он поспорил на пару пива, что Павел продержится полчаса.

— Никого не трогай — и тебя не тронут, верно? — спрашивает меня вечно пьяненькая Анна.

— Верно.

— То-то. — Она довольна, что с нею поговорили. — Кружечку можно взять? Спасибо. — Она уносит кружку.

Не доплясав срока, Павел останавливается.

— Проиграл! — кричат Петру.

— Так вы спорили?! — надменно спрашивает Павел. — На меня. Уже трижды пропел петух? Не спорьте, не унижайтесь корыстью, я пошло на ваш столик “золотого, как небо, ай”. Человек! Напоите коней!

— Ставь! — ловит его на слове Пётр. — Все слышали? Ставь, ставь.

— Петька, не издевайся над человеком, в милицию сдам! — кричит буфетчица Мария.

— Какая статья? — спрашивает Пётр.

— Там найдут статью.

Сквозь стиснутые зубы Павел тянет из кружки.

— Вот так же, — громко говорит он, — так же потешал вас Серёжа. И небеса молчали!.. Почему? Небесам в то время было не до него. “С того и мучаюсь, что не пойму, куда несёт нас рок событий”. Петька! Музыка!

Пётр ударяет по балалайке. Павел подпирается в бока, высоко дёргает плечом и поёт похабную частушку. Потом сникает и долго сидит на подоконнике. Анна возвращается.

— А ещё говорят: часы сняли, перстень, кольцо. А ты не носи! И нечего снимать будет. Правильно я говорю?

— Правильно.

— А правда, что алюминий принимают? — спрашивает Анна. Я не понимаю. — Алюминий идёт на самолёты? Да? Да? Значит, не врала. — И она объясняет: — Мне посоветовали сдавать пробки от бутылок. Я каждый день не меньше ведра выношу одних пробок. Буду сдавать. И мне хорошо, и вообще польза. Правильно?

Пётр перекручивает плёнку в магнитофоне на старое место, включает. Павла подталкивают. Он поднимает голову.

## МОСТ

По длинному мосту через железную дорогу идут муж и жена. С коляской. Жена за что-то злится на мужа, тот угрюмо отругивается. Мальш в коляске сидит поднять закутанную головку. Мать тут же склоняется. Ещё лучше, ещё удобнее усаживает ребёнка, приговаривая: “Смотри, огоньки. Видишь огоньки? Много огоньков. Какие огоньки? Синие, красные. Вот жёлтый”.

Отошло её раздражение, разгибается, говорит мужу: “Глядит!”

Муж хмур по-прежнему. Жена вздыхает. Тут её окликают. Она оставляет коляску на мужа.

Мальш плачет. Отец сердито говорит:

— Чего орёшь, огней не видишь?



Слезинка на ресницах ребёнка наливается тяжестью. Отец склоняется и говорит уже другим тоном:

— Ишь, чуть не лопается. Слушал бы, чего говорят. На стрелке синий, на semaфоре зелёный.

Мальш стихает. Жена торопливо возвращается, на ходу забывая о встрече со знакомой.

Оба толкают коляску. Муж берёт из рук жены сумку.

— Мне не тяжело, — говорит она и улыбается.

— Кого это ты встретила?

— Да Таньку, вместе учились. Из-за границы чемодан тряпок привезла, думает, я ей позавидую.

Под мост медленно втягивается товарняк. Вагоны в снегу, неожиданно белые в контрасте с чёрной мокрой землёй. Видимо, состав пришёл с севера.

## В КРЕДИТ

У магазина очередь. На крыльце, у ног покупателей, на бровке тротуара старые телевизоры. Закутаны в платки, половики. Принесли сдавать. Сданный телевизор засчитывается как первый взнос кредита на новый телевизор. Конечно, это выгодно. Жалко же просто так выбрасывать телевизор, а тут польза. Принесли не только совсем старые, но и те, что давно барахлят и которые уже без толку ремонтировать.

Женщина в толстой шубе и сиреневых сапогах записывает очередность.

— Знать бы, — говорят в толпе, — не связывался бы с ремонтом. Сколь денег вбухал, давно бы новый купил.

Ещё говорят о марках телевизоров. Вот “КВН” был хоть куда, “Рекорд” тоже хороший, а теперь названий столько развелось, и все рекламируют. Рекламе, естественно, доверия нет. “Крым”, “Электрон”, “Ладога”, “Темп”, “Рубин”... Какой? Как угадаешь?

— И эти ведь устареют, — огорчённо говорит бабка.

— У японцев есть телевизоры плоские, как картину на стену вешают, — говорит молодой парень.

— Так уж сразу бы, — мечтает бабка.

Парень видом своим показывает необразованность бабки и не отвечает.

Время открывать. Изнутри подошла девушка в светлом парике, открыла. Ей отдали список. Но телевизоры пока не принимают, склад забит вчерашними.

Сбоку подъехала машина с громадным крытым прицепом. Сопровождающий спросил желающих на погрузку. Желающие, даже с избытком, напелись моментально. Сопровождающий отсчитал четверых, покрупнее, в том числе и молодого парня, и повёл в склад. Женщина в шубе спросила номера, которые они занимали.

Стали носить телевизоры из склада, сопровождающий принимал их и расставлял в прицепе.

Один из грузчиков наступил на шнур, запнулся и чуть не уронил телевизор. Но всё-таки спас, упав на колени и ушибившись.

— Плюнь, — сказал сопровождающий. — Чего их жалеть? — Для наглядности он пнул сапогом в экран телевизора. Экран лопнул со слабым звуком. Вышло немного белого дыма. — Всё равно под бульдозер, — объяснил он свою выходку.

Пнул ещё в пару экранов, высадил и их.

— Можно? — азартно спросил молодой парень, завидовавший Японии.

Залез в прицеп и стал широким зимним ботинком пинать в экраны. Матовые стёкла кинескопов черпали, сыпались. Тот, что наступил на шнур, оторвал шнур и спрятал в карман.

Сформ склад очистили, и сопровождающий пошёл сказать, чтоб грузчиков оформили вперёд всех. За ним пошли и они.

— Смешно, — сказал парень своим, показывая на длинный ряд бережно закутанных телевизоров.

В магазине эти четверо за то, что грузили, сдали свои телевизоры без очереди. Подошли выбирать. Длинный ряд голубых экранов светился. Парень сделал движение ногой, давая намёк, что как бы пинает и эти экраны. Засмеялись только те, кто знал, в чём дело.

## ЗАТО ВЕСНОЙ...

День пасмурный, долго тянется. После обеда идёт снег. Он вперемежку с дождём, снежинки тёмные.

— Через месяц после первого снега начинается зима, — говорю я пришедшей с улицы женщине. Пальто мокрое, и дорогой мех на узком воротнике не красивый. — Но это среднегодовое, многогодовое, нынче может и не сойтись.

— И не плакала, — говорит женщина, — а ресницы потекли.

— Если через месяц начнётся зима, то поверим в наблюдательность предков.

— Господи, — говорит она, быстро поправляя причёску, — о чём ты думаешь? — И, наладив красоту, садится к столу и говорит, что пасмурно, что в такую погоду что ни надень, всё убивается. — А ты ещё говоришь, что зелёное — цвет надежды. В такой день ничем не спасёшься.

— Зелёное не по цвету, а по смыслу: дожждаться первой зелени означало выжить.

— Да, вот что! — спохватывается она. — Всё забываю. Дай мне Монтеня.

— Обязательно Монтень? Возьми “Летописца”. Мне кажется, наши летописи заполнялись осенью. Так же мрачнело и снег таял. В летописях...

— Ой, не надо. “Не лепо ли ны бяшеть!.. А еще кому хотяше!” Монтень хоть переведён, а это когда ещё соберутся.

— Возьми “Назиратель”. Он переведён с латыни на древнепольский, отсюда к нам. Узнаешь, как ставить дом, лечить заразу, сажать овощи...

— Ах, — говорит женщина, смеясь, — “извозчики-то на что”?

Отходит к окну, смотрит вверх, вытирает стекло.

— Слепнешь, — говорит она. Снова долго смотрит, поворачивается: — Да, да. Раньше или позже, но каждый год приходил первый снег. Мальчишки радовались, а матери боялись, чтоб дети не простыли.

— Босиком бегали, а крепче были, — говорю я и злюсь неизвестно на кого. — Смотри, сейчас одеты, обуты прекрасно, а без конца болеют, совсем хилый народ...

— Всё-то ты знаешь, — иронически замечает женщина. — Скажешь, сидели на печке, одни лапти на всех...

— Зато весной...

— Да, весной. Весной, да. Им снова радость.

Мех на воротнике высох и потрескивает, когда она проводит по нему ладонью.

На окне как будто лёгкие кружевные занавески.

Снег всё гуще.

К вечеру светлеет...

...и оказывается, эта томность, это изображение разочарованности — всё это оказывается обыкновенной человеческой усталостью.

— Никаких нервов не хватает, — говорит она и виновато улыбается.

И я вижу — не врёт: замотана до последней степени. А минуту назад думал: игра.

— К вечеру я буквально труп, — говорит она.

Около окна стоит девочка и смотрит вниз, на белое дно двора. Девочка слышала наш разговор. Спрашивает:

— “Слово о полку Игореве” — первая русская книга. А какая будет последняя русская книга? Слово о другом полку?

Ночью я выхожу на балкон и не могу понять, исчезает луна или зарождается.

Тепло. Снег тает. Туман.

“Не пора ли нам, братия, начать старыми словами новую повесть?..”

ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ



## АМУРСКИЕ ВОРОТА

РАССКАЗ

На город заходила огромная чёрная туча. Жалея, что не захватил с собой зонтик, я прикидывал, успею или нет добраться до театра, но трамвай не торопился, позванивая, он проезжал мимо древних, утопленных в землю деревянных домов, которым было далеко за сотню лет, должно быть, они помнили Муравьёва-Амурского и ещё многое-многое другое. Я сошёл у магазина на бывшей Заморской, а позже Амурской улице, глянул на Крестовоздвиженскую церковь, колокола которой приглашали на вечернюю службу, вспомнив, что в ней перед экспедицией на Амур, которая завершилась открытием Татарского пролива, в середине позапрошлого века венчался будущий адмирал Невельской.

Напротив церкви, на месте стоявших когда-то Амурских ворот, был установлен камень в честь присоединения амурских земель к России. Помню, меня всегда охватывала досада; и это всё, что оставил город себе в наследство из своего славного недавнего прошлого. Именно отсюда управлялись земли огромного Восточно-Сибирского края, куда входили и заморские территории: Аляска, Алеуты и Калифорния.

Узкими дворами, укорачивая путь, быстрым шагом пошёл в сторону драматического театра. Но для меня драма началась, когда я почти добрался до театра: небо исполнило своё обещание, ледяной стеной хлынул дождь, и через пару минут моя одежда стала чем-то вроде хлопнущей водосточной трубы. Я добежал до служебного входа, но там меня ждало новое разочарование;

---

*ХАЙРЮЗОВ Валерий Николаевич родился в 1944 году в г. Иркутске. Окончил Бугурусланское лётное училище. Летал командиром корабля, пилотом-инструктором. В 1981 году окончил Иркутский государственный университет. Автор нескольких книг. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.*

охрана сообщила, что директор ещё не приехал, и посоветовала подождать. Я подумал, что мне бы сейчас в самый раз раздеться и отжать одежду, она липла к телу, туфли, словно жалуясь, хлопали, на кафельном полу подо мной расплывалась лужа. Мимо спешили служащие, они сворачивали зонты и ныряли в тёмное нутро театрального лабиринта. Я посмотрел в окно, за стеклом с водостоков потоком лилась вода; ударяясь об асфальт, она потрескивала, словно на сковородке, дождь набирал силу.

“Придётся сохнуть здесь”, — обречённо подумал я.

В этот момент распахнулась дверь, и, минуя вахтёров, из лабиринта вышла молодая женщина, приготавливая для улицы пёстрый зонт. Оглядев её ладную, затянутую в плащ фигурку, я приподнялся со скамейки и удивлённо произнёс:

— Валя! Как ты тут оказалась?

Ответить она не успела, неожиданно мы почти одновременно увидели под окном на полу крупную денежную купюру. Вот как она там оказалось, я не успел понять. Сделав удивлённое лицо, я кивнул на смятую бумажку.

— Кто-то выронил?

— Наверное, это я обронила, — запнувшись, сказала Валя. Я сделал вид, что мне нет дела до валяющихся бумажек, мало ли что может оказаться на полу. Она одним движением преодолела пространство, подняла оброненную бумажку и сунула в карман.

— Ой, да ты совсем промок! — оглядев меня, воскликнула она. — Пойдём ко мне, я тебя обсушу.

Валя взяла меня за руку и повела в театральное обиталище.

— Это со мной! — уверенным голосом сказала она вахтёрам.

Охранники кивнули, и Валя двинулась по коридорам и лестницам театра. Я, хлопая размокшими туфлями, искоса смотрел на свою спасительницу, припоминая, что когда-то Валя была бортпроводницей, и мы летали в одном экипаже. Я вспомнил, что впервые обратил на неё внимание, когда она, тогда ещё только начинающая стюардесса, на вечере в аэропорту спела шуточную песню:

*Какой чудак придумал самолёт?*

*Какой чудак решил летать, как птица?*

*Кузнец Вакула — первый был пилот,*

*Солоха — первая бортпроводница.*

Песня имела успех, и Валою в аэропорту стали даже шутливо именовать первой бортпроводницей. Мне не верилось, что передо мною стоит именно она, которая когда-то мне очень нравилась. Да и она, когда заходила в кабину, смотрела на меня влюблёнными глазами. Теперь это была уже другая, уверенная в себе красивая женщина и, судя по поведению, в театре она занимала немалую должность. Меня это позабавило: оказывается, здесь, в этом логове Минотавра, как шутя про себя я называл директора театра, у меня есть знакомый человек.

Валя завела меня в комнатку, приказала снять одежду, сунула мне красный махровый халат, и я, подчинившись, стянул с себя липкую одежду, закутался в халат и стал наблюдать, как она ловко расправляется с моими мокрыми брюками, приводя их в надлежащий вид.

“Кто прошёл службу в авиации, тот годен для любой работы”, — подумал я, поглядывая на ловкие движения Вали. Она почувствовала, что я смотрю на неё, поправила волосы и лёгким движением откинула их назад. Обычно, прилетая в новый аэропорт, я брал Валою с собой, мы ходили по улицам, музеям и магазинам незнакомого города. С ней было интересно: живая, открытая, красивая и, что меня особенно подкупало, начитанная. Общаться с нею было одно удовольствие.

Пока она занималась моей одеждой, я стал думать о своих непростых отношениях с директором театра. В городе ни одно мало-мальски известное культурное событие не проходило без его одобрения или участия. Это была моя третья попытка поставить пьесу в драматическом театре. Первая

случилась давно, ещё при Советской власти. В город приехал новый главный режиссёр Эдуард Симонян. Ознакомившись с местной пишущей и играющей публикой, он неожиданно для многих предложил поставить мою повесть “Приют для списанных пилотов”.

“Живя на земле, не забывай смотреть на небо”, — сказал Симонян, как бы отвечая на вопрос, почему он выбрал именно меня.

Я знал, что в Архангельске Симонян ставил Фёдора Абрамова, “Бременских музыкантов”, “Трёх мушкетёров”. Когда я принёс ему переделанную в пьесу повесть, Эдуард Семёнович быстро прочёл её, хмыкнул, повёл меня в зал, где были вывешены портреты актёров, и начал перечислять, кого из них он предполагает назначить на роли, которые я обозначил в пьесе.

— А вдруг что-то произойдёт, и вы уедете из нашего города? — спросил я, прощаясь и пожимая руку Эдуарду Семёновичу.

— Всё может статься. Но, как говорится, рукописи не горят. Пьесы тоже, — улыбнувшись, сказал он.

Лучше бы мне не говорить этих слов! Через месяц Симоняна сняли, и он уехал в Комсомольск-на-Амуре.

Следующая пьеса, которую я спустя несколько лет предложил театру, была “Точка возврата” — о лётчиках дальней авиации. С режиссёром из Барнаула Виталием Пермяком мы долго перезванивались, затем встретились на театральном фестивале. Чтобы режиссёр ощутил красоту лётной профессии и характеры лётчиков, я договорился с лётчиками, и мы на учебном самолёте, на котором военные отрабатывали заходы, полетели на бомбёжку полигона в Наратае. Пожалуй, Пермяк — единственный театральный режиссёр, которому довелось увидеть настоящую работу военных лётчиков.

— Всё, будем ставить! — сказал он, возвращаясь с аэродрома. — Я заметил, лётчики — суеверный народ. Не фотографируются у самолёта перед полётом, не любят слово “последний”, предпочитая говорить “крайний”. Это в пьесе надо обязательно обыграть.

На другой день мы встретились с ним в зимнем саду драматического театра, чтобы определить последующие этапы работы над пьесой. И неожиданно он начал расспрашивать о финансовой составляющей проекта. Тогда я считал, что главное — это сама пьеса, и начал отвечать уклончиво, полагая, что проблему можно будет решить во время работы. Лишь немного позже я начал догадываться, что Пермяк, возможно, хотел заручиться авансом. Но я был не готов к такому повороту. И это обстоятельство стало решающим: моя встреча с заезжим режиссёром оказалась последней. На другой день, когда я позвонил, чтобы обговорить наши последующие шаги, он ответил мне уже из Барнаула, что передумал, поскольку у него нет здоровья летать туда-сюда на сверхзвуковых скоростях. Для меня это стало чувствительным ударом, отказ произошёл, когда мне казалось, что всё идёт, как надо, и впереди ждёт интересная работа. Вот так неожиданно корабль наскочил на риф.

— Всё псу под хвост! — выругался я.

Верно говорил один из героев Булгакова, что театр — самое сложное сооружение, придуманное людьми.

Неожиданно Минотавр предложил написать пьесу о Святителе Иннокентии, нашем великом земляке.

— У меня вот здесь в столе лежат шесть вариантов, — сказал он. — Шлют со всей России. Одна авторша прислала жизнеописание, вернее, сюсюли про сына деревенского дьячка, который прославился тем, что ослепил туземцев в Америке. Я не знаю, о чём будешь писать ты: об иркутских купцах, пьющих дьячках, о войне — мне это неважно. — Минотавр растегнул рубашку и почесал свою волосатую грудь. — Погодин написал пьесу о кремлёвских курантах, и они зазвонили на всю Россию. Вот что такое война? Война — это оборванные связи. Когда раздаются первые выстрелы, начинается настоящая драматургия.

Его предисловие мне понравилось, Минотавр давал не шанс, фактически карт-бланш, чтобы проверить, на что я способен в честной конкуренции с другими авторами. Директор театра, желая поддержать меня, добавил, что помнит и ценит мою повесть “Приют для списанных пилотов”. К моменту

разговора в народном театре уже была поставлена моя пьеса “Уроки сербского”. За неё мы с главным режиссёром театра Михаилом Стеблевым получили диплом международного театрального фестиваля, проходившего в Москве, с формулировкой “За братство славянских народов”.

И тут новое лестное предложение. Прилетев в Москву, я поехал в миссионерское общество, там мне дали кое-какую литературу об Иннокентии, затем я съездил в книжное подворье при Сретенском монастыре, купил книгу Барсукова о жизни и деяниях святителя.

Знакомясь с жизнью Вениаминова, я сделал для себя несколько открытий. Одно время наш самолёт базировался на аэродроме в Анге. Каждый день, собираясь на полёты, мы ходили мимо дома, в котором родился и некоторое время жил Вениаминов, ставший впоследствии святителем и главой Русской Православной Церкви. Дальше — больше. В городе, куда его отправили на учёбу, он учился в той же школе, в которой я проучился свои первые четыре года. Только в моё время это уже была самая старая в городе начальная школа при монастыре, а не духовная семинария.

Дочитав до конца книгу Барсукова, я понял, что прикоснулся к жизни сибирского самородка, который и печи клал, и часы делал, при необходимости мог и музыкальные духовые инструменты изготовить. Но истинная мощь его личности заключалась в ином: он сумел понять значение слова Божьего и донести его до диких племён далёких Алеутских островов. Иннокентий в совершенстве овладел языками туземцев и смог стать для них простым и близким человеком, за которым они были готовы идти хоть в огонь, хоть в воду. А его краеведческая книга “Записки островов Уналашского отдела” стала известна всей читающей России; язык автора, его наблюдательность привели в восторг Николая Васильевича Гоголя.

Но больше всего меня поразила его государственная позиция в отношении восточных территорий, благословение генерал-губернатору Николаю Николаевичу Муравьёву на занятие Амура дал именно он, человек духовный, миссионер, сделавший, пожалуй, больше всех для приобщения коренных народов далёкой Русской Америки, Якутии и Амура к Православной Церкви. Все современники отмечали его самообладание, когда во время Крымской войны, которая стала фактически мировой войной Запада против Российской империи, в Аяне англичане объявили, что берут его в плен. Англичане были настолько обескуражены самообладанием Иннокентия, что оставили в покое не только его, но сам посёлок. Более того, освободили уже захваченных под Петропавловском-Камчатским пленных.

Я сидел в тесной комнатке в женском халате, пил горячий чай; встречаясь с Валиными глазами, гадал, чем же в театре занимается она. Когда мы раньше встречались при выполнении рейсов на Север, она рассказывала о полётах в составе других экипажей, изображая в лицах, верно передавала характеры моих коллег. Была она наблюдательна, остроумна, ей бы не в стюардессы, а в артистки...

*Нам в небе стюардессы создали уют,  
Который дома нам не снился.  
В полёте чай и кофе подают  
Прелестные Солохи — проводницы...*

Согреваясь чаем, я с удовольствием напевал про себя ту Валину песню, смотрел, как у неё из-под утюга вылетают клубы пара, и размышлял над превратностями судьбы. Ещё полчаса назад я не мог вообразить, что окажусь в этом своеобразном приюте для списанного пилота и бывшая стюардесса будет сушить мою одежду.

Она отутюжила мой пиджак, набросила его себе на плечи и принялась за брюки.

— Я бывших лётчиков узнаю сразу же, — улыбнувшись, сказала она. — По штанам. Пиджак можно заменить, но лишить бывших лётчиков привычки к синим штанам всё равно, что лишить младенцев памперсов.

Я промолчал, намёк на памперсы выглядел ударом под дых, но возражать не имело смысла, промок до трупов.

— Галлы сбросили штаны, тоги с красным им даны, — отшутился я, вспомнив высказывания римских сенаторов о варварах.

— Что тебя привело в театр? — неожиданно спросила Валя.

— Я написал пьесу.

— Вот как! — Валя удивлённо и, я бы сказал, с каким-то сожалением посмотрела на меня. Такими глазами обычно смотрят на больных детей. — О лётчиках?

— Не угадала. Здесь-то я свои штаны выпячивать не стал, — отшутился я. — Написал пьесу о святом.

— Понятно! — помолчав немного, протянула Валя. — Сейчас многое поменялось. Все стали ходить в церковь.

— Я и раньше ходил, — усмехнувшись, ответил я. — Но не афишировал. А вот что в этом храме нашла ты — не пойму?

— С чего начинается театр?

— Немирович-Данченко говорил — с вешалки.

— Я работаю здесь гардеробщицей. Заодно заместителем директора по хозяйству. Кстати, многие наши девчонки работают на театр. Авиации мы стали не нужны, а в театре нас приютили. Если тебе будут нужны билеты, ты скажи. Всё устроим. О чём пьеса?

Меня позабавила та лёгкость, с которой Валя готова была бросить мне спасательный круг.

— Я уже сказал, она о святителе, о людях, которые жили в нашем городе почти двести лет назад. Она историческая и в прямом, и в переносном смысле. С ней в обнимку я сплю уже более пяти лет.

— В обнимку обычно спят сам знаешь с кем, — поддела меня Валя. — Да, дела твои неважные. А в другие театры предлагал?

— Предлагал, — помедлив, ответил я. — Но сейчас пьесы стали товаром. Хочешь поставить — плати: за освещение, изготовление реквизита. А золочёные эполеты на мундир генерал-губернатору Муравьёву надо заказывать непременно в Софрино. В общем, за всё. И заламывают цену — мама моя!

— Да, сейчас все стали прагматиками.

— Ну, скажем, не все.

— Не все, — согласилась Валя.

— Скажи, я похож на графа Монте-Кристо?

— Скорее на общипанного мокрого цыплёнка, — засмеялась Валя. — И сколько просят?

Я ожил. Наконец-то появился слушатель, который знает театральное закулисье и которому можно доверить свои печальные мысли, связанные с устройством пьесы.

К этому времени я уже догадывался, в чём мой просчёт. Мне казалось, что всё кроется, как говорил Минотавр, в несовершенстве пьесы, в неумении нащупать нужную драматургическую пружину. Я старался исправить текст, сверяя его не только с творениями древнегреческих авторов, но и с пьесами Шекспира, Гоголя, Чехова. Но вскоре до меня дошло: если бы к директору пришёл Чехов с его литературной “Чайкой”, боюсь, результат оказался бы таким же, как и у меня. Издать книгу, не имея имени, — дело обычное. Там тоже нужны деньги, но ведь находят и издают. Театр — это другая планета. Здесь к автору и его творению другой подход. По сути, в успехе спектакля заинтересован не только автор, но и режиссёр. Он полноправный творец того, что зритель увидит на сцене. А ещё актёры, которые своей игрой доносят до зрителя задуманное.

Обо всём этом мы говорили с директором, после его точных и нередко справедливых замечаний я летел к себе обратно в Москву и заново правил текст. После очередного свидания, когда он в порыве чувств припал ко мне на плечо и произнёс уже знакомую мне фразу: “Ты знаешь, старик, драматургом надо родиться. Конечно, твоё упорство похвально. Но вот, допустим, мы поставим, ты получишь гонорар, зрители похлопают. Что дальше?” — Директор сделал паузу. В наступившей тишине мне послышалось то, чего он почему-то не произносил: мол, уймись, смири гордыню и займись тем, что

получается. Вот только почему он не давал мне окончательный от ворот поворот, я не мог разгадать, возможно, я интересовал Минотавра как любопытный экземпляр, который, желая обеспечить постановку пьесы, решил предложить простую схему. И она, как мне казалась, заинтересовала не только его.

От землячества обосновавшихся в Москве сибиряков, которые не только обжились в столице, но буквально проросли сквозь камень, мне посоветовали организовать письмо губернатору с просьбой посодействовать в реализации данного проекта, зная, что в наш провинциальный город намечается визит Патриарха, и постановка такой пьесы пришлась бы кстати. В письме я указал, что после премьеры можно будет организовать гастроли театра аж в самую Америку, где, по слухам, авторитет Святителя был велик, и американские законодатели до сих пор считают его одним из самых выдающихся миссионеров. Известно, губернаторы пьес не читают, на беду надо было такому случиться, что в нашем городе они менялись с частотой пролетающих электричек. Однажды мне всё же удалось поговорить с новым назначенцем, он, выслушав меня, спросил про цену вопроса и, услышав ответ, воскликнул:

— Да ты ломишься в открытые ворота!

Возможно, он был прав, я действительно начал ломиться. Какими будут эти ворота — Амурскими, Московскими, — я не знал. Я догадывался, что при разговоре с теми, кто определяет, ставить или отказать в постановке, губернатор не обязан держать сторону автора, здесь он, безусловно, доверялся мнению состоящим на его службе специалистам по культуре. Но апеллировать к ним не имело смысла. Уже давно известно, что культура, медицина и, пожалуй, ещё метеорология самые что ни на есть непредсказуемые вещи.

Так оно и случилось: моя письменная просьба, заверенная печатью земляков, была передана по назначению, в министерство культуры. И там застряла надолго.

Но кроме власти административной, существовала невидимая цензура. Общаясь с режиссёрами, я сделал два любопытных открытия. Выяснилось, что в разговорах с автором почти всегда незримо присутствует коммерческий интерес: якобы близкие тебе по духу люди, как правило, крестятся на образа, называли такую цену, что можно было выносить всех святых. Пришло и ещё одно наблюдение; размышляя над ним, я понял причину, почему провинция недолюбливает москвичей: самый второразрядный столичный театр назначал за постановку цену во много раз большую, чем самый заметный провинциальный театр. За свою жизнь я привык к небольшим цифрам, здесь же с меня запрашивали такую цену, что, ощущая её своим неразвитым финансовым сознанием, я ахал: это всё равно, чтобы без подготовки забраться на Эверест. Утешало одно: любовь к денежным знакам существовала с незапамятных времён. После своего кругосветного путешествия из Америки в Петербург главный герой моей пьесы Иннокентий зашёл к столоначальнику с намерением прописать паспорт. Тот сделал вид, что очень занят. И когда Вениаминов напомнил о своей просьбе, очинил гусиное перо и крупно написал на белом листе бумаги: “Двадцать пять рублей”. Иннокентий сделал вид, что не понял. Тогда столоначальник исправил написанное цифрой “Пятнадцать”. И здесь гость из далёкой Америки сделал вид, что не понимает сути происходящего. Столоначальник попытался и написал: “По крайней мере — десять”.

Священнослужитель, усмехнувшись, сказал, что сейчас же без доклада войдёт к его начальнику.

— Вас оштрафуют!

— Тогда деньги поступят в казну, — сказал Иннокентий.

Убедившись, что не на того напал, столоначальник тут же прописал паспорт. Много воды утекло с тех пор, современные столоначальники сменили гусиные перья на стальные, обзавелись телефонами и научились решать свои сверхзадачи, используя методику Станиславского. Прописать пьесу в театре оказалось гораздо сложнее и дороже, чем паспорт.

— Наш директор хорошо играет в шахматы и считать умеет, — поставив утюг на попа, точно прочитав мои мысли, сказала Валя. — А ещё у него есть один козырь. Да, да, ты догадался, — Козырева! Как-то он вызвал



меня к себе. Вот что можно увидеть в кабинете? Портрет президента, губернатора. Ну, при большой любви — собственный. У него на столе портрет Козыревой.

— Понятно, уж если портрет вешать, то хозяйки?

— Да, да! — засмеялась Валя. — Думаю, они, конечно же, меж собой обсуждают, кого поставить, а кого задвинуть на дальнюю вешалку. Уверяю, за всё пишущее пьесы человечество она переживать не будет. Ей достаточно и своих проблем.

Я засмеялся: она точно не будет. Когда однажды, отчаявшись, я дозволился до Козыревой по телефону, она милым вполне дружелюбным голосом, ответила, что те деньги, которые выделяет администрация для постановок пьес перспективных авторов, это её деньги, и на них мне не стоит рассчитывать.

“Выходит, я не прохожу по этой статье”, — мелькнуло у меня в голове. Я что-то пытался возразить, но она рубанула сплеча, сказав, что вот если бы я принёс и положил на стол искомую сумму, то пьесу бы поставили. Я отреагировал, как крестьянин, у которого на рынке из-под носа только что увели дойную корову. Я сказал, что если бы у меня в кармане лежали такие деньги, я бы пошёл в любой театр, и пьесу мигом бы поставили. Я был доволен своей находчивостью. Но ненадолго, всего лишь несколько секунд. Есть правило: если просишь, держи язык за зубами. Я нарушил его и тотчас же поплатился, услышав отдалённые телефонные гудки.

— Портреты — самый недолговечный товар, — сказал я. — Сегодня висит, завтра в чулане лежит.

У Вали зазвонил мобильный, она достала его из сумочки.

— Меня зовут, — сообщила она. — Одежду я подсушила. Можешь одеваться. Кстати, директор уже здесь, и гости, в том числе и московские.

Я быстро оделся. Брюки ещё были сыроваты, но вполне годились для выхода в свет.

— Ты звони или заходи, — произнесла Валя знакомую и ненавистную мне по Москве фразу; обычно её произносят, когда тебя не очень-то хотят видеть.

— Нет, ты действительно заходи. — Должно быть, Валя что-то прочитала на моём лице. — Назови мне свой номер.

Я продирижовал, она тут же набрала и, услышав ответный сигнал, спрятала телефон.

— Вот что. Если у тебя есть второй экземпляр, оставь мне. Я прочитаю быстро и всё тебе скажу. А если понравится — передам владыке. Пусть он почитает.

Это был беспроигрышный ход, если владыка откажет, то и лезть даже в распахнутые самим губернатором ворота не имело смысла. Я достал свободный экземпляр и протянул Вале. Она улыбнулась, прижалась ко мне щекой. И я, окрылённый этой неожиданной лаской, хотел поцеловать её, но она, отстранившись, погрозила пальцем.

— Мы так не договаривались!

Я начал смущённо шутить, может, она похлопочет и узнает, есть ли в гардеробе для меня вакансия.

Женские халаты вещь опасная. Кутаясь в него, я почувствовал давно забытое тепло, и почему-то в голову пришла странная, давно не посещавшая меня мысль: ну, чего суечусь со своими писаниями, разговорами, пьесами, когда рядом нет обыкновенного женского тепла и участия. К чему все эти пустые хлопоты? Я, медля, застегнул пиджак на все пуговицы, ещё раз улыбнулся Вале и, вздохнув, шагнул в коридор.

Директора театра в кабинете не оказалось, я спустился вниз в фойе и присел в кресло: если пойдёт, то миновать меня будет трудно. В просторном холле былолюдно, туда и сюда сновали актёры, какая-то публика. Минотавр на своей площадке проводил очередной театральный фестиваль, и околотеатральной публики собралось предостаточно. Неожиданно я разглядел, видимо, приглашённую для освещения фестиваля московскую диву, которая писала рецензии в столичных журналах. Фамилия у неё была Коклюшева.

Надо признать, директор был профессионалом и театральное дело вёл со столичным размахом. Коклюшева, как и положено человеку с именем, держалась уверенно, точно ледокол в Арктике, грудью взламывая провинциальные льды поклонников, двигалась куда-то вглубь фойе. Я проследил глазом предполагаемую траекторию движения и увидел чеканное лицо Минотавра. Он шёл, твёрдо ступая по мраморному полу; кудрявые с проседью волосы красиво обрамляли загорелое лицо, голову он держал прямо, ладно сидевший на нём костюм напоминал тогу патриция. Рядом с ним в красивом вязаном платье плыла Козырева.

Я привстал, чтобы обозначить своё присутствие. И сделал это зря: даже минутная беседа или встреча с провинциальным Шекспиром не входила в их планы. Слегка кивнув мне головой, Минотавр прошагал к Коклюшевой, чтобы личными объятиями засвидетельствовать своё уважение и пригласить акулу пера на ужин.

Я вышел из театра. Дождь прекратился. Обходя лужи, пошёл обратной дорогой вверх по бывшей Заморской улице. Вдыхая свежий осенний воздух, дошёл до камня, где за забором огромным клином прямо в центр города выползали старые деревянные дома. Остановился на мокром взгорке, где в честь присоединения к России земель по Амуру после Айгунского договора с Китаем была установлена величественная арка. Простояла она полвека, уже в советское время её снесли, как обветшалую.

Я знал, что рядом за деревянным забором притаился девятнадцатый век, с дворами и вековыми выгребными ямами, с высокими, из мощных брёвен крылечками. Летом всё скрывалось за клёнами и тополями, зимой утопало в снегу. С ближайшего склона исторический околоток разрезали ручьи, они торили себе удобную дорогу через охранную зону, как им вздумается, под уклон, в сторону большой реки. Так было при Муравьёве, при советской власти, при всех бывших и нынешних градоначальниках. И всё же очередной губернатор, уроженец Питера, тот, который объявил, что я ломлюсь в открытые ворота, к юбилею города решил снести развалюхи и построить на их месте деревянный квартал. Думаю, что решение о сносе было правильным, намечался приезд многочисленных гостей, и терпеть все эти запахи и бегающих по дворам собак в сотне метрах от театра просто неприлично.

Прогулка под дождём не прошла для меня бесследно: я заболел. Вечером меня начало знобить, я померил температуру и вытянул губы: больше тридцати восьми. Горячий чай, лимон не помогали. На другой день я всё же вышел на улицу, доковылял до аптеки, спросил у провизора, что нужно принимать при простуде.

— Тут не принимать, тут надо врача вызывать, — с сочувствием в голосе сказала аптекарша.

Дальше потянулись дни, которые можно было спокойно вычеркнуть из жизни. Слабость, тошнота, иногда мне казалось, что за мной вот-вот зайдёт Харон и посадит к себе в лодку. Я просыпался в холодном поту, менял одежду и вновь проваливался в небытие. На меня наваливались странные видения, откуда-то из тёмного угла наплывала театральная сцена, на ней в позе триумфатора стоял Минотавр, он держал в руках только что врученное ему “Золотое руно”. Прямо перед сценой уже сверкали столы с сибирскими яствами: копчёным омулем, сигаами, солёными груздями и рыжиками, отдельно в салатницах горкой была насыпана спелая брусника. А по залу метались грифоны и гарпии, они ждали звонка для своего выхода на арену, удерживая в закутке приведённую для ритуала молодёжную публику.

Днём я пытался передвигаться по квартире, но обессиленный садился на кровать. Сходить в аптеку не представлялось возможности, все дни лил дождь. Я совал себе под мышку градусник, смотрел на осеннее небо, обжигаясь, пил горячий чай и думал, что жизнь совсем не вовремя преподнесла мне ещё один неприятный сюрприз, я надолго застрял в своём-чужом городе, которому глубоко наплевать на мои переживания и болезни.

В один из тяжёлых для меня дней неожиданно подал признаки жизни телефон. Звонила Валя. Она сообщила, что в городском музее намечается выставка, посвящённая святителю Иннокентию, и что на ней будет владыка.

— Рукопись я передала, но не знаю, прочитал он её или нет, — добавила она. — С кем из наших общался?

Вялым голосом я сообщил, что лежу и каждый день в основном общаюсь с гарпиями.

— С кем, с кем? — не поняв, переспросила Валя.

— Стерегу от духов золотое руно.

— Ты что, один? — спросила Валя.

Вопрос застал меня врасплох. Вокруг много людей, целый город. Но тех, к кому я мог обратиться, которые раньше то и дело звонили мне, их как будто вымели. Остатки того, что мною было здесь накоплено, переехало прорастать на камнях в Москву.

Мне пришлось сообщить Вале, что я заболел и что третий день не выхожу из дома. Валя помолчала, затем спросила адрес. Я поинтересовался: зачем? И тут же услышал, что она сейчас пришлёт ко мне домой санитарную авиацию.

Санитарной авиацией оказалась сама Валя. Она принесла какие-то, по её словам, целебные снадобья, таблетки, быстро навела порядок на кухне, заварила чай. Было видно, что это доставляет ей удовольствие, всё она делала быстро и в охотку, подошла, приложила прохладную ладошку к моему лбу. Я тут же потянулся к ней губами.

— Тебе сейчас нужно только горькое, — улыбнувшись, сказала Валя.

— Уж чего-чего, а этого мне хватает. И если говорить честно, я уже начал выздоравливать.

— Прямо сразу?

— С твоим приходом.

— Кашель есть?

— И кашляю, и чихаю, — признался я. — От своей пьесы, от театра, от той пыли, что накопилась в моей квартире и в моей одинокой душе.

— Да, надо бы пройтись тряпкой, — сказала Валя. — Кстати, чтобы поднять настроение, расскажу о недавнем визите Патриарха в наш город. Особых сюрпризов ему не придумали, но они то и дело появлялись на ходу. Когда я читала твою пьесу, то подумала: директор упустил прекрасную возможность. Так вот, мы у себя в приходе почистили, прибрали, навели порядок. Подготовили двух девчушек, чтобы они вручили ему цветы и сказали несколько слов. Но Патриарх задержался. Поджидая его, девочки очень устали. Когда он появился, к нему по сценарию подошла девочка, которая, вручая цветы, должна была прочесть стихи. Но она, всё забыв, сделала Патриарху замечание:

— Мы вас ждём, ждём, а вы где-то пропали!

Спасла положение вторая девочка. Она, улыбнувшись, добавила:

— И всё равно мы рады, что вы приехали!

Патриарх буквально расцвёл от этих слов.

— Ну вот, не надо писать пьес, — пошутил я. — Лучше этих девочек не скажешь.

— Скажи, а вот те, кто ушёл, кого нет с нами, они за нас переживают? — помолчав немного, спросила Валя.

— Они за нас молятся, — подумав, ответил я.

— Что, и твой святой? Он-то хоть догадывается, что ты здесь хлопочешь, ругаешься, болеешь?

Валин вопрос застал меня врасплох. В последнее время я жил пьесой, и всё остальное казалось мелочью. Я не предполагал, какие испытания меня поджидают, но жаловаться, что передо мною в театре не распахивают двери, не хотелось. Значит, ещё не пришло время, значит, я ещё не всё сделал, чтобы рукопись разрывали на части режиссёры.

— Он со мною рядом и даёт силы, чтобы я преодолел все трудности. Думаю, и он молится за меня. Я это чувствую. Господь посылает нам испытания. Если это благое дело, то надо потрудиться и потерпеть. Главное, не опускать руки.

— Но бывает, бьёшься, хлещешься — и всё без результата.

— Бывает, всё бывает.

— А потом вдруг враз всё случается, — неожиданно всплеснула руками Валя. — Происходит всё вроде бы само собой, и лишь позже догадываешься — помогли. Начинаешь думать, может, не надо было ломиться в открытые ворота и подождать, когда плод сам созреет.

— Где-то я уже это слышал, — рассмеялся я

— Театр — сложная штука, — помолчав немного, сказала Валя.

— Сложнее некуда!

— В театр ходят все. Хоть раз в жизни, но ходят.

— На рынок тоже ходит много народа.

— Ты не путай пресное с солёным, — засмеялась Валя. — Древние греки говорили, что театр — школа для взрослых. В нём воспитывают чувства. Наш директор — умелый руководитель. Сохранить коллектив, выплачивать вовремя зарплату и держать баланс внутренних взаимоотношений — такое удаётся не каждому

— Ты что, пришла защищать своего начальника? — откашлялся я. — Думаю, он в твоей защите не нуждается.

— Это точно, не нуждается. Когда Козыреву в очередной срок не назначили на должность, а новый приезжий губернатор, неожиданно для многих, назначил на это место Стеблева, что тут началось! Истерика. Уже не наш город, Москва была поднята на уши. Вмешался даже Кобзон. И народного режиссёра убрали. В новой для себя должности он пробыл всего две недели.

Я решил повернуть разговор в другое русло, мне хотелось узнать, читал ли пьесу владыка. Я предполагал, что у пьесы, конечно же, как и полагается, есть сторонники и противники. Противники иногда даже рядились в сторонников. Делали это, чтобы показать осведомлённость и своё независимое суждение обо всём, что происходит в культурной политике нашего города. Хотя я точно знал, пьесу читали всего два человека. Большинству было всё равно, поставят или не поставят, пьеса — это же не курица, которую могут подать на стол. Если написал — хорошо, попросили заплатить — ищи гроши. За тебя никто деньги искать не будет. А поставят — садись в зале и наслаждайся. И мои претензии к директору, по большому счёту, писаны на песке. Договора с ним у меня не было. Он предложил, я согласился. Как говорил один из героев Шекспира: “Из жалости я должен быть суровым”. Если и есть претензии, то, прежде всего, к самому себе.

Я понял: идти на выставку надо. Но попасть на её открытие, где предполагалась первые лица, оказалось непросто. Выручила Валя, позвонила и сказала, что приглашительный будет на проходной.

Иногда бывает интересно посещать провинциальные выставки. На входе мне отыскивали приглашительный, и я растворился в общем потоке посетителей, с удивлением отмечая, что почти не встречаю знакомых лиц. И тут заметил Валю. Она улыбнулась, потом подошла и шепнула, чтобы я не считал воробьёв, а шёл сейчас же прямо к владыке. Рядом с ним стояли Козырева и отец Максимилиан.

— Я прочитал, мне пьеса понравилась, — улыбнувшись, сказал владыка. — Что можно сделать, чтобы она была поставлена?

Краем глаза я увидел, что Козырева напряглась, она никак не рассчитывала на этот непредусмотренный протоколом мой разговор с владыкой. Наверное, в этот момент она жалела, что рядом нет Минотавра.

— Всё, что вы можете сделать, — это благословить, — сказал я и посмотрел на министершу. Она с казённой улыбкой на лице смотрела сквозь меня.

Владыка перекрестил меня и, улыбнувшись, добавил:

— Всего-то. Ну, тогда с Богом!

В этот момент я ощутил себя губернатором Муравьёвым, который получил благословение на занятие Амура.

Буквально через день мне был звонок от главного режиссёра театра Папкина, он предложил встретиться и обсудить вопросы, связанные с постановкой пьесы.

Я возликовал. Наконец-то моя флотилия отчалила от берега и начала сплавляться по Амуру.

Режиссёр оказался молодым, коротко стриженным, в спортивной майке человеком. Я знал: в театр его пригласили из Москвы, в которую он летал ставить модные спектакли. Он предложил мне переделать пьесу, для столкновения сил добра и зла ввести образ чёрта или чертёнка. Я стал протестовать. В своих проповедях Иннокентий представлялся мне как человек государственных начал, который, размышляя над смыслом бытия, отрицал всякую чертовщину. Это Михаилу Булгакову в “Мастере и Маргарите” захотелось посмотреть на человеческую сущность с тёмной стороны. Почему мы должны следовать за ним? Папкин рассеянно послушал меня и предложил подумать над образом умершей матери Иннокентия, которая в пьесе была бы судьёй и эдаким оппонентом батюшки. Это несколько смягчало ситуацию, но не убирало вмешательство потусторонних сил полностью.

Я сказал, что подумаю. Затем Папкин как бы мимоходом осведомился, есть ли ответ на письмо земляков губернатору.

Уже наученный прошлыми промахами, я осторожно ответил, что помощь, конечно же, будет, поскольку сам губернатор сказал, что я ломлюсь в открытые ворота. Ответом мне стала слабая улыбка Папкина, со мной вёл переговоры стреляный московский воробей.

На этом мы расстались. От разговора у меня осталось послевкусие; покопавшись в памяти, я вспомнил Пермьяка. “Возможно, эта встреча с Папкиным, как и с предыдущим с барнаульским режиссёром, станет последней, а не крайней”, — думал я.

Психологи говорят, мысль материальна, далее в моих отношениях с театром возникла пауза. Через некоторое время Папкин отказался от постановки, заявив директору, что Иннокентий — не его тема. И дальше пошли непонятные странности. Тех режиссёров, которые хотели и могли бы поставить пьесу, Минотавр начал отвергать с порога, впрочем, тут же называя фамилии неизвестных для моего слуха столичных и питерских режиссёров, мол, надо бы предложить пьесу им, возможно, они и возьмутся. Но ни один из них мне не позвонил, и их мнение о пьесе так и осталось для меня тайной за семью печатями.

Впрочем, интерес к пьесе всё же был. Московский театр “Спас” согласился приступить к постановке, но с определёнными оговорками. Поскольку у театра не имелось своего помещения, то я объездил всю Москву, чтобы лучше познакомиться с репертуаром и с игрой актёров. Но не получилось и со “Спасом”. Всё произошло, как в известном афоризме: хотел, как лучше, а получилось, как всегда. Окончательный разговор о договоре вновь состоялся по телефону, жена режиссёра, заслуженная артистка, назвала мне сумму за постановку, и я чуть не свалился со стула: Минотавр и министерша выглядели голубьями по сравнению с московскими театральными грифами.

— Вы что, думаете за мой счёт построить себе театр? — растерянно спросил я.

— Это не ваша забота! — сухо ответила актриса.

Прав оказался Минотавр: война обрывает связи. В моём случае со жрецами и жрицами Мельпомены не было боевых действий, было прощупывание намерений. Меня с моим желанием поставить пьесу, когда я сообщал, что не в состоянии оплатить запрашиваемую сумму, тут же ставили в неудобное положение. Да, война, но в другом измерении, где любое желание должно быть оплачено. Вспомнился мой приход в литературу, когда чуть ли не каждый ковырялся в моей первой повести “Одиноким полёт”, высказывая свое категорическое суждение, стоит ли мне вообще заниматься литературой или бросить это дело сразу. Свою первую повесть я переписывал одиннадцать раз, пока один добрый человек не посоветовал бросить возиться с “Одиноким полётом” и сесть за новую вещь.

Был ещё разговор с московской театральной критикессой, которая предлагала убрать всю канву по присоединению Амура и написать театральную новеллу о последних днях жизни Иннокентия. Размышляя над её предложением, я вспомнил последние слова Святителя: “От Господа стопы человеку исправляются”. “А от бесполезной беготни — стираются”, — с грустью добавил я про себя.

За время, что я провёл, работая над пьесой, мне открылся совсем не ведомый мир, о котором я и не подозревал. Люди из прошлого напомнили о своём былом присутствии на земле, заговорили, протянули мне руку. Я понял, что жизнь не прерывается, она продолжается в ином качестве и в другом измерении. И если мы, допустим, решили сплавиться по Амуру, то должны помнить, кто из наших предков первым ступил на его берега. Больше всего меня согрело, что пьесу читал владыка и благословил её. Он как бы подал знак от самого святителя, мол, не кручинься, иди и работай; рано или поздно зрители всё равно увидят её на сцене.

Перед тем как улететь в Москву, я договорился о встрече с Валею. Мы встретились возле памятника Вампилову и под монотонный шум дождя пошли в театральное кафе. Там буфетчицей работала ещё одна бывшая стюардесса — Эля Хабибуллина. Несколько лет назад меня пригласили сюда бывшие коллеги из службы бортпроводников. Разговор для меня получился непростым. Бортпроводники возмущались, что государство обошлось с ними несправедливо, поскольку при начислении пенсий они не попали в категорию кабинного экипажа и по сравнению с лётчиками не имели даже крохотной надбавки. Разговор не клеился, передо мною сидели постаревшие, обзолённые женщины, которые получили возможность выкрикнуть все свои обиды на власть своему бывшему коллеге, который, оформив льготную лётную пенсию, взял и укатил в Москву. Нет, это были уже не те милые стюардессы, которые обычно с улыбкой встречали меня у самолёта. В голове всё время вертелся мотив песенки про Солоху:

*Пилоты не похожи на чертей,  
Хотя, как черти, по ночам летают,  
А наши стюардессы, вот ей-ей,  
Порой на ведьм похожими бывают!*

— Так вы сами голосовали за эту власть, какие претензии ко мне? — пытаюсь утихомирить бывших стюардесс, говорил я. — Вы ругаете меня, который, возможно, единственный, кто в Думе пытается помочь вам.

— И какой толк! — вскричала Хабибуллина. — На выборах я голосовала за тебя, больше не буду.

По сути, шёл разговор немого со слепыми. Моим бывшим подружкам хотелось сделать мне побольнее, и самые веские аргументы на них не действовали. Выходило, виноваты все: власть, депутаты, руководство авиацией. Только пожаловаться им, бедным, некому. Вот и попался я им под руку. “Всё верно, жизнь — театр”, — вспоминал я Шекспира.

И вот новая встреча все в том же театральном кафе. Здесь, судя по всему, Валя была своим человеком, она подошла к Хабибуллиной, о чём-то поговорила, затем показала мне глазами, чтобы я занял столик в углу.

— Ну, как там, в Москве? — спросила Валя через пару минут, усаживаясь рядом за столик. Я вспомнил, что на той встрече с бывшими бортпроводницами её не было, но, судя по всему, детали разговора она знала.

— Многим кажется, что там для нас всё намазано маслом, — пошутил я. — Это далеко не так.

— Да я всё понимаю, — сказала Валя. — Провинция недолюбливает москвичей, но если представится такая возможность, поползут туда на карачках. Вернёмся, как говориться, к твоим делам. Скажу прямо, директор ставить пьесу не будет. Сделает всё, чтобы затянуть, а там или ишак сдохнет, или падишах умрёт.

В это время к нам подошла Хабибуллина. Она накрыла столик и, прежде чем отойти за барную стойку, с ехидцей в голосе задала привычный вопрос:

— Что-то вам не сидится в Москвах?

— Да вот на родину тянет, — в тон ей с улыбкой ответил я. — Ничего поделать не могу. Где я в столицах смогу встретиться и поговорить с теми, с кем мёрз на Северах, кто согрел нас чаем.

— Ничего хорошего здесь нет, — с какой-то брезгливостью в голосе сказала Эля. — Так, одна мышьяная возня и пьянство.

Она отошла на своё место. Что ж, у буфетчицы имелось собственное представление о качестве и смысле жизни в провинции. Но настроение мне она не испортила. Я, глядя на её сжатые губы, решил: зачем жду подвоха, расстегну-ка я на пиджаке все пуговицы и постараюсь быть тем, кем был раньше, поскольку присутствие рядом со мною Вали подсказывало, что не всё так уж и плохо в нашем городе и в моей жизни и что здесь, рядом с нею, можно говорить всё, что думаешь и ощущаешь.

— Да плюнь ты на наш театр и поищи возможность постановки в другом месте, — сказала Валя, когда я вернулся за столик. — Ну, так сложилось! Освободись от иллюзий. Продолжай работать и думать, как сделать пьесу лучше. А потом ты ещё спасибо скажешь моему директору, что не распахнул по первому звонку ворота, что дал возможность ближе и полнее познакомиться с Иннокентием.

Что ж, мои размышления нашли реальное подтверждение. Валя протягивала мне нить, чтобы я выбрался из театрального лабиринта. В нём мой самолёт был уже давно в воздухе, но где он приземлится, куда лететь, я не знал. Помнится, обучая меня лётному делу, инструктора говорили, что движение порождает сопротивление и что опираться можно только на то, что стоит твёрдо, что держит крыло в полёте. Бежать по болоту непросто. Но никто не брал передо мною обязательств мостить по нему дорожку. Мости и преодолевай сам.

— В нашем городе есть ещё два театра; один — народный, другой — театр юного зрителя. Кстати, они ежегодно проводят Иннокентьевские чтения. Может, попробовать там, — вслух размышляла Валя. — Есть ещё театр в Омске, “Галёрка”, там все выпускники нашего театрального училища. Всегда должен быть выбор.

— Губернатор, тот, который строит деревянный квартал, предлагал поставить пьесу в родном ему Петербурге. Но я отказался, мне хотелось в нашей драме, — сказал я. — По пьесе все действия проходят в нашем городе. Здесь даже когда-то ворота в честь присоединения Амура стояли.

— Где они сейчас? Разломали! Кто ещё помнит здесь о подвиге Невельского? Или твоего святого? А вот в Благовещенске стоит памятник Иннокентию, во Владивостоке — Муравьёву-Амурскому. В Николаеве-на-Амуре — Невельскому. А что у нас? Даже улицу Амурскую — и ту переименовали. Вычистили всё под корень. А ведь присоединение Амура задумывалось именно здесь, в нашем городе. Чем бы сейчас без него был наш Дальний Восток?

— То-то и плохо, что не помнят, — сказал я. — Если ты не возражаешь, я пойду, закажу у Эли коньяку. Вспомним, что было забыто, и начнём, как мы раньше говорили, делать погоду. А то этот дождь совсем ошалел.

— Я за все заплатила, — вдруг сообщила мне Валя. И, как бы извиняясь, добавила: — Решила потратить тот неожиданный гонорар, который упал мне с неба. Ты не возражаешь?

— Нет, и если у меня нет денег на постановку пьесы, то на ужин найдётся.

Я встал и пошёл к Хабибуллиной.

— Не суетись, — усмехнувшись, сказала Эля. — За всё уплачено.

— Тогда, если не затруднит, принеси, милая, бутылку хорошего вина или коньяка и коробку конфет, — попросил я Хабибуллину.

— Нет проблем, — улыбувшись в пол-лица, сказала Эля. — Сделаем. Успокоенный её услужливым тоном, я вернулся за столик.

— Сибиряки, они настырные, — весёлыми глазами встретила меня Валя.

— А ты что, не сибирячка?

— Нет, я хохлушка, меня маленькую привезли сюда их Харькова. Знаешь, почему я пошла работать в театр? Моя дочь Катя учится в Москве, в “Щуке”. Получается, теперь у нас театральная семья.

Раздался звонок на мобильный Вали.

— Да, да мы здесь! — засияв лицом, громко заговорила она. — Сидим в кафе у Эли. — Спрятав мобильный в сумочку, сверкнула на меня глазками: — Тебе будет сюрприз. Моя дочь захотела познакомиться с автором пьесы, который когда-то давал провозку её маме по Северам.

Через пару минут в кафе с шумом, как и полагается воспитанным дамам, вошли женщины. Впереди всех, отмеряя метры своими высокими каблуками, шла бывшая бортпроводница Инга Цыкун, худая, нескладная, как я успел определить, одетая по самой последней китайской моде с Шанхайки. Я уже знал, что она работает у Минотавра билетным кассиром. Помнится, её многие в авиации побаивались. Была она человеком простым и прямолинейным и при случае резала правду-матку в глаза.

— Ей бы обслуживать грузовые составы, — бывало, подшучивали лётчики. На своих каблуках она смотрела на мир почти с двухметровой высоты, и, видимо, ей это доставляло особое удовольствие. Держась рядом, где-то под рукой, семеня маленькая полненькая хохотушка с нарисованным во всё лицо ртом. “Ритка-Пончик” — вспомнил я её прозвище. Замыкала шествие молоденькая, красивая девушка, в которой я признал Валину дочь.

— Все в сборе, можно проводить послеполётный разбор. — Я решил сразу же взять инициативу в свои руки. Но не тут-то было. Та власть, которая была у меня над ними в прежние времена, уже давно улеглась на покой.

— Вот ещё чо надумал! — закричала Цыкун, растопырив руки для объятий, очутившись от меня на досягаемом расстоянии. — Никаких разборов, никаких совещаний! Будем гулять!

Не успел я опомниться, как бывшие стюардессы обцеловали меня, затем стали аккуратно реставрировать моё попорченное временем и театральными переживаниями лицо, очищая его салфетками от губной помады.

— Ты что, командир, залетел в эту долбаную Москву и глаз не кажешь! Только по телевизору и видим. Ну, мы люди негордые, хорошее помним. Вали сказала, что ты здесь революцию готовишь или, наоборот, решил всех научить святости. Вот мы и решили узнать суть твоего нынешнего понимания жизни и, если потребуется, помочь.

— Даже помочь? — Я оглянулся на Валию. Та сделала вид, что она здесь ни при чём, и, прервав наш разговор, радостно сообщила:

— А это Катя, моя дочь!

— А я вас представляла другим, — сказала Катя.

Голос у Кати оказался ровным, хорошим. Мне в ней приглянулось всё. Глядя на неё, я вспомнил Валию, которая впервые пришла на рейс, чтобы лететь со мной в Якутск.

— Так какие у нас проблемы? — прямо в лоб спросила меня Инга. — Обижают?

— Это меня-то обидеть! — возмутился я.

— Обидеть можно каждого. Ты нам расскажи, авось, и мы лишними не будем.

— Минутку!

Я встал, подошёл к барной стойке и заказал для вновь прибывших закуску и выпивку.

— Вы знаете, я прочитала вашу пьесу, — сказала Катя, когда я вернулся за стол. — Если вы позволите, я скопирую её. Вы не обидитесь?

— Почему я должен обижаться?

— Так вот, я покажу её в Москве нашему руководителю. — Она назвала фамилию довольно известного театрального деятеля. — Возможно, мы постараемся на курсе попробовать поставить.

— Вы мне покажите человека, который бы отказался от такого предложения, — засмеялся я.

— Кстати, твой директор живёт со мной рядом в Шаманке! — вдруг сообщила Инга. — Иногда просит, когда надолго уезжает, чтобы я покормила его собак. Они у него злые, года два назад чуть местных ребят не загрызли. Теперь я ночью буду проходить мимо его дома и кричать в трубу страшным голосом: “Почему не ставишь пьесу?!” Только ты скажи, хорошая она или плохая? — Инга забросила ногу на ногу. — Может, возьмёшь нас, и мы сыграем её? Не в театре, а здесь, в этом кафе. Соберём наших, пригласим актёров, может, чему-то они и у нас научатся. Мы девки ещё хоть куда!

Ингу после коньяка понесло, я видел, что все посетители кафе смотрят в нашу сторону.



— Недавно наш директор стал руководителем “Народного фронта”, — сообщила Валя. — Говорят, на съезде встречался с самим президентом.

— Вот и обратитесь к нему, — сказал я. — Пусть попросит президента прибавить вам пенсию.

— Держи карман шире, — засмеялась Инга. — Многим кажется, что у нашего царя всегда под рукой мешок с золотой крупой. Только попроси, он тут же сколько надо отсыплет. Держи карман шире. А с нашим директором я всё рано поговорю. Пусть он собак не спускает. Когда встречаюсь — хороший мужик. Воспитанный, культурный. Но попробуй тронь! Мне кажется, у него на месте причёски появляются рога. Говорят, от него после постановки пьесы один автор даже сбежал в Канаду.

Я смотрел на её разгорячённое лицо и сделал для себя вывод: пьесу подружки не читали, но представление о ней уже имели. И реакция была простой и понятной — наших быют. Меня это порадовало. Оказывается, не все готовы ругать меня за доставшуюся им маленькую пенсию. Я поймал себя на том, что благодарен своим бывшим подружкам даже за вот такую солидарность, напомнившую то далёкое время, когда мы, собравшись возле телевизора, коротали время в лётных профилакториях Нюрбы, Тикси или Якутска.

Из кафе мы уходили уже одной командой. Под моросящий дождь даже пытался петь строки из песни про Солоху-бортпроводницу.

— Ушла на пенсию Солоха, говорят, — во весь голос кричала Инга.

— Врачи Вакулу начисто списали, — в тон ей подпевал я.

Много ли человеку надо? Посидели, поговорили и вроде бы решили все проблемы. Ворота, если они есть, всё равно откроются. Даже если они подперты изнутри кольями.

Особенно меня позабавило предложение Инги кричать в трубу Минотавру. Это было революционное предложение. Я представил, на какую высоту поднялось бы театральное дело, если бы за него взялись бывшие стюардессы. Мне бы встретить их пораньше, тогда бы не пришлось поднимать в воздух алтайского режиссёра, чтобы пробивать брешь в стоящих предо мною воротах. Что ни говори — каждый бомбит цель по-своему.

Я улетел в Москву и на какое-то время забыл о пьесе.

А потом был неожиданный телефонный звонок от директора молодёжного театра Олега Слесарева с просьбой прислать пьесу. Нетрудно догадаться — звонок организовала Валя. Я послал. За последнее время Валя стала для меня самым близким человеком, моё московское утро начиналось со звонка ей; вечером, перед тем, как заснуть, я снова звонил ей. И всегда в трубке раздавался её спокойный уверенный голос, мол, не беспокойся, всё будет хорошо, вскоре всё тронется с места. При этом о пьесе она не вспоминала. И я понимал, что делает она это сознательно.

С Минотавром мне довелось встретиться в столичном театре. Быстро пролетел год, и он вновь привёз на столичную сцену в Художественный театр имени Чехова пьесу сибирского классика “Ещё не время”. Про себя я решил, что нужно обязательно посмотреть её. У автора пьесы было чему поучиться.

Стояла пасхальная неделя. Над Москвой то в одном, то в другом месте, наполняя собой небо, нарастал колокольный звон. Он не обращал внимания на шум спящих машин, вбирая в себя все горести, заботы и печали всех, кто мог и умел слышать этот перезвон, который радостно плыл над домами, улицами, затенёнными окнами. В эти праздничные дни каждый прихожанин мог забраться на колокольню и присоединиться к таким же, как и они, подетски любящим медный державный звук, который, обволакивая, проникал в каждого, обещая весеннюю чистоту, тепло и долгую, спокойную жизнь, которая только нарождалась и которой пели свою песнь колокола. Звучавшая медь как бы на время соединяла и примиряла всех, выправляя и успокаивая приобщившиеся за долгую зиму души.

С Минотавром мы столкнулись в дверях театра. Звон столичных колоколов его не трогал. Он прошёл мимо, даже не кивнув. Через минуту я понял причину его сосредоточенности; директор спешил припасть к плечу нового губернатора, который, пользуясь случаем, решил посетить московскую сцену.

“Неужели Инга всё же говорила с Минотавром, — мелькнуло у меня в голове. — Зачем? Чтобы ещё раз утвердить, как говорил сам директор, что война обрывает связи? А там одно правило: от уважения до ненависти один шаг. Инга права, хорошему актёру подвластно многое: он должен уметь, как в закупоренном сосуде, держать свои чувства и намерения. И говорить на людях только то, что требуется по тексту. Главное — сохранить лицо”, — думал я, поглядывая на отглаженного, озабоченного директора театра. Иногда отсутствие намерений говорит красноречивее любого объяснения. Раньше, встретив меня, он начал бы говорить привычное: старик, не время, вещь слаба. И при этом неизменное, годами отработанное припадание головой к плечу собеседника.

И всё же надо отдать ему должное: кое-чему можно поучиться и у него. Свой хлеб директор ел не зря. У него было обострённое чувство сцены, неважно, где в этот момент она находилась: в фойе, на улице, в кабинете у высокого начальства. Здесь ему одновременно приходилось быть актёром, режиссёром-постановщиком, конферансье, держать в руках все нити, чтобы всё шло по намеченному плану. У него не было случайных людей, всё продумано и отрепетировано заранее. На столичную постановку пьесы “Ещё не время” были приглашены известные критики, которые должны были написать необходимые рецензии, столичные актёры, режиссёры, депутаты; всё укладывалось в отработанный и продуманный сценарий. И даже билеты распространялись по отработанной схеме. Директор не любил слово “авось”.

Какая свадьба без генерала! Минотавр привёз в театр приболевшего автора пьесы, призванного своим присутствием придать законченность всему действию. Он стоял рядом с губернатором, поседевший и постаревший, точно прикованный к обозначенному месту цепью, молчаливо и устало поглядывал на театральную суету. Чуть поодаль, в своей неизменной форменной чёрной без ворота тужурке, за автора уже вещал на камеру, похожий на поседевшего семинариста златоуст Комбатов, чуть поодаль готовилась сказать своё слово Коклюшева. Все были на месте, каждый знал, для чего он присутствует здесь.

Раньше мне уже не раз приходилось смотреть пьесу, в ней я знал каждую реплику, каждое слово. Я вспомнил, что первоначально она была повестью, затем для театра автор сделал инсценировку. Несколько лет назад директор уже привозил её на Международный театральный фестиваль и получил одну из главных премий.

Я ещё раз посмотрел спектакль уважаемого всей Россией классика, пытаюсь разгадать, что же в ней такого, что заставляет плакать и переживать пришедших в театр зрителей. Да, она была хорошо поставлена главным режиссёром театра Папкиным. И привезённые актёры выложились — не каждый день приходится играть на столичной сцене.

Выступающий в качестве режиссёра постановки Папкин не стал предлагать автору взять в союзники потусторонние силы, на сцене актёры и зрители попали под чары вполне привычного для России зелёного змия, хмельными чарами которого были отравлена мужская половина персонажей пьесы, которые даже у кровати умирающей матери, не стесняясь, звенели стаканами.

Уже перед финальной сценой, стараясь не привлекать к себе внимания, я вышел из зала и двинулся к выходу. Краем глаза успел отметить: буфет уже готовился к фуршету, как было и заведено у Минотавра, на столы выставлялась привезённая байкальская водка, рыжики, омуль и сиги. Все просчитано и учтено, как дважды два.

Едва я ступил на брусчатку Камергерского переулка, как тут же нога по щиколотку провалилась в бегущий водяной поток. Сибирский дождь догнал меня и в столице, он с торопливой лёгкостью и настойчивостью смывал все следы, всю наносную пыль, которая имела свойство накапливаться в больших городах. Несмотря на дождь, колокола продолжали свой радостный перезвон, как бы повторяя пасхальное слово Иоанна Златоуста, который утверждал, что в эти часы щедрый владыка принимает и последнего, как первого, он и о последнем печётся, как о первом, и дела принимает, и все намерения приветствует, и деятельности любого человека отдаёт честь.

КОНСТАНТИН СМОРОДИН



А НЕБО ПЛАЧЕТ  
ТО ДОЖДЁМ, ТО СНЕГОМ...

\* \* \*

Чужой и тем, и этим.  
И мне они чужие,  
пока на белом свете  
живём. Пока — живые.  
А встретимся в посмертье  
и распахнём объятия,  
чумазые, как дети,  
обнимемся, как братья.  
Ведь там, за гранью тонкой,  
жизнь выглядит иначе, —  
в достатке славы звонкой,  
земли родной, тем паче.  
Скажу: “Прошу прощенья!”  
И он: “Прости мне тоже!”  
За всё нас ждёт “отмщенье”.  
Прости нас, грешных, Боже!

---

*СМОРОДИН Константин Владимирович родился в 1961 году в Первоуральске Свердловской области в семье музыкантов, раннее детство провел на Украине, затем семья переехала на родину матери в г. Саранск (Мордовия). Окончил Литературный институт им. Горького. Автор 5 книг стихов и 10 книг прозы и публицистики, написанных совместно с безвременно ушедшей супругой Анной Смородиной. Публиковался в журналах “Москва”, “Наш современник”, “Юность”, “Молодёжный журнал “Странник”, “Подъём”, “Вологодский Лад” и др. Лауреат нескольких всероссийских премий. Член СП СССР. Народный писатель Республики Мордовия (2014 г.).*

\* \* \*

Где-то там, далеко (раньше б я написал — за рекой)  
молодые: отец мой сидит, рядом — мать молодая,  
между ними бутуз в ползунках, белобрысый такой, —  
это я на том фото с надломленным краем.

Как-то странно глядят... словно смотрят с другой стороны...  
в городке заводском, где родился я, в Первоуральске.  
В том году наш Гагарин почти долетел до Луны...  
Снег пошёл в сентябре и смешались осенние краски.

\* \* \*

Печальные настали времена.  
Печальный снег лёг бархатной попоной.  
Печальный свет. Печальная стена.  
Печальный колокол звучит печальным звоном.

Передо мной — печальный город мой.  
Огней ночных печальные узоры.  
Пронизывает ветер ледяной  
полей окрестных снежные просторы.

Печальный лес колышется стеной.  
Печальной мглы колючая кольчуга.  
Печальный сон витает надо мной,  
и снежным морем вспыхивает вьюга.

Печальнее всего: в объятьях сна  
понять, что сон и явь — одно и то же,  
и как ныряльщик — ты — достал до дна.  
А дальше — что? Вдруг всплыть уже не сможешь?

Передо мной — печальная страна.  
Теней печальных — в небо вереница.  
В ладони — жемчуг, поднятый со дна,  
чуть светится...  
Мне это только снится?..

\* \* \*

Алмазы на стекле. День серый за окном,  
а небо плачет то дождём, то снегом.  
Вернулся странник в свой родимый дом  
и ослеплён в нём сохранённым светом.

Полмира он прошёл, распутал сто дорог,  
но ничего не оказалось лучше,  
чем старый дом, который всё сберёг  
на всякий случай.

И вот пришёл он на родной порог,  
негаданно-нежданно, без известий.  
Ушла куда-то мама... Сад продрог...  
Ключ от замка лежал на прежнем месте.

ВАСИЛИЙ КИЛЯКОВ



## ПОСЛЕДНИЕ

ПОВЕСТЬ\*

*Подвиг есть и в сраженьи,  
Подвиг есть и в борьбе;  
Высший подвиг в терпении,  
Любви и мольбе.*

(А.С. Хомяков).

**Объект**

Именно по безработице в стране, по опасению потерять и то место, которое я занимал, я терпел вовсе не безоглядно “все тяготы и лишения” службы и ждал. Ждал, когда же вернётся былая уверенность и стабильность. И забота о служивом, и порядок в государственных делах. Постперестроечный советский мир рухнул. Я ждал с тоской и надеждой — даже и не

---

*КИЛЯКОВ Василий Васильевич родился в 1960 году в Кирове. После окончания Московского политехникума работал мастером на заводе, служил в армии. Окончил Литературный институт (мастерская М. П. Лобанова). Публиковался в журналах “Литературная учёба”, “Наш современник”, “Новый мир”, “Огни Кузбасса”, “Октябрь”, “Подъём”, “Юность” и др. Лауреат Всероссийских литературных премий “Традиция” (1996), имени Б. Н. Полевого (1996), “Умное сердце” (2010), премии “Дойче Велле” (Берлин, 1992), отмечен за книгу “Посылка из Америки” — в номинации “Лучшая проза на русском языке 2019 года в Германии”, на Германском Международном конкурсе русскоязычных авторов “Лучшая книга года”, лауреат премии “Просвещение через книгу” Издательского Совета РИЦ (2019) и др. Владелец “Бронзового Витязя” (2019) Международного славянского литературного форума “Золотой Витязь”. Признан одним из лучших авторов журнала “Наш современник” 2020 года. Член Союза писателей России. Живёт в подмосковной Электростали.*

\* Журнальный вариант

на перемены уже, а хотя бы возвращения старого оболганного социализма, пусть не во всё... Скорое окончание безыдейного и бессмысленного бытия, когда долларова бумажка правит миром, было, казалось, так очевидно. “Девяностые на излёте”. И разве один только я, мучительно и до последнего, ждал в доставшем меня безденежье и унижении возвращения “империи” СССР. Ждал и не дождался. Тысячи офицеров разделённой по живому на части страны ждали в ту пору, терпели нищету, настоящие гонения, унижение и развязную травлю армии, но не увольнялись. Подрабатывали преподаванием, разгрузкой вагонов, чтобы прокормить семью, — пробавлялись, кто как и кто чем.

Усилием воли заставил однажды себя спохватиться и устыдиться перед прилавком какого-то третьеразрядного продмага — устыдиться того положения, до которого довёл себя и свою семью. Спыхватился на мысли той, что вот думаю и прикидываю: а стоит ли взять буханку хлеба и пакет молока, или можно дотянуть ещё несколько дней на чёрством хлебе и воде. И именно то, что я спыхватился от этой мысли и ужаснулся ей, и, памятуя о том, что у меня немалая семья, не сам я один живу, а значит, и не вправе решать за всех, голодать ли им вместе со мной, ради моих надежд и опасений. Не сказано ли и в Писании: “А кто о своих не печётся, тот хуже неверного”. И питать, и кормить их, “своих”, “паче, нежели свою плоть” — долг каждого. А затем уже — раздумья о стране, о будущем. И ненависть к “председателям по госимуществу”, продажным, разложившим, растерзавшим страну, — и это тоже должно быть “потом”. И презрение к партфункционерам, отдавшим победу партии, доверие народа — всё отдавшим очень легко, не за понюшку табака. И недоверие к ним — тоже потом, к тем из них, кто присягнул в поспешности новой власти, чикагским мальчишкам и “первому президенту”.

И всё ясней становилось, что ждать, в сущности, уже нечего. И понимали мы тогда, что вот и довели семьи свои до полной нищеты такой преданной службой-работой именно потому, что и опасение, и гордость сковали, точно цепями, способность действовать и мыслить... И нужно, как это ни высокопарно звучит, “идти вперёд с открытым забралом” и “приветствовать звоном щита” всё, пусть даже и гибель.

Именно такой строй мысли и толкнул в охрану. Так вот именно то, что я больше всего презирал в жизни, даже ненавидел, — именно это и стало и судьбой, и настоящей профессией. И вот — охранник, да ещё и личный. И всё с той же самой оперативной кобурой под мышкой, в которой плотно зажат по-прежнему пистолет. Но теперь уже не “макар”, а служебный ИЖ-71. Замена боевого ПМ на служебное оружие как бы даже подчёркивала нравственное и физическое поражение.

И вот уже не узнаю сам себя: всё ли это я тот же, бывший тяжелоатлет, полутяж, мечтавший о карьере Юрия Власова, и именно я ли тот и есть “феномен”, который должен укреплять и себя, и совесть свою всё тем же единственным убеждением, что и это тоже судьба. И эта охрана, она ведь только вдруг и кратковременно мгновенна, как жизнь-подёнка. Да и что постоянного вообще в этой жизни? Но что-то уже тогда подсказывало мне, что нет ничего более постоянного, чем временное...

Что-то говорила мне ещё тогда моя совесть. Напоминала, что многие даже и боевые офицеры, мои товарищи, которые и рекомендовали меня на эту новую “службу”, и они тоже терпят. Вынужденно и временно (это тоже понятно). И едва ли не все вынуждены терпеть. “Терпицы”. И “контора”, будто бы и она, сама контора (комитет), терпит, вся под властью коммерсов. Она, конечно, выберется и овладеет ситуацией, а пока отсылает для охраны кадровых офицеров и прапорщиков, и вполне официально к влиятельным и богатым “представителям бизнес-элиты”. Да и чины МВД мечтают о частнике, пусть и “авторитете”, “законнике”, лишь бы платил хорошо. Такое время: мутное, тревожное время девяностых.

В основном же ничего не изменилось, даже и антураж в кабинетах начальников охраны тот же, такой же, что был и в кабинетах советской “конторы”: на столе — обязательный бюст с кабинетным Феликсом Дзержинским

на бюро, выполненным в меди, появился разве вот ещё и фотопортрет “господина президента”. Вот и всё. Да ещё здание “госслужбы” из пасмурного серо-грязного, с крашеными стенами, казённого и сурового вида, мрачно-дикого цвета, сменилось теперь для меня на частный фасад, на ярко освещённый “офис” с подсветками-цветами на розовом фасаде концерна, да вот ещё — на голубые ели, посаженные вдоль забора и по периметру нового места “службы”. Да евроремонт по последней моде. И, глядя на это превращение великой вчера ещё державы в Золушку, не мог уложить в голове: у государства вдруг не стало средств, государство стало нищенкой. Все средства перекочевали к бизнесменам. И сказано твёрдо: “Пересмотра приватизации не будет”. Только вот в душе появились, свили гнездо мрачный неуют и дерзкое недовольство, которые и подсаживали, что дело ещё и в том, что каждый из нас с девяностых стал немного предателем и немного дезертиром, подчинившись вопиющей этой несправедливости. И каждый офицер причастен этой торговле, этим сребреникам, этой тоске и нищете. И от таких мыслей становилось тошно и горько, и совестно.

И да, не оттого ли и здесь, в этих офисах, было непривычно, особенно вначале, и бело, и чисто, среди жёлтой яркости коридоров царства той “бизнесвумен”, к которой меня привели и к которой я пришёл наниматься на службу. И платить тотчас обещали в десять раз больше, чем на госслужбе. Но служба ли ждала впереди на самом деле и в полном смысле слова? Или, быть может, ждала некая сделка, торговля будущим? И своим, и будущим детей и внуков... Где же это древнее, смешное теперь в своей архаике, то незблемое офицерское, дворянское, российское, эта твердыня духа: “Сабля — государю, кровь — Отечеству, а честь — никому”.

Внутренние упреки забывались, зашивались и заедались. И та ещё примета, что когда звенит в кармане, то разгибается спина, стала последним аргументом в выборе “за” и “против”. Именно то, что теперь я стану получать в иной день больше, чем получал в ФСО в целый месяц, что смогу наконец-то смотреть в глаза домашним, оправдывало и обеляло в собственных глазах окончательно.

Итак, вот он, новый руководитель, генеральный директор, а на деле — малограмотная “чесотка”, как именовала эту наглую бизнесвумен охрана, — “вип-персона”, вечно создающая из ничего, на пустом месте, проблемы, которые с таким напряжением, подключая все старые знакомства и связи, используя подкуп и убеждения, вынуждена была решать эта самая наша наскоро составленная группа — “безопасность”. Всё достоинство “вумен” в том лишь и состояло, что папа её — однопартиец и друг высокого, очень высокого ранга чиновника.

И вот, до полусуток не выходя из машины, приходилось развозить по делам этих “высокоохраняемых господ” с их бумагами, и их самих, и их родню, и друзей по точкам и тайным тёмным домам. Или сопровождать саму бизнесвумен в её вечных дефиле и шоппингах по бутикам, ресторанам с заветными заведениями или с салонами тату, пирсинга, по знакомым и знакомым знакомых. И тогда каждый принуждён был слушать и слышать, и вынужденно поддакивать её восторгам по поводу некоего Тимати или Николая Фоменко — с её же упоительными рассказами о жизни теле- и рок-звёзд или диджеев... Или актёров. Именно в эти времена актёры стали всем и во всём. Актёришки. Или о жизни “звёзд”, совсем недавно зазвездившихся толковала она, или отзвездивших очень рано и даже ушедших в расцвете сил. А иногда она останавливала вдруг свою милую трескотню и спрашивала: “А где мы видели те обои, такие чудесные, синенькие, веселенькие, итальянские?..” И приходилось мучительно припоминать, напоминать ей, где именно, вероятно, и когда мы могли видеть то-то и то-то.

А иногда, сразу и просто: необходимость командировки. На несколько дней и как-то вдруг. Час или два на сборы и для закупок самого необходимого, и тотчас же указание быть готовым к отправке на некие заимки охотхозяйства, куда-нибудь под лесистый Муром или под — бескрайнего воляжского и степного размаха — Нижний Новгород. Или под Златоглавую, с лобастыми великими храмами, Суздаль... И тогда где-нибудь под Большим

Болдино или на дороге “Золотого кольца”, среди намоленных храмов становилось ещё больней и тревожней на душе. “Так что же, — спрашивал я себя самого, — такой ли ты службы и жизни желал?” Или и ещё категоричнее: “А писатель-фронтовик пошёл бы в частную охрану? Или поэт-фронтовик?..”

Имя ей было — Люда, Люся. Но требовалось, чтобы её называли не иначе, как Маргарита. Она всё ещё миловидна и даже грациозна порой. Проворна и ловка в движениях, быстра на решения. Весьма сообразительна и сметлива. Но как-то всё в свою сторону, как-то всё по-звериному, даже по-крысиному: под себя и быстро-быстро. Реакция её мгновенна, но недалеко, недальновидна, и решения неприкрыто циничны. Вечно вздохмаченная, голос осип от постоянного курения неприкрыто циничны. Тембр слаб, а запах духов и дыма — эта смесь приторно-пахуча, узнаваема. И не потому ли летят эти окурки сигарет, один за другим, вылетают в окна машины недокуренные, оставляя в салоне возбуждающий запах некоего интима и тревоги, — не оттого ли, что счастья всё-таки нет? И от каждой какой-то давней забытой встречи, даже удачной сделки остаётся лишь печаль да бессмысленность.

Не знаю, отчего, то ли от запаха этих сигарет с пластмассовым угольным фильтром, что напоминает мне запах пудры учительницы из моего детства, то ли ещё отчего-то, но иногда пронизывает жалость к ней. Или только так кажется. Но несчастное бытие в богатстве и в достатке оставило отчётливую печать на всём её существе. И даже на её голосовых связках остаётся всё тот же табачный след глубокой печали несчастливца, впрочем, человека.

И, пожалуй, если бы она захотела спеть простую русскую песню, это получилось бы по-настоящему трогательно — так осип и сел её голос, такая сквозила прозрачная печаль, плохо скрываемая за напускным высокомерием. Тем более если бы спела она что-то протяжное, в манере и в репертуаре французских шансонье. Не знаю, почему приходили, приходят иногда такие мысли. В сущности, да, её жаль. Она не любит ни русских храмов, ни русских песен, ни частушек, не понимает Пушкина. У неё нет даже собственного подлинного имени, а значит, нет и святого покровителя, ангела-хранителя. Нет, по сути, ничего, что поддерживает на плаву простого русского человека, что связывает его с этой жизнью и страной.

Иногда, когда присутствует начальник службы безопасности, её предусмотрительно и в третьем лице вынуждены называть неопределённо и коротко, как выстрел дуплетом в небо: “Объект”. И этим всё сказано.

Объект охранять — не то чтобы тяжело, а порой просто мучительно — так непредсказуема она в поступках и замыслах, истинно обезьяна с гранатой. Говорит одно, думает другое, а делает третье. Или даже четвёртое. И при этом, пытаясь прикрывать истинные свои чувства неким флёром “великосветской” простоты и непринуждённости. Очень скоро за этой лёгкостью отношений чувствуешь натянутую тетиву недоверия и подозрительности. И как же изматывает эта скрытая подозрительность, недоверие ко всем и ко всему, к каждому. Несчастное создание никогда не читало ни Евангелия, ни Рубцова, а если читало, то ничто не трогало её, ни одной её струны. Она сплошь аппликация с Запада.

Бывший комитетчик, возглавивший это наше СБ, наловчился все вопросы и претензии от неё, даже самые серьёзные, переводить в шутку и тем ловко обороняться. И всё ему сходит с рук. Он обещает повысить чаевые (читай — зарплату) и сулит повышение по службе. Обещает отдельный кабинет и должность “замгенерального по связям”. Но всего этого можно ожидать только с улыбкой. И, наконец, он подарил мне свою охотничью “Сайгу”. Вынес ружьёцо любовно, в чехле, с торжествующей и тихой грустью, словно расставался с любимым существом, а не с трофеем. И пока “раздевал”-разбирал ружьёцо, внушал мне вместо поздравления с днём рождения статьи и обязанности, и ответственность по работе, опять-таки с шуткой, и тут же сообщил, что я вынужденно остаюсь на время вместо него. Это стало новостью:

— Теперь и на время именно ты отвечаешь за всё. От давления и количества атмосфер в камерах колёс её лимузина до сохранности всего того,



что находится в карманах, в её сумках, — всё и всегда должно быть в целости. И конечно, по безопасности посетителей. Сход-развал колёс и вся подноготная... О гостях и посетителях “Объекта” и обо всем ставь в известность меня. Кстати, похмелье шоферов вчерашнего дня по твоему недосмотру — тоже на твоей совести.

На днях мне показалась “наружка”, но этот факт я вынужден был оставить для себя во избежание лишнего шума. Следили не за “Объектом”, а за нами самими. Хотя, конечно, я предполагаю, что именно Маргарита-Люся-Луиза-“Объект” успела-таки насолить кому-то, и этот “кто-то” нанял слежку. Кто они, филистеры-филеры-топтуны или профессионалы? Смена машин по магистрали была хорошо организована.

Началось с того, что в одном из московских ночных казино у этой “волшебницы момента” выкрали шубку и борсетку с ключами от дачи. И это случилось как раз за неделю до угона её любимого автомобиля. А накануне угона неизвестные разбили стекло и выкрали с сиденья лот-сумку с её документами на аренду здания на юго-западе; холдинг переоборудован был из детского сада № 5 и вот теперь — перестроен во второй офис её филиала. Такова примета времени: всё против детей, но для... больших людей. Не оттого ли детей рождается всё меньше, а взрослых умирает всё больше. Убыль населения. И не помогают ни посулы “маткапитала”, ни достижения здравоохранения. Пускать детей в такой справедливый и внимательный мир, который расцветает пышным венком вокруг нас, пускать детей в эту жизнь желающих всё меньше...

Дела по расследованию этих краж развивались всё стремительнее, и хорошо, что сам я в это время был отправлен в Тюмень, а затем и в Нижневартовск нарочным. Я был отправлен с такой суммой в евро, за которую местные бандиты-нефтяники положили бы плашмя и надолго, прямо на взлётной полосе. Навсегда, быть может, положили бы. Ни секунды не задумываясь, и не только одного, а даже и всех провожавших меня фельдъегерей. Взвод положили бы. Конечно, с таким кошельком-подушкой, опломбированном в десяти местах, — едва ли не в течение трёх суток — вздремнуть не пришлось ни минуты. И лишь по возвращении я узнал, что “Лексус Эл-Икс”, угнанный у “Объекта”, уже в розыске.

Накануне вечером Марго, приехав на дачку, оставила автомобиль прямо во дворе и, поднявшись с очередным другом в мансарду, выключила свет. До утра свет уже не включался. Тогда-то и подломили дачку. Собаку усыпили в два счёта (хоть натаскивали на чужих два месяца). Братва легко перемахнула через забор, открыла ворота легче лёгкого и завела облюбованный “Лексус”. Затем — и бесшумной работы кадиллак-кабриолет. Обе машины “воспарили” по бескрайним просторам России или провалились, что ли, надо полагать, в преисподнюю.

Ввиду того, что во всё время этих событий я был послан нарочным с деньгами, всё происшедшее меня задело лишь по касательной, косвенно. Но и здесь из-за общих проблем пришлось напрягаться основательно, известное дело: лес рубят — щепки летят.

Обе головы службы внутренней безопасности — Лямпорт и Оялин — были уволены в один день. Жизнь многим в “ЗАО” как-то вдруг стала казаться невозможной, хоть прежде нравилась невероятно. Нравилась и эта забава — за два часа по звонку безопасности убирать подальше со двора офиса личные автомобили персонала: налоговики могли неправильно понять такое обилие дорогих лимузинов в небогатой, судя по отчётам, фирме. Было забавно видеть, как в открытые ворота стремительно вылетают иномарки всех цветов и размеров. Налоговая полиция, однако, никогда не обижалась и не возбуждалась, словно не видела и не замечала ни этой роскоши автомобилей, ни дороговизны приёма и угощений. И вот теперь, после возвращения из Тюмени, я и сам стал подумывать о покое, о жалкой, но честной зарплате и о глубоком спокойном долгом сне. Даже и просто об отдыхе. Хотя бы и временно, хотя бы и на месяц-полтора. Стал болезненно мечтать и лелеять надежды на святки с хорошей охотой, совершенно независимой, в полном одиночестве. Стал мечтать о писательском творчестве,

сумерками, в совершенной глуши... Об одиноком ужине и, что казалось слаще всего, о возможности разобраться-таки в накопленном ворохе рукописей, в собственных мыслях и чувствах. Мечталось о какой-то архимедовой точке опоры и отчёта. О том самом главном, что всё откладываем мы на многие годы, а получается нередко, что навсегда.

В сущности, я имел теперь право на эти мечты, заслужил их. И уж тем более — имел полное право на три отпуска за три года этакой преданной и недёлкой службы.

Три года тому назад я был возвращён по отзыву из отпуска, так и не добравшись до пыльного Адлера. Меня сорвали назад в столицу с южных берегов из-под Туансе. И что болезненной всего, без особой, как оказалось впоследствии, нужды. С тех пор все мои попытки повторить манёвр с отпуском пресекались в одно-два слова.

И вот этой зимой моя мечта о покое, о лесном снежном чертоге в глуши, об очарованной тишине в царстве-государстве, в своём “имении”, на природе в старом родовом доме, о лыжах, да вот ещё и о тоскующей по моим рукам и пока ещё не собранной “Сайге” (даже и не пристрелянной) — о том ружье, которое покоилось в смешном самодельном сейфе на ножках, привинченных к полу, — эта мечта наконец-то отбыть в места моего счастливого детства начала сбываться. Становилась всё необратимей, болезненней, навязчивей. Я мечтал о родной деревушке под Рязанью, где прошло моё детство, где окончена была начальная школа.

Дом в две связи остался от бабушки. Сколько было связано с этим домом! Память всегда приукрашивает прошлое. И засыпая, я видел цветные сны. Эта мечта-надежда выматывала до спазмов, до аритмии. Там, где-то далеко-далеко в прошлом, было всё ясно: и первая дружба, и первая любовь. И белые грибы, и купание. И вишня чёрной спелости сортов — “Владимирская” и алая — “Тургеневская”, и заводь с рачьими норами в родниковой речке среди ядовито-жёлтых кувшинок. Сквозная, прозрачная до косточек смородина — всё это было там, в дальнем детстве, в той стране-стороне, где пригнулась к земле от тяжести ягод и дождей вишня, чёрная, гибкая, с выкипевшей янтарной смолой на чёрных стволах. И там же, в детстве, остались навсегда и корзины белых грибов, радостно собранных, и сказочных уловов рыбалка со щуками и выюнами. И как забыть всё это?

Это было нечто подобное той аритмии-ностальгии, которая за три месяца вымотала меня когда-то в Германии, в Висбадене, куда (по местам Достоевского и по местам отдыха русских князей) я по случаю отправился по предложению Гёте-Института и языковых курсов... И на третьем месяце сбежал из этого кукольного чистенького и самодовольного городка: так заболел я тогда тоской по родине, по семье.

Богом определено каждому родиться именно там, где суждено и согдиться. И тот, кто уезжает, нарушает Божье установление. И чем дальше он уезжает от места своего рождения, тем в большей степени принуждён будет носить в сердце тоску по неисполненному о нём замыслу Творца. И вот такая же внезапная и острая боль-кручина стала всё чаще терзать, изводить и тормозить, и мучительно донимать... А как там, в деревне?

Деревня, в которой никого теперь уже не осталось: бабка с дедом давным-давно покинули этот мир, — деревня эта казалась теперь самым реальным, подлинным местом, именно и только тем местом, где имело смысл жить. Жизнь важна не ради самой только жизни — жизни растительной или животной, жизни-подарка. Жизни, “данной нам в ощущении”, в осознании, запахах и в замкнутой системе “раздражение — реакция”. А важна и необходима именно ради того процесса жизни, кипения её и переживаний, в которых созреваешь к Небу.

Именно так мне думалось. И именно так зрела и оживляла меня примером своим вишня в вишнёвых прохладных садах: не только ради чёрной спелости, а и ради той радости, которую поселяет она в сердце человеческое. Как радуют и ландыш, и подорожник. Именно так выпевали огромные боровики и бросали споры, и продолжались, и длились в этом сплетении своих корневых систем в единстве с деревом, с травой-муравой, с ежевичником, —

и в этом симбиозе солнечного бытия земли и неба тоже был великий Замысел о человеке. Именно так начертано было жить и мне, выполнить свою обязанность там, на родине, в деревне. И те, кто бежал в затхлые города, пусть даже и по весьма веским на то основаниям, казались противниками Замысла о себе. И хоть я и по-прежнему с иронией называл деревеньку барским своим именем, всё же и в шутке этой таилась такая бездна здоровой солнечной печали, той, что и не высказать.

То и дело в быстром сне проносились в живой памяти давние кряжистые, разодранные повдоль невероятной силой жизни великолепные вязы и тополя в снегу. И тальниковая речка в распадке, и ракета, и ива в три обхвата над прудом. И черёмуха в цвету, распростёртая, как снежная простыня, бьющаяся от ветра в низинах. Виделся внутреннему взору стрижовый глинистый бережок, крутой, точно срубленный огромным топором, страшным ударом. Земляной, изрытый непогодой и палыми, с вывороченными корнями вековыми соснами луг, и речные распадки со стрижиными норами-гнездами в жёлтых суглинистых недалёких оврагах. А у речки — палисад школы с пеньком-обрубком, торчащим вечным укором директору школы и ветеринару. Ветеринар по пьянке спилил на пару с плотником Алёшкой огромную красную рябину у школьного крыльца. “От неё только мусор, тут и паутина летит. Да гусеницы и бабочки”, — мотивировали оба свой подвиг со спиливанием и порубкой рябины. Мы же, ребятишки, так жалели эту курчавую густую величественную, как осенний пожар, рябину, так грустили о ней. И непонятно было нам, что такое гусеница-тут, и куда он идёт, этот тут, и откуда этот тутовый шелкопряд у нас, в срединной равнине русской. Этого, по правде, и сегодня невозможно понять: Россия же, не Китай.

Итак, два неиспользованных отпуска потрясли возможностями и той несказанной обещанной прелестью одиночества, творчества, переключивания записок с места на место в той живительной задумчивости, которая облагораживает душу и оживляет думы самые сокровенные. А пока ежедневно мучила до этого отпуска столица с её рампами афиш, с витринами хрустальнейшими “баккара”, хрустала, подсветок и прочей мишурой, такая привлекательная для “Объекта” и такая придурковатая бессмыслица для меня, с бесцётным размахом этих ярких щитов и плакатов. С отвратительно и ослепительно бегающими огнями взад и вперёд, и куда-то вверх, высь, к дьявольской матери, с улетающими огнями казино, с размазанными по снегу блёстками мёрзлых луж от засыпанных солью дорог, с сумасшедшей и какой-то павлиньей гордостью и при всём этом тусклой и особенной в эту сиротскую зиму навязчивостью. И вдруг — с пронзительной и окончательно страшной тоской, с предчувствием inferнальной тысячелетней бездны для всех и общего ощущения этого падения в общую пропасть.

Придерживая локтем служебный пугач в оперативной кобуре, выбрался на Тверской бульвар из вновь купленного автомобиля вместо угнанной машины — и вдруг ошалел от всей той сутолоки, от несмолкающего, какого-то похожего на шум морского прибоя шквала звуков, терзающего машинного воя, летящих ошмётков грязного снега, вони газа и бензина от ползущих сквозь пробки машин с включёнными фарами. Неукротимо несущихся вперёд с включёнными огнями, как трансмиссия. Опекушинский Пушкин грустно смотрел под ноги, стыдливо и покаянно в снежной своей ермолке... Именно в этот миг я твёрдо решил: в деревню. С сугробами. С зайцами-русаками. Кроме того, мой новый начальник что-то и вовсе в последние дни не внушал доверия. Даже напротив, внушал опасения на будущее. И что-то внутренне говорило, обещало мне новые события-перемены. Что-то предупреждало, что он — один из того именно типа людей, которые наподобие гончих, не оглядываясь, идут по раз и навсегда выбранному ими следу, ничего не видя и не слыша вокруг. И добиваются своих задач вне зависимости от нравственных устоев и систем. Они вне координат общества. Они вытаптывают поляны, в том числе и земляничные, не считаются с другими в этой жизни. И вот этот Валентин Валентинович Карнаухий как-то, на беду, попал в доверие “Объекта”. Прочно присел в её кабинете. И весьма основательно занялся делами, которые далеки были от безопасности.

Я вошёл с рапортом к “Объекту”. На столе стояла бутылка открытого “Хеннеси” и лежал шоколад. Прочитав со вниманием мой рапорт, он посоветовал:

— Зачем же так сразу — расчёт. Всё образуется.

— “Когда образуется всё, то и незачем жить”, — процитировал я, зная то болезненное обожание нашей бизнесвумен некоей поэтессы и её бывшего друга и мужа, которого она ставила выше Пушкина, — диссидентских стихов и кручёных поэтических кружев, которые и впрямь так легко спутать с истинной поэзией.

Он не понял, но она поняла и слегка кивнула. Он опять усмехнулся и вопросительно поглядел с поволокой в глаза “Объекту”. “Объект” опять сочувственно слегка кивнула головой и напомнила мне фамилию поэта, строчки из которого так цепко удержала моя память.

— Вот-вот... Отдохните и решите сами, — сказала она. — К вам по части охраны и доставки кэша у меня претензий нет и никогда не было.

Уже за дверями я подумал, что Валентин идёт по следу верно. И след Карнаухим выбран безошибочно. “Дичь” не уйдёт от него. “Объект” уже в хватких лапах и совершенно очарована им, как это бывало очень часто, всегда бывало с ней. Она легко очаровывалась новым. И эта влюблённость будет длиться месяц или даже два, смотря по обстоятельствам. А если в такой короткий срок он уже сумел настойчиво влезть в “субъективные отношения” и, по существу, даже и в управление фирмой, на этот раз двухмесячный период может продлиться и три месяца, и полгода. И тогда эта мысль: исчезнуть, испариться на месяц, два, три, а быть может, и совсем лечь на дно, на снег, под снег, закопаться, как те сектанты когда-то в Погановке под Пермью закопались в землю, ожидая конца света, — эта мечта и здесь открывала и подтверждала какую-то сермяжную подлинность и своевременность жаркой моей мечты — уехать.

Известно, что и животные, и сумасшедшие необычайно остро и ясно чувствуют надвигающуюся на них опасность, чувствуют трагедию и бунт стихий, возникающие отдалённо тайфуны или тайные и дальние признаки землетрясения. Этот факт давно установлен и в психиатрии имеет свой термин.

И вот я уже в поезде. Ехать далеко, за Рязань, не доезжая Тамбова. Моя тихая заводь — на границе с Тамбовской областью. Поезд идёт и останавливается, как ему вздумается, кланяется каждому столбу, каждому полустанку, но это уже не раздражает, а даже успокаивает. Каждое новое движение от любого полустанка радует, наполняет душу тишиной, торжественным и весёлым ожиданием. Бесконечно думается, когда глядишь на эти белёсые дальние поля с голыми лозинами, похожими на розы, торчащие из-под снега наружу и вверх, на завьюженные теперь горелые болота с сухими и тоже обгорелыми берёзами без вершин. Думается о прожитом. О смысле пережитого...

Я молча, сквозь брезент вещмешка трогаю уродливо-ладный приклад “Сайги” и засыпаю. Я ещё не знаю того пути, что придётся мне одолеть, того снежного бездорожья, того страшного чувства Богооставленности и тех минут счастья, боли и прелести, что ждут меня в родной деревне.

## Дом

Две старухи и старик — всё, что осталось от жителей Выселок. Святочные метели замели подворья, задичавшие сады, пенелища, заброшенные избы. На пустой заснеженной улице, криво, как пьяные, стоят опоры электропередачи. Линию уже и не разглядишь в кромешной зимней тьме: от многих опор криво и низко висят битые, белёсые, как кость в темноте, изоляторы. Провисли над непролазными сугробами, мотаются голые провода, схлёстываются при порывах снежного морозного ветра и так сыплют искрами, как будто в непроглядной черноте ночи по Выселкам летает сказочный Змей Горыныч. Замело колодцы, пути-дороги.

Из окна я вижу густую зыбкую сетку неутомонной вьюги. Гнетёт одиночество, холод сковывает движения, стынут руки. Я откладываю вечное перо, черновики, и мрачные думы накатывают волной: “Неужели так трудно

пишут все?” И в ответ мне снежная выюга сипит мрачным голосом: “Вс-се-се! Вс-с-се!”

На столе развалом — журналы, газеты, книги. Среди книг — художественная публицистика Хемингуэя “Старый газетчик пишет”. Я привёз эти советы мастера сюда из Москвы, которая кажется теперь далёкой, невозвратно-прошлой. Я решил поселиться здесь надолго, в будущем — навсегда, в доме умерших моих предков. И когда уезжал из Москвы, чувствовал, что другого выхода и нет у меня. И не только оттого, что обрыдла столица — город, где никогда и ни в чём нельзя быть уверенным, даже и в том, что сделанное тобой в настоящую минуту — и это по-настоящему верно, как ты полагаешь, — сделано по чести и необходимо. И тебе, и кому-то ещё. Город иллюзий и обмана. Где всем правит “Рок и Мир”. И если ты уверен в добре и утверждаешься в нём всеми силами души, то и тогда нельзя надеяться вполне и прямо: та ли это польза, которой ждёшь, и не во вред ли она, эта твоя польза, кому-то.

Зима под Рязанью ничуть не проще и не легче, чем на необжитой Аляске. И уж явно зима вряд ли лучшее время года для раздумий и созерцаний. Да и вообще, для жизни... Русская зима умеет крепко взять за бока...

Дядя Хэм на обложке книги — совсем старик. Он оброс серо-седой щетиной. Когда-то на эту фотографию смеющегося дяди Хэма в кепке, в свитере крупной вязки с широким горлом едва ли не молились, как на икону. Ему, бесстрашному писателю, завидовали и подражали. И вот этот портрет и у меня, и я тоже купился на отчаянную смелость и стремление к полной свободе этого искателя приключений. Борода его скрывает пятна меланомы. Он много терпел, воевал, был пять раз женат, рисковал выходить в открытый океан в самую стихию, участвовал в сафари на льва, да и много чего ещё было в его жизни. И всё, всё это — опыт стойкого духа, важный и для меня, особенно теперь. Опытном пренебрегать нельзя. Хэм никогда и ничего не делал против своей воли, а значит, и впрямь был свободен.

Моё время, как и время старика Хэма, оказалось не самым лёгким. Даже при том, что я не лез в передовые отряды на баррикады, не палил из пушек по своим согражданам, не радовался, как радовались воры и лавочники падению империи СССР и тому ещё, что вот наконец-то, с каждым выстрелом из танков по Дому Советов, уничтожается последнее препятствие к разграблению страны. Но ясно было, что испытания и потрясения ждут впереди немалые.

Старик с книжки, прищурившись, смотрит на меня открытым и пронизательным взглядом. В его знаменитом “Празднике, который всегда с тобой” я наткнулся на знакомые мне, застревающие в памяти фразы: “Будь я проклят, если напишу роман только ради того, чтобы обедать каждый день!” Я машинально выписал и эту фразу, сам не знаю зачем.

Меня волновало всё, что несёт в себе литература из тьмы времён в наши дни. Живо вспомнились истории, рассказанные моим дедом и бывальными людьми в этой избе, в нашей горнице — “с Богом не спорнице”, даже в святочные живые дни — в этой горнице на восток, такой холодной и мрачной. Что говорили, как страдали, как выживали и избавлялись от отчаяния, и рассказывая, и слушая друг друга. Надо вспомнить их сказания, надо сравнить пережитое и передуманное ими — с собой, со своей жизнью, со своим опытом. И унять, и вылечить больную душу. Листая записную книжку, я нашёл в ней высказывания американского писателя Доктору: “Литература несёт в себе мудрость, избавляющую от отчаяния. Она связывает настоящее с прошлым и зримое с незримым. Она дозирует страдания. Она говорит: чтобы и дальше существовать, мы должны вплести свою жизнь, самих себя в наши сказания. Она убеждает, что, если мы этого не сделаем, кто-то сделает это за нас”.

“Итак, — думал я той святочной ночью, — тебе надо написать первую настоящую фразу, фразу той рукописи, которая поможет тебе понять самого себя, укажет направление и, как знать, быть может, пособит не тебе одному, а и читателю. Ведь если уж и считать какое-то поколение потерянными, так это поколение никакое иное, а твоё поколение. Просто потому уже, что

такого предательства на единицу времени не знала, пожалуй, ни одна страна. Плотность этого предательства можно поименовать как физическую величину вроде Джоуля или Кюри. Или именем сатаниста Кроули — что, конечно, вернее. Утрачена связь времён и событий. И не только отцы и дети теперь разбиты, рассеяны. До абсурда мало людей даже среди верующих знает, что русский, прославленный во святых богатырь Илья Муромец, заступник сирых, вдов и детей, — лицо вовсе не вымышленное, а действительное имя. И мощи этого богатыря покоятся в Киево-Печерской лавре, в самом сердце Киева — матери городов русских. И при всём том мы дожили теперь и до времён явно последних, когда Киев — отдельно, Россия — отдельно.

“Понять и найти нить, связующую поколения”, — не много ли ты взял на себя? Ты ушёл из города, но и в деревне всё ещё не ко двору. Корни твои, твоих предков высохли здесь. Они не возродятся уже никогда, как не возродятся те поля, те гектары необозримых рязанских полей, сплошь заросших плотным березняком, их не поднимешь теперь, эти земли, ни в три, ни в четыре плуга. И при этом нам твердят с высоких трибун, что опять побит рекорд урожая за пятьдесят, а то и за последние сто лет. Как такое может быть? Ведь вся целина по России срединной — это даже и не целина уже, это сплошной дикий и дурной лес. Бесперспективная деревня теперь — едва ли не вся Россия. Это именно то, что называется “было и былём поросло”. Понять и найти что-то важное. Какую-то зацепку, тропу к истине: как случилось, как могло случиться так, что родины нет, не стало. Ведь не отняли же её. Необходимо найти ответ, уяснить...

Итак, надо написать первую настоящую фразу, найти звук, тональность, а за ней всё пойдёт само собой, как по маслу. И в эту святочную ночь фразы приходили, и я записывал их и вычёркивал. “У-у-и-и!” — надрывалась выюга, закручивая метельные веретёна-прялки, выдувая из моей головушки настоящие фразы, а в горнице уже трудно было сидеть за столом. Пальцы пишущей руки вдруг свела конвульсия и так дёрнула, что заморская ручка с замёрзшим гелем вдруг выстрелила пулей в стену, вылетела из напряжённой кисти в заиндевелый передний угол, к прабабкиной иконе Божьей Матери “Всех скорбящих радость” — иконе отчаявшихся и заблудших. Икона сияла радужным светом, сверкала снежными пылинками, играла живым радужным инеем. Подняв авторучку, я не мог оторваться от иконы, от светлого оклада и взгляда Её. Она казалась живой.

Часы-ходики с кукушкой, старые, с цепной передачей и подвязанными к цепи для прибавки веса гирь щипцами для колки орехов, отсчитали без четверти час. “Надо протопить грубку и лечь спать, авось утро вечера мудренее”, — подумалось мне в этот самый мёртвый час.

Сухие берёзовые дрова быстро разгорелись. В грубке загудело, завылло на разные голоса. Языки пламени весело заплясали. Сжимаи и разжимаи пальцы над огнём, лоя горстями пламя, как кудесник, и ворожа, и согреть ладони, руки, я сел на запятки валенок, подкладывая в грубку поленья дров. Берёста заярилась, заблестела, помедлила и вдруг, щёлкнув, заворочалась в огне, свернулась и развернулась в чёрный пергамент тех “рукописей, которые не горят”, которых множество, но которые уже не прочесть никогда и никому на этом свете — разве вот только булгаковскому Воланду, для которого, как известно, не было ни прошлого, ни настоящего.

А мы — народ Божий. И уж как горели рукописи по Руси и полыхали рукописи народа-то Божьего! И как теперь ещё горят. И будут гореть. Сколько писателей, мыслителей и поэтов ушли в небытие и безысходность совершенно безвестными. О них не расскажет никто и никогда. И если соцреализм называют сегодня безвременьем литературы, то наше время — не просто безвременье, а чёрная бездонная дыра.

Думы. С тлеющей чёрной берёсты да с полешек, осыпавшихся золотыми искрами-хлопьями, не отпускали, застряли в голове. Подсознание работало в поисках первой фразы, от которой — как от паруса ладья, тронется и поплывет. И сюжеты, и фабула приходили и уходили. События, люди, дела...

Горница наполнялась теплом. На единственной иконе таял иней, собирался в капли, ручейками скатывалась влага, как будто Божья Мать плакала,

печалилась обо мне и оставшихся в живых жителях разъехавшейся и вымершей деревеньки — старике и двух старушках. В сумятице чувств думалось: “Выживут ли старики этой святочной непроглядной морозной ночью? Протопила ли больная Акулина свою печку?”

Сняв шапку, полушубок и валенки, я улёгся на кровати покойного деда. Кирпичи нагрелись, и стало тепло, светло. Догорели дрова и в печи. И в отдушине грубки, и выше за потолком гудело и выло на разные голоса, вьюга не унималась. Дождавшись, когда догорят остатки мреющих угольков, я помешал кочергой в колоснике, выключил свет и лёг на кровать. В горнице стало черно, как в пропасти. Сон не приходил. Бессонница мучила и томила. Перед глазами проходили яркие, зримые образы; подсознание не затормозить. Я вставал, щёлкал выключателем, записывал на клочках бумаги фразы, произносил слова вслух, выключал свет и вновь укладывался. “Мать Божья, заступница! Помоги выжить в эту ночь!” — взмолился я внутренне и искренне перекрестился, как учила меня покойная бабушка — тремя большими твёрдыми раздельными крестами на передний угол с иконой. “Ты всегда помогала мне, Мать Божья, помоги и на этот раз. Выжить”.

### Явь и сон

Какое-то яркое забытьё, зримые осязаемые образы стояли-веяли надо мной. То будто бы приходила покойница-бабушка со свечой и молилась за мою грешную душу тайной, какой-то незаурядной, неканонической молитвой, что читала только она и которую я слышал от неё с раннего детства: “Защити, укрой Своей пеленой, ризой золотой. Сам Бог во дверях, Троица в ногах. Во всех углах, посреди двора три святителя стоят”.

Образы раннего детства чередой стали менять друг друга, толпились, отражаясь как бы в водной глади. И явление Богородицы пригрезилось мне, как тогда, в раннем детстве, радужное от мороза мощное видение... И детскими глазами — тогда (о чём никогда и никому я не рассказывал), в белом одеянии, с сиянием вокруг головы. Божья Мать. Этот незабвенный образ запомнил я бессознательно.

Было это так. Шёл мне пятый год от роду, и я заблудился. Пятилетний, ночевал я в лесу. В конце августа мужики собрались метать колхозные стога ржаной соломы. Я увязался за дедом. Он взял меня с собой, благо что копны стояли в полуверсте от Выселок. За оврагом, поросшим кустарником, тополя деревни скрылись из виду. Время было послеполуденное. Август стоял тёплый, солнечный, но уже с холодными вечерними и утренними зорями. Мужики метали стога, а я всё бегал, кувыркался в копнах. Простоволосый, босой, штанишки на помочах и красная рубашка в синюю клетку — вот и вся одежда, что на мне была. И никто не чуял беды, ни мужики, ни дед Терентий. А время уже приближалось к вечерней прохладе, и становилось всё свежее с каждым часом.

Кувыркаться надоело, залезать в копны и скатываться, сползать на ноги — тоже. Я пошёл к деду, сказал, что хочу домой. Дед вывел меня со стерни на тропу, приказал идти прямо и никуда не сворачивать. По тропе к дому я ловил кузнечиков, букашек, переползавших дорогу, искал орехи, которые давно уже сошли, облетели.

Тропинка по нашим оврагам было множество. И хотя до Выселок, повторяю, не больше полуверсты, иная тропинка увела меня совсем далеко в лесок, к Большому лесу. Он так и назывался Большим, потому что тянулся, что вдаль, что вширь, вёрст на пятьдесят до татарской деревни-аула Бастаново. Страшен он был оврагами бездонной крутизны, барсучьими норами по скатам этих оврагов. Волки и кабаны были там не редкость. Только к вечеру, когда солнце уже закатывалось за лес, я понял, что заблудился. Я пустился бежать и, как потом узнал, бежал в сторону от Выселок в глубь Большого. Внезапно наступили сумерки, и дорога, основательно взявшаяся травой, словно по ней давно не ездили, свернула в середину леса, а затем и вовсе юркнула влево и сошла на нет. И сразу стало холодно, скучно

и страшно. Чудились сказочные звери, за каждым кустом — волки. Лес огласился моим плачем, а на зов откликалось лишь эхо.

Наступила тьма, и в лесу уже ничего не было видно. Окоём потерялся в кронах огромных деревьев и в моих детских слезах. По-детски безнадежно нарыдавшись, я сгрёб сухие листья и лёг под дубом. Проснулся от холода. Мне почудился волчий вой.

То ли мне приснилось, то ли в моём детском воображении соединилась зримая когда-то икона с незримым образом, только страх и волнение сменилось вдруг нездешним каким-то покоем, теплом. И мало-помалу светлый образ Божьей Матери, в котором теплилось так много милого, материнского, утешил и убаюкал меня тогда, — словом, утром, когда нашли наши выселковские, я говорил, что мне не было холодно и что Божья Мать меня укрыла одеялом. От впечатлений, испуга я долго заикался, но потом заикание прошло без лечения. Остались только одни воспоминания и образ Матери Божьей. Видел я: яркий, но не слепящий, до белизны сладкий свет Богородицы, в одеждах тёмно-малиновых... Как если бы взять и смешать два цвета: небесной несказанной голубизны и тёмно-красного, кровавого. И чувствовало моё детское сердце эту чистую несказанную голубень (отенок синего) и тянулось к нему. А красный, цвет крови, и чего не знал я тогда, — свидетельствовал о том, что от Нее, чистейшей девы, заимствовал свою земную порфиру — и Плоть, и Кровь — Сам Сын Божий.

Поразили меня, да так и остались навечно в памяти три звезды на головном покрывале Матери Божьей. Вифлеемские звёзды “елочные” (как радостно, по-детски изумился я тогда) сияли на обоих плечах Её и на челе. Особенно почему-то близко и радостно запомнилась звезда на левом плече покрывала. Только успев изумиться блистательным звёздочкам, я детским чистым сердцем, духом разговаривая с Ней, посмел приблизиться, радуясь несказанно, что и это позволено мне, и с каждым шагом к Ней станвится теплей и спокойней.

Она была укрыта широкими одеждами, доходящими до самой земли, с узкими рукавами. Самим своим духом разговаривая, даже не мыслями, а помышлениями беседуя с Ней, я втайне удивлялся тому, как меняются цвета и прекрасные оттенки Её покрывала — от тёмно-синего до тёмно-зелёного и обратно. Сверху же лежала накидка, тоже широкая, и какая-то круглая, с достаточным, но не до ключиц, прорезом посередине, чтобы прошла голова. Края накидки около шеи как бы обшиты широкой каймой. И эта верхняя широкая одежда спускалась поверх, по длине, ниже колен. На голове Её был лёгкий плат, подбирающий и закрывающий волосы, поверх него надето ещё одно покрывало, с живыми, как мне тогда показалось, птицами, звучащими чудным щебетом. Покрывало это, тоже круглое, разрезанное по центру спереди, с прорезом для лица, всё жило и колебалось, как бы от ветра, но того ветра, которого я не чувствовал. И никогда в жизни ни до той детской встречи, ни после мне не дышалось так легко и так спокойно, как в те великие минуты.

Я вспомнил, что я в лесу и совершенно один, только утром, когда надо мной взошло уже негреющее утреннее осеннее солнце; стал отходить иней на водянистой бруснике и седых прядях травы под огромными деревьями, где угнездился я. Я пытался вспомнить и вспоминал некоторые подробности этой дивной встречи в лесу, пробовал рисовать этот Её образ. И всякий раз неуловимо, тонко терял нить и направление мысли, всякий раз... Вот и теперь не получалось картины словами — едва начинал я свою повесть, я записывал не так и не то.

От табака, от страшной какой-то келейной пустоты обострилась нервность и чувствительность. События с далёкими картинками детства и юности стали видеться ещё ясней и зримей, и что-то связывало их, какая-то значительная мысль, канва, которую я никак не мог зацепить, поймать. А это казалось совершенно необходимым.

А в печной трубе выло на разные голоса. Вьюга не унималась. Помешав в грубке кочергой, я опять выключил свет и закрыл отдушину. Угар ушёл. В горнице стало совсем тепло уютным недолгим теплом хлева. И только



на печке с осыпавшимся изразцом, в этом спасительном жарком пространстве между потолком и стеной я находил долгожданный покой.

Сон не приходил, бессонница мучила и томила. И опять я вставал в ночи, щёлкал выключателем, записывал и зачёркивал фразы, которые сами, казалось, находили меня, но путались, кружили и улетали, — и я записывал, зачёркивал, повторял их в голос, проговаривал вполслова. В муках тонкого сна, полусна-полуяви, пришло какое-то забытьё, яркое и удивительное, словно кто-то незримый, но явно присутствующий здесь и сейчас со мной, осенил святым крестом то, что лежало в бумагах и черновиках, и то, что я, наконец, смог записать утром в толстой амбарной жёлтой тяжёлой тетради. В муках этого сна забилося сердце, подхватило и понесло, наполняя душу страхом и радостью, восхищая меня и рая, унося всем существом куда-то туда, под звёзды, сквозь снежные вихри, и чем дальше, тем более восхищая. Печь, старая, с выюшкой полуприкрытой, будто ещё исторгала угар. Он вползал в комнату тонкой, ядовитой струёй. От него першило в горле, успокаивало спокойствием некоего психотропного яда, задёргивало меня флёром забытья, подобием той холодной вечности, из которой нет возврата, внушая равнодушие ко всему, ввергая то в холодное и бездеятельное смирение, то в испуг, вмораживало, как в крутой крупитчатый снег вмораживает замерзающего.

Ложный покой овладел душой, как овладевает душой отравы. И тут я вновь увидел Её, Одигитрию, точь-в-точь как в детстве. В диковинном одеянии, в ослепительном сиянии. Сияние лилось и согревало, и сладостный, нездешний покой охватывал всё существо моё, и страстно захотелось вдруг остановить этот миг навсегда, именно этот миг, потому что, как опять почувствовало сердце, ничего подобного и ничего более прекрасного я не способен узнать, увидеть.

“Ты звал меня?” — спросила Она, но не голосом, а одной мыслью, словно золотым колокольчиком, мыслью прекрасного звучания, и глаза Её смотрели светло и чисто. Я стал вглядываться. Она держала в руках Дитя в белой кисейной простыне, тоже сияющее, как снег в чистый солнечный полдень... “Ты призывал...” — звучал голос-мысль, или голос-сердце.

“Матерь Божья, Заступница всех скорбящих, — взмолился я, — заступись, помоги, помози...”

И тут — моя ли душа, я ли сам внутренне вменил себе в укор бегство из города от страшной, как казалось тогда, оскотиневшей жизни столицы, где живут не сердцем, но чревом. И вот затомилась душа уходящей с угаром печи жизнью, которую не вменял прежде ни во что, — затомилась несказанно. Нет, не так все просто и легко, даже когда и мыслится просто. Жизнь — дорогая штука.

И я стал рассказывать Ей, как думал поохотиться, поработать с черновиками, рукописями. А тут — снег, ветер, две старухи и старик — и больше ничего, ни единой живой души. Вот сижу и пишу историю доживания и гибели деревни. Родного мне с детства угла, последних жителей — Елизаветы, Акулины и деда Кузьмы. И о своих муках хочется написать: странно мне, не понимаю я, страдаю от этого, и хочется осмыслить прожитое, выписать. Хотел остаться, да не выжить здесь. Слишком запущено родительское жильё, дыры с палец в половицах разохшихся, и выюжит, и выюжит. И снег, холод, бескормье. Не знаю, доживу ли тут не то что до последней строчки романа, а и до отъезда хотя бы.

Я жаловался Ей, что сил больше нет терпеть, всё вопросы, вопросы. Родители мои всю жизнь проработали: мать — инженером, отец — учителем, а так и остались нищими, неизвестными людьми. И не они одни, а и вся Россия так, погребена в неведении. Отняты идеалы. Отнята и собственность, которую именовали народной. А сколько ради этой собственности и идеалов крови пролито! Гражданская — голод, Отечественная (но тогда людей объединяла общая судьба, высокие цели в борьбе с внешним врагом) — опять голод. Ложь и голод теперешних девятинах, чувство безысходности от художеств новоявленных исторических “нетерпеливцев”-прогрессистов... Молчат и терпят, Господь им судья, а мне больно видеть всё это.

И при той нищете, разделённости людской, эта Москва, забитая иномарками, казино, ресторанами, театрами с похабным репертуаром. И это на каждом шагу. Дети мои приносят мне и сами читают газеты, страшные по своему содержанию, с объявлениями “Оргии после полудня”, “Массаж эротический”, “Юноши”, “Девушки”, “Негритянки на любой вкус”, “Красавицы, выезд”... И телефоны, телефоны. И не только мои дети читают эти вкладыши к газетам, а и дети по всей России. Невиданные по скотству, пошлости и паскудству — эти газеты, журналы, фильмы, и несть им числа. И за эти души несмышлёных детей сколько куплено и прикуплено новых “лексусов”, “хаммеров”, “джипов”, дачек на Гавайях! Сколько уворовано русского — нерусями. И не поймёшь, кто виноват. Одни твердят, что всё творится по указке каких-то таинственных масонских лож. И всё будто бы намеренно делается. Давится в России и духовность на корню. Да и самих детей давят матери в чреве своём — восемь миллионов в год нерождённых! И всё это по плану сокращения численности, особенно в России. Другие подшучивают над “этакой конспирологией”. А живые, выжившие дети в большинстве несчастны. Почему? Мать Божья, объясни же мне, ведь больше пяти миллионов брошенных детишек по России. И до того уже дошло дело: твердят, что русских, скорчевавших великой ценой, страшной ценой в двадцать миллионов жизней фашизм, объявляют теперь в СМИ и самих фашистами. А в Германии, где я побывал, на столбах до самого Рейхстага висят обращения: “Немцы!..” И никто не смеет сорвать эти обращения. А ну-ка я напишу и налеплю в Москве нечто подобное на столбы: “Русские!..” и т. д. Не найдут ли меня, не привлекут ли по 282-й? Не смешно, не глупо, а страшно до скорби. Уехал, а не чувствую радости, творчество, о котором мечтал, разочаровывает.

Помнится, однажды под Новый год вышел пройтись. Кругом салюты из-за шестиметровых заборов, из усадеб и коттеджей “новых русских”. Озаряют небо. Шёл, да и шёл, а у станции эти салюты, тысячедолларовые, осветили мне три контейнера, а в них — и дети, и собаки подьедают объедки. И это Новый год! Детишки замерли. И то ли в испуге, то ли в восхищении задрали чумазные лица, смотрят на огненные букеты в чёрном небе, фейерверки стреляющие, трескучие, мерцающие... И везде при том некие правозащитники долдонят о свободе, созидании в России. О демократических традициях, и все — о созидании демократического пространства и неприкосновенности частной собственности — все об одном, все о том же. Но откуда взялась она, эта собственность, ставшая вдруг неприкосновенной? Почему она не была неприкосновенной и четверть века назад? Почему укравший кричит теперь, что он и именно он один украл вовремя и по праву, а другим у него украсть прав нет. Или не мои старики, не мои ли родители создавали, поднимали, возводили её, эту собственность? Да и саму страну после войны — не люди ли поднимали и подняли? И не эти ли деревенские старики, у которых чуть душа жива: Агулина, Елизавета, Кузьма, — не они ли кормили страну? И вот она, эта страна, и они — вновь чёрная кость?! И лишь редкие — один процент — стали избранными, костью белой, виннерами среди лузеров. Самим чёртом эта “белая” кость вызолочена. Мчится теперь эта кость в Давос или в Куршевель с малолетними девочками для развлечений. А где же теперь СССР, или — и наша Русь, Россия, кондовая, странноприимная, сердобольная Русь, или кончилась навсегда? Русь Ильина, Папанина, Гагарина — где она? Не замечают даже, что измарала себя и сама эта нерусская кость. И не по крови позорит она теперь страну, а по сути. И не только, и не одних только русских. Где же тут справедливость, где же, кажется, тут Бог, Который и есть само Солнце Правды? Насмотрелся — всего и не выскажешь. Зубы сточил, скрипя ими, на безумства глядя. Не могу больше. И вот ездит эта чёрная позлащённая вороватая кость по столице, а я кусаю губы в кровь и не понимаю, где же и как же Он, Бог-то, как же Он терпит всё это, или Он не видит? Тошно и стыдно. И сияет-сверкает огнями среди бедствия народного и разрухи эта странная, ложная бутафория, “лжеэлита”. Бред какой-то.

Я замолчал, а от Неё пришёл беззвучный ответ. Потерпи. Недолго уже осталось и народу терпеть. Пусть кто-то пропивает, по казино проматывает состояния, а кто-то капиталец сколачивает. А ты — душу береги. И только об этом одном и думай.

Одежды Её темнели, как бы наливаясь всё гуще кровью. Младенец на руках встрепенулся, показав пяточку, удивлённо оглянулся на меня.

И тут я вдруг почувствовал себя, ощутил свои руки-ноги и всё существо своё. Странно согрелся среди промёрзшей насквозь избы, при погасшей печке. Вовремя очнулся от угара печи, от дымного яда совсем уже остывших дров.

Чудом было и то, что в только что заиндевевшей избе стало так сухо, тепло и уютно. Волшебно, восхитительно. Так вспыхнула огнями и заиграла икона в углу, и всё озарилось вокруг Неё. Сами собой разгорались дрова в чреве печи, бросили золотые отсветы огней на иконы. Чувствуя слабость и головную боль и теперь уже понимая, что я счастливо избежал какого-то страшного удара от угарной грубки (и, быть может, даже чего-то самого страшного для неподготовленной души), я сел на кровать. Стараясь вспомнить сон, весь, до мельчайших, самых дорогих подробностей. Весь великий и таинственный разговор, и чувства радости, тревоги и тихой сокровенной тайны не отпускали меня до самого утра.

Сквозь мёрзлые, с наледью, стёкла окон сочился слабый робкий рассвет. Ветки яблонь и вишенника не качались, в трубе не выл ветер, и снегом не несло. Я прошёл в кухню — в умывальнике звенело льдом, сверху под крышкой плавало тонкое намёрзшее битое стекло льда. В ведрах на широкой лавке-конике застыла вода, затянута тонкой прозрачной слюдой; и мучительно было умываться ледяной водой перед умывальником над лоханью.

Как выжили в эту ночь старики? Все ли живы?

В багровом тревожном зареве, как в пожаре, вставало кроваво-розовое холодное солнце. Сквозь разрисованные мёрзлые стёкла проникал-пробивался ранний бледно-розовый свет, и на стёклах играли в этом таинственном свете замысловатые рисунки Деда Мороза. Я надел валенки, полушубок, шапку и вышел на улицу, чтобы полюбоваться этим ранним погожим утром, освежиться им, таким долгожданным и красочным — первым за всю святочную непогожую неделю.

Как только я открыл сенную дверь, вышел на крыльцо, в глазах зарыбило от яркого жёлто-розового света, нежной, свекольно подкрашенной белизны сугробов, подступавших к самому крыльцу, к окнам избы. Занесённое подворье, глухо похороненные под снегом сад, огород, улица — всё в снежном белом безмолвии, и бело-розовые кораллы деревьев в саду немо и волшебно замерли, словно ожидали чего-то, какого-то явления, ведомого только им. Неслышно и беззвучно опадая иней...

Вытащив из сенцев старые охотничьи лыжи, легко надев их, без палок я скорым шагом шёл, испытывая какую-то странную и непонятную мне печаль, опасение за жизнь стариков. Я направился к ним мимо оледенелых яблонь, в ветвях которых порхали серебряной пылью мельчайшие снежинки. Вышел на улицу — ни единого следа, ни звука, ни признака жизни никто не смог бы здесь отыскать даже самым пристальным взглядом, уловить чутким ухом.

Под лыжами повизгивал снег, и за огородами, обвалившимися дворами, крытыми ржавой жестью и шифером, — море снежных полей, полное безмолвие, как будто на необитаемом острове стояли брошенные избы, забытые Богом и людьми. Лыжи легко скользили по свежему насту, и от морозной свежести перехватывало дыхание.

В середине улицы — если только можно назвать улицей два порядка развалившихся изб — белело меньше высоких заносов, и идти было легче вдоль электролинии с косо стоявшими столбами. Низко висящие провода сверкали на солнце, и мне вспомнилась эта родная деревня в пору моего детства и юности: когда-то, — кажется, совсем недавно — избы стояли двумя ровными порядками, в середине — правление колхоза в рубленой избе, в одной связи, а в другой — магазин; на отлёте, в молодом саду, на краю кустарника,

присела на фасад школа — тоже рубленая, серая под щепой, с одной классной комнатой. Через коридор от класса — комната для учительницы. И в школе, и в правлении, и в избах угарно топились печи, кипела суетная жизнь, родственная избам, калошам, соломенным крышам далёкого прошлого. И верилось, что когда-то в избах вместо электричества жгли лучины, звенел медный колокольчик, объявляя начало урока или перемены.

### “Милая моя родина...”

В святочные морозные ночи, когда стояли трескучие морозы, как вчера, как и полвека назад, — словно бы крикали от стужи углы рубленых изб, а в кухне, в пристройки, в приделки и загородки из хлевов приносили в избу поросят-молочников, телят, ягнят, с квохтаньем гнали под печь кур, в угарных горницах, в чаду, в суете, вони — к матице за кольцо подвязывали зыбки на скрипучих верёвках. И качали младенцев. И до глубокой ночи кипела эта “жисть”, “растуды её туды...”, суетливый бранчливый быт, не изменившийся и в наши ультрасовременные дни разве только электрическими лампочками, да вот ещё лапти сошли на нет. А люди — люди какими были, такими и остались.

Лапти плели кочедыками старики — любители лапотного ремесла. И совсем забываемо такое же солнечное зимнее утро, когда я увидел своего однокашника в лаптях — не по нужде, а так, для форса. Кинулся я к своему деду за лаптями, хотя и не было по большому счёту в них нужды. И добился-таки своего, не без помощи бабки. “Босяк! — приказывала бабка деду. — Ай тебе внука не жалко? Долго ли сплести-то? Лыки я замочу, а ты сплети. Вот курил бы он и сидел бы на кровати, аки эмирский бухар какой. Да ты слышишь ай нет?” Так я выплакал лапти, какая радость!

А ещё клопы. Самые живучие насекомые, неистребимые и, как говорил мой дед, “несказамые”, — он ненавидел их всем существом. Глубокой ночью, когда в душных избах спали мужики, бабы, дети, поросята, ягнята, телята, — спали все и вся, дед вдруг начинал возиться, поднимал меня, кипятил воду на плите грубки, сгребал в кучу матрац, одеяла и начинал плескаться во все щели кипятком из ковша, ворча и ругаясь, вспоминая какое-то хорошее средство, которое не переводилось даже в фашистском плену, от этой нечисти.

— С-суки... — ругался дед.

А распаяясь, материл и наших русских отечественных учёных, которые и Гагарина в космос запускают, а всё не могут выдумать что-нибудь позабористее от этой нечисти, от этой заразы. Потом добирался до самого высокого начальства, придумавшего колхозы и “всю эту бытё”, растак его так. Как будто до колхозов не было ни клопов, ни тараканов, ни вшей, а “жисть” была раем земным, я именно так тогда и понимал деда.

Бранился дед с памятными “военнопленными” словами, фразеологизмами, похожими на заклинания, от комбинаций которых и ярости деда я, по малости своей, робел и цепенел, а он с ещё большим азартом гонял клопов, долго и с особым усердием. Зная заранее, что занятие это бесполезное и часа через два-три, как только в щелях высохнет вода, клопы и тараканы появятся вновь... — он это знал, но жажда мести неукротимо владела им. Бабка слезала с печи, приоткрывала дверь в горницу, выглядывала и стоном стонала: “Ой, ой! Все шпалеры, картинки оборвал на стене, все залил, угол и стену сгноил, окаянный, доходяга!” И дед злобно, как будто клопов развела бабка, зачерпывал ковш кипятка, рычал с дикостью затравленного зверя: “Цыц, сейчас и тебя ошпарю!” Бабку как ветром сдувало.

Любуясь солнечным светом, порхающими снежинками с высоких топей, шагал я, часто останавливаясь перед избами с заколоченными окнами, занесёнными пепелищами, дворами с провалившимися крышами, рухнувшими наземь, внутрь сруба. Вспоминались в лицах жители, умершие и сбежавшие, их уличные и подлинные фамилии, броские, отражавшие ту или иную черту характера, на удивление меткие, дошедшие из глубин времён: Скородумовы, Кривокорытовы, Липилкины, Чернобровкины — это “уличные”,

как бы записные, свои. А прозвища — ещё оригинальнее, прилипчивей: Конфетра, Копейка, Гундоска, Клебашка, Красота. А у мужской половины — Острая Макушка, Ноги Поперёк Дороги, Потри В Коленках, Сморок, Скворец.

А вот прямо передо мной за высокими полусгнившими тополями — остатки догнивающей избы в две связи, отчасти растасканной на дрова, давно умершего кузнеца по прозвищу “А Хлеб”. Он ясно и живо вспомнился мне: маленького росточка, с длинными и острыми рыжими усами, в дырявых валенках или разбитых сапогах. Походя, часто останавливался перед нашей избой, курил с дедом, и, когда уходил в свою кузницу, дед, глядя ему вслед, тихо говорил, как бы самому себе: “Усы — как у траканá”.

А Хлеб, он же дядя Андрей, с его многочисленным семейством, всю жизнь проработал за палочки, за трудодни. В кузнице он работал вместе с супругой, тучной и всегда весёлой. С ней, как шутил он сам, наострил, наклепал семерых детей, после его смерти разбежавшихся по городам. Тогда селянам было трудно, мучительно-голодно. Но деревня жила и боролась, теперь в этих снежных омётах, кажется, невозможно существование даже и самого духа русского. Все поля, засеваемые тогда гречей, подсолнечником, луком, картошкой, рожью, — всё заросло не то что бурьяном, а уже и березняком невообразимой густоты, так что отсюда, из деревни, поле похоже на занесенное снегом каменистое предгорье — так ровно и сумеречно лёг снег на березняки...

Дед рассказывал, что в те голодные времена, когда дядю Андрея звали работать в кузницу, он всегда спрашивал одно и то же: “А хлеб?” Очевидно, колом в голове кузнеца стоял этот вопрос, с языка не сходил. Так и прозвали его — А Хлеб.

— Ох уж тот хлеб! — невольно вырвалось у меня, когда я с отчаянной скорбью отвернулся от избы дяди Андрея, сроду не евшего хлеба вдосталь.

А теперь я и сам сижу без хлеба, и всё из-за непогоды, снежных заносов. Не так-то просто прорваться в центральную усадьбу, в сельмаг. Не возят сюда хлеб, да и нескоро привезут. Не принято в снежной России сегодня пробиваться на санях, не поедут — кинь на кон даже самую жизнь человеческую, душу, которая дороже целого мира. Раньше, в детстве моём, сани были одной из первых радостей: сани тракторные, сани в упряжь, санки-салазки, сани-розвальни, рохли и самогнутые... — стали анахронизмом. Давненько я не видывал саней по моей губернии, что тут скрывать. Забыто санное ремесло, как и множество других ремёсел.

Хлеб для России — нечто большее, чем просто хлеб. Какая-то мистическая тайна связывает нас и с иным хлебом, этим “телом Христа, за нас ломимым”. А как же обходятся месяцами без хлеба и даже без просфоры Акулина, Елизавета, Кузьма?

Хлеб, помнится, в детстве моём привозили в деревню на старой телеге, в ларе. Ларь огненно нагревался под солнцем. В этом металлическом коробе под замком он как бы ещё допекался, доходил до кондиции по дороге из пекарни. И вот в избах громко, радостно, суетливо-поспешно хватали мешки, считали деньги, вскрикивали, передавая соседям: “Хлеб привезли”. Этот ларь с горячим под солнцем хлебом, дымящимся на поддонах, которые хромой хлебозов так небрежно и грациозно вытаскивал гнутой кочергой из горячей тьмы короба-лара металлического, из тёмного жаркого схрона на свет Божий, — этот хлеб кроме всего, что сулил он: сытость под кружку молока или мёда, — был всё-таки не просто хлебом, а неким смыслом жизни, символом заботы о людях, о деревне, мостом отсюда — в центральную, в район. Хлеб везут — значит, помнят, думают.

Всякий раз, летом или зимой, осенью или весной, всегда и любого при виде этой единственной улицы одолеют самые мрачные мысли. Кажется, что по Выселкам прошёл мор, голод или чума. И кажутся пророческими в далёком детстве слышанные, а теперь пришедшие на память причитания нищей старухи. Она сидела на паперти и поминутно встряхивала огромной алюминиевой кружкой с милостыней. Кружка угрожающе гремела мелочью в подтверждение грозных слов старухи: “Будут глады и моры, и будет Всемирный потоп...”

И почему-то до содрогания живо представилась мне эта старуха, слепая, гнутая, с высоким, рогатым, как у колдуньи, батожком. Где это было? Ах, да! На святом колодце в селе Кошебеево. Бабка таскала меня туда на двенадцатые праздники за святой водой. И ещё на какой-то праздник, который она называла “девятой пятницей”, считая, верно, от Пасхи. Там, в Кошебеево, все ветки вѣтел вдоль источника были усыпаны навязанными белыми тряпочками, косынками. Народу — огромное множество. Все чаяли исцеления, достатка, работы. “Гляди-гляди, ягодка, — твердила мне бабка, — загляни на дно колодизя... Видишь ли что?” Я взглянул и отшатнулся: огромный крест с золотым отблеском лежал на дне. И потом я долго присматривался, не привязан ли этот крест где-нибудь сверху, не отблеск ли это, не тень ли подлинного, ловко припрятанного креста над криницей.

Ах, Бог с ней, со старухой! В такое-то весёлое, несказанно солнечное утро, первое за всю святочную неделю. И в такой красоте, радости и живом порхании снежинок, в этой сказочной быстроте, скачущей за мной собственной тенью, серым зайцем скачущей по сугробам, яблоням и пенькам, по голым стволам вишен, — вдруг настиг голос слепой старухи из прошлого. Звякнув внушительно кружкой, она закончила речитатив плакальщицы: “И земной шар повернётся, как больной в постели, и моря станут континентами”.

Я остановился, закурил сосредоточенно и с каким-то редким удовольствием посмотрел на снежное море полей за березняками, за огородами, на сияющее в морозной дымке мелколесье — с детства родное, незабываемое. Хотелось тотчас вернуться, взять ружьё и до вечера бродить по этому лесочку, вспомнить-отыскать все грибные места, поляны с черникой, малиной, встретиться с детством, которое у каждого — Божий дар.

### Кузьма Лукич

Справа, далеко за лесом, с северо-восточной стороны чернело тучами, вновь угрожало снежной вьюгой, а ближе и над Выселками стояли редкие высокие, пронзённые солнцем, слоистые, курчавые кучевые редкие облака.

Взяв за правило каждый день навещать стариков, я хотел было заехать к Акулине, но метрах в двадцати увидал деда Кузьму. Он расчищал дорожку к своему крылечку. Я подошёл, поздоровался.

— Чтой-то, малый, невесёлый у тебя вид, — заключил дед, свёртывая козью ножку. — Ай плохо спалось?

— Плохо спал. В полночь топил грубку, так, верно, рано закрыл отдушину, угорел.

— Я тебе хрен дам, тёркой натрёшь, самое что ни на есть лучшее средство от угара. Завтракал?

— Нет, не хочу. Да и нечем. Ни хлеба, ни сухарей. Придётся ехать в Дубровино, в сельмаг.

— Вместе поедem. Бог даст, доберёмся.

Дед Кузьма поставил лопату возле крыльца, долго и надсадно кашлял. Колодец, улицу занесло глубокими непроходимыми снегами. Против друг друга в два порядка стояли избы с заколоченными окнами, и мне вновь вспомнились деревенские жители, я сказал деду:

— Когда-то сорок два двора стояли в наших Выселках, а теперь пусто, как мор прошёл.

— Сорок пять изб было перед войной, — поправил меня дед Кузьма, — теперь — конец. Председатель так и сказал: как помрём мы, обе старухи и я — “святая троица”, — бульдозером снесёт, с землёй сравняет. Быльём зарастёт деревня. Мы и сейчас им, начальству-то, как бельмо в глазу, понимаем их: надо то, надо се. Хлеб, спички просим везти. Самим-то трудно добираться до сельмага. А у них свои дела, не до нас. Я как-то осенью зашёл к председателю колхоза, да, видно, в неугожий час попал. Он вытаращил на меня глаза, аж поджилки затряслись: “Ты зачем явился, киник! Вон отсюда!” Вот гад-то ползучий! Как печи новые в колхозных банях, двор надо делать — сам ко мне с бутылкой, бригаду мужиков наряжает

под руководством моим... А тут — “киник”. Обзывает. А кто это такой, киник, ты, малый, не знаешь случаем? Нет? Верно, плохо одеваюсь, лапти на моих ногах... Эх, и заело меня тогда, ведь это он при конторских этак меня покрывл. Уж лучше б матом, там хоть всё понятней, а то — “киник”! А я ему: “Я киник, а ты — кашепьян!” Даже слушать он меня не захотел. “Вон отсюда!”. Орать только и умеет, больше ничего.

— Что за кашепьян? — сдерживая смех, спросил я деда.

— А прозвали его так. Рыбалку больно любит. Постоянно живёт в городе, из Сонино приезжает руководить. На своём месте в конторе его трудно поймать. Всё лето с друзьями на реке, рыбу ловят да пьют. Рыбы, известно дело, давно уже нету, так они с друзьями кашу варят с выпивкой. Кашу вместо ухи. Их тут, этих предколхозов, меняют, как цыгане лошадей. И всё не наших, а городских присылают, кашепьянов. И этого скоро снимут. Чего гогочешь-то? Хм... Верно говорю... Кашепьяне... На безрыбье и каша — рыба, если с бутылкой-то... Да чего ты, малый, смеёшься все? Смешно ему, глянь-ко...

И нехорошо как будто смеяться, но не мог я сдержаться никак, а дед завёлся, трудно остановить:

— Приедет, попросит меня печи класть... Они все любители теперь баальшие до бань стали. Ба-альшие любители... И ты знаешь, даже в райцентре, в Дубровино — тоже, пишут на бане по-иностранному “Вип” да этих водят туда, девок молодых. Придёт-придёт. А то всё с бутылкой да с колбаской, всё Кузьма Лукич да Кузьма Лукич... До ручки колхоз добились, все пропили, гады ползучие. Реку отравили, а теперь на рыбалке вместо ухи — кашу варят да жрут.

— Как отравили?

— Да очень просто: удобрения отыскали какие-то в силосной яме, а удобрения там со времён застоя, тысяча лет в обед. Азотистые, что ли, или литра. Им теперь наплевать. Спросу-то нету. Теперь эта самая, как её... ну, президент всё повторяет... Она самая, вертикаль власти. Не с кого, то есть, спрашивать. Что хочу, то ворочу... Ну, эти и обрадовались, и давай сеять удобрения по-дурному. Дождиками смывало удобрения в реку, берега облысели. Трава, мать-и-мачеха, и та не растёт. Ядом пески пропитались. А и сеяли-то пьяные трактористы... Потом-то спохватились. Тут приезжали, разбирались, сыр-бор был, да какой! Ну, да ладно, всего не перескажешь. Было да больше поросло. Будем думать, как дальше доживать тут, в этих Выселках.

— До колхозов, говорят, лучше жили, до коллективизации.

— Лучше, конечно, — отвечал дед. — Но тоже не все. Кто не ленился, не пьянствовал, мужицкая сила в избе была, да лошадёнки, да скотинка водилась... Те жили хорошо. Землю по едокам давали. Клинья свои были, загонами назывались. Да и то из лаптей не вылезали, обувку-одевку жалели, как глаз, берегли. Но хлеб был, не голодовали до самых колхозов, до тридцать третьего года. А потом согнали в колхоз гуртом, а тут и тридцать второй, тридцать третий — два года засуха. Эх, и голод лютовал! Людоедство даже! Не у нас, правда, не в Выселках, а было, разговор ходил, помню... Меня как-то Бог миловал, вовремя убежал из колхоза.

— А до революции хорошо жили? Помню бабкину пригудку: “Был царь Николашка — была лапша и кашка”. Или: “Был Николашка-дурачок, при нём хлеб стоил пятачок, а потом — республика, хлеб по двадцать рубликов”.

— Ну, я тогда пацаном был, плохо помню. Но тоже не мёдом пахла жизнь. Также — лапти, щи, картошка, капуста. Кашка да лапша по праздникам. А в простые дни — не у всех. Отец твоей бабки, помню, имел маслобойку. Масло били из конопли, льна. Шли и ехали к ним, а за маслобойку платили. Мужиков было трое, плотники хорошие. Как осень — убрались дома, пошли на отхожий промысел, глядишь, к зиме-то и денешки, и обновки себе, бабам и детискам. Шабашники, как сейчас говорят. Да и теперь так-то: кто ловок да смел, тот дважды съел. Словом, ничего не изменилось. Трактора да автомашины, да вон — эти косые столбы, электричество, а люди и не изменились, ни умом, ни сердцем. Если бы хорошо все

жили, не поднялись бы на царя, на помещиков. Как было, так и будет: кому высоко летать, а кому дерьмо клевать... Ну, да ладно, завтракать будем или в обход пойдём?

— Надо в обход идти, а потом завтракать будем, — ответил я, помогая деду закончить с расчисткой дорожки от снега.

## Последние

С северо-востока всё ближе и ближе подступали мрачные тучи, смелее потянули порывы ветра. Расчистив дорожки, мы пошли в обход, как все три прошлые морозных дня, заходили сначала к бабке Лизе, потом все вместе — к хворой Акулине, там и завтракали вскладчину, собрав все припасы.

Обе бабки — Акулина и Елизавета — одинокие старушки. У Елизаветы где-то далеко жила сестра, но давно не приезжала и писем не писала. Акулина, по её словам, в девках осталась из-за какой-то женской болезни. Теперь же целый букет, а вернее, махровый веник болезней донимал бабу. С трудом она вставала, ходила по избе под руки. Из горницы в кухню добиралась с час.

Мы шли по свежему глубокому снегу: я впереди на лыжах, а дед Кузьма — сзади, еле-еле шагал, высоко поднимая валенки, закрываясь воротником полушубка от ветра. Бабка Лиза уже расчистила снег, узкая тропинка вела нас к косому крыльцу с низким козырьком. Дед Кузьма постучал в окно, крикнул:

— Лизавета, живая?

Бабка Лиза вышла, на ходу застёгивая “сачок” — старинное, модное когда-то плюшевое полупальто, — в серой тёплой шали и валенках. Маленькая росточком, чистенькая, седые волосы выбивались из-под шали; она то и дело лёгким движением заправляла пряди под шаль. Акулинина изба стояла через дорогу, окно в окно. Я пробил лыжню, оглянулся: старики шли под руку, о чём-то говорили, показывая на чёрные тучи. Возле крыльца Акулины стояла деревянная лопата из фанеры. Начали по очереди откапывать от снега Акулину.

— О Господи, хоть бы ноне не мело, — взмолилась бабка Лиза. — Снег убирать не поспеваем, рук не хватает, а к вечеру, похоже, снова понесёт...

Дед Кузьма, вытирая тряпичей мокрое лицо, ответил:

— Снег-то что, вот хлеб весь вышел, спички кончились... Ноне сходить бы в сельмаг, да ведь пометёт, как вчера, света белого не увидишь, не доползти до сельмага. Ишь как чернеет, солнце закрыло. Я с утра чувствовал — суставы болели.

Разговоры о хлебе, о болезнях и болях в ногах, в пояснице велись всякий раз, когда мы убирали снег или собирались вместе. Избу Акулины занесло до окон. Два маленьких окошка поделеповато из-под занесённых наличников глядели в улицу. Толсто заледенели стекла. Крыша, крытая соломой, а сверху ещё слоём толя, так низко висела над завалинкой, что чувствовалось: вот-вот рухнет вместе с трубой и снегом.

По небу плыли крупные тучи, ветром косо несло редкие снежинки. За огородами и в снежных полях стояла зыбкая серая мгла. В вершинах голых тополей работал верховой порывистый ветер, и уже стало ясно, что если не после обеда, то к вечеру вновь понесёт выюгой. Откопав снег и расчистив крыльцо, мы с трудом отворили косую, осевшую на доски порога дверь. В сенцы намело снежной пылью, а избяная дверь так примёрзла, что с трудом открылась. Бабка Акулина лежала на печи в валенках, телогрейке и под лоскутным одеялом, засаленным до блеска. В избе стоял полусумрак, будто на улице едва рассветало.

— Акулина, вставай! — будила Лиза подружку. — Вставай, а то совсем замёрзнешь, помрёшь.

Акулина взглянула, выпростала из-под одеяла руки и ноги в разбитых валенках, тяжко дыша, села на краю печи, ошалело смотрела на нас, — верно, не сразу узнала пришедших. Жидкие седые волосы сваялись, неряшливо рассыпались по плечам. Посидев минуту-другую, Акулина заплакала, запричитала:



— Господи, Иисусе Христе, дай мне дожить до сугрева, а весной-то на карачках к мамке поползу, рядом под тополями лягу.

Дед Кузьма невесело засмеялся, говоря свои обычные шутки-прибаутки, а бабка Лиза, поправляя на Акулине сбившийся на сторону платок и причёсывая волосы, утешала её:

— Ну, будя тебе про могилку-то, будя... Сама себя зарань света хорошишь. Грех так-то говорить, поспеешь. Бог даст, оклемаешься, отпустят болячки-то, чего уж так-то. Чего ты так... — и, повернувшись ко мне, бабка Лиза попросила: — Саша, сыми-ко её оттуда, неровен час, упадёт, ишь, как сидит-то...

О, эта нищенская одинокая старость в забытой Богом и людьми деревне! Всякий раз, когда приходишь к Акулине, отворяешь дверь, проходишь в избу, чувствуешь тяжесть этого низкого потолка, который тяжёлым вороном как бы слетает тебе на плечи... Чувствуешь этот застоялый запах старой избы: здесь всё пропитано духом вялой овчины, духом валенок и золы, над которой отплясал огонь дня уж три-четыре назад, и робкий свет сквозь косые, маленькие заледенелые окошки. Когда видишь, чувствуешь одинокую, всеми забытую душу “ближнего”, “по образу и подобию” сотворённого, — и вот умирающего в грязном тряпье, — внутренне содрогаясь, и весь белый свет кажется всего лишь обманом, ловушкой, а всякая радость на этой земле — иллюзией; видишь это исхудалое лицо, жёлто-восковое, стянутое сетью глубоких морщин, и охватывает безотчётный ужас, наворачиваются слёзы отчаянной беспомощности, сердце кажется чужим и в висках стучит молоточками...

— Это с угару, с непривычки, — словно прочитав мои мысли, прошептал мне на ухо Кузьма.

Я встал на нижний приступок печи, снял бабку с тесного и узкого пространства между печью и потолком, забранного струганой горбылиной, замазанной в кладку печи, посадил её на лавку в кухне против икон. Мрачно, в радужном ореоле, как в бане, светила маленькая экономная лампочка, освещая кровать под стареньким байковым одеялом, стену с самодельным ковриком над кроватью, на коврике — аляповатые цветы, мужские и женские лица, вырезанные из цветных тряпок, — рукоделие Акулины, творческая фантазия. Бабка Лиза затопила печь, хотела было ставить чугуночки с варевом, да в вёдрах вода заледенела, и пришлось мне идти к колодцу за свежей водой.

Натаскав воды с запасом, я уселся в кухне на табуретке. В печи трещали дрова, шёл какой-то оживлённый разговор. Акулина помогала Елизавете, с дрожью в руках чистила картошку для варева. Дед Кузьма курил и что-то рассказывал, размахивая руками, очевидно, как говорила бабка Лиза, на него “нашёл стих”.

— Ой, охальник! — смеялась бабка Лиза. — Вот сколько помню тебя, Кузьма, сроду ты такой озорник. Жизнь, считай, прожил, а как-то несерьёзно, озоруешь всё...

— Да не всё же плакать, да грустить, да про смерть говорить, верно, Акулина?

— Верно, а то как же, — улыбаясь, отвечала Акулина. — Хоть наговориться вдосталь. Вали, вали, Кузьма, калякай что-нито... А ты ведь старше меня, Кузьма, года на три, а ещё ядрёный, хоть выжми, в сельмаг ходишь на своих ногах, во дворе робишь, кур, поросёнка держишь...

— За милую душу! — вставая, расстёгивая полушубок и снимая овчинную шапку, хвалился дед. — Да в сельмаг-то... В сельмаг-то что! Я в город осенью пешь ходил. И тебя, голубушку Акулину, в больнице-то навевывал, всё на своих двоих, а как же. Меня и сейчас-то не морозы, а сугробы держат взаперти, а то бы я — хвост морковкой — и в сельмаг залился, за очищенной водчонкой. Скука одолела, истинный свет. По двору пройдёшь, курам корму задашь, поросёнку наметишь, навалишь — только и делов.

Елизавета хлопотала у печи, совала ухватом в жаркое устье, гремела за слонкой. В избе стало жарко, душно. Лёд на стёклах окон таял, на подоконниках собирались лужицы, капли падали на пол. Бабка Акулина разломалась,

ходила по полу с веником и тряпкой, убирала запущенный пол. Бабка Лиза варила хлёбово, картошки, чутко и с улыбкой слушала деда Кузьму и Акулину. Лицо её рдело, от жаркой печи плясали в простенке отблески.

— Дай Бог здоровья тебе, Кузьма Лукич, — говорила Акулина. — В каждом деле ты нам первейший помощник, родной, то хлеба в сельмаге купишь, то дровец отрубишь, то водицы принесёшь. А то мне без помощи — погибель. И Лизавете спасибо, и Саше.

— За доброе дело Бог здоровье даёт, — работая возле печи, подала голос бабушка Лиза. — А об Кузьме не заботься, где ему надорваться-то, Кузьме-то? В колхозе дня не работал, на войне не был. Всё в городе ошивался, в дёпе... Сам же хвастался: бабам молодым титьки щекотал...

— Но, но... — отшучивался дед Кузьма, — полегче на поворотах. Поработал и я. Пуп надорвал! Я в дёпе-то не за столом сидел, не на счётах костяшками стучал. А вкалывал за милую душу, мантулил!

— Да было за что, вот и вкалывал, — приставала Елизавета. — А мы за трудодни, за палочки. А ты, небось, денежки огребал, да какие; жена с детишками тут, а ты — там. Она, Ганька-то, покойница, как за каменной стеной жила. Как воскресенье, тащит ей Кузьма из Сонино хлеб, одёвку-обувку детишкам, то да сё... А мы, дураки, за трудодни горбатились, за палочки. Мне две грыжи вырезали, одна и сейчас к непогоде урчит, спасу нет. Квакает, как лягушка.

— Квакает! — оборвал Елизавету дед Кузьма. — Верно, что дураки. А я энти колхозы ваши сразу раскусил. Ну, думаю, раз силой загоняют, со скандалом да с пистолетами ходят по избам, дело на лад не пойдёт. А тятка, покойник, сразу сказал: “Конец делам, начинаются делишки”. Ты, мол, Кузьма, в колхоз не ходи и новой власти низко не кланяйся, где-нито пригнись слегка, и довольно с неё...

— Вот ты и гнулси-и...

— Гнулся! А кто прямо стоял, того быстро подломили.

### Быт и подлинность

Из беспорядочного разговора, подначек, вызывающего хвастовства деда Кузьмы с трудом можно было проследить годы выживания. Старики тоном спора, упрёков то говорили о себе, то ругали колхозы. Все они были почти ровесниками прошлого века, помнили события революции смутно, сбивчиво. Вспоминали в основном только себя, своих близких в прожитой жизни. Это были питомцы советской деревни. Они всё время говорили об одном и том же: работа, трудодни, голод, война, снова голод, — словом, все их разговоры — истории выживания. Всякий раз, слушая стариков и старух, я думал, что изучал историю какой-то другой страны, не России, читал другую литературу, о другой деревне. Эти истории, что я слышал здесь, трудно было составить в стройный рассказ и написать — так они были неожиданны, противоречивы, самобытны, спорны.

Скажем, чтобы опорожнить нужники, в городке гонялись за Кузьмой, спорили из-за очереди к ассенизатору-золотарю. Кузьма этим пользовался. Цену наращивал. А чтобы успевать угодить всем, да и самому подзаработать, выливал дерьмо из бочки недалеко от города, по межполюю. Иногда прямо в черте города, в околотке, засыпая-припорошивая осенней листвой да лашником, чтоб не воняло.

— Раз чуть в каталажку не загремел. Конкурент появился, — жаловался дед.

— И что же ты?

— Что? Так звезданул по его бочке, что лом погнул. Молодой был, горячий.

— А если бы он стукнул в отдел?

— Не стукнул, — отводя глаза, бурчал дед. — За ним грешок был похуже моего, я знал...

Акулина помнила себя дояркой, Елизавета — трактористкой, а дед Кузьма — золотарём при депо узловой станции Сонино. И до прошлой войны,

и после. Все они выполняли и другую работу, не такую тяжёлую, однообразную, но вспоминалось именно это: работа. Простая или иная — особенно тяжёлая, где надрывали пуп. И чем сердитее ругала колхоз бабка Лиза, тем веселее хвалился дед.

Кузьма охотнее рассказывал, даже с видимым удовольствием о своём побеге из деревни в городское депо, на иные хлеба, хотя, как это становилось мало-помалу всё понятней, побег этот был не от большого ума и хитрости. Побег состоялся по воле его величества случая, так нет же, Кузьме надо было преподать и повернуть всё по-иному. Чтобы все поверили в его, Кузьмы, значительность, хитрость необыкновенную, ум. И как часто в запале, в восторге восхищения самим собой выкрикивал он:

— Я весь Сэ-Сэ-Сэр обманул!

А ещё думалось, — возможно, и ошибочно, — что февральский переворот, нэп, потом колхозы — всё это было неслучайно, подготовлено самой русской жизнью, предопределено. Телевизоров тогда не водилось, радио — тоже, а готовили газетами, готовили литературой, драматургией. Направляли в определённое русло общественного мнения и прочее. Неслучайно Сталин подхватил в дальнейшем эту наработку определённых сил, объединил в союзы, дотировал, не скупясь, Ленинскими, Сталинскими премиями, домами отдыха. И эта нищенская одинокая жизнь деревни зародилась вовсе не со дня основания советской власти, и не все пути к “великому коммунизму” (а точнее — к разумному социализму) вели, как теперь уверяют, в тупик.

Думы спутались, когда бабка Лиза напомнила мне про тушёнку для щей. Я тотчас скорым шагом пошёл в свою избу, думы разлетелись в искристой зиме, в воспоминаниях весёлых народных историй и моей детской жизни в этой деревне.

Прежде чем возвратиться, я ещё кое-что набросал в черновике, чтобы не забыть что-нибудь в интонациях и говоре из бесед стариков. Вытащил из значки тушёнку, конфеты, импортные леденцы для чая, банку консервов из ставриды, я чуть не бегом возвратился в избу Акулины. Вновь попались на глаза избу, вспоминались умершие — зримо и ясно, как будто вернулись они с того света. И почему-то из всех выселковских мужиков Кузьма Лукич Комков казался мне самой загадочной и противоречивой личностью.

Мой литературный «червячок» зашевелился. Кузьма Лукич, говорило сердце, — тип своего времени, выходец советской власти со всем своим оригинальным багажом. Мимо подворий шёл я с думами о Кузьме: и правда, как говорили о нём, “дурак набитый”, или, быть может, напротив, — он хитёр, себе на уме. Или, как говорил мой дед Терентий, “озорник, каких свет не видывал”. Председатель же, впервые увидев Кузьму в правлении, поговорив с ним, в сердцах определил: “Сложный тип”.

Шагая по бездорожной улице, засыпая валенки снегом, я загорелся, как будто нашёл самородок: вот он, этот тип, с виду дремучий, а на деле — весьма непростой. Прототип этот выписать, пересадить в свою повесть-историю. И писать интересно, и чтение не пустое, я бы, например, с удовольствием прочитал что-нибудь подобное.

Но в те же минуты другой голос противоречиво заявлял, что написать такую историю нелегко, надо не только хорошо знать людей, но ещё и быть мастером, проще говоря, уметь писать. И я вновь пустился в воспоминания. Перебирал все случаи встречи с Кузьмой и моим дедом.

Закадычные друзья, оба родились в соседнем селе Дубровино, где теперь центральная усадьба, а перед самой коллективизацией одними из первых переехали вместе с молодыми семьями в Выселки. Дед мой рассказывал, что тогда было пять домов. Приходил погостить Кузьма в старой железнодорожной рубахе, разбитых фэззошных ботинках, а временами — в лаптях. Эти его лапти изумляли и смешили: никто уже не носил их, а плести умели лишь старики, ровесники моего деда, да вот ещё этот тип — Кузьма Лукич.

Обувался в лапти Кузьма Комков и в городе, ходил, бывало, по базару. Выискивал своих выселковских мужиков, угощал водкой, пускался в долгие разговоры, всякий раз спрашивал об одном и том же: дают ли что

на палочки, на трудодни, а узнав, что не дают, заливался весёлым смехом, подначивал мужиков, однако и о себе говорил:

— И тут не сахар, и в дёпе не мёд... Тоже в лаптях хожу.

Дед мой, когда приходилось ему бывать в Сонино, заходил к Кузьме Лукичу, видел у Кузьмы новую железнодорожную форму, сапоги, расчищенные до блеска. И это обмундирование наводило моего деда на раздумья: суть всех этих лаптей, грязных рубах и всего запущенного вида Кузьмы — та, что он-де, хотя и убежал из колхоза, а живёт не лучше, а хуже колхозников, а раз так — никому не надо следовать его примеру. Возможно, он боялся, что власти вернут его в колхоз работать “за “палочки””. Рассуждая так, мой дед Терентий не переставал удивляться нищенскому виду Кузьмы. В хрущёвские времена, когда паспорта свободно получали, не надо было хитрить, ловчить, когда в колхозах начали получать хоть небольшие, но всё же деньги, в задушевных разговорах, в подпитии дед спрашивал Кузьму Лукича:

— Лукич, у тебя форменная одежонка и обувка есть?

— Есть, — отвечал Лукич, — как же, всем дают в дёпе, и мне тоже. Срок придёт — получай.

— А что же не нарядишься, хоть посмотреть на тебя в обнове?

И тут Лукич, отводя глаза в сторону, не сразу отвечал:

— И тебе руки-ноги завяжи, сам не наденешь...

В Выселки он приходил пешком, с сидорком съестных припасов, с деньгами. Тащил семье, как говаривали злые бабы языки, сырым и варёным. В погожие выходные дни, вечером, когда загоняют по дворам скотину, Кузьма Лукич с высоким батожком ходил по единственной улице Выселок, зорко стреляя своими острыми глазами по окнам: все ли видят его? Часто останавливался, пуская намёки в бабы уши, “утки”:

— Слышал от деповского начальства, что скоро будут платить в колхозах большие деньги, а пенсии как в городе будут получать!

Бабы, ребятишки, мужики — многие выходили на улицу, смотрели на Лукича как на диковину, с удивлением разглядывали, как разглядывали бы чудо. Собаки сворой, столчившись, кидались на Кузьму — никак, ни по запаху, ни по виду не желая принимать его за своего, за деревенского. А он нарочно, для потехи, махал палкой, пуская такой кучерявый мат, с блатным, уже погородскому вывертом, что многие не понимали, на каком языке он говорит.

Если Кузьма Лукич был не в духе, тогда казалось ему, слишком надоедливо донимали его комары и мухи, нестерпимо-колготно, пялились и бежали, кидая комья земли, мальчишки, показывая языки и корча рожи. Он ускорял широкий шаг по деревне, отплёвываясь и ругая не ребят, а их родителей.

И вот как-то раз молодая бабёнка вступилась за своего сына-поскрёбыша, остановила Кузьму, подначивая, стараясь уколоть, заметила:

— Хуже всех деревенских ты, Кузьма, одет-обут!

И Кузьма вдруг крепко стукнул в землю батогом, сел на него верхом так, что длинная его и толстая часть — комель закачалась над его взлохмаченной запущенной головой, закричал петухом, как юродивый, и тихо, вкрадчиво сказал — без ножа зарезал вдову:

— А тебя, Настя, всё ещё чужие мужики едут-т?

Толпа заготала, а Настя со слезами кинулась к дому.

— Ишь, забрало, — с каким-то восхищением даже кинул ей вслед Комков. — А хороша Настя, жаль, не на моё счастье.

Крепко запомнился мне Кузьма Лукич с детства. Всё, что я видел и слышал сам, всё, что рассказывали о нём, становилось как бы готовым для писания, живым. Над ним смеялись, издевались, а он гнул своё; медлительный, как телёнок, он терпел да посмеивался, лишь изредка давая сдачу, но мог, умел порой ответить так метко и ядрёно, что противник получал на орехи, неделями ходил с лиловыми, с отливом в синеву, синяками. Бывало, сморозит чего-нибудь, ввернёт слово, вроде и не к месту, а так, проходя. И лишь со временем становится понятным, кому и зачем он что-то сказал. Кузьма же, часто откровенничая с моим дедом, жаловался: “Никто не любит правду в глаза, а мне вот на мои лапти пеняют — и я ничего. А ведь я тоже

человек и обидеться имею право, а? Терентий? Ай я хуже их, иных-прочих?” — “Нет, Кузьма, ты не хуже. Ты не хуже, нет. И они злы к тебе не от зависти”. — “Отчего же?” — “От любви к справедливости”. — “Это одно и то же, — хохотал Кузьма. — И ты, Терёха, никогда не жалея христиан, с которыми поступили по злу. Потому что и сами они только ждут удобного случая, чтобы так же поступить с другими”.

Всем известно, что нет людей без сучка без задоринки. Как говаривал Кузьма Лукич, “все мы с душком”, а в деревне, где тем паче нет секретов, все знают про всех: в Выселках дворы полнились слухами... Своими острыми фразами, пригудками, частушками Кузьма разоблачал выселковские нравы, пороки. Не любил он колхозное начальство, начиная с бригадира, хозяина тягловой силы и гужетранспорта. Раз, увидев этого Николая Фирсовича, остановил его, угостил папироской, хотя сам курил самосад, а закурив, подмигнул, посмеялся в бороду, да и спел:

*Бригадир, бригадир, лохматая шапка,  
Кто бутылку поднесёт, тому и лошадка!*

Но бригадир, пьяница и плут, никак не среагировал на подначку. Взглянув искоса на Кузьму, он ответил:

— Будет и лошадёнка, только одежонку смени, а то кобыла испугается.

Из каких тайников души доставал он меткие, оригинальные прозвища, частушки и присловья, которые доставались многим выселковским? Порой частушки “от Кузьмы” распевали парни и девки под гармошку:

*Хороша наша деревня —  
настоящий город Клин,  
По краям живут колдуньи,  
В середине сукин сын.*

Вспоминая частушку “У Настюхи-грешницы — пошире скворешницы”, я невольно засмеялся и вошёл в избу Акулины. Старики всё ещё говорили о чём-то своём, дед торопил бабку Лизу, журил:

— Ну, готово хлебово из топора?

— Поспеешь нахлебаться, — давала отпор бабка Лиза, вытирая мокрое от пота лицо цветастым передником. — Покалякай пока с Акулиной, всё веселее будет. Ишь, опала, как маков цвет.

Кузьма Лукич с показной весёлостью и простотой приставал к бабке Акулине:

— А помнишь, родная Акуля, как я тебе ласки дарил...

— Да иди уж, даритель.

Акулина, забыв о хворах, то ухмылялась, стыдливо отводя глаза, то ворчала, чтобы дед Кузьма не болтал лишнего, то шутливо замахивалась на него своею высохшей слабой рукой с лиловыми узлами вен, то вдруг, пугая его, хваталась за веник в углу.

— Ничего, ничего, — шутил дед Кузьма. — Не больно и вздыхай да охай, Акулинушка. Нам бы только эту зиму пережить-перестрадать. До Пасхи дотянуть. А на Пасху свадьбу отгрохаем, за милую душу...

— Вот домовой-то... — с притворной обидой ворчала бабка Акулина, — вот бес-то, гляньте на него.

— А то чего же, — заносило деда, стих на него находил, — денюжат подкопим. Ещё ужмёмся и подкопим... Ведь пенсия-то у нас и так — многие тысячи! Поросёнка не пожалею для свадьбы, ей-бо. Не маши рукой-то, не маши. Загуляем, заиграем, всклень нальём — и ворота закрём!

— Нет, нет, — в тон шутила Акулина. — Нет уж. Всею своё время, очнись. У меня теперь один жених — тополь над могилкой.

— А чего ты на попятную, чего отнекиваисся-то? — не то в шутку, не то всерьёз всгупала в разговор бабка Лиза. — Ей дело говорят, а она в дыбшки. Соглашайся, Акулина. Мы вот и Сашу вызовем на свадьбу. Телеграмму пришлём, он и приедет к нам.

— Эх, разлюли-малина! — усаживаясь за стол в ожидании хлеба, балагурил дед. — Всю жизнь, считай, прожил, а вспомнить нечего. Ни на чём не остановился, ничего хорошего не вспомню... Дак это, хоть перед смертью погуляем, а?

### Старик и паспорт

Бабка Лиза разливала наваристые щи по тарелкам, пар до потолка. В избе парило и запахло капустой, луком, но пуще всего — лавровым листом. Старики всё ещё вели разговор, тот же, временами мне казалось, что все они выжили из ума: после весёлого разговора вдруг начинали спорить, вспоминать прошлое, да так азартно, точно это было вчера.

О будущем говорили редко, с неопределённой безнадёгой. О ценах на хлеб, на мясо, масло. Бабка Акулина достала с полки последнюю буханку хлеба, молвила, как уронила:

— Всё тут. И сухарей не осталось, все вышли.

С трудным хрустом мёрзлой треснувшей горбушки разделила пополам. Вторую половину вернула на поставец.

— Вот бяда-то, — сказала Елизавета, разделяя с хрустом на куски-четвертушки по скользким от наледи коркам-черняшкам. Подвигала каждому осмушку.

— Привезут ли этот месяц хлеб вообще? Ишь, бают, им невыгодно.

— Как так невыгодно, невыгодно торговать? — не мог я понять. — Вон у нас из Москвы и то лимитчиков, кавказцев в основном, с рынков погнали за нелегальную торговлю, потому что нажива жуткая, а им невыгодно?!

— Невыгодно, — пояснил Кузьма. — На санях, на лошади к нам из центральной не проедешь, надо гнать трактор. А торговля, только когда пенсию раздадут, один раз. А когда её раздадут, один Бог знает. Вот и возят раз в два-три месяца. Толпа, мат, давка — до драки. Люди — кто дерётся, кто вперёд прёт отчаянно, как скотина на бойне, ей-бо. Хлеб, консервы ли, мыло — могут купить только те, у кого пенсия, да если эту пенсию к тому же сын или сват, или племянник у матери-старухи не отняли, не проицили. А работы нет, и денег нет, негде взять, кроме пенсии. Негде заработать.

— Вот бяда-то, — молвила и Елизавета, со вздохом разделяя хлеб ещё раз пополам. — Фашист так не морил...

— Второй месяц не везут... А кому охота, взять хоть их, коммерсантов. Да того гляди — по дороге ограбят. Народец тут лихой.

— Станешь лихим, такая безысходность... — тихо, берясь за ложку, изумился я.

— Чего? — не понял Кузьма.

— Безнадёга, говорю.

— Это есть, это да... Так она везде, безнадёга! Вот и в Москве у вас сиди и не рыпайся, и в Питере... Марши русских запрещают, я даве слышал, в Москве охоту устроили на них... на русских-то. Только кто охотился — я не понял.

— Было, дед. Прямо на вокзалах ОМОН хватал, и опять в поезда и электрички затакивали, а то и в каталажку. Не дали собраться.

— Да кто руководил им, ОМОНОм-то? Кто там, в Москве, против русских? — никак не мог понять дед. — Нам и так, русским-то, сладко никогда не жилось, не то что иным-прочим. Ой, и досталось русским! Сколько в последнюю “нашу” положили, потом — потом сделали Афганистан, а потом и Чечню. Не осталось русских. А те, что остались, потравились водкой палёной да пострелялись. Офицер в армии. С двумя детьми. Денег не платят, жена жалуется, пилит его, он — хлоп — застрелился... Ну, это как?

— Значит, не русский, — попробовал свести я на нет злую шутку. Меня уже начала удивлять осведомлённость деда. И в самом деле, откуда?..

— Нет! — слабо крикнул дед. — Вот как раз русский. Русские — они совестливые, были и есть. Оттого и страдания. Другие нации возьми, такого нет! Возьми цыган — эти кому угодно наркотик продадут, хоть ребёнку. И не болит душа. А другие малые народы возьми. Эти, что деньги в рост с отдачей по тысяче процентов, этот “мгновенный займ”. Взял человек, и что?

Без жилья, без семьи остался. Потому что банкир, малого народа представитель, нанял коллекторов. А сейчас обворуют кого угодно. Что делается: у детей-сирот квартиры поотнимали. Поймают, докажут. И ничего. Они взятку сунут и живут. А совесть? Вот это не русский, нет. Русский так не мог и не может, потому что совесть, вот что!

— Ну, вот я, русский?

— Русский! Ещё какой русский, мы с твоим дедом-то, фронтовиком...

— Ты погоди, постой.

Я протянул ему свой паспорт.

— На, найди, где национальность, где написано, что русский я или православный.

Полистав, дед поднял на меня глаза:

— Саша, и ты взял такой паспорт? Сходи. Пусть впишут. Оне что там, без памяти или пьяные писали?..

— Не вписывают. Я сам вписал!

— Хот, молодец, ну и?

— Пришлось обменять. Стал недействительным паспорт. Да что там паспорт, выписку из домово́й книги, какую ни возьми — в графе “национальность” значится “нет”. Нет её, национальности. Ни у меня, ни у тебя, дед. Ни у моего покойного деда-фронтовика, ни у Серафима Саровского, ни у Сергия Радонежского, ни у...

— А как же теперь?

— Второй месяц хлеб не везут, — глядя то на меня, то на деда и, верно, ничего не понимая из наших слов, сказала Елизавета. Она так и не разобралась в нашем разговоре, а быть может, ей это было неинтересно.

— А ты говоришь — “фашисты так не морили”. Точно!

— Мы с тобой, дед, сегодня фашисты. Вот ведь как вывернули: “Русский фашизм страшнее немецкого”. Знаешь, кто это сказал?

— Кто?

— Министр культуры Российской Федерации, лауреат Госпремии России, руководитель Высшей школы культурной политики и управления в высшей сфере МГУ.

— Да ну?! Он не русский?

— И марш русский хотели провести — так ведь и объявили: “Вы, собравшиеся здесь, — фашисты!” Да что там, о всех национальностях упоминает Конституция РФ. О русской — ни слова в Конституции нет о русском народе.

Дед вдруг вспыхнул:

— Так под кем мы теперь? Опять в полон попали!

Акулина вновь поняла его по-своему:

— А может, Бог даст, ноне привезут, ноне шашнадцатое, — помолвившись на икону, истово крестясь и веля нам сделать то же с твёрдой верой.

— Шашнадцатое, привезут! — проговорила опять Акулина.

— Не дождёшься, накоси, — показывая шиш, с каким-то злым, непонятным мне задором отвечал ей дед Кузьма. — Русскими мы были, русскими и умрём. Или уморят. Без хлеба. Трактор из-за нас гонять не станут, горючего им жалко. Потому что нас нет. Слыхала, Сашка бает: нас нет и в Конституции. Спеклись. Не нужны никому. Когда строили, воевали, растили пашеничку — нужны были, а теперь. Я неделю тому назад ходил. В лаптях еле дошёл...

Ши хлебали с каким-то особенным удовольствием, с жадностью. Хлеб берегли, чтобы осьмушки хватило на всю миску щей. Хлебая, подставляя под деревянную ложку кусок хлеба, я изредка поглядывал на окно. Непогода разгулялась. Думалось и о дальней снежной, сугробной дороге в сельмаг, туда “хоть плыть, да быть”, как любил повторять дед Кузьма.

— К ужину не опаздывать, — смачно рыгнув и тоном приказа напомнил дед, мелко крестясь на икону, с оглядкой. — Часам к семи чтобы все были на месте, кто опоздает, тому хлеба не оставляем, съедим. Саша, не забудь, что принести обещал. Ну, пока, до ужина...

Я взялся за ручку двери. Дверь полуоткрылась: отошла нижняя петля.

— Сашок, — спросил старик вдруг, — а как же ты вот, если ты не русский и национальности не записано, как же тебя за кордон, в Германию-то пропустили? За кого? Немец, он человек щепетильный... Как же ты летал туда, жил и вернулся, а?

Я засмеялся сметке деда Кузьмы, объяснил, что смог поехать и вернуться, и вновь подивился его познаниям.

— Понимаем тоже! Приёмник-то я всегда слушаю, не выключаю. “Народное радио” или “Вражий голос” — сравниваю, ус кручу, мало-мало кумекаю. Теперь-то он чисто-чисто говорит, как будто из самой Москвы, голос-то вражий этот...

— Из Москвы и говорит, — ответил я. — Давно уж перебрались в Москву. И “Свобода”, и “Голос Америки” — в Москве.

— Да ну?

Дед так и не понял, шучу я или говорю правду.

— А какой у тебя приёмник, откуда? — крикнул я ему вслед.

Он только отчаянно рукой махнул:

— Па-атом. После расскажу...

Мы разошлись по избам. Я поставил лыжи в сенцах, принялся чистить от снега крыльцо, подворье. Ветер набрал силу, вновь повалило снегом. Серо висело над головой небо, сиротски качались ветки вишенника, и насквозь продувало с пургой яблони в саду. Скучный непокой, серость; и на улице, и на подворье, и в огородах — везде уныло, как в нетопленной избе. Было зябко и мрачно и дома, и как будто всё ещё не наступил и не думал наступать белый день. В сарае горкой лежали дрова. Натаскав поленья дров, я затопил грубку и, сидя против топки на низком табурете, силясь вспомнить всё, что было связано с Кузьмой в этой дедовской избе, а вспомнив, записывал на бумаге вчерне, хоть на клочке газеты. Я думал хотя бы потом, если не здесь, наверстать упущенное, построить истинную историю деревни, разверстать характеры селян в один стройный рассказ, как бы посмотреть изнутри на то, что происходит сегодня, из глубины.

Дрова потрескивали, разгорались, голубовато-преlestный огонь мягко и весело огибал берёзовые полешки, быстро подъедавая остатки коры, и думалось теперь легко, живо, весело.

### Дед Терентий

Бывало, Кузьма Лукич, остановившись против нашего окна, подавал голос: “Терентий, ты дома?” Дед мой раскрывал окно, звал его в избу. Бабка начинала ворчать: “Опять идёт! Эх, и дурак, прости Господи... И чего шатается по чужим дворам?”

Бабка приносила картошку, огурцы, хлеб. От самогона отказывалась наотрез, её неволили, силком усаживали за стол на табурет. И она, бывало, пригубит, намочит язык, говоря: “Ну яд, как есть яд...” — и уходила из горницы, отгоняя ладонками дым от табака- самосада. Затворяла дверь из горницы в кухню.

А в горнице стоял дым коромыслом. Друзья прикладывались по единой, но неоднократно. Языки развязывались, они друг друга перебивали, начинали спорить, упрекали, хвастались, становились неузнаваемы, и, в конце концов, когда пустела замысловатая диковинная склянка, дед плакал, жаловался, смахивал пальцем набевашшую слезу, рассказывал о фронте, о войне, годах выживания в немецком плену и то, как после войны то и дело таскали его в местное НКВД. Рассказывая, дед мой так входил в роль, менял голос, жесты, так умел пережить все события далёких невзгод нано-во, что я диву давался, ещё больше начинал уважать деда, проникался сочувствием к нему, к его неласковой судьбине.

Между тем дед Кузьма смеялся, повторяя своё: “Да ну тебя!” — или: “Да иди ты, будя врать-то”. Но всё же — чаще скороговоркой и мелко-мелко крестясь: “А меня Бог миловал, Бог миловал...” — “Да не Бог, ты сам себя миловал... Помнишь, как я тебя по берегу Мокши-то водил, ты тогда слепым прикидывался. Шёл-щупал батожком впереди себя, потом: “Ох, какая щука



плеснула!”, — и через пять шагов опять слепой... Да я же помню. А ведь знал ты уже тогда, что нас с Петькой Хренковым добровольцами приписали... На фронт”.

В самом разгаре такой беседы, когда закадычных друзей плохо было видно в табачном дыму, трудно становилось понимать и слушать, дверь со стороны кухни приоткрывалась, бабка выглядывала со словами: “Ой-ой, ну, опять плачет. Ка-акой слабый. Ну, чего ты все плачешь-то, горюн?”

Дед, вскакивая с табуретки, сжав кулаки, орал на бабку:

— Закрой дверь, халыва!

Растопив грубку, я сел за стол, чтобы написать, рассказать всё, что вспомнилось в этот сумеречный час. И чем больше я записывал, тем ярче одна другой и подлинней всплывали истории. Рука расписалась, я окунулся в своё мучительно-прекрасное “третье” состояние, состояние творчества, и думалось на каком-то подъёме, почти восторге: “Всё, всё, что видел, слышал, пережил, передам детям моим, внукам, о бескрылая птица слёз!”

И вот вновь вижу я себя, втявь. Вернувшись из школы и приладившись к подоконнику, лицом к окну, притворяясь читающим книгу и слыша биение собственного сердца, ловил я с напряжённым вниманием, как будто хотел всё запомнить и унести с собой.

Дед Кузьма не любил разоблачений, недоговаривал, юлил и скрывал своё прошлое. Если не был в сильном подпитии, то и говорить не любил, опасаясь проговориться, что ли, любил больше слушать:

— Вас тогда, помню, человек пять приписали сразу на фронт, взяли осенью, — вспоминал дед Кузьма.

— Шестерых нас провожали, — уточнял дед Терентий, перечисляя по пальцам, называя по именам-прозвищам. — Андрей Скворец, Семён Таракан, Корней Верхогляд, Аким Супостат, Иван Хорёк и я, Терёха Мухомор. Хм... Хм... У нас нет человек без прозвищ.

— Ха-ха-ха! — громко смеялся дед Кузьма. — Верно, я вспомнил, шестеро.

— Да ты слушай, Кузя, не встречай. Ой, и горько мне на душе... А одеты-обуты были кто в чём: старенькие сапоги, телогрейки, в шапках, годных только на галчиные гнёзда. А в холщовых сумках за плечами — яички, пышечки-фушечки. Негусто. А и осень была мокрая, дожди зарядили. Все дожди и дожди, будто небо плакало об нас, горемычных. Всем было кому под сорок, а кому чуть больше. У меня пятеро оставались, наострили пострелят сдуру-то тогда. Всей деревней провожали, море слёз выплакали. Мой младшенький вцепился в меня: “Тятенька, возьми меня с собой...” В военкомате разделили по спискам, двое только и вернулись: Семён Таракан без ноги да я из плена. От Сонино пять часов шёл. Доходягой, будто кровь из меня выцедили.

— А меня Бог миловал, миловал, — гнул своё Кузьма, как бы нарочно хвастаясь, какой он всё же хитрый, умный, лучше всех из Виселок. — Сметка у меня, Терёха. Иногда кажется, видеть вперёд могу... Вот давеча в карты играли, в подкидного, у меня пики все... Спасибо, я мужик такой ловкий. Я пики скидывать начинаю, все скидываю. Оставляю только восьмёрку...

— Да-да, ловчи, ловчи, — оборвал его дед Терентий. — А я слышал так: если тут, на этом свете, прокатит, на том свете притормозят маненько. Будут много спрашивать. За всё спросят. Я же один раз с тобой комиссию-то проходил в сорок первом. Чего ты так обулся-то тогда? Помнишь? Одна нога в сапоге разбитом, другая в калоше старой на верёвочках. Все норовили почище одетая, помылись в бане, а от тебя воняло, как из нужника тебя вытащили.

— Прямо с работы я тогда пришёл на комиссию-то, прямо от бочки с дерьмом. Я же золотарём был, или как это теперь: ас-се-ни-за-тор, вот...

— Да знаю, что не комиссаром. Но мог же ты помыться, переодеться, как все нормальные люди. Ты и сейчас-то всё хитришь: “семь пик на руках...”

— Было дело, было дело, — скороговоркой говорил дед Кузьма, то ли хмураясь, то ли ухмыляясь. — Да я и не хитрю, не отговариваюсь, время было такое. А и теперь не сласть. Меня и тада начальство защитило, заступилось за меня, больной, на фронт не гожусь.

— Большой?! — с каким-то радостным изумлением обнаруживал новость мой дед. — А ить я тебя с малолетства помню. Мне-то хоть не ври, большой. Знал я твою болесть: на кого б залезть. Боялся ты. Боялся, вот и всё. Боялся — уकोшат, притворялся дурачком, припадочным.

— Да что же ты-то не притворялся? На фронт забрали, в плен попал. Видали вояку? — злился Кузьма. — Надо ещё суметь притвориться-то. Макар Тугодум вон чего же не обманул докторов-то?

— Макар?

— Да, Макар, а кто же? Не получилось глухим-то прикинуться? До сорок второго его муржили, обслушивали, обстукивали, в уши заглядывали. А в сорок втором уж врач-старик на понт взял. Осмотрел его с пристрастием и задумчиво так говорит: “Да, не годен, совсем не годен... Ну, иди, одевайся”. А Тугодум всё своё, он же глухой, помнит, вошёл в роль: “А, чего?” А врач-то старик, когда Тугодум уходил уже, кинул в угол мелочь серебром и негромко так буркнул себе под нос: “Иди кашу ешь!” А Тугодум жрать здоров, смекнул, будто походную кухню на комиссию привезли. Подумал, что накормят напоследок, кашей-то. Оживился и в дверь: “А где каша?” А врач ему: “На фронте каша! На передовую его!” Да так гаркнул на Тугодума, у него колени подкосились. Он сел и заплакал. Так его и забрили, загремел и спину где-то, под Москвой, что ли... Там, Терёха, по слухам, больше ста тысяч полегло как один. Костями. Прямо с парада — на фронт. Сталин принимал парад-то.

— Тугодум и глуховат был, и с придурью, — напоминал дед Терентий. — У малого уши и впрямь болели, воняло из ушей. Лечился он, что только ни придумывал. И из муравьёв что-то давил, и капустные листы парил, прикладывал. И овёс отжимал с крапивой — ничего ему не помогало. Я же знаю, овец с ним стерёг.

— Ну, уж и не знаю, — сердился и терялся дед Кузьма, — сам я с ним не был в тот раз, а люди говорили. Я что? Люди ложь, и я тож. Да тогда в сорок втором-то не больно и разбирались. Руки-ноги есть — иди воюй. А меня, верь не верь, Терёха, а сам Бог пасёт от всякой напасти. Да и начальство. Бог — Он и через начальство действовал. А то же, а как же. Я им нужники чистил, дрова колол, уголёк подвозил. Безотказный, незаменимый был для начальства. Так прямо и скажу, без утайки. Меня раз в военкомате так и сломало, ей-бо, так ломало и корежило, ажник пенá ртом и носом шла. С того раза и отстали.

— А-а, пена пошла?! — тоненько и силпо от возмущения вскрикнул мой дед Терентий. — Пена у него пошла, ты глянь-ко! С чего это? Да я тебя с малства знаю. Не замечал я твоей пены, здоров был, как бык племенной. Вид только у тебя такой, смурной какой-то, угрюмый. И озоруешь всё. Кого-то обманываешь. Сам же по пьянке сколько разов орал мне в лицо: “Я? Да я всю Сэ-Сэ-Сэр обманул!” Мне-то хоть не ври про пену.

— Хм, хм, — ухмылялся дед Кузьма. — По пьянке-то мы чего только не болтаем.

— А что у трезвого на уме, то у пьяного, как говорят, на языке. От меня ты, Кузьма, не таись, я не побегу тебя закладывать, да и времена эти прошли, слава Богу. Теперь болтай хоть до помрачения ума, не посадят, не боись.

— А я и не боюсь, — отзывался из угла дед Кузьма, поглаживая бороду и развалиясь. — Только говорить и признаваться мне не в чем. Вся жизнь говно выгребал при депе у начальства. Нужники чистил, чистил... вот и весь сказ, весь рубь до последней копейки. Ты вот выпей да про войну-то доказывай, а я послушаю. Выпей, выпей, горюн, не плачь. Всё прошло и боль-ём поросло.

— Не сто. Не сто, Кузя, под Москвой-то в декабре легло, а девятьсот шестьдесят ты-сяч... Тысяч, Кузя. Не считая медперсонала в Сибирской бригаде. Одной винтовкой на троих, пушками на деревянных колёсах — и то повалили германца, победили. Пока ты нужники-то свои чистил.

Дед мой был высок ростом, долгошей, израненный на фронте, так худ и костист, будто и впрямь в плену выпили из него всю кровь, сломали душу.

Стоило ему порой напомнить о войне: “Дед, расскажи, как...” — он начинал как-то очень отзывчиво, с интересом рассказывать и не мог закончить. Так и осталось в памяти его первое изумление. Ополченец, едва призванный, он остановился, не мог идти в блиндаж, когда впервые увидел зимнее поле, устланное трупами солдат, через которые нужно было перешагивать. Он не мог перешагнуть: люди же, хоть и убиенные. “Иди-иди, — подтолкнул его в спину с двумя красными кубарями лейтенант, — иди. Иди, шагай, а то в пораженцы запишем”. И кто-то угодливо захохотал, пролезая в землянку.

Бабка тоже не понимала таких “нежностей”, она как-то проще была, и всё на этой земле ей было понятно. Она стояла на земле обеими ногами и жила на земле. В небо смотрела редко. А попенять любила:

— А и слаб ты, отец, хоть ополосни да в гроб клади. А чуть клонешь, слезами обливаешься. Тебе не пить, а только навоз... того...

Дед же хорохорился, бодрился, фальцетом кричал бабке:

— В гроб рановато! Поживём на этом свете, поносим манду в кисте!

Вспомнилось, как собирались в нашей избе суровыми снежными вечерами деревенские мужики, собирались вьюжными ночами, когда мело так, что света белого не видно было. Старики, инвалиды прошлой войны, усаживались на скамейке, табуретках, на кровати, на полу перед грубкой. Разговор начинался с колхозных дел, с хлеба насущного, ругали колхозное начальство, потом вспоминали случаи на войне и деда просили рассказывать о немцах, об их порядках.

Записывая эти истории, я изредка поглядывал на улицу в снегу, и этот вечер казался мне как бы продолжением тех далёких вечеров, и события в памяти искрились и пламенели, готовыми рисовались под пером на бумаге.

С выпивками собирались только на праздники — религиозные, престольные или советские, и тогда бабка, покончив со всеми делами, сама уходила к соседке, не могла она терпеть подвыпившего деда, не в меру храброго и разговорчивого. Но и в будни, попросту, как ходят в клуб или церковь, в простые зимние вечера собирались у нас мужики. Отогревались. И тогда горница наполнялась табачным дымом, облако едкого дыма махры зависало под потолком, под полатами, принимая облик какого-нибудь сказочного змея или дракона. На полу валялись окурки, взрывы хохота приводили бабку в трепет, её терпение раскалялось, истощалось.

— Мужики, — растворяя дверь из кухни в горницу, совестила бабка. — Мужики, ай не стыдно в чужих людях сидеть до глубокой ночи? Дайте хоть поужинать спокойно... Поди-ка, и в уборную захотели?

И тут же накидывалась на главного виновника сборищ, на деда:

— А с тобой, доходяга, я после поговорю! Я тебя сковородником приласкаю.

И когда страсти накалялись, ссора набирала силу драки, мужики нехотя расходились.

Но самым главным, внимательным и желанным слушателем был дед Кузьма. Тут раскрывались самые сокровенные дела и думы. Даже и в брежневские времена, когда, по слухам, снова начали хватать за болтовню, открывалась подкладка совсем не героической старины, прошлой войны.

— Слыхал, что тут нагородили эти вояки, наговорили? Сто вёрст до небес и все лесом, — силно смеялся дед Терентий, толкая Лукича под локоть после очередного сборища. — А меня прямо это, жуть берёт: герои! Все герои, когда войны и в помине нет. Это как на кулачных, конец на конец — кто позже всех в драку вяжется, тот больше всех потом врёт. И языков они брали, и штабы громили, кровь мешками проливали. А им и было-то тогда кому двадцать, а кому и того меньше. Моим старшему и средненькому ровесники. Как же, и я понимаю, худо им было необстрелянным да не пожившим. У самого двое сынов погибли, два брата и племян. Да эти-то, считай, все на фронт попали когда?

— Когда? — переспрашивал Кузьма, казалось, уже без всякого интереса, кидая острые, как ножи, взгляды на стол, на оставшиеся на столе бутылки с самогоном на дне.

— Когда уже поперли немцев наши: сорок третий, сорок четвёртый, вот когда. А вот когда от них драпали, худо было всем. Помню, дали нам пополнение, ну, одна молодёжь, зелень. Их ведь, летёшек, тогда как оладушки пекли, ускоренным выпуском, месяц-два — и готово. Красные кубарьки, во всё новеньком, с иголочки. Стояли мы в обороне, все наши ушли в траншеи, заканчивали там с рытьём. Дали мне одного в подшефные. Ну, этот мальчик да я в землянке сделали мы всё, что приказывал взводный: перемыли, обувь кое-какую почистили, посуду на столе приготовили к приходу наших, чайник песком натёрли да чайку сварганили. Сидим ждём, а уж сумерки наступили, дождок перепадал, в августе дело было. Низина, дуга, можно сказать. Копёшки. При отступлении колхозники всё побросали, разбежались. Накинул я шинелишку, хотел сходить за копёшки до ветру. Мальчишка тот, солдатик-то с кубариками, вцепился в хлястик: не уходи, батя, я тут боюсь один. “Бо-юсь!” А стреляли из дальнобойных где-то далеко, и вероятности попадания в нас никакой. Не долетали снаряды. Посуда только на столе звенела, подпрыгивала от взрывов, и как-то жутко, правда, было, думалось: вот-вот и до нас достанут. “Батя, не уходи. Боюсь я...” — смотрю, а его и впрямь трясёт, как в лихорадке. Жизнь, она, брат, смерти боится, да. Так и пришлось взять его до ветру.

Кузьма Лукич засипел, закашлял от смеха, а дед мой осерчал на него:

— А что смешного? На войне страшно и кадровым военным, а он — мальчишка, в чём душа... Глянешь, подумаешь: не сегодня, так завтра, не завтра — через неделю каюк юному командиру. Да нас тогда почти всех переколотили. Не успеем окопаться — приказ отступать. Не могли мы тогда такую машину остановить. Я помню времена, когда винтовку давали на двоих, берегли пуще глаза своего. За порчу, утерю оружия могли расстрелять без суда и следствия.

— Ужели так и расстреливали? — не верил или притворялся, что не верит, дед Кузьма. — За винтовку?

— А что ты думал? — втолковывал дед. — У меня был такой случай. Да тогда же летом, в этом болотце-то, возле копёшки. Дали команду чистить винтовки. Расстелил я плащ-палатку, разобрал винтовку, почистил-потёр все детали, ствол, всё честь честью, в ряд со всеми. Начал собирать — и обмер: батюшки! Шептала недостаёт. Туда-сюда, нет шептала, как сквозь землю провалилось!

Дед Терентий и рассказывая едва не плакал, показывал прокуренными пальцами величину этого самого шептала:

— Ма-аленькая такая фиговинка, с гулькин нос. Ищу я шептало, солдатик прибежал: “Отец, ужинать зовут!” — это мальчишка-то тот прибежал, мол, иди. И сам убежал ужинать. А мне, Кузя, не до ужина. Вечер наступил, вот-вот темно станет, а я всё ещё с разобранный винтовкой ползаю. Шептало ищу. Уже и поужинали все давно, луна начала восходить, а я возле копёшки-то ползаю на коленях, всё на коленях. Каждую былинку перещупал, каждую детальку десять раз пересчитал, пересмотрел, на плащ-палатке все морщины разгладил — нет как нет, будто сквозь землю провалилось... Головушка моя горькая, — встал, запричитал, — расстрелом пахнет! От своих на месте пулю схлопочешь. Пошёл докладывать взводному. А взводный — низкорослый, молоденький лейтенантик, на моего старшего чем-то похож. Доложил. Думал, он поможет, ну, хоть на помощь кого-нито, а даст. А он вперился в меня глазами — ну, хищник, ни дать ни взять, за кобуру хватается: “Не найдёшь — прострелю, в бога-мать...” Я это его “прострелю”, голос его, покойника, и сейчас слышу. Потом его, беднягу, контузило тяжко при наступлении. А тогда вернулся я к своей винтовке сиротой. Никому не нужен, ни Богу, ни взводному, ни товарищу Сталину. Ох, и затужил, затужил и снова кругами-то, всё кругами вокруг плащ-палатки. Луна уже совсем стала ярко светить, взмолился: “Маменька моя родная, зачём ты меня на муки родила, на белый этот свет”. А луна всё выше и выше закатывается, закурился, стало светло кругом, наши уже спать полегли, а мне не до сна. Деревня вспомнилась, как будто я веду колхозного мерина Шустрого на купальню. Шерсть у него чёрная, он блестит, аж лоснится.

А на берегу — мать, жена, детишки. Что-то кричат мне, машут. Да что же это такое — блестят, или кажется мне сквозь сон? Мундштук, что ль, от узды, в траве. И у них теперь, поди-ка, светит луна, укладываются спать. Окурок потух, а я всё вглядываюсь в скошенную траву, да что же там такое блестят?.. Подполз, хватя рукой — оно! Шептало! Господи, собрал винтовку, бегом — докладывать взводному. Рад как был тогда! Отродясь такой счастливый не был.

— Нда-а... — улыбаясь, говорил дед Кузьма. — Подшутили над тобой так подшутили. Свои ж, поди, друзья, боевые товаришши?.. — На лице его не было и тени сострадания. — Нда-а, вот тебе и шептало-нашептало. А если бы не нашёл, расстреляли бы?

— В расход. За милую душу. — Дед Терентий уронил голову на грудь. — Приказ накануне как раз зачитали “Ни шагу назад”. За дезертирство, утрату оружия и прочие дела — расстрел на месте. Сержант имел право расстрелять. Да и время-то какое было, все отступали. В окружение попали тогда, в плен взяли всех почти. Тогда же, после случая с шепталом-то. Утром приказ: наступать. Танки прошли где-то в стороне. Выскочили из землянок — копыны горят, а которые целы — молодые наши, пополнение за них, за копыны прячутся. Да недолго наступали мы. Какое тут, армада! Стихия! Да ай ты сладись с ней одной винтовкой на двоих? Побежали. И опять — за копыны. За сухую траву прячутся, когда немец на пятки наступает, прёт. Простым взглядом видно. Наша стрелковая рота рассыпалась по болоту сухому. Там, да и там слышу: стреляют одиночными, а в ответ — как ухнет из танка, что ли, и огонь пошёл и пошёл. И опять голос — кто-то: “Мама, мама!” — кричит. А я и встать не могу, голову чуть приподнял, гляжу — они, румыны-суки, на лошадях, верхами. Смеются, белозубые, смуглые, весёлые, верно, пьяные. Кремешки наши отнимали, показывали друг другу, и всё — шутя, хохотали, как над пещерными людьми... Это у нас всё кресало, закуривали от искры, от фитюльки. А у них-то у всех уже зажигалки были. Сразу понял, как обмер: конец, плен. Да недолго пролежал так. Стали поднимать раненых, сгонять в толпу. Немцы, румыны, полицаи. Тех, кто встать не мог, добивали на месте. О, мать родная!.. Мне голову перевязали исподней рубахой, какой-то сержант взялся вести меня, подставил плечо, верно, с соседней роты. И погнали по августовской жаре. Так вот воевали, бывало. Это уж теперь гордиться только стали, а то таились, как победили-то, какой ценой.

Я писал в каком-то иступлении — так живо вспомнились истории моего деда. Кузьму Лукича, весь образ его, и внешний, и внутренний, я видел как бы сокровенным зрением, словно он сидел передо мной.

— Аллён, — своими, какими-то непонятными мне словами ругала бабка Кузьму. — Вечно шатается. Припрётся — все дела бросай.

Через полчаса от самосада в горнице слезились глаза. И чтобы подать к столу щи, бабка крепко держала миску, отгоняя левой рукой дым от лица, шла по горнице, как по краю пропасти, как в тумане. Ни дед, ни Кузьма Лукич не спорили с бабкой, как будто её и не было.

— А помнишь, — говорил дед, едва оправившись от горьких воспоминаний, — помнишь, как ты в городе-то, при депе-то шалил?

— Кузьма! — не отступала бабка Степанида. — Да-ай у тебя округ двора делов вовсе нету?

— Нету, нету, — не поворачивая головы, отвечал тот. — Были дела в чём мать родила, да все вышли. — Фэ-э, — втягивая в себя дымный терпкий махорочный яд, прищуриваясь, тянул Кузьма Лукич, — фэ-э... Было дело, было... Чистил я нужник у начальника рядом с пожарной вышкой. А там тогда, у вышки-то, обломок рельса всегда висел на железном тросу, для звона. Рында называлась. Глядь, старуха идёт, спрашивает мене: “Где тут мне, старухе, письмецо сыну отправить, почтовый ящик?” А я ей: “Стукай вот об этот рельс да приговаривай: “Лети, письмецо, к моему родному сыночку”. Звякнешь, говорю, раза три-четыре, а потом во-он в тот ящик, в дырочку-то и сунь конверт, скорее дойдёт”. Фэ-э, она, дура, так и сделала. Берёт костыль стальной и давай звенеть. Я бросил черпак, отбежал, гляжу из-за угла,

как она старается. Тут пожарные, полуторка с цистерной, пожарные примчались, народ, милиция. Потащили глупую старуху к пожарному начальнику. “Ты что делаешь, дура! — орёт начальник. — Ты же пожарный сигнал подаёшь, народ собрала”. А она с испугу только плачет: “Прости, батюшка, Христа ради прости, Христа ради”. — “Это не Христа ради, а беса ради! Штраф плати. За ложную тревогу!” А я поодаль стою, смех разбирает.

— Да-а, — поглядывая с неодобрением сквозь дым на товарища, подавал голос мой дед. — А ведь тебя за такие штуки могли бы привлечь.

— Очень даже просто, время-то было — не забалуешь. Могли бы, да ведь молодой был, скучно. Баба моя в деревне. Чистишь, чистишь, да что-нибудь и отмочишь ради шутки.

### Очищенная

Старики мои привезённую мной водку называли очищенной по сравнению с самогоном.

По совести сознаюсь, я не был бескорыстен: выпив по черепушке, старики становились ближе, понятней и искреннее, и рассказывали о себе гораздо охотнее. А повесть в моём сознании росла и расцветала, как белая сирень в далёком моём детстве, буйным кустом разросшаяся до саморазрыва вдоль ствола, от своей же земляной корневой силы, и цветущая молочной кипенью. Помню, в детстве с утра окно открывалось прямо в эту сирень и в малинник... Сирень опьяняла дыханием, возносила душу на небеса. И так же, как от черёмухи, от ее неуёмного свежего духа болела потом голова, стоило наломать её и поставить на ночь у изголовья букет. Так же пьянит наслаждением работы, возносит на небеса и писание повести. Взлёт, радость, а потом усталость и пустота. Вино веселит сердце, мягко берёт-трогает за виски, выводит меня из “третьего” моего состояния, заполняет пустоту.

— Она, очищенная, хороша, когда с устатку и немного. Замолаживает, — говорят старики.

Иначе-то, на сухую из них и слова не вытянешь, всё охи да ахи, да вздохи про нищенскую пенсию, о накрутке цен на продукты, да что теперь, про “союз независимых государств” — что это? И они рассказывали, как просто раньше они ездили на Кавказ, покупали пряжу, тут меняли на самогон. А с самогоном кто был, с голоду не умирали. А теперь? И пожаловаться некому, где она, власть-то, а хулиганству удержу нет. Ворьё, фулоганы, беглые. Ночью мои старики боялись свет зажигать, сидели в темноте, смотрели на угли. Из горницы в кухню — со свечой или лампой керосиновой.

— Раньше были времена, а теперь моменты! — с горечью жаловался Лукич.

— Да что ж вы жалуетесь-то, — как-то не выдержал, вспыхнул и я. — Вы ж голосовали за это громкое название единой из партий, вы что, не жили при единых партиях? Всю жизнь! А теперь жалуетесь.

Что тут началось! И не голосили, и не видели этих бюллетней, на тракторе приехал Шурик Бардон, привёз по буханке хлеба бесплатно и сказал, что всё, дескать, спите спокойно, живые мумии, всё за вас сделали, не извольте беспокоиться и не надо благодарностей.

“Амба!” — сказал он, Шурик. Приготовили ему полбутылки самогону, от себя оторвали, от сердца. Он переписал счета электрических счётчиков и уехал. За свет, правда, больше не приходили тормозить, спасибо председателю, скостил. Вот и всё голосование.

Прихватив из своих запасов очищенную, я поспешил к старикам, и, как только вышел на крыльцо, чернота ночи приковала меня к порогу. И тишина. Жуткое молчание кругом. Даже собаки не брешут — тут нет ни одной (из-за невозможности их прокормить, что ли). Да я и сам чувствовал, что оживает во мне мало-помалу какая-то врождённая вековая осторожность, настороженность. Нехорошие слухи ползли и из райцентра об убийствах нищих стариков. Особенно поразило меня известие об убийстве пчеловода.

Было это так. Пасека давно изжила себя. Пчеловод, бывший фронтовик, устал жить в деревне, не справлялся он уже по старости и со скотиной.

Инвалид, без ноги, — покоси-ка да навоз покидай... Скотину он и раньше держал не из жадности: у него была хорошая пенсия, а таков человек был, не сидел на месте, не мог. Дочь хорошо устроил, держала в Рязани то ли табачную палатку, то ли бакалейный лоток и всё звала отца, писала: “Хватит уж там пластаться, приезжай. Там у пчёл твоих — не жить, а только волком выть”. “Оно, конечно, — рассказывал Лукич, — в городе-то она, жизнь-то, содержательнее: где пивка попьёшь, где водчонки очищенной выберешь — любой”. Пенсионер жил за семь вёрст от Выселок, личность была известная. Почёт и уважение имел. Глядь, тут и впрямь расхворался что-то, распродал скотинёшку, собрался к дочери. Да только в примаках фронтовики наши, верно, жить не умели и не научатся никогда. Скоро вернулся и он. Что уж там не заладилось, неизвестно, но на вопрос о городе отвечал: “Тут у меня — рай”. И молчок. Вернулся, поставил шест-антенну для мобильного телефона, кинул провод в дом. Ладно. Да ещё и коня купил хорошего, племенного, что ли, орловца, что в здешних местах стало давно уже дивным. То есть и не сам конь, а это какие же деньги надо иметь!..

Пробовал он выкупить пай, но даже и ему, уважаемой в округе фигуре, пай председатель уступил дальний, за болотами. Так что обработать его — не наездисься, пасеку поставить свою значило бы там и жить, что, верно, тоже не устраивало Николая Степановича. Помню его ясно, седого, как дунь, или как я представлял бы себе умудрённого святого. Длинноволос, высок и сутул, как сутулы бывают многие высокие люди, он как бы нависал над собеседником. Разговаривал всегда сдержанно и только по делу. Мы сидели с ним однажды у озера, давно это было, удили карася. Он и рыбу удил в повседневном: узкий коричневый пиджак с колодками фронтовых наград, высокие сапоги и военные широкие штаны, заправленные за голенища. Он был одноног, ходил на протезе, но наловчился ходить так, что я порой еле попевал за ним.

— Степаныч, ну, и ловок ты ходить, — стараясь польстить, да и, в общем-то, восхищаясь им, его поколением, восхищаясь без всякого вранья, говорил я ему, догоняя.

Он только загадочно улыбался, признался:

— У меня же протез-то знаешь какой? Финский! Мне его через Союз ветеранов пять лет выцарапывали. А то... Разве бы я...

Известие об убийстве “самого Степаныча” поразило меня жестокостью. У него свели коня со двора, вытащили всё, что можно и нельзя, не оставили даже старой радиолы “Рекорд”, не оставили ни одной алюминиевой ложки или плошки. Сняли провода электропроводки, верно, сдавать на металл. Но и того мало. Когда опознавали сгоревшего в доме Степаныча, определили, что с трупа сняли даже протез.

Милиция, покопавшись на пепелище, нашла неподалёку тульскую двустволку в сугробе, шапку-ушанку. Так и не смог он выстрелить в убийцу, Степаныч. Во фрица — мог, а в “своих”... Быть может, даже и в весьма знакомых ему, не смог, душа не дала. Один из патронов не хотел вылезать, чем только не выколачивали, — как бы и само ружье всё ещё копило свою железную беспощадную злобу и желание отомстить за хозяина.

По слухам, орудовало человек пять, если их можно назвать людьми. А оформили как пожар от электропроводки. У него-де и самодельный обогреватель наши, и всё такое.

— А протез, язвы их в душу, в печень, — ярился дед Кузьма. — Протез-то, он не мог же сам убежать? Это как?

— Протез, старик, снять можно и на печь положить, — отвечал ему сержант милиции, — только и всего!

— А нашёл ты его, протез-то, на печи-то? Ты кто, следак или... чужак, или по жизни так? Сержант в ответ: “Но-но, он кричит ещё! Полегче, дед, не то за хулиганку упеку и за сопротивление властям. От трёх до пяти”. Плюнул я. Вот она, наша жизнь стариковская... А человек воевал, до Берлина дошёл. И потом — не домой, после войны дослуживал где-то на Дальнем Востоке.

Ветер улётся, на небе ни луны, ни звёзд. Натыкаясь на сугробы, я брёл мимо чернеющих тополей, изб и дворов, обвалившихся амбаров и пунек, ориентируясь по привычке, шестым чувством. Старики были уже в сборе.

Я поставил бутылку на стол, бабка Лиза, не скрывая удовольствия, вскрикнула:

— Ой, малый-некошной, опять принёс очищенную! Второй раз притащил, потратился на нас.

— Тот раз — за приезд, а этот — за здоровье Акулины Ниловны, — ответил я, сдёргивая с плеч залубенелый негнувшийся полушубок, стаскивая осыпашую снеговую ость шапку.

В кухне по-прежнему хлопотала бабка Лиза. Тяжело шмыгая валенками, с трудом передвигаясь, но всё же стараясь служить, Елизавете помогала Акулина, а дед Кузьма всё о чём-то весёлом заговаривал Акулине на ухо. И пока я раздевался да развешивал доху, да выбирал табурет, ища глазами тот, который не шатается, дед Кузьма, верно, рассказал очередную историю.

— Сиди уж, — ворчала бабка Акулина, как будто дед Кузьма стоял, — сиди уж, так я тебе и поверила!

Водку разливал, против городского обычая, дед Кузьма. Он с видимой какой-то особенной осторожностью наполнял разнокалиберные стаканчики, рюмочки, зорко прищуриваясь, целился в рюмку, а разлив, плотно закрыл бутылку алюминиевой “косыночкой”. И бабка Лиза не удержалась, заключила, как всегда:

— Стаканы да рюмочки доведут до сумочки...

— Ну, здравствуйте, — по старинному обычаю вытягивая руку со стаканчиком, молвил Кузьма. — Здравствуйтесь, дай Бог, чтоб не последняя.

— Дай Боже и завтра то же, — пытаюсь шуткой уцепить деда, всё никак не решаюсь выпить, изредка взглядывая то на Кузьму, то на меня, отвечала бабка Лиза.

— Что не закусишь, — с явным сочувствием спросил я Кузьму, — закуси, крепкая.

— Не торопи, малый, пускай пожгот... пускай. Пускай. Как босыми ножками по жилушкам-то ангелочки. Хороша. Отчищенная. Не самогон, какой мы турим здесь? Эх, дай Бог, чтоб елось и пило, хотелось и могло. Наутро проспалось!

Дед крикнул, поддакнул и стал зажёвывать. Бабки засмеялись, хлебнув по глотку, замахали ладошками возле губ и принялись за щи, подставляя под ложки кусочки хлеба.

— Допейте, допейте, не церемоньтесь, — уговаривал старушек дед. — Допивайте, завтра будет вёдро.

— Мёду тебе на язык, — допив, сказала бабка Лиза. — Хорошо бы, вёдро-то, глядишь — и хлеба привезут на тракторе.

Меня всегда как-то особенно трогало это деревенское уважение к спиртному. Им лечились, с ним праздновали и горевали, заливали печали. Я спросил у Кузьмы, откуда в деревне это вековечное почтение к хорошей водочке.

— Так мы же христиане аль нет? А Христос какое чудо первым сотворил, в Кане Галилейской, а? На свадьбе-то. Не знаешь? Должен знать. Теперь ведь всё читать позволено, и Писание. Мать-то ещё, Богоматерь, просила Его об этом, первое чудо.

— Он отвечал Матери: “Не время ещё Мне...”

— Да, видать, и Он пожить хотел, оттянуть страшные сроки Свои. А срок Ему наступал. С первого чуда, именно. И Богоматерь не знала. Просто сидела на свадьбе и любовалась на Сына. На такого Сына, Который может всё. Ведь Она Сама-то знала, кто Он. Это Иосиф-обручник мог не знать. А первое чудо — обращение воды в вино, это верно. Христиане! — опять повторил Кузьма, но теперь в этом слове я почувствовал не гордость, а укор, скрытую какую-то насмешку. — Христиане, а только то и усвоили, что пить. Да пьют в горькую. Слыхал, в этом году сколько потравилось спиртом-то? А-а-а... Что, думаешь, просто так? Всё тот же город несчастий и страха, Беслан. Твоя, я надеюсь, не оттуда? У них была это, “Исток”, что ли,



или “Источник”. Да что там обвинять, чечен ли, армян, какая нам-то разница, ведь продали нас. Ты нас-то знаешь, кто продал?

— Кто?

— Иуда. Русский Иуда, между прочим, не чей-нибудь. Он рыжему Искариоту фору даст, ей-бо, не брешу, фору по всем статьям.

## Рай

Странное чувство наваливалось на моё сердце в минуты споров, выяснений отношений стариков. Их бесстыдно и нагло обворовали, украли молодость, здоровье, любовь, самую жизнь. Но странно, как бы и не было виноватых. “Время было такое”. Работа да борьба. За кусок хлеба, за саму эту возможность — быть. Слушая эти споры, невольно приходил я к мрачным выводам, что все эти старики, ровесники века, не видели ни цели своего существования, ни смысла его. Так мох хватается за отвесную кручу скалы, оживляет ее, забирается на самый пик — к небу — вопреки всему. И вот, глядь, как раз подошло и ещё нечто более страшное: одинокая нищенская старость всё с тем же бесхлебьем в заснеженных страшных полях широкого снежно-вьюжного размаха и безмолвия. Что позади, что впереди? Год, два, ну, пять, и всех их ждёт смерть на заброшенном кладбище, а по кладбищу, как заявил председатель Кузьме с насмешкой, проложат новую асфальтную дорогу в сторону “райцентра”.

— А у них всё рай. “Рай-центр, рай-собес, рай-оно...”, но “ад-министрация”... И тут демократические ветра, тоже было понятно: откуда и куда дует.

И думалось, всё это поколение стариков — и раньше, и теперь — втянуто страшной центробежной силой в какую-то неведомую аферу. Для кого, для чего? Смысл их жизней трудно объяснить даже теперь.

Показывая свои болячки, старики как бы демонстрировали отметины великих событий.

Не было никогда в Выселках ни сетевого радио, ни телефона, ни телевизора, хоть до Рязани — города областного значения, центра — рукой подать, и уж, конечно, не сравнить с Чукоткой. Но никто не мог бы сказать — почему, ведь до самой Москвы — не более семисот верст, заснуть и проснуться в поезде с Казанского вокзала. Выселковцы, работая от зари до зари, так и не смогли добиться ни того, ни другого.

Дед Кузьма говорил, что собирались до войны провести и радиотрансляцию, и телефон, но так и не собрались. А потом война, не до телефонов. После войны — разруха. Бабка Акулина утверждала коротко и ясно: руки не доходили. Нынче же и вовсе надобность отпала.

В двадцать шестом году выселились из села Дубровино молодые семьи в самую глушь рязанской земли, за бутор, торопясь, чтобы не застала зима, ставили избы, крыли соломой, надеялись на лучшую жизнь. Но лучшей жизни так и не дождались. Среди мелколесья, оврагов, болот и теперь ютятся остатки гнилых избёнок, забытые Богом, забытые людьми. И часто услышишь от русского человека, от Подмосковья до Владивостока и от Оренбурга до Астрахани, от стариков и старух это особенное и до боли грустное признание, это — со вздохом до самого дна лёгких: “Эх, и глушь тут у нас, ни телефона, ни радио”. И тогда удивляешься: какая же пустыня — Россия, и люди на ней, на своей земле — всегда сироты, чужаки.

Акулина и Елизавета пускались в воспоминания: до самой прошлой войны (для них, стариков, и не случалось больше войн, кроме той, самой страшной...) в здешних оврагах с кустарниками водились зайцы, лисы, волки. В самом начале войны тогда, на святках, когда от мороза трещали углы изб, приходили волки. Совсем близко подходили к Выселкам, выли с душераздирающей тоской, как бы чувствовали, что надвигается страшная война. Крепченские морозы тоже незабвенные. Волки так оголодали, что забирались в хлева через крыши, резали овец, задирали собак. Были случаи, съедали гужи на хомутах, кожаные завёртки на санях-дровнях.

— А свет провели в пятьдесят четвёртом, — говорил дед Кузьма. — Эх, и обрадовались все, чудо!

— И я помню, — светлея лицом, рассказывала Елизавета. — На улице, возле колодца, весь вечер смотрели на лампочку, со столба осветило, как днём.

— А мы как раз на скотном дворе заканчивали дойку, — вспоминала Акулина. — Тоже обрадовались несказанно.

Старики пускались в беспорядочные воспоминания: то говорили о войне, то про коллективизацию, то вспоминали перестроечные дни. И вот теперь, день сегодняшней, — апогей этой самой “демократии”, апология её.

— Демократия — она ведь где? — рассуждал дед Кузьма, зажигая свой вонючий самосад в туго свёрнутой самокрутке. Он долго и не торопясь сплёвывал табачные крошки. Потом выпускал дым облаком. — Демократия там, где сытно. Вот у вас, в Москве, может быть, и есть она, демократия. А здесь безнадёга. Как было до войны, так и осталось, даже ещё хуже. От ста дворов в двух селах — во, две старухи остались. Воспряли, правда, маленько при Брежневе. Сначала-то, когда Маленков сталинские налоги отменил. Потом этот, кукурузник, и почему-то тридцать соток огорода при нём — и всё, и больше не могли. Ходили, мерили, обрезали, у кого лишнее. Что ты! “Комиссионно”, как тогда говорили! Не могли, ни метра, самозахват. Хоть полметра, а обрежут. А теперь её хоть жуй, землю-то, а работать некому, во как подвели. А Брежнев — вот тут пожили маленько, это правда. Этот и сам жил, и другим жить давал. А теперь, я радио-то слушаю, там и в столице греха доже много стало, ой, много! Я думаю, мальйй, кхе-кхе, видать, нет других возможностей спасти Россию, а только сжечь эту самую вашу Москву. Вот и ты смеёшься. Хоть, может, и иное дело, а полководец Кутузов сжжёт. И победили ведь француза, и выжгли его. Дворянчики — и те подобрее стали к народу, те, что выжили, конечно, которых Бог помиловал. Да. Ведь и ты оттуда тоже не зря убежал?

Дед палил и палил самосадам. Чтобы хоть как-то вывести его, слегка спьяневшего, старушки сговорились и собрались на боковую.

— Все, Кузя, айда по домам, пора костям на место...

Но спать было ещё рано. Кузьма Лукич вдруг оживился, встал с табуретки и сказал:

— Пойдёмте-ка, я вам домовину покажу. Всю осень делал. Никому не показывал, примерить надо.

Собравшись, побрели по снегу, пробрались узкой тропинкой к сараю. Высоко в небе катилась луна, а в сарае дед включил лампочку, и в ярком свете открылось всё хозяйство старика: верстак, стружка, собранная кучей. На верстаке — она, домовина, то есть гроб. Остро пахло сосной, и, как показалось, гроб был необыкновенных размеров.

И когда дед, сняв полушубок и скинув валенки, улёгся на дно гроба, мне сделалось не по себе. С детства не любил я ходить на кладбище, смотреть похоронные процессии, с содроганием смотрел и теперь на гроб и на деда в нём.

— Ну как? Чего молчите?

В ярком свете блестела стружка. За стеной взвизгивал поросёнок душе-раздирающим визгом.

— Ой, Господи! — взмолилась и закрестилась бабка Акулина. — Как бы греха какого не было. Кузьма, для живых-то грех делать гробы, встань, очнись.

— Грех? Какой такой грех? Для себя сделал. А то ведь помру — и домовину некому заказать. Ну как, по плечам бушлат деревянный?

— Хорошо, нормально, — заговорили мы, торопясь и убеждая, чтобы поскорее уйти от этого неловкого зрелища. И уже направились к выходу.

— Э-эй, постойте, подождите, не уходите, — тяжело пыхтя и выбираясь из гроба, говорил дед Кузьма. — Елизавета, ну-ка, тебе впору ли, примерь.

— Ой, спаси и сохрани, — крестясь, взмолилась Елизавета. — Не озоруй, Кузьма, а то наклечешь её на свою голову.

Дед начал предлагать всем по очереди примерять домовину. Бабка Акулина, дёргая меня за рукав, заторопилась:

— Ну, и будя, по пустому-то, пойдём-ка, пойдём, мальй, домой пора.

И будто сама себе:

— Ох, и плут-старик, и чем старее, тем хуже. И впрямь колдун, не зря про него слух ходил. Меня мамка за него не отдала.

Борясь с тяжёлым полушубком и затворяя сарай, вдевая руки в рукава, дед Кузьма напомнил мне:

— Если завтра распогодится, пойдём в село за хлебом... Только ты помни моё: денег больше бери. Пусть лучше останутся, чем не хватит.

Мы расходились по домам в глубокой тишине, непроглядной тьме. Я провожал старушек под руки. Часто останавливались, отдыхали и всё это время говорили о Кузьме и его причудах.

— Эх, и озорник! — говорила бабка Лизавета. — Вот сколько его знаю, всё он озорует, видать, из-под матери такой, не изменишь. И мать была озорница. Чего только не придумает, бывало, чтобы выжить, вытянуть семью.

Из её рассказа я понял вот что. Год тридцать второй — тридцать третий, закон уже вышел “о колосках”. Строгость была страшная. И такой урожаяй, что скотину соломой с пунек кормили, камышом с крыш, лишь бы выжила. Зимой из-за бескормицы пришлось пускать под нож скот.

К посевной Выселки подошли с подорванным животноводством, голодным и озлобленным селом. Из-за этого сроки весенних полевых работ сильно затянулись. Отсеялись только на половине площадей. Но даже урожай по осени эти тощие поля не дали. Скудные колоски не смогли толком собрать. По селу шептались: до половины зерна. Конечно, сделано всё это было не потому, что крестьяне не желали добросовестно убирать хлеб для государства, а по простой колхозной сметке: на припас. Пошёл на поле да тайком и собрал. Помолол, кашки детям сварганил. Голода боялись. Толкли лебеду, пекли деруны из картофельных очисток напуганные голодомором в Перми, на Украине — до людоедства. В развёрнутой “битве за урожай” каждый хотел отхватить и спрятать. Воровали, кто как мог. Именно тогда и застудилась Лизавета: вышел закон о пяти колосках. Доходило до угроз конфискации всего продовольствия за невыполнение плана хлебозаготовок. И конфисковали. Но и это не остановило родную мать Кузьмы Лукича от отчаянного поступка: ночью с кошёлкой пошла она на добычу, да и нарвалась на объездчика.

— А луна. Вот как сейчас. Объездчик приметил её и пустил коня рысью. Агаха же, слух у неё был какой-то необыкновенный, тоже поняла, что её сейчас возьмут. А какие последствия, если возьмут? Так она что, разделась догола, распустила волосы с головы по пят — волосы у неё и впрямь густые были, рослые. Оголилась вся, одёжку в корзину к зернам да колоскам, встала на четвереньки, стоит, ждёт. Подъезжает объездчик, ничего не чаёт, издали заговаривает с ней. Она молчит, не двигается, он ближе и ближе. Ну, всё, попалась, не миновать — сидеть... И когда уже морда коня нависла над Агахой, та как закричит, как завоет по-волчьи. Ведьмой прикинулась. А всё голая же была. Вскинулась на коня под ездовым. Конь голого человека боится, убегает. Конь под объездчиком и рванул, и понёс. Да так понёс, что и самого объездчика где-то на поле скинул. Едва жив остался, руки-ноги поломал. Вот как, сразу и не придумаешь. Так и не взяли её тогда, не признал объездчик, да так и не появлялся больше на поле. То ли впрямь за ведьму принял бабу, то ли боялся, что этак и совсем либо убьют, либо ведьма и впрямь околдует.

— Она и была чародейкой, — сказала Лизавета, — была, ей-ей, я знаю. И Кузьме, хоть, может, и не всё, а что-то она передала. Угадывает будущее, например, да и много всего.

Проводив старушек, я брёл к дому деда, в родные пенаты, шёл, еле-еле различая в темноте густо подсиненную тропу в сумерках. Посвистывал ветер в верхушках тополей, луна утонула. А в моей кухне и горнице было так холодно, что я не решился укладываться спать, не протопив. Дров я давно натаскал и рассыпал в сених. Одно-разъединенное окно было выбито, и с приездом мне пришлось застеклить его вместо стёкол двойным толстым целлофаном. Теперь этот целлофан, надуваясь, как парус, постреливал, пугая и хлопая ветром.

Растопив грубку, я уселся за стол, чтобы хоть что-нибудь набросать в черновике из событий прошедшего дня, выбрать главное из всего, что было рассказано стариками. Вспоминать и записывать было смешно и грустно.

### Сложный тип

Вокруг меня на многие версты — чёрная ночь, как пролитая тушь... День ото дня я чувствую, как восприимчивость моя растёт и слабеют нервы. Любой пустяк, переживание или воспоминание из детских лет заставляет сердце биться чаще. Сам себе я объясняю это слишком частым курением табака, но дело, пожалуй, не только в этом. И опять мысли, мысли. Мысли, которые находят свои пути, начинают жить на бумаге как бы своей собственной, независимой от меня жизнью, удивляя меня самого неожиданными своими тупиками и поворотами.

Как прост на первый взгляд хотя бы этот Кузьма Лукич! И что за женщина была эта самая Агаха, мать его, не боявшаяся ездить “на Кавказ” (на Кавказ), на подножке вагона по безденежью, закупая там по дешёвке овечью шерсть какой-то одной ей известной породы овец или обменивая эту шерсть на самогон. А здесь, под Рязанью, она вязала тончайшие оренбургские платки. Артистизм и жизненную хватку она передала Кузьме Лукичу. Но чем больше я вспоминал прошлое, сравнивая рассказанное о нём когда-то моим дедом, тем сложнее и противоречивее вырисовывался характер Лукича, этого незабвенного типа с его собственной историей выживания.

Окидывая мысленным взором жизнь моего деда и бабки, соседей, можно было заключить: непосильные налоги заставляли моих земляков брать с колхозных полей, амбаров, складов всё, что можно было унести в карманах, за пазухой и даже между ног, как Акулина носила в семью младшим братьям молоко с колхозной фермы и “застудила члены”. Все эти случаи, рассказанные вечерами старушками, доживающими свой век, были типичными, общими для всех. Кто не рисковал, не шёл в обход, умирал с голоду.

Среди рассыпанных вырезок и черновиков под руку мне попались выписки высказываний Уинстона Черчилля о войне и русских, и пришёл к выводу, что коллективизация, обоснованная и признанная как единственно верный в ту пору путь для России, нарочно оболгана теперь. Дело ещё и в том, что для развития страны и индустрии СССР необходимы были оборудование и западные инженеры-специалисты. Запад же внезапно отказался принимать от Страны Советов плату золотом за помощь и труд этих инженеров. Требовали именно зерно, хлеб. Частные мелкие хозяйства не могли обеспечить поставки зерна в тех объёмах, сколько требовала эта самая индустриализация. Развитие страны нельзя было поставить под каприз крестьянина-частника. Не выбивать же было продналог с крестьянина каждый год, провоцируя крестьянство на мятеж. Итак, выбирать приходилось одно из двух: или тяжёлое, через голод и самоограничения, ускоренное развитие страны, или безнадёжное отставание и гибель.

Лукич не был несунном, и никто не мог бы сказать о нём, что он воровал, или, как говорили старики, “брал”. И всё-таки выжил он “наилучшим образом”.

Когда дрова в грубке прогорели, я помешал сыпучие звонкие угольки кочерёжкой. В избе стало тепло и уютно, хотелось работать, читать, записывать, как-то отделаться записями на бумаге от пережитого, от воспоминаний прошедшего дня, дней нашей жизни.

У меня осталась привычка проверять свою жизнь, повседневные литературные дела выписками, извлечениями, афоризмами выдающихся умов, древних и современных. На столе подбитыми птицами с обрезанными крыльями лежали толстые тетради с разрозненными записями. Сам не знаю, чему они учат меня, эти записи.

Я выписывал и из Бальзака, из предисловий к его романам и рассказам, как работал, как наблюдал жизнь обыкновенных и великих людей этот гениальный француз. В предисловии к роману “Евгения Гранде” я прочитал: “В провинциальной глуши нередко встречаются лица, достойные серьёзного

изучения, характеры, исполненные своеобразия, существования людей, внешне спокойные, но тайно разрушаемые необузданными страстями... Если художники слова пренебрегают удивительными сценами провинциальной жизни, то происходит это из-за презрения к ним, не из-за недостатка наблюдательности, но, быть может, вследствие творческой беспомощности". Эта запись показалась мне написанной как бы для меня лично и касалась моей работы, героев моей истории выживания.

И всё-таки тревожил вопрос, стоит ли писать о мелких, маленьких людях, да ещё с такими муками и усердием. Когда я перечитывал "Историю величия и падения Цезаря Бирото", его людишки застредали в моей памяти, я вспоминал их как старых знакомых, сравнимых с известными мне характерами, встреченными мной в жизни. А Бальзак записал: "Мелкие люди любят тиранствовать, чтобы пощекотать себе нервы, тогда как великие души жаждут равенства для подвигов человеколюбия. И вот существа ограниченные, стремясь возвыситься над своими ближними, начинают либо травить их, либо благодетельствовать им; они могут доказать себе своё могущество, проявляя власть над другими — жестокою или милосердную, в зависимости от своих склонностей. Прибавьте к этому рычаг личной выгоды — и вы получите ключ к пониманию большинства социальных явлений".

Глубокой святочной ночью я перечитывал всё, что написал в эти часы. Образы, набросанные мной, как эскизы, карандашом, невольно находили подобие своё среди бальзаковских, и это сравнение, хоть оно было в их пользу, отчаянием охватывало моё сердце: перед глазами стоял Кузьма Лукич со своей обычной хитрой улыбкой и грустными хмурыми бровями. "Ну что, — спрашивал он, подмигивая, — каков я?"

Так засиделся я до глубокой ночи, не чувствуя усталости, и то ли от сдёртки проводов, то ли по какой другой причине лампочка, звякнув, погасла. Пришлось в черноте ночи укладываться спать. За окном посвистывал ветер. Мне дремалось, и думалось плохо, и всё казалось, что в нашей избёнке оживают призраки, образы рассказанных историй. И вот будто бы вижу опять, как в избу собираются мужички. А чтобы хоть как-то скоротать святочную ночь, рассказывают были-небыли, яркие небылицы, и опять-таки бабка, не любившая эти сборища, ворчит на деда и на мужиков, торопится убраться со скотиной во дворе, варит в ведёрных чугунах картошку и принимается кормить меня какой-то крупитчатой жёлтой пшённой кашей, "цыплячьей", говоря:

— Не ходи в горницу, там мужики курят и ругаются, ну их... А спать ложись на печке со мной. О, Господи... Когда эти протезные ходить сюда перестанут, надоело. Горницу, пол не отмывать после них. Потолок в горнице и тот почернел.

Временами бабка так ругала деда, что бросала всю работу в кухне и, громко хлопнув дверью, уходила к соседке. И тогда дед Терентий сам брался варить картошку для свиней и кур. Где-то во дворе он отыскивал ведёрный алюминиевый чайник, заткнутый газетой, — так бабка прятала самогон. Он ставил греть слабый, одни охвостья, самогон на грубку в горнице. Между тем мужики под это гретое вино собирались, снимали шапки, протезы и рассаживались в тревожном ожидании, не явится ли неожиданно хозяйка, — они рассаживались на широкой скамейке вдоль стены, неторопливо и дружелюбно. На память мне очень живо, чередой приходили эти зимние вечера, когда наша горница бывала полна народу, не хватало скамеек, табуреток, и молодые мужики сидели на полу перед грубкой. Все ждали, когда большущий алюминиевый чайник засвистит тоненько — тогда он и готов.

Байки начинались исподволь. Сначала говорили о погоде, о колхозных делах, долгах или недороде, о прочитанных в газетах новостях, потом, к полуночи, воспоминания входили в апогей, набирали сочность и силу. Мужики то спорили до крепких ссор, то смеялись. От хохота сотрясались стены, от махорочного дыма саднило глаза, дверь в горницу неожиданно открывалась настезью, чтобы хоть как-то прогнать махорочный и угарный дым. Воротившаяся от соседей бабка начинала чихать и кашлять. Недопитый чайник самогона мгновенно исчезал из тёплого круга гостей, его тотчас прятали.

Отгоняя от лица ладошкой дым, бабка заглядывала в горницу, спрашивала деда:

— Где внук-то, да он жив там у вас или нет? Закурили малого, сдохнуть можно, не задохлись сами-то?

Я лежал или сидел за грубкой на большом кованом ларе, в котором хранили пшено, муку, гречку в матерчатых мешках. Подавая слабый голосок, я притворялся спящим, чтобы бабка не увела меня, спасая от дыма и чада, в кухню и не уложила на печь рядом с собой. Но и прежде, чем уйти в кухню или лечь на полати, бабка то ли жаловалась Самому Богу, то ли отчитывала деда, причитала: “И вот всю-то зиму так-то, как вечер — соберутся детки в клетку...”

— Господи, — совестила она деда Терентия, — Боже милостивый, и чего лясы точить до глубокой ночи? Ну, чего вы всё про одно и то же: война, плен, плен, война. И все чего-то доказывают, и мой туда же. Ишь, шириной трясёт, высох весь, краше в гроб кладут. В тебе, дед, одна только мудрость и осталась, мудруешь, больше ничего. Эхе-хе, вояки, как вы ишшо побеждали-то, ополосни вас да в гроб положи.

Тут она внезапно замечала спрятанный ею во дворе чайник. Взгляд её становился острее. Она скоро слезала и, отвлекая деда разговором, подкрадывалась как-то сбоку и хватала чайник. Но поздно: тот оказывался наполовину пуст. Тогда дед, продолжая разыгрывая спектакль, выбегал на кухню, возвращаясь оттуда с ухватом, кричал ей вслед:

— Стой! Стой, благоверная! На медведя есть рогатина!..

Хохот взрывал избу.

Кузьма Лукич приходил обычно к концу беседы. Меня всегда удивляли его одежды: то он придёт во всем новом, в крепких валенках, суконных железнодорожных брюках, полушубке чёрной дубки, а временами — в лаптях с грязными онучами, телогрейке, засаленной на рукавах до блеска, и старой овчинной шапке, верно, доставшейся ему ещё от отца.

Если он не был один на один с моим дедом, редко пускался на разговоры, всё слушал, работал как бы только на приём. Тербя густую бороду, ухмылялся, думая о чём-то своём. Пенсию он получал больше колхозников, и это раздражало многих мужиков. В колхозе дня не работал, “не знает, что такое пупок рвать, а всё — в дёпе”. Прожил легче, лучше и пенсию зарабатывал больше всех. И вот только теперь, в полном одиночестве лёжа в черноте горницы, мучаясь в зимней деревне бессонницей, я едва-едва начинал понимать его молчаливые жесты, хитрые ухмылочки: все упреки мужиков в его адрес вроде бы вовсе не огорчали, не обижали и не злили Кузьму. Наоборот — ласкали слух, грели сердце тайной радостью: смейтесь, ругайте, культшками трясите, а я, вот он я — цел, невредим, как у Христа за пазухой. Семья не сидела без хлеба даже в войну. Сам пороку не нюхал, и вот наконец пенсию заслужил не в пример всем “придуркам”... Этакой тип получался: юродивый, да только наоборот, не в народ, не в любовь, не к ближнему или к Богу, а в себя, в свой живот. И тогда выходило, что да, как часто говорил он сам, не таясь, моему деду по пьяной лавочке:

— Кто я? Да и сам чёрт не поймёт, кто я. Весь Сэ-Сэ-эР обманул, вот кто я такой!..

Очнувшись от сна, я увидел ранний малиновый свет на толстых, льдом в палец заледенелых окнах. В горнице было так холодно, что от одной мысли скинуть одеяло бросало в дрожь. Вспомнился сон, невероятно причудливый. Закрыв глаза, я с каким-то тайным удовольствием начал вспоминать всё, что видел в прошлую мучительную ночь. Явился мне дед во сне таким, каким я видел его в последние годы жизни, в синих суконных портках и тёмно-вишнёвой рубахе, схваченной на животе ремешком, в новых валенках. Он будто бы сел, как бывало в пору моего детства, на табуретку возле ларя — лёгонький, неунывающий, словно и не болел никогда этой жизнью-отравой, ни войной, ни пленом, ни голодом.

— Когда явился в Выселки, голубчик?

— Четвёртую ночь коротаю здесь, — в радостном изумлении от встречи, я смотрел на деда во все глаза, — четвёртую ночь, а кажется, всю зиму

томлюсь, пропадаю от уныния, скуки. Тоска да холод такие, что в жизни своей не встречал. И ни охоты, ни работы, а главное — раздумий так и не получилось по большому счёту. Корзина забита черновиками, погряз.

Дед склонился над корзиной, заинтересовался, долго и с интересом разглядывая, вдруг отметил:

— Так ведь это я ещё, малый, плёл корзину-то. Ты мне тальник стриг да обдирал, ай не помнишь? Жива кошёлочка! Вишь вот, даже и под бумажки твои бесценные сгодилась. А ты же, поди-ка, и не сплетёшь теперь, позабыл моё мастерство? И лапоточки не сплетёшь? Где кочедык мой, не встречал? Поди-ка, под печью где-нибудь в мышиную нору завалился?

Поражённый тем, что на деле заинтересовало деда, я молчал, как убитый: тут дела посерьёзней, а он — тальник, кочедык...

— А ты сам где теперь околачиваешься? — так же весело-строго спросил дед.

— Я, дед, богатые склады охраняю. В самой Москве.

— Вон как, и что охраняешь?

— Да разное, — смутился я. — Разное, дед.

— А всё же, что? Или детские игрушки, или продукты, или лекарства?

— В общем, делов палата.

— Вот как, “палата”. Похвально. А от кого же ты охраняешь? Имуство-то? От воров или, может быть, от народа?

— От тех и от других. Теперь, дед, не поймёшь сразу, кто есть кто. Кто народ, а кто жулик. Иной раз кажется — кому служу, тот и есть вор, да ещё какой вор! Только время такое, когда больших воров не судят, а охраняют. Больших воров охрана бережёт, а мелких конвой стережёт.

— Так-так, да оно ведь так уже и бывало. Было чему удивляться: то нэн, то перегибы всякие. Да что там — и после войны не все голодали да нищенствовали. Так вот, значит, снова и у вас то же — да еще и похлеще будет, ну-ну. А вот исписал бумаги, в корзинку-то, ты, знать, по этому поводу что-то и смекаешь, и понять пытаешься. “Писать и чувствовать спешишь”?

Дед был грамотный, великолепный рассказчик, любил задеть за живое. Я смутился, а он продолжал:

— Ты, гляди-ка, писателем стал там, в той Москве-то дальней. Знаю, вроде бы и литературные премии получил, хорошо.

— Это, дед, не премии, это скорее гранты, аванс на будущее. От “генеральных” чиновников, от грандов на “презентациях” — гранты, и всё не то. Государству нынешнему не нужна литература. Книжки теперь если и пишутся, то только развлечения ради. Сегодня что в книгу или в литературный журнал писать, что в школьную стенгазету.

Дед оценил шутку, засмеялся легко, весело так.

— Гляди-ка, гляди-ка, писателем стал. А дед твой тележного скрипа боялся, щи лаптем, того... Вот она, как жизнь-то повернула. Похвально.

— Кой там “похвально”, — огорчился я от “похвал”. — Жизнь — муки адавы. Там-то что ещё, в Москве. Москва живёт. “Гудит, как улей, Москва живёт, а нам-то что, нам... который год”. А вот тут поживи, в деревне. “Поживи-ка у деревни, похлебай-ка кислых щей, поноси худых лаптей”. Как вы тут жили-то, дед?

— Так и жили, как ты теперь, так же мерзли. Ты вот что, у меня времени мало. Приезжать на охоту с собакой надо было. Да с хорошей. А если книгу писать, то заранее продумать, о чём. Ты помнишь, я рассказывал, тоже не с бухты-барухты. Вся деревня слушать сходилась. Помнишь, о втором явлении-то, как Христос спустился по верёвке прямо с небес и не узнал этого мира. А мир не узнал Его. Инди-виду-ализация, вучек. Она губила и губит, и не только она.

— Больше всего этот Кузьма Лукич меня волнует. С виду прост, вроде дурачка. А временами — философ. Никак не могу распознать его, выписать.

Дед стал серьёзен, задумался:

— Понимаю тебя. И я его не раскусил. А уж на что друзья были — не разлей вода. Он что же, всё чудит, озорует?..

— И чудит, и озорует. Рассказывает, как из колхоза убежал в депо.

— И под тополя не собирается? От, ишь ты, характер. И хитёр. И убе- рётся, и даже у вас там уберечься умеет.

— “Под тополя” собирается, домовину себе отгрохал, намедни хвас- тался.

— Ох, и типы жили у нас в Выселках! Которые — ушли, а этот — вон он, всё воду мутит, поди ж ты. Всё ждёт от него чего-то Господь, не призы- вает его. Так вот, смешками да намёками, без слёз прожил. Ты ему водоч- ки плесни побольше, он тебе многое расскажет, а ты слушай да записывай. И проще пиши, не додумывай, не преувеличивай. Вроде как Иван-дурак, а всё — у него в кармане. Хлеб-то возят в Дубровино?

— Вторую неделю не везут, из-за бездорожья. Метёт и метёт, света бе- лого не видно. Сегодня с утра собирались ехать на заготовку с Кузьмой. На своих двоих, с салазками древними, из липы гнутыми, у него в сенцах стоят.

— Ну, помогай Бог. День, похоже, хороший будет, управитесь до ве- чера.

— Сам-то как, дедушка, в аду или в раю?

— О-о-о, внучек, и не спрашивай. Всех живущих ныне дожидаемся, тогда и ясно будет. Суда Божьего ждём. Тогда и определят, кого куда, как писано: козлищ налево, овец Божиих направо. Все ждут, и я жду.

— Чего-то долго там у вас, чего так долго-то?

— Разбор идёт. Разве скоро разберётся? Воровали, охальничали, пьянствовали, а говорили “товарищи”, “товарищи”. Теперь ваши пошли, олигархи да господа. С ними-то проще должно быть, яснее. Того застрели- ли, этого взорвали, утопили. Кажется убиенным — сразу паспорт на небо, ан нет. Тут глянешь, чего он, убиенный-то убиенный, а понаворочал столь- ко, обобрал-оголодил, сиротами сделал — тысячи. И инда душа займётся. Убежать бы от них куда — так совестно. Плуты, вор на воре. С девками не- совершеннолетними, молодыми, за деньги в бане парились. У народа вауче- ры обманом поотнимали. Да ещё по десятку-два убийств на каждом. Вот те- бе и господа-товарищи. Они, эти ваши, “новые”, и путают тут всё, и тут плутуют, пытаются. И все — бывшее начальство партийное. А уж скромны- то на вид, слова лишнего не скажут. Всё “будьте добры” да “пожалуйста”. А всё, поздно. Ты вот хоть за меня молишься, а за них и помолиться неко- му. Ну, прощевай, кличут меня, зовут зачем-то. — Он приподнялся так же легко, как и сел, вздохнул: — Эх, господа-господа, господа-демократы. Но- ги моют они тут нам, христянам-то.

— Они?

— Они. Моют да пьют воду. Разжалобить хотят. Да поздно. При жиз- ни получили все свои блага, теперь расплата.

— У нас их тут теперь пруд пруди развелось. Ждут их там?

— Жду-ут, голубчиков. Да ты вот что, чтоб не забыть: пойдёшь — во всем слушай Кузьму. Испытания вам будут, но водки с ним не пей по доро- ге. На тракторе обратно не езд, иди пешь. Санки возьми и иди. На кладби- ще в обратную сторону не заходите, сразу домой. Да и не до того вам будет. Помни моё: испытания будут...

*(Окончание следует)*



ОЛЕГ КУИМОВ



## ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

РАССКАЗ

Антон посмотрел на табличку с номером дома. Да — этот! Обычная восьмиэтажка из белого силикатного кирпича, невесть каким боком затесавшаяся в компанию окружавших её красавиц сталинского ампира. Однако внутри дом оказался не хуже своих соседей. Высокие широкие двери в две створки создавали ощущение солидности. И потолки явно трёхметровые. Ничего не скажешь: центр Москвы на то и центр, со всем причитающимся достоинством столичного города.

Дверь в квартиру выглядела бедной родственницей в сравнении с остальными — деревянная, неказистая, окрашенная типовой коричневой краской ещё советских лет. Стало ясно, что хозяин, Иван Сергеевич, с которым он был знаком только по телефонным разговорам, либо пенсионер, хотя голос казался моложавым, но такое бывает и обманчивым, либо одинок: такая неприкаянность исходила от двери. Антон позвонил.

— Здравствуйте. Вы Антон? — спросил худощавый улыбающийся мужчина лет шестидесяти с небольшим, немного выше среднего роста, коротко стриженный.

---

*КУИМОВ Олег Владимирович родился в 1967 году в Кирове в семье военнослужащего. Обучался в Томском университете на геолого-географическом факультете (гидрология суши). Окончил Литературный институт. Публиковался в различных изданиях, в том числе в журналах "Наш современник", "Север", "Дон", "Нижний Новгород" и других. Лауреат журналов "Сура" за 2016 год (проза) и "Отчий край" за 2020 год (критика), а также различных конкурсов и фестивалей: "Славянские традиции", "Славянская лира", имени Гофмана и др. Книга сказок на тему русских народных пословиц и поговорок отмечена Золотым дипломом премий "Золотой Витязь" и имени П. П. Ершова. Ведёт критическую рубрику в журнале "Отчий край" (Волгоград). Живёт в Подмосковье.*

— Да, Антон, здравствуйте.

— Проходите. Надевайте вот тапочки, — он указал жестом на галошницу.

И всё то время, что Антон разувался, хозяин терпеливо стоял рядом и с улыбкой радужного хозяина расспрашивал, задавая общие вопросы с такой приветливостью, что Антон отвечал с охотой, несмотря на их шаблонность.

Переобувшись, он огляделся. Длинный коридор, который можно было бы назвать просторным, если бы не расставленные вдоль левой стены стопки связанных бечевой книг и каких-то бумаг. Коридор упирался в туалет и ванную комнату. Слева затемнённая стеклянная дверь закрывала вход, по всей вероятности, в комнату. Справа, чуть дальше, такая же стеклянная дверь была распахнута. Внутри стоял кавардак — то ли ремонт, то ли разборка вещей. Такие же стопки, набитые чем-то чёрные полиэтиленовые мешки вместе со стоявшими друг на друге стульями, да ещё куча всяких узлов и вещей сократили свободное пространство вокруг стоявшего посередине пианино и круглого стола на мощных кривых ножках до совершенного стеснения.

— У вас ремонт? — осведомился Антон.

Иван Сергеевич изобразил виноватую улыбку, впрочем, смущения в ней не замечалось.

— Извините... небольшой беспорядок. Разбираюсь с вещами. Ну, там ещё кое-что.

Он протиснулся между коробок к столу и, жестом указывая на один из венских стульев, какие Антон почти уже нигде не встречал, разве что у коренных московских аборигенов, и то редко, предложил:

— Антон, вы присаживайтесь. В принципе, общее мы с вами обговорили по телефону. Теперь осталось обсудить кое-какие детали, — улыбка на миг исчезла с его лица, и неожиданно чёрные зрачки остекленели, как у ворона, вонзаясь в него ледяными иглами. И так же внезапно лицо оживилось прежней доброжелательной улыбкой.

— Я вам уже говорил по телефону, что икону придётся реставрировать только у меня дома, — продолжал Иван Сергеевич, — все необходимые условия я вам обеспечу. Всё, что понадобится, предоставлю.

— Иван Сергеевич, извините, а чем всё-таки обусловлено такое требование? У меня есть все условия для работы, и мне всегда заказчики доверяют работу на дом.

Иван Сергеевич выпрямился на стуле и принялся постукивать пальцами по столу, сосредотачиваясь, как показалось Антону, на какой-то мысли.

— Понимаете, Антон, — резко, словно осёкшись, поджал он пальцы, — эта икона мне очень дорога. Мне бы хотелось, чтобы она всё-таки оставалась рядом со мной.

— Она вам дорога как семейная реликвия?

Иван Сергеевич опустил глаза.

— М-м... не совсем. Мне она, скажем так, досталась по наследству, но от другого человека.

— Тогда почему?

— Ну, — он смущённо улыбнулся, — она просто дорогая.

— В каком смысле?

Иван Сергеевич виновато развёл руками.

— В смысле — в денежном эквиваленте. Ну и... в натуральном тоже, само собой, — как объект духовной культуры.

Антон заинтриговался.

— И что это за икона? — спросил он спокойно, чтобы не выказать явно своего любопытства.

— А вот давайте я вам её просто покажу. Я вообще-то её никому ещё не показывал. Не хочется привлекать лишнего внимания. А вас мне рекомендовали как человека порядочного и неболтливоего.

— Ну тогда почему же вы не решаетесь мне доверить её домой?

Иван Сергеевич наклонился, поднял с пола карандаш и покрутил его между пальцев, сосредоточенно разглядывая, как крутящиеся грани сливаются в жёлтую окрестность.

— Ну, как вам сказать... Вы по рекомендации хороших людей, так что я вам полностью доверяю, но жизнь полна сюрпризов. А вдруг с вами что-то случится? Или вас обворуют? Затопят соседи? Да мало ли что? А так всё будет на моей ответственности. Уж лучше я сам себя буду ругать, если что, чем... Ну, вы сами понимаете.

— Понимаю. Просто мне никогда не приходилось сталкиваться с подобным подходом. Но в принципе, я согласен. — Антон поднялся с места. — Давайте тогда посмотрим нашу икону.

— А почему “в принципе”? — насторожился Иван Сергеевич.

— И без принципа тоже, — отшутился Антон. — Обычная глупая притянутая за уши история.

— А-а... Ну что ж, тогда приступим, — обрадовался Иван Сергеевич и, отлучившись на минутку в соседнюю комнату, принёс обернутую бумагой икону.

— Так это же дораскольное письмо! — восхитился Антон, после того как Иван Сергеевич освободил её от толстого слоя бумаги. — Иоанн Предтеча! Начало семнадцатого века, не позднее. Список иконы Андрея Рублёва.

Иван Сергеевич откинулся на спинку стула, не в силах сдержать довольную улыбку счастливого обладателя.

— Да, так и есть, дораскольная.

— Где же вы такую ценность достали? — От возбуждения по спине Антона пробежали мурашки, как от озноба. И он невольно передёрнул плечами. — Состояние, правда, не очень, но приемлемо. Нет, ну, правда, где вам удалось такой раритет достать?

Иван Сергеевич хитро, с мальчишеским озорством, прищурился.

— Тайна фирмы. Ну, хотя какая уж тут тайна. Досталась по наследству. Точнее, не то чтобы по прямому наследству, но всё-таки... — он на миг замялся. — От одного доброго человека.

Антон проследил за его взглядом. На стене висела фотография женщины средних лет: черновобровая, черноокая брюнетка в белой водолазке, украшенной золотым колье с часиками.

— Это ваша мама? — спросил Антон.

— Нет, это Белла Григорьевна, мамина подруга. А насчёт иконы... всякий коллекционер имеет свои маленькие тайны, — с таинственным видом заключил он, поднявшись со стула.

— Да, это уж точно, у каждой коллекции есть второе дно.

— Вот-вот, — охотно согласился Иван Сергеевич, потирая пальцами переносицу. — Ладно, вы своё дело знаете, не буду вам мешать. Ознакомьтесь с иконой, оценивайте свой труд, а я пока, с вашего позволения, приготовлю нам что-нибудь к обеду. Надеюсь, у вас нет каких-то ограничений в пище?

— Нет, я не вегетарианец и тому подобное.

— Ну, и замечательно. Ах да, как я мог забыть! Вам же с дороги надо руки помыть. Туалет — слева, ванная — справа. С выключателями, надеюсь, разберётесь.

— Разберусь, конечно. Только я хочу вас предупредить сразу, что цена будет выше той, что я беру обычно.

Заметив, как брови Ивана Сергеевича изогнулись в немом вопросе, Антон поспешил объяснить:

— Понимаете, Иван Сергеевич, реставрация процесс специфический. В нём есть определённая последовательность, которой следует придерживаться неукоснительно, иначе можно погубить икону. Нельзя вот так засесть за работу и не отходить от станка сутками. Какие-то операции займут целый день, а какие-то, ну, отставка, например, ну, час где-то. А день-то фактически потеряны: пока к вам доедешь, пока вернёшься. Если бы я мог работать у себя, это другое дело, а так мне придётся больше суетиться, чем работать. Тут иногда будет вынужденный простой. И потом, у меня тоже имеются заказы, которые надо доделывать. Мне придётся разрываться...

Иван Сергеевич, внимательно слушавший Антона, перебил его:

— Хорошо-хорошо, я всё понял. Усложнение условий труда — справедливо. И... — вздохнул он, — насколько увеличится сумма?

— На двадцать пять процентов.

— У-м-м... Многовато, конечно, — глаза у Ивана Сергеевича сузились в задумчивости, — но что делать... что делать... Хорошо, договорились.

— И ещё, — поспешил вставить Антон, — мне от вас нужны общие сведения о предыдущей, так сказать, жизни иконы. Это не моя блажь, таковы нормы реставрационных работ. Где она до этого находилась, в каких условиях, в каком районе? В общем, всё, что знаете.

Иван Сергеевич тяжело вздохнул:

— Эх, боюсь, я тут не смогу быть вам полезным. До меня хранилась в сухом подвале, в Москве, а до этого — не знаю.

Туалет с ванной снова напомнили Антону, что он в центре Москвы, где строили когда-то хоть и без роскоши, но для людей с положением и достатком. Ванная вообще оказалась с его кухней. И везде, за исключением комнат, пол был выложен белой плиткой с чёрными вставками, как в старых французских фильмах про средневековых королей и прочую дворцовую знать. Выглядело хотя и привлекательно, но неброско и несовременно, как могло показаться обывателю. И только немногие, ещё сохранившие остатки иммунитета от модной крикливой пошлости китча, да коренные москвичи, выросшие в подобных условиях или наблюдавшие их у состоятельных соседей и знакомых, могли оценить по достоинству вкус хозяина и солидность вложенных средств.

Странное дело, стеснённость несколько не мешала трудиться. Напротив, какая-то атмосфера царственного, а точнее сказать, старомосковского покоя с его неспешностью, располагала к сосредоточенному погружению в работу. Тщательно, сантиметр за сантиметром осмотрев икону, Антон записал в реставрационный паспорт результат осмотра. Затем выпрямился и, мысленно составляя дальнейший план работ, машинально стал рассматривать комнату. Внезапно, как будто у него из ушей только что убрали затычки, в его сознание ворвались звуки: звякнула на кухне крышка кастрюли, стукнула дверка плиты. А главное — запах! — запекавшейся, и по всей вероятности, не дешёвой рыбы. Слышно было, как сливается вода из кастрюли, затем снова стукнула дверка плиты, глухо стукнул противень, зазвенела посуда, и через некоторое время вошёл Иван Сергеевич.

— Обед готов. Мойте руки, и пойдёмте к столу.

— С удовольствием, — оживлённо откликнулся Антон, у которого от аппетитного запаха засосало под ложечкой.

Он машинально перевёл взгляд на стоявшие у окна высокие деревянные ходики — 12-58. Да, самое время обедать.

Кухня, размерами с его, Антона, спальню, в отличие от комнаты и коридора, оказалась полупустой. Вдоль левой стены стояли старомодные антикварные буфет на толстых изогнутых ножках и сервант на ножках уже тонких, резных и изящных; напротив — газовая плита с одиноко ютящейся возле неё выдавшей вида тумбой в отделке из пластика ещё брежневских времён, в углу, на некотором расстоянии, — такая же тумба с мойкой. Зато посредине красовался роскошный овальный стол из черешни. Антон залюбовался его натуральным узором. Стол не тонируют, сохранив природный светлый оттенок, блестящий под слоем полироли, словно янтарный.

— Извиняюсь, что без скатерти. Вот закончу разбираться с вещами — займусь и этими мелочами. Ко мне гости не заходят, так что обхожусь попростому.

— Да вы что, Иван Сергеевич! Такая красота! Да зачем её закрывать скатертью! Ему вообще место не на кухне.

— Да оно, конечно, так, только мне нравится на нём есть. Смотришь, лобуешься, и процесс приёма пищи интересней становится. — Иван Сергеевич рассмеялся своей простенькой шутке.

— У вас и тарелки красивые, такие тоже пищеварению способствуют.

Иван Сергеевич расплылся в довольной улыбке:

— Да, это хороший фарфор — немецкий. Люблю красивые вещи. Не могу отказать себе в таких маленьких удовольствиях. А столовые приборы?

Вы уже заметили? Серебро! — В его глазах промелькнул мальчишеский огонёк самодовольства. — Жаль, конечно, что полноте ансамбля недостаёт хорошего гарнитура, но что делать... что делать... пока вот так. Пока даже без штор обхожусь. Хорошо, никто меня не видит: напротив — пятиэтажка, и та далеко. Зато я вас сейчас такой рыбкой угощу! Форелью, надеюсь, не побрезгуете?

Антон рассмеялся:

— Конечно, нет!

— Ну, и славненько. Я её в Елисейском беру.

На плите закипел чайник, и Иван Сергеевич поспешил его выключить. Затем подошёл к буфету и достал из него бутылку вина. На столе появились высокие бокалы.

— Хрусталь? — спросил Антон, разглядывая узоры.

— Нет, чешское стекло. Точнее сказать, богемское. С хрусталём, конечно, посолиднее, но это для особо торжественных случаев, не то праздник перестанет ощущаться. А так обычно и эти фужеры неплохи.

От вина Антон захмелел и, не таясь, оглядел кухню.

— Хорошая квартира, — заметил его внимание Иван Сергеевич. — Главное — потолки высокие.

— Вы её купили? — спросил Антон, вспомнивший, что хозяин приезжий — из Воркуты.

— Нет, что вы! У меня таких денег нет. Это в советское время можно было кооператив купить, а сейчас такая квартира стоит непомерных денег. — Иван Сергеевич оценил взглядом бутылку и разлил теперь уже до половины, оставляя, как сообразил Антон, вино ещё на один раз. В лице его показалось смущение. — Мне немножко повезло. Мама у меня дружила с одной еврейкой, а... Да вы же видели её на фото. У Беллы Григорьевны никого не было. Вот она и отписала квартиру маме. Мама за ней ухаживала, когда Белла Григорьевна раком заболела. Лет десять уже прошло. А потом и мама ушла. А до этого мы в Кузьминках жили. Сейчас я ту квартиру сдаю, на пенсию разве проживёшь? Детей-то ведь нет, никто не поможет. Только на себя и приходится рассчитывать.

Иван Сергеевич поднял бокал.

— Ну... за что выпьем?

— М-м... — Антон закатил в задумчивости глаза. — Ну, давайте за справедливость, а то у нас её на всех не хватает.

— О! Это хороший тост.

Они молча пережёвывали пищу, и Антон удивился, что Иван Сергеевич столько времени ни о чём не спрашивает и сам ничего не рассказывает. В тишине особенно громким показался стук упавшего наверху предмета и последовавший за ним топот бегущих маленьких ног и детский визг.

— Единственный недостаток, — оторвался от еды Иван Сергеевич, — высокая слышимость. Кстати, на какое время примерно вы рассчитываете с реставрацией?

— На какое? — задумчиво переспросил Антон, вытирая салфеткой губы. — Ну, где-то на полтора-два месяца.

Заметив, как напряжённо выпрямился Иван Сергеевич, Антон поторопился его успокоить:

— Понимаете, быстрее не получится. Реставрация — это целая наука. Чуть поспешить, одно неверное решение — всё, икона погибнет. И опять же, повторюсь, важный момент в том, что я не смогу посвятить себя полностью одной вашей иконе. Появляться у вас я буду не каждый день, чаще на короткое время, час-другой-третий.

— Да-да, вы говорили. Что делать?... Потерим, — изобразил смирение хозяин.

Антон поёрзал на ставшем вдруг жёстким стуле:

— Извините, Иван Сергеевич, насчёт аванса. Мы с вами предварительно, по телефону, сошлись на двадцати процентах от суммы, но я не учёл, что работа окажется сложнее и затянется более, чем я предполагал. Я бы попросил двадцать пять процентов, чтобы вас лишний раз не беспокоить.

Вездесущая улыбка исчезла с лица Ивана Сергеевича.

— Но мы же с вами уже договорились. Вы назначили сумму, я на что-то ориентировался.

— Ну да, конечно, но ведь всего невозможно учесть.

Иван Сергеевич в задумчивости склонил набок голову.

— Ну... так-то оно, конечно, так, но мы же уже договорились.

— Ну, да, конечно. Но ведь всего всё равно невозможно учесть, тем более по телефону.

Иван Сергеевич цокнул языком.

— Н-ну... так-то оно так, но мы вроде как же уже договорились окончательно. А теперь как-то оно не совсем. Вроде как корабль наш уже отплыл от берега, а затем капитан подходит и говорит, что нахождение на палубе стоит дополнительных денег.

Антон вскинулся от такой, как ему казалось, вопиющей несправедливости.

— Да вы что! — воскликнул он, с неудовольствием замечая, что горячится. — Какие дополнительные деньги! Я ничего с вас не вытягиваю, я лишь прошу чуть больше аванс. Я... ну, в общем, это обычное усложнение работ, мне придётся работать дольше, чем предполагалось, вот и всё, не более того. А жить-то надо.

На лице Ивана Сергеевича появилась снисходительно-барская улыбка, точно такая, с какой он прощался сегодня с выносившими старую стиральную машинку дворниками.

— Да, — сказал он, — я вас понимаю, но уговор дороже денег. Мне казалось, что вы должны были всё предусмотреть. Во всяком случае у вас было время утром, чтобы обсудить этот вопрос. А теперь... Ну... даже не понимаю предмета разговора. Контракт, как говорится, подписан, корабли вышли в море.

Антон почувствовал себя неловко, как будто его уличили в чём-то постыдном. И, ещё более горячась, он повысил голос:

— Но ведь...

— Давайте оставим эту тему, — мягко возразил ему Иван Сергеевич и повторил: — Контракт есть контракт.

Антон, с одной стороны, негодуя, а с другой — осознавая в глубине души максималистскую, а скорее даже казуистическую правоту Ивана Сергеевича, заставил себя замолчать, чтобы не усугублять возникшее противоречие. В конце концов, деньги очень нужны, а с заказами в последнее время складывалось не очень.

— Хорошо, — через силу произнёс Антон, — сам виноват, что не уточнил сразу. Учту на будущее.

Ёжик на голове Ивана Сергеевича как будто смягчился, и он снова стал улыбчивым радушным хозяином.

— Давайте выпьем за мир. — Иван Сергеевич разлил бутылку до конца. — И за наших хлеборобов. Вот скажите, как вам багет? Очень вкусный ведь, да?

— Да, — преодолевая внутреннее раздражение, тихо сказал Антон.

— А самое забавное, что испечён хоть и французами — есть тут у нас одна хорошая пекарня, — а всё ж таки из нашего кубанского зерна. А завтра я вас накормлю итальянскими макаронами, и опять-таки из того же кубанского зерна. Я их тоже в Елисеевском беру.

Когда дошли бутылку, Антон отошёл от обиды. К тому же, думал он, размякнув, ради такого хорошего приёма можно и чем-то поступиться. Доев рыбу, Антон прервал молчание:

— А как вы понимаете мысль, что деньгами надо правильно распоряжаться?

Иван Сергеевич в задумчивости надел очки и снова снял, подышал на них и принялся протирать салфеткой. Антон в очередной раз поразился тому, насколько нестандартен его новый заказчик. Лицо его вдруг совершенно преобразилось, как у театрального актёра, надевшего маску лучезарно улыбчивого доброго барина. Да, впрочем, в его облике и в самом деле присутствовало что-то барское. Осанкой, посадкой головы он походил на режиссёра

Говорухина, только, в отличие от того, хмурого и резкого в суждениях, Иван Сергеевич проявлял обходительность, а в суждениях ненавязчивость, хотя за этой мягкостью скрывалась всё та же твердолобая неуступчивость своего мнения, проистоявшая, как виделось Антону, из чувства собственного умственного превосходства.

— Ну, деньги нужно держать в ежовых рукавицах. Они имеют свойство жечь руки. Только появились, и уже зуд: на что потратить? — Иван Сергеевич со смехом развёл руками. — Это первое. А второе... наличие денег не стоит выставлять напоказ перед всеми, а только перед умными людьми — перед теми, кто чего-то достиг, чего-то стоит. Вот они могут оценить. А всякой шелупони нужен китч. Они другого не понимают, да и незачем им. Как говорится, хлеба и зрелищ.

Антону стало не по себе от такой откровенности, хотя он и находил в ней определённую долю правоты, но тем не менее предпочёл не ввязываться в спор. Иван Сергеевич, между тем, продолжал рассуждать:

— Да-да, принципы развития общества одни и те же испокон веков. Так вот, давайте вернёмся к нашим баранам. Одеваться надо неброско, но чтобы умный человек видел, что ты одет прилично. Дураку не надо ничего понимать. Приятно, когда встретятся два умных человека.

Антон не удержался и быстро вставил вопрос:

— А что, богатство — признак ума?

Иван Сергеевич стал серьёзным и посмотрел на него, как преподаватель института, навскидку оценивающий умственные способности студента после неудачного ответа на экзамене.

— Ну что вы, Антон! Да разве дураки могут зарабатывать деньги?! — И он замолчал, уставившись на него с видом победителя.

Антон поёрзал на стуле, и впрямь почувствовав себя провалившимся экзамен студентом.

— И вообще, — снова заговорил Иван Сергеевич, — что есть деньги? Вот как вы считаете, Антон?

Антон, чувствуя, что дно уходит из-под ног, предпочёл отшутиться со смехом:

— Ну, деньги — это зло.

— Деньги?! — изумлению Ивана Сергеевича, казалось, нет предела; он тоже рассмеялся в ответ и отчеканил, подчёркивая важность своих слов: — Деньги — это благо! Если они есть, вы можете воплощать свои мечты, хорошо кушать, одеваться, ездить, куда заблагорассудится, общаться с серьёзными людьми, наконец. Не будь денежного обмена, человечество было бы привязано к своему бараньему стаду и клочку пахотной земли. Так что, если денег нет, — Иван Сергеевич сделал многозначительную паузу, — то вы ничего не можете. И потом, деньги — мерило.

Теперь очередь изумляться перешла уже к Антону.

— Мерило?! —

— Да, мерило, — торжествующе провозгласил Иван Сергеевич. — Успешности. Жизненной самоотдачи, наконец.

— Так это же голымый протестантизм, только без религиозной подоплёки.

— Ну что ж, может и так. Это не важно, как назвать. Суть одна. Человечество во все времена развивалось в русле конкурентной борьбы. Каждый хочет оказаться наверху социальной лестницы, получить побольше благ. А благ на всех не хватает, это аксиома. Деньги помогают избежать хаоса. Кто больше других старается, работает серым веществом, тот и больше зарабатывает. Подумайте только, что бы стало с человечеством, если бы на вершине социальной лестницы оказались тупые ограниченные неандертальцы.

— А ничего бы не было, — Антон спокойно смотрел в глаза Ивану Сергеевичу. — Ничего. Просто одна несправедливая власть сменилась бы другой. Власть всегда паразитирует за счёт народа.

— Здесь я с вами совершенно согласен, но, к сожалению, ничего лучше не придумано.

— К сожалению, да, — согласно покачал головой Антон. — И по-другому нельзя, потому что человек несовершенен и среди нас всегда найдутся

и Авели, и Каины, и вообще желающие жить плодами чужого труда. Так что без государственной организации никак.

— Вот-вот. Никак. И без денег тоже. И я к чему веду. А к тому, что всё-таки деньги — мерило успешности.

— А может быть тогда — способ возвышения над прочими?

— Ну, это уже кто как воспримет. Но никто из выдающихся не бедствовал.

— А Ван Гог?

— Ваш Ван Гог, получается, был дурак. Хотя и гениальный, но дурак! Жить надо здесь и сейчас, а не в какой-то абстрактной истории или памяти человечества, до которой мёртвому уже дела нет.

Антон кашлянул в кулак, собираясь с решимостью, чтобы перебить немного разгорячившегося хозяина.

— Иван Сергеевич, мы с вами так далеко зайдём. Давайте лучше поговорим о чём-нибудь другом.

— Ну что ж, давайте о другом, — разом остыл Иван Сергеевич, старавшийся, как заметил Антон, держаться рамок деликатности.

Они заговорили об иконе, и Антон, увлечшись, провёл маленькую лекцию о тонкостях реставрационного дела, а там перешёл на историю. Иван Сергеевич слушал с интересом, и больше они не спорили.

В одно из утр, когда Антон вышел из лифта на площадку, располагавшуюся на один лестничный пролёт ниже квартиры Ивана Сергеевича, зазвонил телефон. Он отошёл к окну и, услышав надоедливое рекламное предложение какой-то там компании, сразу отключил связь. В это время дверь из квартиры напротив Ивана Сергеевича открылась, из неё вышли двое парней и, не заметив за разговором между собой Антона, поднялись на площадку выше покурить. Послышался развязный смешок одного из них:

— Это... Витёк, забыл тебя спросить: чё это у тебя за соседи такие за такой дверью крутой живут? — И он засмеялся ещё сильнее, балдея от собственной шутки.

— Да чё-чё! Козёл один. Правильный весь такой из себя: улыбочки, “добрый день”, “здравствуйте”, “благодарствую”, — с сарказмом спародировал Витёк и со злостью повторил: — А сам козёл. Никому в долг не даёт, а деньги-то есть, отвечаю. Давать деньги в долг, говорит, не в его правилах, потому что это портит отношения. А чё портить-то! Нечего! Мой батя хотел с ним как-то на Новый год выпить, так он отказался. Козёл он и есть козёл! Ни с кем в подъезде не знается. Я вообще не вижу, чтобы к нему кто-то приходил.

— Это я понял. Так а чё дверь-то такая стрёмная?

— А я почём знаю? Спроси у него, — и оба громко заржали.

Так Антон приезжал ненадолго к Ивану Сергеевичу почти каждый день, за исключением, конечно же, субботы-воскресенья, и всякий раз они пили за обедом вино и вели долгие беседы, поначалу увлекавшие Антона. Однако спустя какое-то время без вина общаться стало тягостно, потому что менторская манера общения его заказчика, первое время добродушно игнорируемая Антоном, становилась всё чувствительней для его самолюбия. И лишь вино снимало возникшее между ними напряжение. Но даже и тогда Антон избегал острых углов в общении, стараясь придерживаться дистанции доброжелательной вежливости. Иван Сергеевич это чувствовал, и оба держались одного и того же тона.

В один из таких дней они заговорили о судьбе, и неожиданно для обоих вдруг позабыли о мнимой дистанции.

— Судьба?.. — пожал плечами Иван Сергеевич. — А что судьба?.. Она предначертана. От яблоньки далеко не отпадёшь.

— Может, оно и так, да не совсем. У алкоголиков профессора рождаются, а у профессоров — дети-проститутки.

— Бывает, — всё так же бесстрастно пожал плечами Иван Сергеевич. — Исключения везде бывают, но ведь никто не знает, что в нём самом таится. Живёт-живёт себе, человек как человек. А потом вдруг р-раз! —



и поразишься: да тот ли это вообще человек?! В каждом из нас зверь дремлет. В каждом!

— Ну... не знаю. Как-то лихо вы рубите. Если бы оно так было на самом деле, то ни святых, ни героев бы не было.

— А почему вы знаете, что не было в них зверя? Святость не исключает порока.

Антон с недоумением воззрел на Ивана Сергеевича. Тот в ответ усмехнулся:

— Одно другому не мешает. В герое может и трусость скрываться, а святые разве не борются с пороком?

— Ну что ж, — кивнул головой Антон, — убедили. Поспешил, не подумал.

— Это хорошо, что вы принимаете свою неправоту, а то бывает, заспорит кто-нибудь на ровном месте ни о чём.

— Ну да, вот только всё равно как-то режет меня вот эта мамлеевщина про зверя внутри.

— О! Так вы Мамлеева читали! — обрадовался Иван Сергеевич. — А я с ним знаком. Общался пару раз. Очень приятно поговорили. Умнейший человек, только, как всякие умные люди, со своими странностями. Не всегда поймёшь — одни парадоксы.

— Да уж, это точно, — улыбнулся Антон, радуясь, что затронули интересную тему, — топориком душу человеческую освободить, чтобы посмотреть на неё, — это что-то.

Иван Сергеевич поднёс близко к лицу старинный мельхиоровый подстаканник и рассматривал его так, будто видел впервые. Антону показалось, что его слова чем-то не понравились собеседнику, но тот вдруг с шумом вздохнул:

— Эх-х, а я ведь понимаю этого мамлеевского шатуна. Хотелось бы хоть краем глаза увидеть эту самую душу. Какая она? — он внимательно посмотрел на Антона. — Разве не интересно, а? Ведь интересно же ведь, право?

И, заметив неподвижный взгляд Антона, принял его за согласие:

— Вот видите, очень интересно.

— Ну... не знаю, — пожал плечами Антон.

Иван Сергеевич улыбнулся какой-то загадочной улыбкой, какой прежде Антон никогда у него не замечал:

— Но ведь и правда интересно, что там внутри души.

Антон поразили слова Ивана Сергеевича. Как?! Такой умный человек и — препарирование души?! И даже всякое желание спорить тут же отпало, но всё же так не смог устоять, чтобы не поделиться собственным видением.

— А мне как-то всё равно. Мне кажется, душа в большей степени сознание, может даже, энергетический сгусток, нежели материальная субстанция. Я думаю, это не суть важно. Гораздо интереснее Достоевский — с его темой преобразования человека. Что самое важное, у него нигде не звучит осуждение. Он даже откровенно плохого пытается понять, и зло у него не демонстрационное, а такое, как в жизни, когда всё смешивается в человеке — и белое, и чёрное, и красное, и зелёное. А не так, чтобы одна только чёрная краска. Зло ведь и в самом деле такое и есть, я имею в виду человеческое зло, а не абсолютное.

— А что зло? — пожал плечами Иван Сергеевич. — Наверное, Господь Бог зачем-то же его создал. Не просто же так.

Антон, разворачивавший конфету, замер с нею в руках.

— Иван Сергеевич, так зло ведь нетварно. Оно является частью всего несовершенного.

— Это как? Я не совсем понимаю, — застыл в свою очередь Иван Сергеевич, не сводя заинтригованного взгляда с лица Антона.

— Ну, его никто не создавал специально. Оно рождается при столкновении различных эго. Если субъекты совершенны, то противоречия между ними невозможны априори. Ими движет высшая любовь, исключаяющая возникновение самой возможности каких бы то ни было разногласий. И лишь появление этих самых разногласий рождает зло — между субъектами или хотя бы только в самой душе. Как видите, зло существует только и только в несовершенстве.

Иван Сергеевич насупился, переваривая услышанное, затем лицо его прояснилось, расслабилось и вдруг озарилось лукавой улыбкой.

— А может, там и нет ничего. Что-то думаем, думаем, страдаем, бьёмся рыбой об лёд. А там и нет ничего! Во как! — он криво усмехнулся. — И все наши жертвы и церковные посты просто лишают нас части удовольствий и расслабленности духа.

В лукавом озорстве его заблестевших глаз искрилось огнём нечеловеческого веселья что-то липкое, путающее и отталкивающее, как смертельная зараза.

— Вы же вроде верующий человек, — поразился Антон. — Как на вашем месте можно такое думать?!

Снисходительная усмешка чуть изогнула тонкие губы Ивана Сергеевича и тут же исчезла, оставив на лице покаянное выражение, но почему-то с не проходящей даже в такой момент улыбкой.

— Ну, грешен. Сомнения, как у любого человека, случаются. Грешник аз есмь! — Он шуточно развёл руками, и Антон заметил, что ладони его розоватые и неприятно гладкие, как целлофановые, — с мелко испещрёнными линиями, а пальцы артистически тонкие и длинные. И все главные линии — судьбы, жизни, любви — совсем неглубокие, почти не выделяются среди других, незначительных.

Реставрацию иконы Антон завершил в срок. Иван Сергеевич, очень довольный результатом, устроил напоследок замечательный обед. Запечённого в яблоках гуся Антон едал и раньше, но он ему не нравился, и только у Ивана Сергеевича, наконец, открылся настоящий вкус знаменитого блюда.

— О! — воскликнул хозяин, — тут есть маленькая хитрость: нужно использовать только антоновские яблоки, причём исключительно спелые, чтобы побольше сладкого сока.

На прощание оба разошлись, и за бутылкой “Бастардо” последовала бутылка “Хеннеси”. Захмелевший Иван Сергеевич смягчился и разговаривал теперь с ним на равных, оставив поучительную манеру, и расстались без осадка в душе, как добрые знакомые.

После этого Антону подфартило с заказом. Три месяца он занимался реставрацией икон в старинном храме в Новгородской области, неплохо заработал и вернулся в Москву в самом прекрасном расположении духа. В это время как раз проходил чемпионат мира по футболу, и Антон отправился вечером в гости к Сергею Выборову, чтобы вместе с ним и ещё двумя бывшими однокашниками по институту поболеть за сборную России в матче с саудитами. Перед началом трансляции забежал в “Пятёрочку” за водкой и, барражируя по магазину в поисках закуски, нежданно-негаданно едва не натолкнулся на Ивана Сергеевича. Тот стоял в очереди в кассу, и Антон, подошедший как раз следом, отшатнулся при виде своего заказчика и, отступив за неработающую соседнюю кассу, затаился со своими двумя бутылками в руках.

— У вас же скидка на сервелат, — донёсся до него недовольный голос Ивана Сергеевича, — я специально ради неё к вам приехал. Прочёл в интернете и приехал. А у вас... Что за безобразие?!

— Это уже устаревшая информация, — невозмутимо ответила сидевшая за кассой симпатичная крашеная блондинка. — Я не знаю, что там на сайте, но у нас эта скидка уже не действует.

— Так зачем же вводить людей в обман? — В голосе Ивана Сергеевича зазвучали негодующие нотки.

— Я вас понимаю, — всё так же невозмутимо и терпеливо ответила кассирша, — но ничем помочь не могу. Обращайтесь к администрации.

Антон, терпеливо ждал, когда Иван Сергеевич, при всём своём недовольстве, всё-таки заплатит и молча уйдёт, но тот неожиданно оставил на ленте продукты и со словами:

— Издевательство какое-то! Столько проехать ради обмана!.. — вышел из магазина.

В другой раз они встретились, опять же совершенно случайно, в “Букинисте” на одной из множества малых улочек-переулочков неподалёку от

Патриарших, куда Антон приехал вместе с Сергеем Выборовым. Хозяин магазина Михаил Ильич, знавший об увлечении Сергея поэзией Игоря Северянина, специально для него отложил сданную кем-то раритетную книгу ещё прижизненного издания поэта. Михаил Ильич водил знакомство с Выборовым уже больше десяти лет — с той самой поры, когда Сергей угодил любителю антиквариата дизайн-проектом внутренней отделки загородного дома. А работа была сложной: стиль русского модерна не всякому художнику-прикладнику под силу. Хорошо разбиравшийся в искусстве Михаил Ильич, как никто, понимал это. Так и повелось с той поры, что в каждый большой праздник он поздравлял Сергея.

При входе в магазин колокольчик за их спиной звякнул, и двое любовно переговаривавшихся между собой мужчин разом обернулись. Одним из них оказался не кто иной, как Иван Сергеевич.

— Ба! — в соответствующих интерьерах старины воскликнул он. — Знакомые всё лица! Антон! Какими судьбами?

— Да я вот — с другом пришёл.

Они разговорились, и на прощание Иван Сергеевич дружески пожал ему плечо, что приятно удивило Антона, ведь он боялся, что тот заикнется на том напряжении, которое возникло между ними в последнее время их общения; а что касается душевного расставания в последний день его работы, так они были под хорошим хмельком, когда всё кажется куда лучше, чем есть на самом деле. И сейчас Антон был искренне рад благоразумию бывшего заказчика.

— Вы заходите в гости. Всегда рад, — сдержанно, но от души сказал Иван Сергеевич.

— А я его знаю, — сказал Сергей, когда они вышли из магазина.

— Кого? Ивана Сергеевича? — сообразил Антон.

— Да, Ивана Сергеевича. Я с ним уже здесь встречался. Он приятельствует с Михаилом Ильичом. Михаил Ильич не болтлив, но кое-какие фразы между ними я слышал, уши же не закроешь. Твой Иван Сергеевич в своё время состоял в “Памяти”, занимался восстановлением разных церквей. И, кстати, у него ценная коллекция дораскольных церковных книг.

В одну из суббот, когда Антон размышлял, каким образом использовать выходной день, позвонил Выборов.

— Антон, дело есть, — сразу без обиняков начал он, — мне сейчас позвонил Михаил Ильич, ты должен помнить его, — владелец “Букиниста”.

— Да, помню.

— Ну вот. Дело касается твоего Ивана Сергеевича. Михаил Ильич уже три дня не может до него дозвониться. Звонки идут, а трубку никто не берёт. Они должны были встретиться, а Иван Сергеевич не приехал. В общем, Михаил Ильич переживает, говорит, что что-то случилось, потому что Иван Сергеевич обязательный человек. Это во-первых. А во-вторых, у Михаила Ильича родственник серьёзный пост в милиции занимает. Короче, он посмотрел видео с подъездной камеры. И получается, что Иван Сергеевич три дня никуда не выходил. Открыть дверь бесполезно: там какой-то особенный сложный замок. И сама дверь не так проста, как кажется. Там можно всё вокруг снести, а она останется, очень хорошо закреплена. В общем, Михаил Ильич знает, что я альпинист, и предложил спуститься с крыши по верёвке, там форточка как раз открыта.

— Хорошо, я понял, Серёга, а мне-то чего для чего звонишь? Я же не альпинист и никак не могу тебе помочь.

Выборов выдохнул в трубку, и Антону представилось, как он где-то там пожимает плечами от сдерживаемого раздражения:

— У... Да я просто подумал: может, тебе интересно будет. Всё-таки ты знакомство с ним водил. Мало ли? Если хочешь, — приезжай. Я уже еду. Да, в самом деле, чего рассуждать? Приезжай! Я думаю, тебе и в самом деле будет интересно. Всё ж таки ты с Иваном Сергеевичем более-менее общался.

Антон задумался: вроде и в самом деле никакие архиважные дела не препятствовали.

— Ладно, выезжаю.

Антон приехал быстро. Выборов с альпинистским снаряжением уже стоял возле подъезда вместе с каким-то крепким невысоким полковником полиции и молодым высоким худосочным лейтенантом.

— Ну что, Антон, — обратился он к нему после приветствия, — будешь понятым. А я полез. Добро?

— Добро.

Выборов не заставил себя долго ждать: как говорится, не прошло и пяти минут, как он открыл дверь изнутри.

В нос сразу жешибанул запах мёртвого тела — ещё свежего, не начавшего разлагаться. Иван Сергеевич лежал в коридоре. В руках он держал ту самую икону, которую отретаврировал Антон. Под худой серой кистью находился измятый лист.

Полковник без всякого чувства брезгливости, но осторожно, чтобы не порвать, вытащил его из-под руки покойного и, близоруко отстраняя от себя на расстояние, стал читать. А прочтя, посмурил, медленно покрутил головой из стороны в сторону и с поджатыми в струнку губами стал перечитывать заново, не замечая или не обращая внимания на выглядывавших из-за его плеча Антона, Выборова и лейтенанта.

Корявым и размашистым почерком, в котором буквы прыгали вверх-вниз, отличаясь друг от друга размерами, было написано: “У меня нет детей, и мне некому оставить коллекцию. Это самое дорогое, что у меня есть, поэтому завещаю захоронить её вместе со мной. Иван Сергеевич Полончук”.

Брови невозмутимого полковника изогнулись в нескрываемом изумлении. Антон переглянулся с Выборовым. Никто не произнёс ни слова, и лишь лейтенант проявил простоту, свойственную молодости, с удивлением взирая на начальника:

— Товарищ полковник, а что, такое возможно?

## ИЛЬЯ ВИНОГРАДОВ



## ЧИСТОЙ РАДОСТИ РОДНИК

\* \* \*

Поверьям вняв, как гибели бегут,  
Спины горбатой и кривого глаза,  
Суров и скор дремучий мудрый суд:  
Души изъян с изъяном тела связан.  
Бог шельму метит — примечай черты,  
Верь верным, сто веков знакомым знакам...  
Я ж глянцевою пугаюсь красоты,  
Где дух иссох под чёрстым мёртвым лаком,  
Где, словно в манекене, пустота,  
И даже эха нет — темно и глухо.  
Боюсь пустот...  
А чёрного кота  
Люблю чесать за чёрным чутким ухом.

---

*ВИНОГРАДОВ Илья Леонидович родился в Мурманской области в 1978 году. Автор 7 книг стихов и прозы, переводов поэзии с болгарского и норвежского языков. Член Союза писателей России с 2014 года. С 2019 года — председатель Мурманского отделения Союза писателей России. Публиковался в различных региональных и всероссийских журналах, включая “Литературную газету”, журнал “Север”, альманахах, антологиях, в том числе антологии “молодой” литературы России “Заря” (издательство “Вече”, 2018), изданиях Болгарии. Автор документального фильма “Дружба, отлитая в бронзе”, сценарист художественного короткометражного фильма “Танец”. Лауреат многих литературных конкурсов. Участник и эксперт совещаний молодых литераторов Союза писателей России, начиная с 2018 года. Один из организаторов и участников культурно-просветительской экспедиции Международной славянской ход Мурман-Балканы (2018).*

## КОЛА

Кола, древняя река ты,  
К полюсу течение.  
Сопки в ряд у переката  
Круто подбоченились.  
    Словно клык, на Коле камень  
    Берedit воды стекло.  
    Имя “Кола”, между нами,  
    Из санскрита вытекло,  
Напитало влагой корни  
Мудрые и старые:  
Сосны взмыли непокорно —  
Чистокровки-арии.  
    Солнце за полночь садится,  
    Выйдя до заутрени.  
    Валунов спит вереница,  
    В мох, как в мех, закутанных.  
У излучины присяду  
На подстилку хрусткую,  
Сто веков покоя кряду  
За спиной почувствую.  
    В небо взглядом опрокинусь,  
    В смоль ночную ясную.  
    Колыхнёт Господь травинку,  
    Тайне сопричастную.  
И, почуяв в миге вечность,  
Вздоргну каждой косточкой.  
Тело что? — огарок свечки  
Пред душою-звёздочкой.  
    Дом души — в небесном поле,  
    Где полоской пенною  
    Млечная впадает Кола  
    В Кольскую вселенную.

\* \* \*

Память кружит сиротливой тенью  
В отблесках далёкого огня.  
В детстве из газет на тонких стенах  
Родина смотрела на меня.

Приходила тьма на место света,  
Но из мрака возрождался свет.  
Все почти прощаю я Советам,  
Гумилёва с Мандельштамом — нет.

Снова вижу — или снова снится? —  
Грозный всадник скачет на коне.  
И тревога тёмная таится.  
Может, в прошлом. Может быть, во мне.

\* \* \*

О мудрая змея, я у тебя учусь  
На животе ползти, но выйти всех умнее,  
Не мчаться напрямик, как свойственно лучу,  
А извивать свой путь, как ты одна умеешь.

Свой долгий век прожить, ни разу не мигнув,  
Без усталости следя добычу и опасность,  
И долгий век молчать, и в сердце тишину  
Хранить, как неприкосновенные запасы.

Не торопиться дать непрошенный совет  
И даже не спешить, когда о нём попросят:  
За каждое из слов придётся дать ответ,  
Чтоб поздно оценить всю силу безголося.

Я разгадал, что суть змеиная твоя —  
Не жало и не яд, а немота глухая:  
Мне говорит о том, сверкая, чешуя,  
Когда я в зеркала взираю не мигая.

## КРАСНОЛЕСЬЕ

Тропка меж стволов уводит,  
Ключ взрезает плоть земли,  
Сопричастная природе,  
Электричка мчит вдали.

Терем леса полон света,  
Радостен кукушки счёт,  
Пляшут нимфы в чаще где-то,  
Что-то водится ещё.

Кто-то, дюжий и косматый,  
Верно, злющий натошак,  
Ищет жертвы бесновато:  
Жизнь, а, может быть, рюкзак —

Дань с того, кто сам, без спроса,  
В заповедное проник,  
К счастью, путь нашёл так просто,  
Чистой радости родник.

Пусть мой след простынет к ночи —  
Я уже увидел рай!  
Говорю: “Бери, что хочешь.  
Всё что хочешь забирай”.

А лесник — косматый, дюжий,  
Как лесное божество,  
Скажет: “Ничего не нужно.  
Ровным счётом ничего”.

ВЯЧЕСЛАВ МОЙСАК



## В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ

ПОВЕСТЬ

Полетмахер Евгений Макарыч уже около месяца жил в доме престарелых. Не сказать, что он был совсем дряхлый старик, но так получилось... Супруга умерла, сын уговорил переехать к нему, а квартиру отдать внучке, вышедшей замуж. Но не задалось жить с сыном и невесткой. Однажды крупно поскандалили. И вот, чтобы сделать им назло, Евгений Макарыч подался в дом престарелых. Пусть им будет стыдно.

Из-за фамилии Евгения Макарыча считали то евреем, то немцем. Но он был белорус, фамилия происходила от искажённого “парикмахер” — прадед служил у пана крепостным цирюльником.

В один из дней начала апреля 1991 года сын отвёз его на “Москвиче” в областной центр, где находился дом престарелых. Полное название — “Геронтологический пансионат имени Калинина”. Стоял он на месте бывшего болота. В годы сплошной мелиорации его осушили и сделали колхозным полем. В конце 70-х, когда город стал разрастаться, строительство добралось и сюда. Первым тогда и построили этот пансионат. Потом уже неподалёку появилась поликлиника, школа, магазин, и вырос целый микрорайон, но всё ещё добрый кусок поля оставался незанятым. Колхоз уже перестал на нём сеять и пахать, и здесь обычно выдавали сотки под картошку для пенсионеров города.

---

*МОЙСАК Вячеслав Иванович родился в 1960 году в Евпатории, но затем всю жизнь прожил в Белоруссии. После 8-го класса поступил в строительное ПТУ. Окончив, работал на стройках. После службы в армии работал на заводе токарем, грузчиком. Позже поступил на исторический факультет Минского государственного университета. После окончания преподавал историю и обществоведение в школах и системе профтехобразования. Живёт в городе Лунинец Брестской области. Данная публикация — дебют.*



Сам пансионат представлял собой несколько панельных зданий, стоявших во дворе, огороженном ажурной металлической решёткой, где росли невысокие вербы и плакучие ивы.

Палата, куда определили Полетмахера, состояла из маленького коридорчика-прихожей с туалетом и умывальником, и комнаты, где стояли три железных койки, несколько обшарпанных тумбочек, стол, пара стульев. В комнате находились два старика. Один — худой, болезненного вида — лежал на койке с газетой в руках, другой сидел на стуле и что-то говорил. Увидев Полетмахера, сидевший громко воскликнул:

— Что, к нам? О-о, фронтовики собираются! Мы вот тут вспоминаем, кто где воевал... Фронтовики?

Евгений Макарыч ответил, что он тоже воевал, и начал рассказывать, что закончил войну в Праге.

— Не танкист?

— Я при штабе был, — пояснил Евгений Макарыч.

И сидевший на стуле вдруг весело продекламировал:

*Я был батальонный разведчик,  
А он — писаришка штабной.  
Я был за Россию ответчик,  
А он спал с моею женой...*

И тут же, словно утратив интерес к Полетмахеру, заговорил о чём-то другом:

— А на праздники... Хо! Мы, орденосцы, всегда в строю. Я ещё в парткоме тогда был... После демонстрации выпьешь, конечно. Кровь играет. Хорошо! И жить, знаете, хочется! Хо, водка! Водка тогда была, я те скажу... А “сталинскую” помните? Да, да, мы её “сталинской” называли... А колбасы — какой хочешь! В любой закускойной, в любой закускойной. А теперь что?! Я пошёл с этим паршивым талоном, говорю: “Дай мне водки. А она — нету. А что есть? Ничего нету”. Тьфу, дожились, твою мать!

Потом Евгений Макарыч с сыном пошли искать кастаньяну, чтобы получить постельное бельё. Когда вернулись, тот, который всё рассказывал, выходил из туалета, шумела в унитазе вода. Полетмахер только теперь к нему присмотрелся. Крупный старик с брюшком, как принято говорить, со следами былой красоты на лице, в туфлях на босу ногу, высоко подтянутых спортивных штанах, облежавших тонкие ноги. Полетмахер, глядя на него, подумал: “Когда-то, наверное, был орёл. Небось, женщинам нравился”. Представил, что кто-то ведь любил его, сходил с ума, наверное. А теперь вот здесь, доживает свои дни, никому не нужен...

Вспомнилось, как в 30-е годы вернулся из погранвойск в их деревню Ваня Лескевич по кличке Леска. Приземистый, коренастый, стриженный под бобрик. Привёз с собой чёрную овчарку; пацанам раздавал армейские цапки: кому — ремень, кому — значки, кокарды. Говорили: кому-то обещал даже ракетницу подарить... Рассказывал про службу на заставе, и даже взрослые приходили послушать. И Жене тогда казалось: даже эти пожилые деревенские мужики завидуют Леске...

А после войны Полетмахер знал Ваню обыкновенным пьянчужкой, работал тот в райцентре грузчиком на мусоровозе...

Старик подошёл к своей койке и, глядя на ракуту за окном всю в серёжках, сказал:

— Пора уже листьям распусться.

— Рано ещё, распусться, — отозвался второй.

— Не, ты знаешь, не рано, — убеждённо заговорил тот, — пора, я знаю... Раньше в это время — ого! Теперь и весна не такая. От время настало... А всё Чернобыль, наверное, виноват?

Полетмахер подумал, что эта весна ещё, слава Богу, ничего, и зима была почти как настоящая. Вот позапрошлая, когда он к сыну только переехал... Да, последнее время настоящей зимы и нет в Беларуси, может, и правда, Чернобыль виноват? Стало прямо, как в Крыму — ни снега,

ни мороза, и дождь идёт; а нету зимы, не будет и весны настоящей.

Весну Полетмахер очень любил. Тогда, в позапрошлом, тепло стало ещё в феврале, в марте уже было жарко, стояла сушь — ни дождинки, всё чёрное, аж страшно. Пройдёт машина — пыль столбом, и в то же время знаешь, что эта пыль радиоактивная... Особенно любил раннюю весну: снег растаял, вечером выйдешь на улицу, и земля в сумерках чернеет — это смутно волновало, напоминало молодость, когда ходили на вечёрки.

Его супруга Ксения, слава Богу, не дождала до Чернобыля — умерла в марте 86-го. Слабая была здоровьем; ещё и молодой не могла ездить в автобусе — кружилась голова. А когда везли хоронить, гроб поставили в похоронный автобус — катафалк, где всю дорогу воняло выхлопными газами, и когда ехали по бульвару городских улиц, голова лежащей в гробу постоянно подпрыгивала, и Полетмахеру невольно казалось, что ей и сейчас от этого плохо... На следующий день, когда по старинной традиции пришли будить, возле креста под венками лежали красные яблочки, как обычно у неё в тумбочке. И никак не умещалось в голове, что под этим холмиком из жёлтого песка лежит его Ксения.

Немного она и пожила в новой квартире. Их дом деревянный попал под снос, в 85-м дали квартиру. Тогда было лето, только что вышел горбачёвский антиалкогольный указ, очереди возле винно-водочных. Запомнилось, как Ксения тогда говорила про Катю Банеду с их бывшей улицы — та продавала самогонку в любое время дня и ночи, мол, как она не боится ночью открывать алкашам двери.

— Или она дверь не открывает, а через какое окошечко подаёт? — пыталась предположить Ксения.

Евгений Макарыч, всегда подтрунивавший над супругой, тут же подхватывал:

— Конечно. Знаешь, такое маленькое, как в бане. Чтоб только бутылка пролезала.

— А подаёт водку на палке, — включался в разговор тут и сын Петя. — Мама, ты, может, видела, как в клетку зверям мясо подают? Вот так и она... А для денег выставляет палку с гвоздём, на которую накальвают бумажные рубли.

Смеялись.

У них в семье имелись свои крылатые выражения, связанные с каким-нибудь смешным случаем. Например, один их знакомый, деревенский дядька, любивший крепко выпить, хвастался, что нашёл очень хорошую работу. Устроился он в какое-то РСУ, где ремонтировали частные дома; замечательным здесь было то, что обычно всякий хозяин старался хорошо угостить рабочих, ремонтировавших ему дом. Рассказывая об очередном таком обильном угощении, тот вдруг воскликнул: “Але там и закуска была!” Мол, о водке-то уже и речь не идёт, само собой разумеется, но вот закуска...

И потом, когда вспоминали про этого знакомого, то обязательно производилась фраза про закуску. Таких крылатых выражений было много, и они постоянно обновлялись, одни забывались, появлялись другие. Петя в детстве вёл даже специальную тетрадочку, куда их записывал. Теперь в собственной семье у него ничего подобного не было. Супруга — женщина строгих правил и подобного юмора не понимала.

Когда Петя учился в ПТУ, то первое время очень скучал по дому. Потом уже рассказывал:

— Три года впереди, а мне так тоскливо, так не хочется ехать туда. И вот ты, отец, говоришь — ну, вот уже два месяца прошло, видишь, как незаметно; пройдут и три года так. И после этого стало легче.

Матери нравилась песня из кинофильма “Весна на Заречной улице”. “Когда весна придёт, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега...” Он, Петя, тогда на первом курсе, будучи дома, услышал, как мать однажды напевала эту песню. И, приехав в училище, ходил по холмам за городом и вспоминал всё эту строчку: “Когда весна придёт, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега...” И становилось легче. Он так с нетерпением ждал весны — это значит, пройдёт год учёбы в училище.

Домой приезжал на каждый выходной, хоть и далеко. Однажды рассказывал:

— Папа, знаешь, поставили меня по этажу дежурить в общежитии, все ушли на занятия, и так невесело сделалось. А парень — дежурный с другого этажа, с которым вместе выносили мусор, — оказался похожим на Володю Мозоля из Дестеевки, и стало веселее, словно знакомого встретил.

Однажды в киоске на вокзале купил матери в подарок журнал “Родная природа”. Там на обложке среди тростника или сухой травы была изображена симпатичная перепёлочка, такая серенькая. Купил журнал специально ради этой перепёлочки. Мать потом его хранила всё время, до самой смерти...

Нет, не помнил он, наверное, ничего этого. Когда Евгений Макарыч пошёл проводить его до машины, уже вечером, тот всё, как бы оправдываясь, говорил:

— Отец, запомни — мы тебя сюда не отправляли, ты сам захотел...

Почти целый день провозились с оформлением документов. Заведующий сказал сыну, что обязательно старику нужно помыться, иначе не примут.

— У нас здесь строго, как в армии, — заметил он.

Единственный душ в пансионате, конечно же, не работал. Но была суббота, и поэтому можно было в городскую баню, благо, здесь недалеко — в микрорайоне. Получили у кастелянши казённое бельё: стиранные-застиранные кальсоны, такую же рубаху, и поехали на “Москвиче” искать баню. Нашли быстро: ещё издали можно было узнать её по высокой трубе котельной и огромной куче шлака, лежащего рядом.

В раздевалке, как обычно, фанерные шкафчики без замков, крашенные зелёной краской. В мочной — каменные колченогие лавки и дюжина битых шак. Парилка вся обшита деревом. Полки в виде ступенек подымались до самого потолка, дерево от жары и влаги почернело и покособилось. Людей в парилке набилось много. Полетмахер прислушался: мужчина средних лет, такой крепкий, мускулистый, говорил парню помоложе:

— Ну, жить и ничем не интересоваться — нельзя. Вот верующие, например... Коммунисты все эти семьдесят лет гнали, запрещали верить, говорили: Бога нет, смеялись...

Баптист, что ли? Кто-то заметил:

— А теперь семьдесят лет будут вспоминать про это...

— А Хрущёв говорил: “Во, будем жить при коммунизме...”

— Да, говорил, — согласился баптист, — и ещё говорил: скоро не останется ни одного верующего, через двадцать лет я вам последнего верующего покажу по телевизору.

— А Горбачёв что, лучше? — тут же нашёлся кто-то. — К двухтысячному году, наконец, жить будем в отдельных квартирах...

Тот, видимо, не расслышал, показалось что-то про конец света, и ответил:

— Нет, этого никто не знает. В Библии сказано, что к концу света будет... Иисус говорил: примечайте, конец тогда, когда слово Божие будет проповедовано по всему миру, всей вселенной... И вот сейчас это сбывается...

Но тут все загудели, каждый жалуясь на то, что теперь творится, и ему пришлось замолчать.

— Ну, что Горбачёв дал? Что у нас теперь есть? — допытывался всё один.

Баптист согласился, что да, плохо живём теперь, и тут же осторожно начал снова:

— А вот в Библии об этом писалось давно... Вот кто читал Библию, те знают...

Те, кто шумел, вроде сначала приумолкли из уважения, прислушиваясь к его словам, но тут же опять кто-то начал, и заговорили все разом о том, как теперь плохо стало жить. Улучив момент, баптист вновь попытался заговорить о своём.

— Иисус Христос сказал так...

Но его не слушали. И Полетмахеру стало жалко его. Было удивительно

и непривычно слышать, как мужчина в мужской компании на полном серьёзе говорит о Боге. Обычно такое можно услышать из уст женщины, и всегда это подвергалось насмешкам и издевательствам. Какой-то интеллигентного вида мужчина, видно, решив поддержать проповедника, подсел к нему и спросил, как бы продолжая разговор:

— А вот что ещё там про конец света? Я читал Библию...

— Ещё сказано, что, когда евреи начнут выезжать... Собираться в землю обетованную. И построят там храм. В Иерусалиме.

— Для всех, что ли?

Проповедник уже собирался выходить из парилки - и так слишком долго задержался. Полетмахеру показалось, что он уже не ответит, не хватит сил. Тот, уже держась за ручку двери, напоследок заметил:

— Нет, почему? Для себя, конечно, построят...

После бани нужно было ещё побывать у врачей.

В кабинете за столом сидел мужчина и несколько женщин. Мужчина, видно, за главного, а женщины — его ассистентки; он что-то писал, не поднимая головы. Не взглянув даже, когда Полетмахер положил на стол свои бумаги. Ему молча указали садиться на кушетку, застланную поверх простыни прозрачной клеёнкой; потом попросили раздеться. Евгений Макарыч разделся по пояс и стал ждать.

— Ближе, ближе подойдите, — сказал врач. Потом долго его выслушивал, вертел и так, и этак, и неожиданно сказал: — Спустите штаны.

Полетмахеру было очень неловко это делать на глазах у женщин, но куда не денешься, пришлось подчиниться.

— Наклонитесь, ниже, ниже. Руками пола коснитесь, — командовал доктор. — Как фамилия? Что? Откуда вы? Ясно.

Полетмахеру приходилось отвечать стоя в наклонённом положении со спущенными штанами.

— А чего вы отвернулись? — вдруг послышалось сказанное совсем уже другим тоном. — Смотрите, смотрите, — обращался врач уже к женщинам. И, помолчав, весело добавил: — А я б всем пенсионерам разрешал в женскую баню ходить. А что: уже не страшно, пускай ходят...

Те засмеялись. И тут же вновь громко, как к глухому, к Полетмахеру:

— Дети есть? Что? Сын? Не хочет? Ага, решил избавиться от бабки. Всё ясно, теперь молодёжь вся такая...

Евгений Макарыч продолжал стоять голый. Кто-то из ассистенток что-то сказал, доктор усмехнулся:

— Ха, а что, грешил, наверное, в молодости. Ха-ха, не одну женщину обманул...

— Ой, все вы, мужики, такие, — заметила ассистентка снисходительно. Наконец что-то записала в его бумагах, и Полетмахеру разрешили одеться.

И как он ни старался держаться с достоинством, всё равно был унижен, сбит с толку. То ли его принимали за глухого, то ли за выжившего из ума? Наверное, у доктора была такая манера — обращаться с пациентами, как с недотёпами. Евгений Макарыч недоумевал: как тому хочется так изгаляться, неужели невдомёк, что и сам теряет достоинство в таком случае?

Он вышел из кабинета. Возникло давно забытое ощущение из детства: словно они — врачи — распоряжаются твоею жизнью, прикасаются к её тайне, видят, что делается у тебя внутри, а значит, им известно и самое твоё сокровенное. И когда они осуждают порок, то, кажется, он самим им невдомом, словно это другие какие-то существа, которые только и делают, что спасают людей от пороков и болезней.

В этот раз он как бы по-другому взглянул, как бы, наконец, догадался, что это такие же люди, как и он сам, ещё, может, и более подвержены разным порокам. Нет, умом он понимал это и раньше, но на уровне чувств, эмоционально только теперь стал доходить до подобного. Подумалось даже с каким-то превосходством: “Да какие они хозяева моей жизни?! Это всё Бог дал, в Его руках я, точно так же, как и они сами”.

Да и вообще, наверное, такое отношение было у Полетмахера к любому специалисту — знатоку своего дела, с которым приходилось сталкиваться по

необходимости... Этакое уважение, чуть ли не благоговение и чувство зависимости от него. Да, особенно это чувствуешь, когда зависишь от человека; собственную уязвимость испытываешь, беззащитность, открытость. Достаточно вспомнить хотя бы того же забойщика свиней. Если можно в чём-то было обойтись самому, Полетмахер никогда не обращался за помощью. А свиней сам резать не мог. Такой характер имел. Только в случае крайней необходимости, когда иначе нельзя.

И вот началась для Евгения Макарыча жизнь в доме престарелых. В детстве, помнил, ходила у них по деревне старуха-нищая, потом её не стало, и кто-то сказал, что забрали в приют. Тогда казалось: как это хорошо; мол, для стариков лучшего места и не придумаешь, это всё равно, что рыбу, оказавшуюся на берегу, бросить в воду. До этого ему никогда не приходило в голову, что пожилые, точно так же, как и молодые, могут не ужиться вместе, что подобный пансионат, в лучшем случае, это то же самое общежитие, которое ему так надоело в молодости. Но как тогда ни надоело общежитие, знал, что это временно: рано или поздно сменит казённую койку на что-то лучшее.

И вот вновь всё возвратилось на круги своя — он вновь в общежитии, с единственной лишь разницей: дом престарелых — общежитие для тех, кому уже нечего ждать.

С первых же дней он затосковал; собственное теперешнее положение, казалось, как неизлечимая болезнь. Почувствовал одиночество, и очень хотелось, чтобы хоть кто с ним заговорил, чтобы хоть кому-то было дело до него. Подумал: “Так вот почему навещают больных”. За всю жизнь он ни разу серьёзно не болел. Раньше этого как-то не понимал — почему больному хочется быть с людьми. Теперь стал догадываться: “Да ведь он чувствует, что, заболев, начинает уже отделяться от обычных здоровых людей... Ах, теперь бы вернулось всё назад, сам бы навещал больных, теперь ведь знаю, как тому хочется чьего-то внимания... Тогда казалось: кому нужно моё внимание? Мол, это даже унижительно кому-то навязывать своё внимание”. Представил: обнять вот так больного, говорить ласковые слова, жалеть. “Я с тобой, — говорить, — всё мы сделаем для тебя. Будем с тобой...”. Взять хотя бы его Ксению — она всю жизнь больная, а он никогда не посочувствовал.

И всё же временами ему казалось — то, что ушло, вернётся назад, мол, не всё ещё потеряно, и охватывала такая радость... Он, ещё не веря, но уже загораясь надеждой, как бы спрашивал у того, кто давал ему эту мысль: “Да неужели, правда, вернётся?!”

Раз утром проснулся и решил сходить в город. За ворота вышел свободно, даже не зная, что теперь это уже считалось самовольной отлучкой. Прошёл возле школы, пятиэтажных домов и вышел на улицу, где большое движение людей и машин. Тут же на углу универсам. Этот магазин он хорошо знал и раньше. Обычно, когда приезжали в областной центр за покупками, заходили сюда часто — он на окраине города, и поэтому иногда что и бывало из продуктов. Сейчас там стояла очередь за пивом, в основном мужчины.

Уже идя от магазина обратно, обратил внимание на худенькую стройную девушку лет шестнадцати; на обочине дороги тарахтел старенький трактор МТЗ, наверное, тракторист побежал за пивом. И эта девушка, и этот трактор, и запах дизельного выхлопа, доносимого ветром, напомнили почему-то первую студенческую картошку, тогда, в начале пятидесятых. Всю жизнь самым дорогим воспоминанием для него оставались студенческие годы, и теперь от этого особенно защемило сердце.

К своим сожителям по комнате у него с первого же дня появилась неприязнь. Им он тоже, видно, не понравился — с ним не разговаривали. Тот крупный старик по фамилии Михайлов (Полетмахер про себя окрестил его Балаболом) всегда разговаривал громко, и было в нём что-то мальчишески-хвастливое, что особенно неприятно в пожилом человеке. Обратило на себя внимание и то, что Балабол уж как-то слишком почтительно обращался к напарнику — худенькому старику по фамилии Чуркин. Причина Полетмахеру была непонятна, и это злило. Складывалось впечатление, что они знали друг друга и раньше, и это были отношения начальника с подчинённым.

Чуркин обычно что-нибудь негромко рассказывал, наверное, специально, чтобы не слышал Полетмахер. Балабол время от времени восклицал:

— Хо, Пётр Иванович! Я же знаю: вы парень были о-о! — Потом слышалось какое-то умилённое воркование Балабола: — Ха-ха, и Марья Васильевна после этого оказалась в положении? Вот как! Ха-ха-ха.

И было неприятно это слушать. Хуже всего, что подобные разговоры происходили обычно по ночам. Полетмахер раз не выдержал и попросил замолчать — сказал, что они мешают ему спать. Что тогда началось! Балабол вскочил в одних подштанниках, его всего трясло.

— Что, может, командовать здесь будешь?! Ну?! Смотри, так мы быстро тебя...

У Полетмахера всю ночь после этого болело сердце, даже таблетки не помогли.

Целыми днями теперь нужно было находиться с ними в одной комнате. Хуже всего, что не давали никакого дела. С утра ждали завтрака, потом обеда, ужина — и так проходил день. Можно, конечно, выйти во двор, пройтись, посидеть на лавочке, поболтать с кем-нибудь из обитателей пансионата. Но разве это жизнь?

Евгений Макарыч привык быть дома хозяином, постоянно занятым каким-то делом, работой. Преподавал в школе труд. Обычно после уроков нигде не задерживался и быстрее домой, чтобы успеть что сделать. Когда на августовском педсовете распределяли часы нагрузки преподавателей, всегда выбивал себе методдень или в субботу, или в понедельник — чтобы два выходных вместе.

Дома они всегда держали свиней. Особенно нравилось кормить. Очень радовало, когда они хорошо ели. Кроме всего прочего, в рацион входило жареное зерно, свиньи его ели с большим удовольствием, считалось, что от этого у них улучшается аппетит. Дело в том, что земля в огороде была не очень плодородная, картошка росла плохо. И чтобы не пустовало, обычно засекали землю рожью, овсом или ячменём, которые более-менее росли и на бедных почвах. Сначала не знали, где хранить зерно, и держали просто в мешках в сарае, но в таком случае не было спасу от мышей. Потом Евгений Макарыч догадался: нашёл в кладовке старую деревянную бочку приличных размеров, оставшуюся от прежних хозяев (они с Ксенией купили этот дом, как только поженились). Набил на бочку новые обручи, дыры и щели позабивал жёстью от консервных банок; крышки не было, сделал из куска жести, и зерно стали хранить там. Ежедневно набирая зерно из бочки, старался рассчитать, чтобы хватило до нового урожая и ещё осталось на семена. Размышлял так: “На следующий год больше надо посеять... И тот кусочек вспахать тоже, где травой заросло, нечего ему пустовать... В этот раз просто пожалели лошадь — тяжело было поднять целину...” Представлял, как он тогда насыплет полную бочку до краёв твёрдого, золотистого зерна, когда распашет и тот кусок. Обычно на новом месте хороший урожай бывает.

Нравилось выбрасывать навоз из сарая. При этом с удовольствием отмечал, что солома, которую подстиляли свиньям, хорошо стоптана и перемешана с испражнениями, в которых кое-где даже виднелись до конца не переварившиеся зёрна. Представлял, как это всё теперь будет в куче преть, превращаться в перегной — плодородие для огорода. Навоз перемешать с землёй, и это ускорит процесс, земля будет как катализатор...

Кроме навоза, он делал ещё и компост: собирал в кучу мусор, остатки ботвы, опавшие листья, щепки, опилки, перемешивал с землёй и каждое утро поливал помоями.

Кормили свиней в основном картошкой, кормовой свёклой, тыквой и разными отходами с кухни. Картошку варили и толкли, а свёклу давали в сыром виде — тёрли на крупной тёрке. Такую специальную тёрку он сделал сам в мастерской из куска нержавеющей стали от отражателя большой фары. Тёрка получилась очень острая, и тереть свёклу на ней было одно удовольствие; особенно любил в детстве этим заниматься сын Петя. Евгений Макарыч, видя, как хорошо и быстро это получается у него, жалел только об одном, что маловато свёклы выросло на сей раз. И тут же про себя соображал:

“На следующий год надо убрать заборчик ветхий в палисаднике и эту межу всю вскопать и засадить свёклой... Дать побольше навозу, будет расти, будет хороший урожай”.

Как-то, просматривая книжку “Планировка приусадебного хозяйства”, Полетмахер обнаружил, что свиньям положен выгульный дворик. Раньше это ему не приходило в голову, так как никто ничего подобного из его знакомых, державших свиней, не делал. Смастерил специальные решётки из дерева и толстой проволоки, моток которой давно лежал без надобности. Покрасил чёрной краской, вкопал столбы. И было теперь интересно смотреть, как животные резвятся в загородке, сделанной его руками. Такое ощущение, словно радовался их радостью: мол, теперь им хорошо — свет, простор, а то сидели, как в заключении, в тёмном душном сарае. И хотелось, чтобы они не просто бегали, а пытались вылезть из загородки и тем самым испытали его решётки на прочность. Проходя возле сарая, не мог удержаться, чтобы не подойти и не полюбоваться, как они резвятся. Ещё более приятно было думать, что вот так вот, постоянно резвясь на солнце и свежем воздухе, они будут быстрее набирать вес и лучше расти. Что это действительно так, утверждал такой авторитет, как знакомый забойщик свиней, который и одобрил его затею с выгульным двориком.

Сосед Конеловский, посмотревшись на него, тоже решил сделать нечто подобное для выгула собственных свиней. И вскоре сварганил загородку из каких-то кривых досок-горбылей. Полетмахер, когда увидел, стало смешно; дело собственных рук нравилось ещё больше: ровные аккуратные решёточки, крашенные битумом, растворённым в керосине, чётко чернели, выделяясь на фоне сарая.

Вспомнил, как, когда собирались сносить их дома, Конеловский сказал: “Скорей бы, да хоть в квартире с удобствами пожить”. Полетмахер же признался, что ему не хочется в ту квартиру с удобствами, свой дом лучше. Конеловский рассмеялся: “А что толку, что мы с тобой всю жизнь копаемся в этом навозе? Что у нас есть? Другие вон хоть копейку имеют...” Он имел в виду тех, которые всё выращенное и произведённое на приусадебном участке носили на рынок.

Другой знакомый точно так же получил квартиру, попав под снос. Тот действительно был неплохим хозяином, держал корову, имел большой сад с огородом. Раз Полетмахер ему посочувствовал: “Наверное, скучаешь теперь, Степаныч, на этих этажах сидя?” “Скучаю, — согласился тот, — тогда хоть копейка шла, а теперь что...” Полетмахер же имел в виду совсем не это: не деньги, а саму работу, занятие хозяйством. Он со своего огорода почти ничего не продавал: ни он, ни Ксения не любили сидеть на базаре. Иногда только цветы тюльпаны Ксения выносила к поезду, и то, когда девать их было некуда...

Другой сосед — Петя Возин — тоже как будто работающий мужик, но частенько в субботу уже с утра, как говорится, закладывал за галстук или же ходил искал, где бы сообразить по этому поводу. Полетмахер такого себе позволить не мог — он ждал субботы, чаще методень или второй выходной, как его называли, приходился в школе именно на неё. Ждал всю неделю, чтобы взяться за накопившиеся дела.

Вот обычный субботний сентябрьский день. Картошку уже выкопали, лежит в мешках в сарае. Первым делом, если это погожий день, прежде чем носить в погреб, нужно её высушить во дворе и хорошо просушить, перебрать. В погребе, когда открыл дверь, обратил внимание, что полки, на которых хранятся варенья с соленьями, довольно ветхие, не посыпались бы потом банки на пол с них. От постоянной сырости дерево в погребе быстро гниёт. Потом оказалось, что для овощей тоже не мешало бы сделать отдельный сусек. Давно собирался, сколько можно спотыкаться о них, когда те катятся под ноги из насыпанной кучи на полу. Скобы для замка на дверях нужно поменять на более прочные. В последнее время стало слышно — воруют по погребам. А снаружи ещё труба вентиляционная отошла — щель вон так и светится, — холод будет проникать, да и мыши будут лезть; соседские ребята, наверное, бегали здесь, играли в прятки и вывернули трубу. Старые

башмаки давно собирався починить, ещё можно носить... А вечером обязательно в баню сходить; своей не имел, в городскую, а там всегда очередь...

И всё это нужно сделать за субботу, потому что в воскресенье не работал по религиозным соображениям... И сейчас, вспомнив всё это, подумал, что тогда над своими соседями посмеивался про себя, считал себя лучшим хозяином, чем они. Его не интересовала ни водка, ни деньги. Ни квартира с удобствами, просто было интересно работать у себя, всё уметь, быть хозяином. И что теперь из всего этого? Тех мужиков, над которыми посмеивался, никто, наверное, не отдал в дом престарелых...

Полетмахеру неожиданно повезло. Как-то встретил его завхоз пансионата Верёвский и предложил временно поработать слесарем-сантехником. Евгений Макарыч с радостью согласился. По штату было положено два сантехника, но второго никак не могли найти: в последнее время эта специальность стала дефицитной.

Завхоз Верёвский раньше был замдиректора по учебно-воспитательной работе в одном из ПТУ, но его всегда влекла больше хозяйственная деятельность, чем воспитание подрастающего поколения. И вот теперь, когда началась всюду департизация и деполитизация, он занялся тем, что ему больше было по душе. Заведующий пансионатом Антончик считал себя человеком очень интеллигентным, совсем не смыслил в хозяйственных делах, и такой заместитель, как Верёвский, был для него находкой. Завхоз, обрадовавшись, что Полетмахер согласился на его предложение, признался:

— А я и говорю вчера заведующему: раз вёл в школе труд, значит, должен знать слесарное дело...

Напарником Евгения Макарыча оказался Трофимыч — мужик лет шестидесяти, сухощавый, ходивший постоянно в военном френче. Когда он подымался, прихрамывая, по ступенькам лестницы, далеко слышалось клацанье железной подковки, бывшей на одном из ботинок.

В первый же день им предстояла работа: забило канализацию возле столовой. Издали виднелась большая лужа на асфальте. В луже ощупью отыскали лок канализационного колодца. Потом Трофимыч открыл свою каморку под лестницей, и оттуда появилась кривая труба и толстый негнувшийся трос, которым, наверное, можно было вытащить танк из болота. Кривую трубу Трофимыч стал опускать в колодец, заполненный водой, и Полетмахеру было непонятно, каким образом она попадёт куда надо. В ответ на его вопрос Трофимыч приговаривал:

— Чоботы дорогу знают. Чоботы дорогу знают.

Потом в трубу просунули трос и пошевелили им пару раз. И вскоре затвор оказался пробит, вода начала медленно спадать. Обнажились заросшие жиром и грязью стенки колодца, дохнуло зловонием. Трофимыч сел перекурить. Вдруг открылось окно на втором этаже столовой и выглянула женщина, — наверное, кто-то из поваров. Трофимыч, увидев её, закричал что-то насчёт предметов женской гигиены, которыми, по его мнению, они забили всю канализацию. Та засмеялась и исчезла, захлопнув за собой окно.

— От дурные деревенские бабы! — заметил он. — Кидають в это очко всё подряд: и бульбы гнилой мешок высыплеть, и екого деркача туды укине... — имея в виду под “деркачём” старый веник. Трофимыч высказывался исключительно по-белорусски.

Большинство из obsługi пансионата были жителями близлежащих деревень. Сам Трофимыч тоже был из деревни, на работу каждый день ездил на мотоцикле.

— Ну, а як ты сюды попау? — поинтересовался он, наконец, у Полетмахера.

Тот поведал свою историю.

— От дурны, — тут же сделал вывод Трофимыч, — сюды уже треба идти, ек помирать... Нашоу бы екую бабу, да жыу бы з ёю, а не ты сюды...

И Евгений Макарыч подумал, что действительно его история выглядит глупо в глазах Трофимыча.

— Ай, где их искать теперь, тех баб, — неуверенно возразил он, чтобы хоть что-нибудь сказать в своё оправдание.



— Шо, бабу не найдешь?! — изумился Трофимыч. — Да их везде полно... Этого добра хватает... Возьми хотя нашу деревню... — Но не договорил и перешёл на другое. — А рыбалкою ты як? Занимаешься? Ой, щука скоро пойдёт! От съездим с тобою. У меня мотоцикл с коляскою...

Потом разговор перешёл на политику.

— От ты учитель, скажи мне: шо это робицца? — допытывался Трофимыч. — Куда это всё подевалось? Это ж после войны так не было... А цены?! Кто это всё выдумает... — И он крепко выругался.

Евгений Макарыч, было, попытался объяснить, как это писали в газетах: мол, командно-административную систему разрушили, сломали, а нового ничего взамен не дали — вот всё от этого. Но Трофимыч не слушал, всё продолжал проклинать Горбачёва.

Так стали работать вместе с Трофимычем. Тот обычно разговаривал, никогда не слушая собеседника, был груб. И Полетмахеру, чтобы потрафить ему, невольно самому хотелось стать грубым, и то, что не умел этого сделать, казалось недостатком. Как, например, бывает трудно трезвому общаться с пьяным и жалеешь, почему сам не пьяный.

В одном из жилых блоков потекла канализационная труба-стояк. Чтобы добраться до того места, где потекло, нужно было разбить бетонную плиту. Полетмахер взял зубило, молоток и начал работу. Трофимыч стоял, смотрел-смотрел и не выдержал:

— Что ты телишься... так твою так! Этак мы до завтра будем здесь! — Он взял ломик и стал крушить перегородку. — Шо ты жалеешь?! Это твоё?! Это твоё?! — приговаривал он, круша вдребезги бетон.

И Полетмахер действительно в это момент казался себе таким неумехой, тямтей-лямтей. “И правильно, нужно именно вот так”, — думал он, стесняясь своей бережливости и аккуратности, как ребёнок перед взрослым стесняется своих детских привычек. Евгений Макарыч дома работал обычно один или в лучшем случае с учениками на уроках, со взрослыми напарниками почти никогда не приходилось. И поэтому чувствовал себя непривычно и скованно. В присутствии Трофимыча он невольно переставал быть самим собой; во многом приходилось соглашаться с ним, уступать, хотя знал, что сам, может, сделал бы и лучше. Но дело в том, что ему не хотелось здесь отстаивать, доказывать свою правоту. Он даже был рад, когда действительно чего-то не знал и приходилось подчиняться, внутренне не протестуя. Трофимыч же, наоборот, часто его попрекал.

— От дали мне помощничка! Еки ж ты учитель быу, шо ничего не умеешь? А гарэлку ты хоть пьешь?

— Пью, — отвечал Евгений Макарыч.

— Хо-о-о! Наверное, нема мужика, щоб гарэлку не пиу? Як ты думаешь?

Полетмахеру же совсем не хотелось знать, есть такой мужик или нету, и он молчал.

Но иногда Трофимыч, вопреки сложившемуся о нём представлению, удивлял своими рассуждениями. Раз на территорию пансионата через забор забрались школьники и подожгли тракторный прицеп с мусором. И вопреки ожиданию, что Трофимыч начнёт их заочно на чём свет стоит материть, тот пустился в рассуждения: мол, почему они это сделали, и пришёл к выводу — наверное, было интересно.

— Ты знаешь, — примирительно говорил он, — я и сам помню, як малы быу, ещё пры Польшы это... Машина загрузне в колеине, а нам весело, бежим, смеёмся...

Другой раз он придрался к стилистической ошибке в местной газете:

— Они ж по-белоруски не умеють! От я принесу завтра газету, поглядишь: там слово у них неправильно...

И Полетмахера удивляло, что ему было дело до такой мелочи, как неправильно употреблённое слово в газете.

В умывальнике в одной из палат у старушек они с Трофимычем отодрали фанеру, которая прикрывала шахту, где проходили трубы. Трофимыч, подавая эту фанеру, сказал:

— Положи куда-нибудь, только не поломай, она здесь ещё пригодится.

И такая заботливость о какой-то фанере тоже удивляла.

Раз прибежали за ними из школы, бывшей по соседству: их сантехник в запое, а там подвал водой заливают. Взяли инструмент и пошли туда. В подвал отвёл их высокий худой учитель в очках. Трофимыч сразу полез искать, откуда течёт, Полетмахер обратил внимание на сваленные в кучу плакаты. Один особенно красивый — цветной Максим Горький с пышными усами на фоне вздымающихся волн и гордо реющего буревестника, и написано: “Борьба за чистоту языка, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие культуры”.

И вот тут Полетмахеру вдруг стало интересно, захотелось даже громко засмеяться — такая, по его мнению, была написана здесь абракадабра. И это предназначается для детского восприятия. Какая борьба? С кем? За что? А-а, за чистоту, остроту и смысловую точность языка — ясно. И что из этого? Оказывается, это будет борьба всего лишь за какое-то там орудие культуры. Гениально! Значит, ещё даже не за саму культуру, а за какое-то только орудие... И что с этим орудием потом делать? Хотелось задать эти вопросы тому, по чьей инициативе сработан был плакат. Интересно, понимает ли тот сам смысл этой цитаты? Впервые за всё время пребывания в пансионате Полетмахеру захотелось спорить, ругаться, доказывать, появилась неподдельная злость. Он теперь знал, что детям-учащимся порой бывает наплевать даже на действительно хорошие, умные плакаты и уроки, а тут такой явный бред... И показалось, что этот высокий в очках и есть тот преподаватель языка и литературы, из чьего кабинета этот плакат.

— А, плакат? — вскинулся тот. — Это с кабинета русского языка и литературы... Да, выбросили, это старый... Ну, почему вы думаете, что дети не читают? Знаете, в педагогике наглядность — большое дело... Почему же это бессмыслица? Я бы не сказал так...

Тот явно не понимал, о чём речь... Потом, когда прозвенел звонок, он просто ушёл наверх.

Когда работу закончили, Трофимыч закурил и подошёл к запылённому окошку с наполовину выбитым стеклом, смотревшему из подвала на школьный двор. Был как раз перерыв, неподалёку стояла кучка старшеклассников, курили незаметно в руках. И вдруг Трофимыч повернулся к Полетмахеру и возмущённо заговорил:

— Ты чуешь, што он мне сказау?! Кажэ: “Давай работай, работай, шо смотришь?” Ах ты, сука! “Давай работай, работай”. А ты шо ж: так усю жизнь дурнем и проживешь?! Ты гляди, што за молодёжь теперь пошла! Этые волосатые робить не хочуть, да встретить тебе где на улице, скажэ: “Давай грошы...”

Евгению Макарычу стало интересно: ему одинаково была чужда и психология Трофимыча, и этих юнцов. Невольно казалось, это одна стихия, и сейчас обрадовало открытие: оказывается, нет, не одна; он, конечно же, сразу принял сторону Трофимыча.

Вышли из школы и прежде, чем вернуться к себе, напарник предложил сходить в гастроном.

— Пошли глянём, — говорил он, — може, што е. Мне тут один хлопец талон дау на водку. У нас в деревне по спискам, а в городе тут по талонам водка.

Они шли к магазину, был погожий апрельский день. Синее небо, чистое и холодное, как осенью. И вспомнился сентябрь 1927 года, ему, Жене, — семь лет, двоюродная сестра Валя — на год младше. Мать её привезла к ним на всё лето, а осенью приехал дядя из Ленинграда на легковушке “эмке”, был он каким-то начальником там, недавно женился на материной младшей сестре... И Евгению Макарычу представилось, что сейчас тот самый сентябрь 1927 года. Впереди по улице шла молодая девушка; глядя на женственные очертания её фигуры, подумалось: возьми эту девушку и отправь сейчас в то время, в 20-е годы, и точно так же она будет волновать то поколение молодых мужчин, как и теперь... Тут же вспомнил дядю Виктора — вот он выходит из “эмки”, в кожанке, стриженный под бокс...

Они с двоюродной сестрой тогда были очень дружны, а на следующее лето она умерла от скарлатины. Сейчас подумал: если бы она вернулась теперь, как это часто думалось в детстве, то столько ей нужно было бы рассказать, объяснить, чтобы наверстать упущенное. Так много произошло событий с тех пор, Боже мой! Аж страшно! Кажется, невозможно было бы ей обо всём рассказать, и ей не понять всего этого, и от этого некое отчуждение.

Нечто подобное было в студенческие годы: со второго курса отчислили Валеру Генина — что-то с администрацией не поладил, требовал каких-то прав для студентов, как потом говорили. Это был парень свой в доску, все капустники и походы он организовывал... И вот, когда через два года он вновь восстановился, было похоже на возвращение покойника — произошло незаметное отчуждение. Его знали, помнили, но что-то уже было не то, у них уже оказались разные интересы. Он как бы и остался на том уровне, а они ушли вперёд, он чувствовал это тоже...

В магазине водки не было и близко уже которое время; стояла очередь за сахаром. Пятница, и Трофимыч сегодня торопился уйти пораньше, поэтому работу закончил до обеда. Торопились, Полетмахер очень устал, пришёл в свою палату и лёг на койку отдохнуть. Сожителей нет, можно отдыхать спокойно. Он лежал и слушал, как за окном шумит ветер; хотелось посмотреть в окно, не вставая, и он стал заирать голову. И то ли от усталости, то ли от того, что сильно напрягал шею — почувствовал лёгкое головокружение, показалось — нечто подобное уже было с ним даже. Кажется — он лежит вот так где-то в лесу на поляне, в вершинах колышущихся сосен шумит ветер, виднеется голубое небо; март, только сошёл снег. И было это давно-давно. От этого показался сам себе таким старым, что и жить больше уже совестно. Всё уже было, всё он видел. И на себя, на своё тело посмотрел, как на чужое, стало даже несколько неприятно. И спасение от этого неприятного чувства, альтернатива — это очутиться где-нибудь сейчас на природе — в лесу, в поле за городом...

Всех обитателей пансионата почему-то собирали в актовъй зал. Пошёл и Евгений Макарыч туда. Кто-то сказал: вроде артисты приехали, концерт будет, а может, собрание? На сцену стали выносить и устанавливать музыкальные инструменты, ага — концерт. О, это уже интересно; кто-то сказал, что артисты аж из Минска, из филармонии. И многим старикам думалось: какая честь нам, из самой столицы беспокоили людей ради нас. А неплохо посидеть вот так на концерте, посмотреть на настоящих артистов, какие, мол, ещё наши радости.

И вот на сцену вышла дородная, важная дама и фальшиво-неестественным голосом запела “Тёмно-вишнёвую шаль”. Ей долго аплодировали. Евгений Макарыч терпеть не мог такой манеры исполнения — с закатыванием глаз; казалось, она нарочно издевается над публикой. Потом вышел артист помоложе и стал играть на домре. Но сначала долго рассказывал про этот инструмент, про историю создания. Потом спросил, любят ли они Моцарта? В зале почудилось оживление... И он вдруг ударил по струнам, заиграл “Турецкий марш”. Вот это было действительно хорошо. Евгений Макарыч с волнением подумал: “Ну, это-то никого не оставит равнодушным, особенно тех, кто понимает музыку”. Потом появился мужчина в чёрном фраке с бабочкой с солидным животиком и нарочито громовым басом стал петь то ли бельгийские, то ли немецкие народные песни.

*Уходи, — кричит пастушка!  
Траляй, ляляй ля ля!*

Он пел подобные песни одну за одной, и что-то чувствовалось здесь тоже неестественное — казалось, что такой солидный мужчина занимается не своим делом. Как, например, взрослый бы дядя делал вид, что ему интересно играть с ребёнком в кубики или машинки. Его слушали плохо, и он, видно, заметив это, обидевшись, сказал, мол, вовсе и не пел бы здесь, если бы его администрация не заключила с пансионатом договор, а так приходится обрабатывать.

Полетмахер смотрел на старушек, сидевших в зале. Их больше, чем стариков; почти все места заняты. Сзади сидели технички-уборщицы, которые тоже зашли послушать. Но слушали невнимательно: одна рассказывала, как дочка её ездила в Минск поступать в университет.

— Это-о, значить, пошла документы подавать. А там, — говорить, — не пускают, стоять, показывай неки пропуск. Экзамены сдают... А оно — дитя, оно там понимае? А экзамены сдавали тые, што на заочное, оны раньше... Потом, значыць, нашла эту приёмную комиссию. Говорыть: там внизу столы стояли...

И Полетмахер, слушая этот рассказ, подумал вдруг: неужели до сих пор кто-то ещё поступает в университет? Точно так же было и когда он поступал в конце сороковых: так же закрывали этажи, когда экзамены шли, и не пускали посторонних, и так же стояли внизу столы с приёмной комиссией.

Тогда поезд на Минск шёл ночью, и Жёня решил лечь раньше, чтобы выспаться. Не спалось. За окном ещё день, светло. В ушах всё звучала песня, которую целый день крутили у соседа на патефоне: “Я пишу тебе снова, видишь капли на строчках... Всё вокруг так сурово без тебя, без любви...” Пела Изабелла Юрьева. Слышно было, как у его матери, что-то делавшей во дворе, спрашивала тётка Настаха-соседка: “Жёня еде у ночэ-э? И моя Маня тоже еде. От добре, разом на поезд пойдуть”.

До поезда было далековатое от деревни, и их тогда подвёз Манин отец на подводе. Все односельчане тогда знали: из их деревни двое поступают в Минск. И Жёня особенно гордился, что он в университет, на физику; Маня поступала в пединститут. Пожилой мужик по кличке Чифира говорил тогда Жёне: “Ну, што, у Минск поедешь учицца? Ну, едь, едь, найдешь там екую... (следовало нецензурное выражение) минчанку”. И Жёне эти слова казались чуть ли не кощунством: мол, там, в городе всё самое лучшее, и женщины тоже. Город и сама возможность поступить и учиться в университете представлялись, как красивая дорогая игрушка, которая скоро у него будет. И не хотелось знать, что там жизнь тоже бывает будничной и обыденной, как, например, иногда неохота бывает вникать в устройство какого-нибудь механизма, настолько принцип его работы кажется важным и сложным.

После того как у него приняли документы, слушая разговор каких-то парней на крыльце учебного корпуса — те что-то говорили о предстоящих экзаменах, — ревниво подумал: “Неужели и они надеются поступить в университет?” Эти парни ему не нравились, и поэтому хотелось, чтобы они, в отличие от него, не могли поступить.

Потом, сидя на лавочке в привокзальном скверике, дожидаясь поезда обратно, стал читать предисловие “Последнего из могижан” Фенимора Купера, купленного в очереди на проспекте. И эта очередь на проспекте за книгой, и сейчас предисловие, где веячески превозносили автора, ассоциировались с огромным конкурсом в университет на физфак, куда он подал документы. И было даже удивительно, что знаменитым можно стать и без физфака, вон как автор “Последнего из могижан”...

Раз в выходной Трофимыч, как и обещал, взял Полетмахера на рыбалку. Заехал утром часов в шесть. Мотоцикл чёрного цвета “Днепр” стоял у ворот и работал на холостых оборотах.

— Знаешь, аккумуляторов теперь нема, — пожаловался Трофимыч, дожидаясь, пока Полетмахер наденет шлем и как бы поясняя, почему он не глушит мотор.

Сначала ехали по городу, по булыжнику, мелькали одноэтажные дома. Светофор. Остановились, постояли, хотя движения почти ещё не было. И вот они уже за городом. Дорога высыпана жвиром — мелкие камешки стучат о днище коляски. Высыпана, видно, недавно, потому что жвир ещё не заезжен, ещё не утратил своего первозданно-песочного цвета. С обеих сторон дороги — тополя, за ними — сырой луг в тумане. Вот пошли на подъём — железнодорожная насыпь, переезд. Тряхнуло на рельсах, и дальше справа потянулась канава с очень грязной на вид, заросшей тиной зелёной водой; слева — лес. Мелькнула жестяная табличка на столбе: “Берегите лес от пожара” — зажжённая спичка и длинноногий лось. Несколько раз попала на

глаза изрешечённая дробью жестянка с надписью: “Заказник. Всякая охота запрещена”. Вдруг остановились. Не глуша мотор, Трофимыч достал из коляски телогрейку и надел её поверх куртки. Ехать действительно было очень холодно. Полетмахер сидел сзади, прячась за спину Трофимыча, этим надеясь хоть немного спастись от холода, другой куртки у него не было. Трофимыч, видно, желая показать, на что способен его мотоцикл, вдруг газанул на всю катушку. Слышалось, как мелко дрожит от предельного напряжения мотор.

Уже недалеко от реки свернули с дороги и поехали по лугу, из-под заднего колеса обильно полетела грязь — забуксовали. Трофимыч дал газу, колесо завертелось ещё быстрее вхолостую и аж задымилось. Подумалось: “И не жалко ему так изгаляться над мотоциклом?” Спешились и стали толкать вручную, помогая мотору. Привыкнув за всю жизнь к велосипеду, Полетмахер сейчас, глядя на толстое массивное колесо мотоцикла, невольно думал: “Ну неужели такое надёжное и не может нас вывезти из этой грязи?”

Над рекой стоял туман, из-за которого не было видно даже другого берега. Постояли, посмотрели и повернули на озеро-старицу. Полетмахер остался с удочками, напарник его пошёл по берегу со спиннингом. Зброшены несколько удочек, поплавки из гусиных перьев красиво и неподвижно стоят один подле другого. Время от времени в отдалении слышится жужжание катушки — это Трофимыч забрасывает спиннинг.

Но почему-то не клевало, Полетмахер отошёл к кустам ивняка; жёсткая осока доходила до пояса, было мокро от росы и чавкало под ногами — сыро и неудобно. И от того, что ушёл напарник, стало одиноко и скучно, и Евгений Макарыч вдруг вспомнил, что никогда не любил рыбалку по-настоящему, даже в детстве. Каждый раз говорил себе, что больше его не вытащат, это последний раз.

Взошло высоко солнце, стало теплее и веселее на душе. Через долгое время появился напарник, он нёс две небольшие щучки. Сказал, дескать, пора ехать, утренний клёв прошёл — больше ничего не поймал. Вспомнил тут же, что дома у него море работы. Мотоцикл на солнце нагрелся так, что над бензобаком дрожало лёгкое марево; завёлся сразу.

Когда ехали обратно, Полетмахеру особенно не хотелось думать, как он явится в пансионат и все будут спрашивать, сколько сожмал. Особенно не хотелось возвращаться в свою палату и видеть своих сожителей.

Вспомнилось ФЗУ, где учился перед войной на слесаря. Там в общежитии старшие пацаны, с которыми жил в одной комнате, обычно всегда требовали отчёта — где был, а если не говорил, могли и побить. Обратно ехать было тепло, он сидел в коляске под дерматиновым пологом, к которому припекало солнце. Разморило настолько, что появилась даже несвойственная ему лень, размягчённость. Это состояние можно было выразить словами: “Убей меня сейчас, работать не заставил бы”. И даже не верилось, что кто-то в это время может работать с удовольствием.

В палате оба его сожителя сидели и рассматривали старые фотографии. Балабол держал в руках конверт или пакет, где у него обычно хранились разные бумаги, и доставал оттуда одну за одной фотокарточки. На всю громкость играло радио. Обычно радио было включено постоянно, что Полетмахеру тоже не нравилось, но выключить не давали. Оно само замолкало после двенадцати, а утром, в шесть, будило гимном. Фотографии, видно, были фронтовые, — мельком он увидел офицера в форме без погон — довоенного образца. И вспомнилось, как, уже будучи студентами, они зашли в одной деревне на кладбище, были тогда в походе. Конец апреля, холодный хмурый день, солнце тогда временами еле проглядывало из-за туч. Заросшее мелким березняком кладбище на взгорке рядом с дорогой; под ногами — высохшая высокая трава. Привлекла внимание могила недалеко от забора, отделяющего кладбище от дороги. Похоронен молодой лейтенант ещё перед войной, в 1940 году; наверное, это был единственный памятник с фотографией там. Отчётливо был виден отложной воротник кителя с закруглёнными уголками старого образца, по два кубика в петлицах с артиллерийскими эмблемами. Через плечо ремень португепи, спереди широкая гестка, закрывающая пуговицы, два кармана на груди с клапанами; из-за складки на рукаве

и шва можно определить, что пошит из добротного толстого сукна. И эта форма показалась такой старомодной. И удивило, что сам носил такую форму, когда призвался осенью 40-го, ведь это же форма его юности. После краткосрочных курсов им тогда дали младших лейтенантов. Сказали: “Выйти из строя, у кого есть семь классов образования”. У Полетмахера, кроме семи классов, было ещё и ремесленное. Эта же самая форма — с кубиками в петлицах — висела тогда в каптёрке, и они не могли дожидаться, когда присвоят звание и можно будет надеть её...

На курсе, когда учился Полетмахер после войны в пединституте, все были младше него. Ребята, даже воевавшие — в основном, призыва 44-го, 45-го годов, девчата же ещё младше. И невольно он забывал разницу в возрасте, он себя тоже относил к поколению, чья юность пришлась на послевоенное время. Когда глядел на фотографию там, на кладбище, вместе с однокурсниками, возникло впечатление, словно сам похоронен тогда, и этакое отчуждение к себе тогдашнему, довоенному. Время, когда похоронен был тот лейтенант, представлялось глухой осенней порой, Женя как раз тоже призывался осенью.

В университет он так и не поступил тогда, хотя фронтовики шли вне конкурса, завалил экзамен. Посоветовали подать документы в пединститут на ту же самую специальность — физику. В пединститут удалось поступить с первого раза. И вот началась учёба, мечты о будущих перспективах. Можно будет работать в школе или даже на производстве — инженером-конструктором, изобретателем. Можно даже в науку податься, если хорошо закончить — в аспирантуру поступить. Особенно у радиофизики теперь большие перспективы открывались, как говорили у них преподаватели — теперь начинается атомный век, век спутника. Так думалось тогда Жене Полетмахеру, потому что так говорили однокурсники, и он не заметил, как стал принимать их мысли за свои собственные. Участвовал в научных диспутах; тогда казалось: мы молодёжь, нам всё по плечу, особенно таким, как он, — кто прошёл войну — всего достигнем играючи. Потом, когда попал по распределению в школу, женился, купил свой домик, все эти мечты-перспективы стали отходить на задний план, а затем и вовсе забываться. И язык незаметно стал меняться, в институте говорили исключительно по-русски, что называлось “по-городскому”, а теперь ему легче было сказать “убачу”, чем “увидел”. “Ну, то што оны там пишут в этих газетах?” — говорил Евгений Макарыч, входя в учительскую и обращаясь к кому-нибудь из коллег, читающему прессу. Это был даже не белорусский язык, а та диалектическая смесь русского с белорусским.

Когда купил дом и завёл своё хозяйство, то, занимаясь всем этим, стал более практичным, приземлённым. Наукой интересовался всё меньше теперь, хотя читать любил, правда, всё больше художественное. Преподавание физики тоже теперь стало тяготить. И вскоре, когда представилась возможность, взялся вести уроки труда. Так до пенсии и оставался преподавателем трудового обучения.

В понедельник они с Трофимычем, как обычно, взяли инструмент, закрыли каморку и стали подыматься на третий этаж. Там в ленкомнате ещё зимой лопнула батарея, нужно было заменить. По дороге их встретил заведующий пансионатом Антончик. Он подошёл к Полетмахеру и сказал, чтобы тот отдал инструмент Трофимычу, а сам переоделся и шёл в свою комнату, потому что работать он больше не будет. Объяснил это тем, что финансовая инспекция не разрешает держать работников из числа пациентов пансионата.

— А я не хочу из-за вас с работы полететь, — горячился он.

Трофимыч попросил: мол, пусть хоть поможет батареею снять, одному не справиться.

— Нет, нет, никаких. Пусть идёт в свою палату!

Полетмахер пошёл к завхозу, тот выслушал и с досадой воскликнул:

— Ах, да что он говорит?! Ну, я не знаю, ну, ведь же всё ему объяснил! — И тут же к Полетмахеру: — Идите, работайте, не бойтесь. Я с ним поговорю, всё улажу.

Евгений Макарыч, когда заведующий заявил, что работать он больше не

будет, испугался, что опять придётся целыми днями оставаться один на один со своими сожителями по палате. И теперь завхоз, который этот вопрос решил положительно, казался таким хорошим человеком! Он прямо умилился от этого факта, что Верёвский главнее Антончика, что его слово здесь решающее. И в то же время побаивался: а что, если заведующий заупрямится и настоит на своём? Верёвский вышел из кабинета его проводить.

— Скажите, вы в школе с детьми не занимались резьбой по дереву или выжиганием? Я думаю, может, вы сумели бы сделать красивые полочки под цветы? Это в комнате посетителей, мы её сейчас приводим в порядок, — сказал Верёвский.

— Конечно, конечно, — обрадовался Полетмахер, — я сделаю!

Он был готов согласиться на что угодно; от этого появилась ещё большая уверенность, что услуга — за услугу, и если что, то завхоз его не выдаст.

Своего напарника он нашёл на третьем этаже, тот только начал отворачивать гайки, разводной ключ соскакивал, и он злился. Евгений Макарыч стал помогать. Он думал о том, что у него теперь несколько радостей. Это, когда кончится работа, можно будет взяться за книги, которые вчера взял в библиотеке. Хотелось почитать “Фауста” Гёте, сцену, где Гретхен говорит, что была сестрёнка у неё и умерла. Здесь очень трогательно всегда. Потом собирался почитать сцену из “Воскресения” Льва Толстого — заутреню на Пасху — Нехлюдов и Катюша. Узнать хотелось насчёт подробностей. Эта сцена как-то воспринималась целиком, и ему было интересно: какие же там подробности, что производят такое сильное впечатление.

Это две большие радости. Чуть поменьше — Лесков. Хотелось посмотреть его “Очарованного странника”. Недавно был фильм. В субботу и воскресенье вечером в актовом зале для обитателей пансионата показывали кино. И хотелось знать — так ли в фильме, как у Лескова, читал его ещё в юности и уже не помнил. И было приятно думать, что, когда кончится работа, он придёт и возьмётся за книги.

К этому примешивалась ещё одна радость — его оставили на работе, и всё это благодаря завхозу. Какой хороший человек завхоз!

Захотелось пить, решил сходить в буфет, выпить стакан соку. Буфет был внизу на первом этаже; когда привозили рыбу, фарш, мясо, конфеты, то выстраивалась очередь, в основном из работников пансионата. Когда Евгений Макарыч заходил в буфет, он нос к носу опять столкнулся с завхозом. Тот нёс что-то в свёртке. И Евгению Макарычу стало неловко, словно эта нечаянная встреча умалила его радость, не хотелось лишний раз с ним встречаться и, как говорят, мозолить ему глаза. Перед этим он прочитал в “Народной газете” рассказик, где у женщины в послевоенный голод осталось единственное сокровище, которое она больше всего боялась потерять, — мешок “дробной бульбы” — мелкой картошки на семена. Так и у него эта радость с завхозом, которую больше всего было боязно потерять. Теперь уже стали возникать сомнения: что, если, несмотря на все заверения Верёвского, Антончик настоит на своём и отстранит от работы?

Работа заканчивалась в пять. Трофимыч садился на мотоцикл и уезжал домой в деревню. Полетмахер обычно выходил за территорию и долго бродил где-нибудь по окрестным улицам. Не хотелось идти в палату. Оттягивал как можно дольше этот момент. Он упивался этой кратковременной свободой; когда заканчивался рабочий день и можно было наконец выйти, вдруг охватывала такая радость, словно кто-то сообщал: “Не всё ещё потеряно”.

Как обычно, он теперь направился к воротам и увидел завхоза и заведующего пансионатом вместе. Кивнул, здороваясь заведующему, с завхозом уже виделись до этого, и, ни слова не говоря, вышел за ворота. Те удивлённо переглянулись между собой. Дело в том, что в обычные дни престарелым не разрешалось ходить в город. Полетмахер же делал это каждый раз, когда никто не видел. И сейчас он, почувствовав себя неловко, подумал: “Скажи из них кто хоть слово, что нельзя, тут же вернулся бы, не споря... Эх, наверное, поставил в неудобное положение завхоза. Он меня всё выгораживает, заступает, а я вот всё дисциплину нарушаю”.

Шёл вдоль пансионатского забора, не переходя на другую сторону ули-

цы. Забором являлась чугунная решётка, как обычно бывает в парках. Сразу же, где кончался этот забор, поворот — какая-то глухая улочка с огромной лужей посередине. Когда он переходил, перед ним только что проехала машина — вода в луже пенилась под колёсами, по краям лежали кусочки раскрошенного асфальта, мелкий песочек, намытый волнами. И это почему-то напомнило льнозавод в Могилёвской области, куда они, будучи студентами, ездили на картошку. Осень, старые, вросшие в землю корпуса льнозавода, территория, разъезженная машинами, осенняя грязь...

И, несмотря на всю убогость картины, представилось это как дорогое сердцу, милое воспоминание. Вот он, Жёня, сидит под скирдой льна в штормовке и читает книжку...

И сделалось так радостно, и словно не было ни заведующего, ни завхоза, ни этой неловкости за самовольный выход в город. Как бы очутился там, на льнозаводе, и может сказать своим приятелям-однокурсникам: “А что они мне, завхоз и заведующий? Пошёл в город, вот и всё! Хочу и иду, кто мне запретит...”

Часто бывало, что Трофимыч уходил с работы довольно рано. На этот раз тоже сразу после обеда стал заводить мотоцикл. Евгению Макарычу посоветовал куда-нибудь “заширяться”, чтобы не попасться на глаза начальству. Тот пошёл к себе в палату. Его сожители мирно спали. И он тоже решил вздремнуть, так как ночью редко высыпался из-за этих их бесконечных разговоров, продолжавшихся чуть ли не до утра.

Откинул покрывало и, не раздеваясь, лёг на свою скрипучую кровать. Это была привычка ещё со студенческих лет: вот так вот, не раздеваясь и не расстилая постели, ложиться под покрывало; так обычно делали, приходя с занятий. А поспать там любили. Преподавательница черчения как-то заметила: она раз побывала в общежитии, и у неё, мол, сложилось впечатление, что студенты только то и делают, что спят.

И сейчас, наверное, впервые за всё время пребывания в пансионате Евгений Макарыч почувствовал, что может наконец-то спокойно, почти как когда-то дома, уснуть. Сейчас, когда они не слышали, он потихоньку подошёл и выключил радио. Проснулся уже под вечер, взглянул на часы — хорошо, уже около семи, скоро на ужин. Вот и день прошёл. И стало радостно, что так легко и незаметно день прошёл.

И в этом довольстве почувствовал нечто нехорошее: мол, да чему же здесь радоваться, что день прошёл незаметно? Ведь это жизнь твоя проходит незаметно...

Вот так, как когда-то ещё в молодости ездил в Крым, и так же в поезде радовался, когда день проходил. К вечеру становилось легче, спадала жара, мол, меньше уже осталось ехать, и не жалко дня, а радость, что скоро уже приедут к месту назначения...

Или как в армии: война кончилась, стояли в Северной Моравии, ждали демобилизации и с нетерпением считали дни...

О, дембель, как его ждали тогда! Казалось: впереди ждёт какая-то особенная жизнь, раз остался в живых, вышел из такого пекла. И сейчас вдруг явственно вспомнилось то дембельское настроение. На всю жизнь сохранилась новизна того чувства. Бывает так: появляется песня какая — последний крик моды, и кажется — лучше и новее никогда не придумают уже. А потом, спустя долгое время, услышишь её, и возникает то ощущение новизны, и никак не можешь поверить, что давно она уже устарела, что после неё уже столько было новых...

Так и сейчас Евгению Макарычу думалось: да неужели жизнь уже прошла? Неужели это всё?

Полетмахер с каждым днём привыкал к пансионату всё больше и больше. Например, теперь знал, что выпасться запросто можно после обеда. После обеда работы всегда мало; обычно напарник сидел в своей каморке и мастерил удочки: у него там сушились целые пучки связанных удилиц. Евгений Макарыч, если хотел, шёл вздремнуть на часок-другой. И главное, в это время всегда спали его соседи по комнате.

Заведующий, если раньше его хотел вовсе отстранить от работы, то те-



перь проникся даже уважением, при встрече всегда здоровался за руку.

Стал лучше Евгений Макарыч разбираться и в сантехнике. Раз он менял самостоятельно сливной бачок в одном из санузлов. Напарник молча наблюдал; Полетмахер знал — всё делает правильно, но почему-то пакля съезжала с резьбы, когда он пытался навернуть муфту. Трофимыч посоветовал:

— А ты вот так попробуй...

— Не. Я по-своему, — возразил Евгений Макарыч, отстраняя его. Зная, что сделает лучше.

— Ну, делай по-своему, як знаешь, — тут же согласился Трофимыч. — Правильно, у каждого своя мысль работает... Роби по-своему...

Потом Евгений Макарыч достал из сумки новый поплавок с краником. Сделанный из яркой цветной пластмассы, прямо хоть на новогоднюю ёлку вешай.

Полетмахер поймал себя на мысли, что теперь, в присутствии Трофимыча, он делает всё как бы напоказ. Хочется, чтобы выглядело эффектно и красиво. Хотя делу это несколько не помогает, а даже вредит.

Нечто похожее было у него, когда ещё работал в школе. В восьмом классе был один ученик, такой, что никакого сладу с ним. На уроки к нему в мастерские почти не ходил. Если видел Евгения Макарыча где-то на улице, кричал: “Эй, мужик, иди сюда, поговорим!” — И тут же со смехом отбегал на безопасное расстояние. Директор уговорил тогда Полетмахера поставить ему “тройку”, чтобы не оставлять на второй год, дать возможность уйти из школы. И вот года через два или три явился он раз в мастерские. Был перерыв, Полетмахер в это время врезал замок в двери, его окружали ученики. Евгений Макарыч внутренне сжался, приготовился — сейчас тот что-нибудь отчебучит. Но тот как-то очень уж вежливо поздоровался и стал просить прощения за то, что когда-то дурака валял. Он учился в каком-то ПТУ сейчас и признался, что очень тяжело ему, потому что в школе ничего не хотел делать. Потом он оглянулся на притихших сзади пацанов, сказал:

— Покажите мне, кто сейчас из этих не слушается, я с ними разберусь, я их поубиваю!

— Зачем же их убивать? — усмехнулся Евгений Макарыч.

Он в это время долбил стамеской гнездо под замок, вот так же невольно хотелось, чтобы выглядело это эффектно и красиво. Казалось — если это будет не так, то этот парень может вновь перестать его уважать. Нечто подобное испытывал он и теперь по отношению к Трофимычу.

Как-то раз напарник Евгения Макарыча после майских праздников не явился на работу. Не пришёл он и на следующий день. Евгений Макарыч, придя утром в каморку, с тоской подумал — опять целый день нечем будет заняться. Но тут его разыскал сам заведующий Антончик — оказывается, есть работа, но, увидев, что Полетмахер один, засомневался — справится ли тот сам. У себя в кабинете заведующий решил сделать душ. Всё уже было готово, оставалось только подключить новенький комплект оборудования, пожалуй, какой-то даже импортный.

Полетмахер с удовольствием взялся за работу. К вечеру закончил. Чувствовал усталость и удовлетворение, мол, было чем занять время, и притом работа интересная. И от этого полного удовлетворения почему-то вновь стало неприятно. Такое ощущение, словно засомневался: а на то ли дело я трачу себя и время, тем ли я занимаюсь? Слишком уж всё хорошо и гладко до неприятности. Где-то в глубине души он чувствовал боязнь остаться один на один со свободным временем.

В этот день, закончив работу, он, как обычно, пошёл на прогулку в город. Заведующий только сказал:

— Вы уж, пожалуйста, как-нибудь, чтоб другие не видели... А то, знаете, нельзя, а вы ходите.

Оказавшись за воротами, сразу же перешёл на другую сторону улицы, чтобы его меньше видели со двора обитатели пансионата. Впереди по тротуару шли парень с девушкой, он слегка её обнимал, как бы поддерживая. Евгений Макарыч по привычке тут же возмутился про себя: мол, неужели обязательно обниматься на людях?! Вдруг девушка наклонилась в сторону и вы-

плюнула окровавленную вату. Евгений Макарыч догадался: идут из стоматологии, что напротив пансионата. Девушке, наверное, вырвали зуб, а парень её сейчас поддерживал, в этом было даже нечто трогательное.

От вида крови у Евгения Макарыча что-то сжалось внутри, похолодело, почудился запах поликлиники... И это напомнило, как они студентами после первого курса проходили комиссию перед пионерским лагерем — ехали туда вожатыми... Тогда брали для анализа кровь из вены, называлось, кажется: “сероглифический анализ”. Слово “сероглифический” напоминало серую обёрточную бумагу справки, на которой потом делали отметку о сдаче крови. Представил толстую иглу, воткнутую в вену, и бутылочку, медленно наполняющуюся тёмной густой кровью. И тем не менее это было приятно сейчас вспомнить.

После сдачи крови надо было ещё побывать в венерическом диспансере. Там, в коридоре диспансера, они с приятелем Кезевым развлекали однокурсницу Светочку Мекеко, которая тоже вместе с ними проходила комиссию. Она тогда была в махровой блузке в крупные жёлтые вишни с зелёными листочками. И они с Кезевым старались друг перед другом завладеть её вниманием.

— Ты, когда входила сюда, двери руками открывала? — спрашивал Кезев.

— Да, — испуганно-озадаченно признавалась Светочка.

— Ну, то всё! — убеждённо заключал Кезев. — Ты могла здесь подхватить какую заразу, это же венерический диспансер. А мы с Женей подождали, пока кто будет входить и откроет дверь, тогда и проскочили сами...

И Полетмахеру так вдруг захотелось представить, что сейчас тот самый май, и у него впереди та комиссия перед пионерским лагерем. Потом подумалось: “Ещё нет, вот где-то к середине мая будет похоже... Да, тогда в середине мая, кажется, и проходили...” И радость, что у него впереди есть ещё такая возможность — представить это всё полнее и ярче, так обрадовала его, что он быстрее зашагал по улице.

ЕВГЕНИЙ ЭРАСТОВ



## НАШ ВЕЧНЫЙ ГОРОД НЕ ДЛЯ СЛАБАКОВ...

\* \* \*

Всех выскочек и ловких парвеню,  
Торгующих свининой алексахек,  
Орловых гришек, горничных агашек  
Из русской тьмы не вырвать на корню.

До трапезы вольно им почивать  
И ставить в ряд услужливых лефортов,  
Покуда будет пить и пировать  
Усатый чёрт в заляпанных ботфортах.

Шуты, шутихи, карлики, цари —  
Они все вместе в общей грязной своре  
О смертном и не знают приговоре —  
Они ничтожны, что ни говори.

Как тошно здесь! И видно за версту  
Притихшую на листике козявку.  
Надев очки, она читает Кафку,  
И чупа-чупс шевелится во рту.

---

*ЭРАСТОВ Евгений Ростиславович родился в 1963 году. Окончил Горьковский медицинский институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Публиковался в журналах "Волга", "Москва", "Дружба народов", "Звезда", "Наш современник", "Новый мир", "Сибирские огни". Автор четырех поэтических и трех прозаических книг. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.*

Как ты противен, пошлый маскарад!  
Свиные морды, гадкие корыта.  
И только затонувший Китеж-град  
Ещё тревожит тайной нераскрытой.

\* \* \*

Зимних сумерек синие краски.  
Час пройдёт — не увидишь лыжню.  
Жизнь прошла в суете да в опаске.  
Жили наспех, не верили в сказки  
И рубили мечты на корню.

И рубили мечты, словно мачты,  
Так неловко крутили штурвал,  
Пока гладил нас крупнонаждачный  
Айвазовский чудовищный вал.

Перестрелка, больничная койка,  
Писки, иски, судебный бедлам.  
Как неловко же ты, перестройка,  
Проскакала по нашим телам!

Венский гуру восстал из могилы,  
Чтоб разгадывать вещие сны  
Этой бешеной сивой кобылы,  
Что вчера нажралась белены.

Отрывайся, крапивное семя!  
Пей-гуляй на шнифтах у мента!  
...Полчетвёртого. Детское время.  
Близорукий январь. Темнота.

\* \* \*

Я деньги на книжку просил у него.  
А он на меня, как баран на ворота,  
Смотрел, был не в силах понять ничего,  
И чувствовал я неприятное что-то.

Я помню его опечаленный вздох  
И выдох, и щёчек бордовые пятна.  
И был для него я не лузер, не лох,  
А некий игрок, чья игра непонятна.

И был для него я заштатный хитрец,  
Солидных людей разводящий на бабки,  
Такой же, как он, прохиндей-удалец,  
Для виду одетый в плебейские тряпки.

“Конечно, культура нам тоже нужна, —  
Промямлил он вяло, — но всё ж, извините  
(Зачем ты пришёл к нам, какого рожна?!),  
Так трудно с деньгами... А впрочем, звоните...”

Звоните, звоните... Стальные стрижи  
Безмозглое небо стригут спозаранку,  
И в сердце втыкают стальные ножи.  
А много ли надо сегодня подранку?

Среди узаконенной русской трухи  
Живёшь абы как, не скрывая опаски,  
Не в силах отвлечься от той чепухи,  
Что в книжках должны появляться стихи  
И пахнуть всегда типографскою краской!

Я помню, коллега мой старший, в Кремле,  
Над Волгой замёрзшей (а впрочем, звоните!),  
Немного смущаясь, показывал мне  
На строчки свои, что блестят на граните.

Под снегом белел отрешённо обком.  
Снежинки кружились и падали наземь.  
И всё мне казалось — меж тем стариком  
И этими строчками не было связи.

Он умер недавно. Я тоже умру.  
О, как далеко нам до славы народной!  
Но как притягательна жизнь на миру!  
Как жалко дрожали на зимнем ветру  
Тесёмки от шапки его старомодной!

Ау, гонорары! Не стоит тужить,  
Что канули в вечность багряные флаги.  
Ведь жизнь не закончилась! Можно прожить  
Без слов на граните, без книжной бодяги.

За печкой трещит колченогий сверчок.  
И что ему мир нуворишей и выжиг?  
Он песнею счастлив своей, дурачок,  
И нет ему дела до спонсорских книжек.

\* \* \*

Эти красные ягоды бузины  
В этом мокром, неровном, кривом лесу  
Мне в награду за тёмные дни даны.  
Я люблю эти ягоды и росу.

Я люблю эти ягоды и следы  
От слизней на серой шляпке гриба.  
Целокупный мир дождевой воды.  
Не внушайте мне только, что жизнь — борьба.

На тропинке — крапивниц цветной аврал,  
Лягушонка белый смешной живот.  
И ты можешь назвать меня “либерал”  
(Я свободу люблю!) или “патриот”,

Потому что счастливее нет страны,  
Где ты можешь увидеть в кривом лесу  
Эти красные ягоды бузины,  
Эту птицу, парящую на весу.

\* \* \*

Я видел Рим, я видел эту синь  
Нерукотворных фресок Рафаэля,  
И чудо римских мраморных святынь,  
И роскошь итальянского апреля.

Извилистые видел берега,  
Причудливые камешки у мыса.  
Там пиния изящна и строга,  
И талия стройна у кипариса.

А на Востоке, где стоит луна  
Ущербная, где дремлет старина  
И рвётся ввысь пирамидальный тополь,  
Там Рим Второй, там древняя стена...  
Я видел и тебя, Константинополь.

Наш Третий Рим страшнее первых двух.  
Стрелецких казней сатанинский дух  
Был русскими прочувствован и понят.  
Наш Вечный Город не для слабаков —  
Божественные сорок сороков  
И отпуют тебя, и похоронят.

И как отметил старец Филофей  
В скуфейке старой, вечности трофей,  
“Четвёртому не быть!” И как проказы  
Бойтся мир, напичканный трухой,  
Не русской смуты, подлой и бухой,  
А этой гордой стариковской фразы...

СТЕПАН РАТНИКОВ



## ШКОЛОТА

РОМАН

### ГЛАВА 1. НОЧНАЯ МИССИЯ

Брат перестал ворочаться на диване только ближе к полуночи. А сестра на втором ярусе кровати, прямо надо мной, затихла уже давно.

“Самое время”, — решил я, не в силах больше ждать.

Отодвинув одеяло к стенке, аккуратно встал, открыл дверь, находившуюся от меня на уровне вытянутой руки, и бесшумно вышел из детской. На несколько секунд замер в коридоре, прислушиваясь, не проснулся ли кто. Кроме старенькой “Бирюсы”, противно дребезжавшей на кухне, — ни звука.

“Кажется, спят, — подумал я. — Пора! На позапрошлой неделе никто ничего не заметил, не узнал, и сейчас тоже всё получится”.

Осталось самое сложное: доползти до родительского шкафа, открыть его, нащупать пакет с конфетами, как-нибудь развязать, зачерпнуть из него как можно больше, замаскировать улики, закрыть шкаф и тихонечко вернуться к себе в кровать.

Я осознавал, что дверь в зале скрипучая. Нащупав в темноте ручку, сжал зубы, прищурил правый глаз и сделал резкое, но едва уловимое движение рукой вперёд. Только бы не разбудить родителей.

---

*РАТНИКОВ Степан Александрович родился в 1982 году в Красноярске. Окончил Красноярский государственный университет. По образованию — филолог-преподаватель, по профессии — журналист, педагог дополнительного образования. Публикуется с 2005 года. Лауреат городской литературной премии имени Бориса Никонова (2006) и всероссийской литературной премии “В поисках правды и справедливости” (2015). Член Союза писателей России. Хоккеист, учредитель и главный судья ежегодного Всероссийского хоккейного турнира памяти детского тренера Александра Ратникова. Актёр эпизода. С 2021 года живёт в городе Кириши Ленинградской области.*

Чёртова тряпка! Отец частенько подсовывал её между дверью и косяком. Чтoб постукиваний из-за сквозняков не было.

Кусок материи рухнул на пол, а вместе с тем и моя надежда на благополучный исход. Казалось, шлепок был настолько звучным, что мог проснуться весь дом. Но у страха глаза велики. Ни в зале, ни в детской никто не шелохнулся.

Через полминуты меня перестало колотить. Я опустился на четвереньки, чтoб стать ниже родительского ложа, расположенного слева от входа в зал. Медленно-медленно, с отвисшей челюстью, периодически покусывая нижнюю губу, пополз к заветному шкафу.

Половицы поскрипывали, а отросшие на ногах ногти предательски цеплялись за потёртый палас. Приходилось замирать на месте и, всё ещё дрожа, всякий раз прислушиваться, не проснулись ли отец с матерью. Они были в паре метров от меня. Обошлось.

Временно обошлось. Дверца шкафа, когда я уже почти полностью открыл её, издала жутчайший звук. Отец закричал во сне и начал переворачиваться. Хищник явно почувал жертву, и теперь-то ей точно не жить. Но меня, в ужасе схватившегося руками за голову и упёршегося ею в пол, никто не окликнул и не тронул. Только старые механические настенные часы, которые отец почти каждую неделю, матерясь, заводил, издавали едва различимое: тик-тик-тик-тик-тик... Коленки ещё долго тряслись, в горле пересохло. Отдышаться и довести начатое до конца? Или бросить всё и — обратно в кровать? Пожалуй, второе. И без того натерпелся.

Но дверь шкафа... Дверь этой старой развалины так и останется открытой? Если закрывать её, то она снова скрипнет. Это как пить дать. А раз уж такое дело, то лучше рискнуть и добраться до желанной цели.

И я добрался. Посреди полотенец и, кажется, одеял нащупал пакет, очень туго завязанный. Проткнул его пальцем, сделал дырку побольше. Загрёб горсть конфет, на ощупь определив, что мне, увы, снова достались карамельки. Другой рукой — ещё горсть. Потом небрежно отодвинул пакет с оставшимся содержимым чуть в сторону, вместе с тряпьем, кулаком подмял всё это поглубже, покосился на спящих родителей, выдохнул, подставил ногу под дверь, резко закрыл её, стиснув зубы от лёгкой боли, и, выждав ещё несколько секунд, уже на цыпочках отправился обратно в комнату.

После каждого шажочка, на мгновение застывая, поглядывал в сторону родительской постели. Когда уже почти вышел из зала, из руки выскользнула одна конфета. К счастью, она приземлилась мне на ногу, издав едва уловимый звук. От неожиданности я, конечно, вздрогнул. Однако вселенского страха уже не было. Даже подобие смелости появилось: если родители до сих пор не проснулись, то теперь и подавно нечего бояться.

Неуклюже подцепив упавшую конфету большим и указательным пальцами ноги, я добрался до детской, слегка приоткрыл дверь, убедился, что брат с сестрой спят, вошёл в комнату, приподнял матрас и зачихал под него всю добычу. Можно было успокоиться. Когда пропажу обнаружат, обвинять меня станет уже поздно. Ничего не докажут. Ночная миссия удалась. Не зря же отец называл меня башковитым не по годам.

Лёжа на спине и скрестив ноги, я, донелёзя довольный, уплетал конфеты одну за другой. Фантики возвращал под матрас.

Всё оказалось не так плохо, как представлялось там, в тёмном и враждебном зале. Дрянных карамелек и впрямь было многовато. Но мне попадались и “Раковые шейки” с “Гусиными лапками”, которые я обожал. Даже пару шоколадных конфет посчастливилось слопать. И несколько относительно мягких ирисок.

“Дверь в зале! — внезапно всполошился я. — Совсем забыл про неё. Встать и закрыть? Или... — Повернувшись на бок, я уставился на дверь в детской, за которой уже разыгрывались лёгкие сквозняки, порождённые оставленными на проветривание форточкой на кухне и балконом в зале. — А если вдруг... Хотя... Пускай всё так и будет. Не хочу вставать. Она сама могла открыться”.



Успокоив себя такими мыслями, снова сунул руку под матрас и нащупал очередную конфету. Улёгся поудобнее, развернул фантик, непроизвольно посмотрел в сторону окна и, собравшись уже закинуть карамельку в рот, обомлел. Из-за спинки кровати на меня глазел брат. Буквально тарачился. Разве что глаза не светились.

Утром меня, не выспавшегося, разбудил отец.

— Ты понимаешь, что эти конфеты мы купили для вас троих? — злобно произнёс он, избежав словесных прелюдий. — Тебе не стыдно? Как собираешься сестре и брату в глаза смотреть после этого?

— Какие конфеты?! — попытался я изобразить удивление.

— Которые ночью спёр. И сожрал. Один.

— Спёр?! В смысле? Ничего я не жрал.

— Кого ты пытаешься обмануть? — схватил он меня за волосы, которые сам же отказывался стричь в погоне за модой. — Самый умный, что ли?

— Клянусь! Ничего я не брал.

Отец толчком руки спихнул меня со скомканной кровати. Потом резко стянул на пол матрас, порвав застиранное покрывало, зацепившееся за деревянное основание, и куча фантиков полетела на пол. Я хотел что-то возразить, но тут же получил затрещину и от обиды зашмыгал носом.

Отец выругался и пошёл на кухню, попутно громыхнув дверью в детской.

— Иди сюда! — крикнул он мне через пару минут. — Быстро!

Трясаясь в разы сильнее, чем минувшей ночью, в ходе своей тайной операции, я поплёлся на кухню, шаркая ногами. Даже очки с перепугу забыл надеть.

— Быстрее! — уже неистово заорал отец и впился глазами в меня, только-только вышедшего из-за угла. — Шевелись давай!

— Я... Я больше... Папа, я больше не буду... Честно.

— А вот это мы сейчас и узнаем. Садись.

Он вытянул вперёд кулаки. Прямо перед моим носом. Разжав их, показал мне две белые таблетки.

— В одной руке у меня яд, — сказал он с пугающим хладнокровием, — в другой руке аскорбинка. Выберешь яд — до первого класса школы не доживёшь. Если аскорбинка попадётся, то тебе повезло. И тогда будем считать, что это хоть и не первое твоё воровство, зато последнее, и что на Новый год ты уже точно сестру с братом не оставишь без конфет.

“Так он всё знает, что ли?” — удивился я, бросив взгляд на верхнюю полку невзрачного кухонного гарнитура, где рядом с тремя привезёнными из-за рубежа бутылками газировки, уже давно пропавшей, но донельзя мажущей, находилась банка с быстрорастворимым какао, который я втихаря уплетал ложками в течение нескольких недель.

— Выбирай, — раздалось с некоторым равнодушием.

Я опустил глаза и слегка повернул голову в сторону, не в силах сдерживать слёз.

— Выбирай! — теперь уже рывкнул отец, сверля меня взглядом и ни капельки не разжалобившись от моего беспрестанного хлопанья.

До смерти напуганный, я всё-таки разревелся. А неожиданный удар кулаком по хлипкому кухонному столу окончательно меня надломил. Выхода не было: пан или пропал. Отец тряс передо мной массивными ладонями, принуждая сделать выбор. Зарёванный, весь в соплях, я показал на его правую руку. Он сжал левую ладонь в кулак и опустил её. Пальцами другой призывно ткнул мне в грудь. Дрожащей рукой я взял таблетку неизвестного происхождения. Почти сразу уронил её на пол. Неуверенно поднял и, продолжая нить, тут же уронил снова.

— Жри! — зарычал отец. — Ну! Чего медлишь! С конфетами же ты легко справлялся. А тут всего лишь маленькая таблетка. Быстро жри, говори, пока тебе её в глоток не запихали...

Закатываясь в истерику, проклятая в уме и отца-тирана, и брата-предателя, и свою рискованную ночную миссию, я всё-таки затолкнул таблетку себе в рот. И проглотил её, едва не задохнувшись от сдавившего грудь ужаса.

Отец сразу же встал со стула и, не смотря на меня, без лишних слов, будто ничего не было, ушёл в зал.

Я ревел ещё минут десять, упёршись лбом в заляпанный стол. Ни о чём не думал: ни о последствиях, которые могла таить в себе проглоченная таблетка, ни о сложностях, ожидавших меня, шестилетнего пацана, в дальнейшей жизни, не шибко-то сахарной. Ничего не хотел: ни материнских утешений, ни отцовских извинений, ни проклятых конфет. Просто ревел, уйдя в себя.

В те мгновения более несчастного человека на свете быть не могло. Хотелось сбежать из дома. Без оглядки. Примерно так же, как двумя месяцами ранее, в начале мая восемьдесят девятого, поступил советский хоккеист Александр Могильный.

Правда, новоиспечённого чемпиона мира наверняка ждали в Штатах и сулили счастливое будущее. А я, незадачливый дивногорский воришка, не был нужен даже собственному отцу, готовому разделаться со мной из-за каких-то конфет, которые были не такими уж и вкусными.

## ГЛАВА 2. ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

Наш дом, самый первый на улице 30 лет Победы, которую градостроители изначально нарекли Средней, был окрашен в палевый цвет, с четырьмя красными полосами, тянувшимися от козырьков над подъездами и до самой крыши. В минуте быстрой ходьбы от него находилась пятая школа — трёхэтажная, из розового кирпичика, огороженная по периметру металлическим забором из сетки-рабицы.

О существовании других образовательных учреждений в крошечном Дивногорске, построенном рядом с Красноярской ГЭС, я тогда ещё ни сном ни духом не ведал, если не считать три детских садика, в которых меня воспитывали. Не ведал во многом потому, что верхнюю застройку города, испещрённого лестницами, подпорными стенками и крутыми подъёмами, почти не покидал.

Школу было видно с балкона, если смотреть влево. Деревья вокруг забора частично закрывали обзор, но торец здания хорошо просматривался. В другой стороне, справа, виднелись две стоящие почти перпендикулярно друг другу многоэтажки аналогичного цвета — розового. А напротив балкона, опять-таки в небольшом отдалении, маячили несколько деревянных домов разной расцветки. В окна жёлто-синего и бело-голубого мы с друзьями периодически пялились в бинокль, когда учились уже в средних классах школы.

Одна лишь электроподстанция, железные дверцы которой служили ребятне отправной точкой для игры в московские прятки, находилась буквально перед балконом. Жили мы на втором этаже. А кирпичное здание подстанции располагалось на небольшом пригорке. Казалось, разбежись от дальнего конца зала и сигани в отчаянном прыжке с захламлённого балкона — долетишь. Но только казалось, ибо бесстрашной мелкоте любое море по колено.

До школы было два пути. Одинаковых по расстоянию. Это я понял не сразу. И поначалу использовал один и тот же маршрут, пролежавший через косую асфальтовую дорожку, рядом с электроподстанцией. Со стороны пришкольного стадиона начал ходить позднее, когда понял, что там меня почти не видно с балкона. Да и тётя Нонна, наша соседка по лестничной площадке, выгуливала своих никогда не лаявших дворняжек в другом месте, благодаря чему мне удавалось иногда, по настроению, пошалить и остаться незамеченным.

Не сразу понял и то, с кем и зачем мне предстоит учиться.

Первая в моей жизни школьная линейка заставила поволноваться. Никогда прежде не доводилось оказаться посреди такого количества незнакомых мальчишек и девчонок, толпившихся на улице, одетых примерно одинаково и сжимавших в руках незамысловатые цветочные букеты, садовые в большинстве своём. Некоторые из ребят толкались, галдели. Кто-то недовольно поскуливал. Справа от меня растрёпанный черноволосый паренёк лет девяти, переминаясь с ноги на ногу, хитро подмигнул соседу с фингалом под глазом

и попытался оторвать у одной из девчонок белоснежный кружевной воротничок, а другую зачем-то дёрнул за пышный, почти с голову размером, бантик.

Взрослые, стоя на крыльце здания, пугавшего меня своей неизведанностью, декламировали какие-то речи, никого из школьников, судя по всеобщей рассеянности и бессмысленным взглядам, не интересовавшие. Внимание к себе смогли приковать только старшеклассник с прилизанными волосами и сидевшая у него на плечах белокурая девчужка, моя ровесница, улыбавшаяся во весь свой беззубый рот и звонившая в маленький колокольчик. Они сделали круг перед застывшей толпой и после этого словно испарились, как и мимолётная заинтересованность юных зевак.

Пуще прежнего захотелось вернуться домой. Но пришлось-таки идти в школу. Отметиться. И цветы классному руководителю вручить.

— Вон ваш учитель, — сказал кто-то моей матери. — Видите? Да, вон та. Зовут Мария Антоновна.

— А я думала, что у нас другая будет, — ответила мать и пошла в направлении женщины за пятьдесят.

В те минуты меня мало интересовали люди. Я разглядывал двери, вывески, люстры. Обстановку в целом. Вероятно, как кошка, входящая в новое жилище. И когда мать дёрнула меня за руку, чуть вздрогнул от неожиданности.

— Вручай, чего стоишь, — шепнула она.

Я неуклюже протянул седовласой учительнице букет, заранее собранный на даче бабушкой. Поздороваться забыл. Мать сделала это за меня — как напоказ.

Мария Антоновна натужно улыбнулась мне, поблагодарила, положила на стол цветы рядом с уже подаренными и провела рукой по оборкам своего бледно-голубого платья с синими узорчиками.

Но куда больше мне запомнился её строгий взгляд. С улыбкой не особо гармонировавший. В нём так и читалось: “Смотри, мальш, не балуй у меня! А то тётя вмиг тебя накажет”. Она, вероятно, не понимала, что её поведение несказанно поддуживало меня, кудрявого озорника, отчебучить что-нибудь этакое. Не в ту же секунду, но на одном из первых занятий — обязательно.

Мой страх никуда не делся. И в благоговейный трепет он не превратился. Попахивало скорее плутовским принципом: не хотите, а вот возьму и сделаю. Хотя бы потому, что дома мне ничего подобного не светило. Брат всегда, какие бы склоки между нами ни случались, оказывался в фаворе, ведь он старше и поэтому умнее. А сестру, даже если та и была виновата, трогать всё равно нельзя, ведь она девочка, ещё и младшая. Так что все шишки доставались мне. Постоянно. Без исключений. При этом родственники твердили: отец больше всех любит именно средненького — такого же лохматого, носатого, творческого и упёртого, потому и таскает его с собой повсюду, и ругает чаще остальных. Вслед за мной к учителю с куда более пышными букетами подошли два моих будущих одноклассника. С хитрющими лицами. Эти бутузы, в отличие от меня, явно никого и ничего не боялись, что не успокаивало, но раззадоривало. Предстоявший учебный день перестал казаться труднопреодолимым испытанием. Наоборот, мне хотелось, чтобы вечер и ночь пролетели как можно быстрее.

Дома, уже после линейки и первого звонка, я долго стоял возле окна в детской, ковыряя на своей любимой белой футболке малопонятную мне переводку с изображением спортсменов, плывущих внутри секундомера, и заворожённо глядел на здание школы. В его торцевой части, которая была отчётливо видна, моему классу как раз и предстояло учиться. На первом этаже. В самом углу.

Из зала доносился škодливый голос мультяшного Карлсона, гнавшегося по крышам за похитителями белья. Там же, в зале, мать заранее собирала мне школьный ранец, дерматиновый, на двух застёжках. Я должен был донашивать его за братом, перешедшим в третий класс.

Моим вниманием попыталась завладеть пятилетняя сестра, спустившаяся со второго яруса кровати, на деревянном боковом ограничителе которой красовалась нарисованная отцом голова безмятежного индейца. Не добившись своего, Рыжая — так я звал маленькую конопатую вредину — взялась

отпускать оскорбительные словечки, за что получила пинок. Её угрозы рассказать всё отцу, когда тот вернётся с работы, не только разозлили меня, но и подтолкнули к мысли, что завтра в школе кому-то не поздоровится.

### ГЛАВА 3. ВИЗИТ К ДИРЕКТОРУ

В середине сентября восемьдесят девятого случились первые в учебном году заморозки. Многие ребята пришли в школу в шапках, а Сашка Бабинцев — почти полностью в зимней одежде. На голове у него была потрёпанная ушанка, туго завязанная под подбородком и сдавливавшая челюсть, на плечах — лёгкое пальтишко, снизу — полинявшие брюки и дырявые ботинки.

Его, психованного и плаксивого, и так доставали с первых же дней. В этом смысле чересчур щуплый Бабинцев напоминал мне бывшего одноклассника моего брата Рому Чулкова. Того затыркали до такой степени, что он остался на второй год, со временем вообще перешёл на домашнее обучение, а когда выходил на улицу, то обязательно попадал в поле зрения насмешников, и всё заканчивалось иступлённым швырянием камней, бутылок, а иногда даже молотков с топорами. Едва Бабинцев развязал ушанку, я, уже переодетый, подлетел к нему сади и выхватил шапку из рук. Сашка сразу же раскричался, требуя вернуть ему отобранную вещь. Голосил он девчачьим писклявым голоском, забавно вытягивая вперёд тонкие губы. Одноклассники, уставившись на нас, глумливо хохотали.

— Глиста в ушанке, а где твои санки? — дразнил я Бабинцева, упражняясь в рифмоплётстве, которое лилось на почве десятков прочитанных мною книжек Маяковского, Родари, Маршака и других авторов.

Меня самого дома частенько травил брат. Почти так же, без веского повода. Доведя до слёз, он терял к жертве всякий интерес и наконец-то оставлял в покое.

Я быстро охладел к скулившему Сашке и собирался уже вернуть ему шапку, но одобрительно рассмеявшийся Колян Черноусов бросил свою куртку на подоконник и громко хлопнул в ладоши, давая мне понять, что присоединяется к травле. Я швырял ушанку Коляну, а тот почти сразу возвращал её мне. Сашка металась между нами, канюча, но не решаясь на кого-либо накинуться или просто быть более настойчивым в отборе. Особенно ввиду Колькиных словесных угроз. Бабинцеву всё это быстро надоело. Он отошёл к стене напротив гардероба, сполз по ней вниз и, уткнувшись в скрещённые руки, расплакался. Черноусов, явно недовольный прерванной забавой, обозвал Сашку, используя для этого весь свой скудный лексикон, махнул рукой и пошёл поднимать свалившуюся на пол куртку.

Наблюдавшие за нами Светка Дружинина, Наташка Волосова и Ольга Игнатенкова вмиг потеряли всякий интерес и отправились в кабинет. В те же секунды к происходящему охладел и я. Без зрительского интереса всё теряло смысл.

— Ой, да забирай ты свою ушанку, нужна она кому-то больно.

Я расстроено, но всё ещё напоказ, швырнул шапку под самый потолок и собрался идти в класс. Ушанка не упала. Она повисла на люстре, которая угрожающе зашаталась. Бабинцев, впившись в неё расширенными зрачками с натянутыми возле них красными проволоками, в припадке рухнул на пол и заблажил на весь этаж.

Так я впервые оказался в кабинете директора. От меня требовали извинений в адрес Сашки, а потом, наткнувшись на моё сопротивление, взялись пугать звонком родителям.

— Ну и звоните, — не придумал я ничего умнее.

И позвонили.

— Сами с ним разбирайтесь, — ответил отец, умывая руки.

Такого поворота не ожидал никто. Даже я.

Постоять в углу, причём не дома, а в приёмной директора, всё-таки пришлось. Отец же, к моему удивлению, не сказал вечером ни слова. Но ходил по квартире злой, и это пугало ничуть не меньше.

## ГЛАВА 4. ЗВЁЗДОЧКИ

Оценок мы в школе не получали. За выполненные задания Мария Антонова рисовала нам красной ручкой звёздочки на обложках. Чем их больше, тем почётнее. И тем лояльнее отношение учителя к ученикам.

Особенно преуспевали девчонки. Завсегда смурные Анька Столбова и Ленка Бражникова ни с кем не общались, зато багаж звёздочек пополняли каждый день. Этим они — вместе с куда более компанейскими Наташкой Солодкиной и Машкой Ромашкиной — выделялись на общем фоне. Другие старались дышать им в спину, шушукались, завидовали, но заметно отставали.

У мальчишек, звёзд с неба не хватавших, зависть постепенно переросла в нечто большее. Бражникова, самая тихая в классе, так и притягивала злопыхателей, несмотря на свой высокий рост. Пройти мимо её конторки и не сбросить на пол все тетрадки с учебниками просто нельзя было.

Правда, на Ленку, беззащитную, но стойкую, это не действовало. Когда исподтишка сильно дёргали за волосы — тоже. Бражникова вытирала скупые слёзы и продолжала сидеть сама по себе, глядя куда-то на доску, сквозь всех, кто маячил перед ней, чем ещё сильнее раздражала завистников. Если это и была разновидность звёздной болезни, то науке наверняка не известная и медицинской не изученная.

На одной из перемен я заметил, как блондинистая Ольга Задавакина, тормоша обложку своей тетради, подрисовывает там пару звёздочек. Меня задавила жаба.

— Ты обнаглела?

— Я просто... Я подправила только, — занервничала Ольга. — Они стирались. Не видно уже было.

— Ага. Ничего не можешь сама, всё у других вечно спрашиваешь. И уже столько звёздочек получила, хочешь сказать?

— Ну и всё, можешь тогда забыть про “Турбы”, которые тебе нужны, — как отрезала Задавакина, часто демонстрировавшая свой характер. — Кому-нибудь другому обменяю.

— При чём здесь вкладыши-то сразу? — остыл я в ту же секунду. — Как ты меня бесишь! Теперь точно Марии Антоновне расскажу.

— Да поменяю я их тебе, — капитулировала Ольга, выпятив губы и сохранив суровые нотки в голосе. — Дурак.

— Сама дура. Мне для коллекции всего двенадцать вкладышей не хватает. Живи, пока я добрый. А то точно бы всё рассказал.

Мой темноволосый, с мелкими и едва заметными кудряшками, брат-третьеклассник, приходя из школы домой, уже вовсю хвастал перед родителями пятёрками и четвёрками, ежедневно появлявшимся в дневнике. Мне это казалось несправедливым. Настоящие оценки полыхали ярким, слепившим глаза огнём на фоне невзрачных звёздочек.

Случай с Задавакиной навёл меня на мысль. Всё ж просто!

После уроков я зашёл в школьный туалет, расположился возле подоконника, достал дневник, где ничего больше, кроме домашнего задания, записано не было. Вооружился двумя ручками — с синей и красной пастой. Оглянулся на дверь, которая не закрывалась ввиду отсутствия на ней замка или хотя бы шпингалета. Выдохнул. Нервно сглотнул. Бесцельно поправил подтяжки, поддерживавшие мои слегка широковатые брюки. Можно было начинать.

На понедельник шмякнул себе пятёрку, рядом — автограф, бесхитростный, похожий на тот, что недавно видел в дневнике у брата. Вторник — ещё пятёрка и другая загогулина. Среда — тут, пожалуй, четвёрка, причём уже синей ручкой, мало ли что. Эх, держите меня семеро!..

Нарисовав с десятков оценок и попрактиковавшись в придумывании подписей, удовлетворённый своей смекалистостью, я сложил всё добро в ранец и отправился домой. Проходя мимо нашего балкона, вглядывался в окна, мысленно представляя, как обрадуются мать с отцом и начнут меня расхваливать. Может, даже на мороженое денег дадут. Не всё же брату одному пятёрки из школы домой носить.

Минуту славы предстояло ждать часа три. Отец ещё не вернулся с работы, а мать хлопотала по кухне: варила компот из сухофруктов, толкла картошку, жарила котлеты. Я, раздевшись и умывшись, кое-как сдерживал себя, чтобы не проболтаться раньше времени. Надо было терпеть до ужина. И вот тогда-то...

Отец, садясь за кухонный стол и утомлённо улыбаясь, потрепал меня, егозившего рядом, по волосам.

— Как дела, засранец? — подмигнул он и тут же потерял ко мне всякий интерес, повернувшись в сторону матери, копошившейся возле электроплиты. — Жрать охота.

Я метнулся в детскую. Предвкушая успех, показал сестре язык и достал из ранца дневник. Ещё чуть-чуть, и стаканчик сливочного мороженого мне обеспечен. За такие-то оценки!

Продолжая сидеть на корточках, уставился на пёстрые обои. Десятки медвежат, резвившихся в зелёном лесу, были несуразно мною разрисованы. Прямо как странички в дневнике.

— Пап, знаешь, сколько мне пятёрок в школе наставили? — лепетал я, забежав на кухню.

— Пятёрок? — заинтересованно уточнил он, оторвав взгляд от тарелки и протянув руку. — А ну-ка... Где? Что?

— Вот! — гордо распахнул я дневник.

Отец, непрерывно жуя, изучил пару разворотов.

— Молодец, — сухо сказал он, откусывая половину уже четвёртой котлеты. — В углу иди постой, пока я ем.

Мне стало не по себе. Какой угол? За что?

— Всё ещё считаешь себя умнее взрослых? — спросил отец, не глядя на меня. — За барана меня держишь?

— Почему?

— Что-то слишком уж корявые оценки с подписями. Неправдоподобные.

— Если не веришь, то можешь сам у учительницы...

Шлепок дневником по голове не дал мне договорить.

— Когда ты уже поймёшь, что тебе никогда не удастся меня обмануть, — раздражённо, но не шибко громко заявил отец и начал звонко мешивать ложечкой чай в огромной кружке. — А даже если я и не замечу чего-нибудь, то Бог, как говорит твоя бабушка, видит всё. Так что ты себя обманываешь. Себя, а не нас... И не ной.

— Не ною, — хлопнул я.

— Вот и не ной, — повторил он, отхлебнув чаю. — Давай в комнату к себе, в угол. Маленько постоишь, над своим поведением подумаешь. А потом ещё раз поговорим. Расскажешь, чего надумал.

На размалёванных медвежат в углу тускло освещённой детской я смотрел почти полчаса. Сгрыз все ногти. Потом отец милостиво даровал мне свободу. И добавил, что наш разговор переносится на другой день. А сам отправился в зал смотреть телевизор, выгнав оттуда Рыжую.

Сестра, едва зайдя в детскую, что-то вякнула в мой адрес и, пока старший брат гулял, развалилась на его диване. Она была рада, что меня наказали. Это всегда доставляло ей необъяснимое удовольствие. Причём поводы не имели значения. Она брала максимум от своего статуса единственной дочурки и просто младшенькой.

Спустя сутки радовался уже я. Сестру положили в больницу с дизентерией. Расплата за выпендрёж. Можно было спокойно отмечать моё семилетие, до которого оставалось всего два дня, и не бояться, что Рыжая станет завидовать подаркам и кланчить что-нибудь для себя. А делиться с младшей пришлось бы в любом случае. Схема работала безотказно: громкий ор и плач — прибежавший отец — нотации и затрещины — вынужденная делёжка.

Делить оказалось нечего. Как и отмечать. Вслед за сестрой в больницу слёг и я. С тем же самым диагнозом.

Все грандиозные планы смыты в унитаз. Вместо конфет — пилюли. Вместо компота и газировки — непонятная жидкость трудноразличимого

цвета. Вместо друзей и родственников — унылые незнакомцы на соседних койках. С матерью разок удалось поговорить, но лишь через окно в палате.

Баба Рая не обманула. Он действительно всё увидел. И наказал.

Даже канарейка, которую мне подарили заочно, пока я мотал больничный срок, уже через неделю после моей выписки вылетела из незакрытой клетки на балкон и была такова. Вот только родители и гостившие у нас взрослые почему-то не переживали за птичку, с куда большим рвением обсуждая загадочное падение Бориса Ельцина с моста в Москву-реку.

## ГЛАВА 5. ДОКУЧЛИВЫЙ ЗНАЙКА

Когда отец принёс домой странную синюю штуковину с чёрным объективом, то сказал, что теперь у нас будет собственный кинотеатр. Сгорая от любопытства, мы с сестрой разглядывали круглые чёрные пластмассовые баночки, в которых оказались рулоны с плёнкой. Брат, даже не удосужившись встать с дивана, но лениво отложив в сторонку альбом для марок, в котором хранил вкладыши от жвачек, равнодушно наблюдал за нами.

В это время ещё не переодевшийся отец устанавливал на стуле, прямо посреди детской, фильмоскоп под названием “Знайка” — ту самую штуковину. Подложив под переднюю часть аппарата торчавший из моего ранца букварь, попросил нас сесть рядом, но ничего не трогать. Он задёрнул шторы. Просунул одну из плёнок в тонюсенькое отверстие на поверхности фильмоскопа, что-то нажал на нём. Подошёл к двери и снял с неё шмотки, висевшие на гвоздике. Выключил в комнате свет. И под наше почти дружное “ого себе!” повернул рукоятку. На двери вместо белого светящегося прямоугольника появилась какая-то надпись. Не останавливаясь на ней, отец прокрутил плёнку дальше и, выдержав паузу, самодовольным голосом спросил: — Кто читать будет?

Под забавной картинкой, смахивавшей на застывший кадр из кукольного мультфильма, значился текст. Брат рвения не проявил. Поэтому я, буркнув скулившей сестре, что она ещё слишком мала и неграмотна для такой важной миссии, взялся читать сам. Отец почти шёпотом объяснил брату, где что крутить, и быстро скрылся за дверью. Лишь размазанная картинка на его спине успела мелькнуть напоследок. Я тараторил, запинаясь и нервничал, героически терпя смеявшегося надо мной брата, но не сдавался. Одолев первый диафильм, мы, голодные до новых историй, взялись за следующую плёнку. С одной оговоркой: брат оттолкнул меня в сторону, якобы не желая больше слушать торопыгу, и собрался устроить мастер-класс. Надувшись, я пихнул хвостуна ногой и кувыркнулся в дальний угол комнаты, ближе к окну, устроившись рядом со швейной машинкой, на которой отец упражнялся какдые выходные и которая служила нам дополнительные письменным столом.

Меня раздрало от обиды. Я отвернулся. Сам же продолжал искоса следить за развитием сюжета на двери. Брат как нарочно подвинулся чуть в сторону и перекрыл мне обзор.

— Совсем оупел? — подал я голос. — Отсядь. Ты тут не один.

Брат лишь посмеялся. Тихо, но злорадно. Я дотянулся до края дивана, на котором он спал, стянул оттуда колючую подушку и кинул в него. Брат подобрал её и пополз в мою сторону. Пару раз вызывающе мотнув головой, он повалил меня на пол и начал душить. Той самой подушкой. Из которой перья лезли, как тараканы через вентиляционную решётку. Душил больше для вида, чем по-настоящему. Но его бесцеремонные насмешки раздражали, отчего я ещё сильнее дёргался и, как следствие, задыхался.

Спас меня раздавшийся грохот. Увлёкшись доминированием, брат позабыл о фильмоскопе. Любопытная сестра решила сама что-нибудь покрутить и уронила агрегат на пол. Брат ослабил хватку и оглянулся, оценивая масштаб последствий.

— Что здесь такое, я не понял?! — прорычал отец, заглянув в детскую.

Включив свет, он уставился на брата, сидевшего на мне и по-идиотски улыбавшегося. Сестра сразу после падения фильмоскопа успела запрыгнуть

на кровать и была как бы ни при чём. Не желая ничего выяснять, отец пригрозил, что отдаст фильмоскоп соседям, если мы ещё раз устроим что-нибудь подобное. Затем приказал брату навести порядок и братья за уроки. Но чуть позже вернулся в комнату и предложил посмотреть диафильмы всем вместе.

К фильмоскопу, у которого, как выяснилось, регулировались передние ножки, мы слегка охладели лишь дня через три. Всё ещё пользовались этой диковинкой, которая никому из ребят во дворе не была знакома, но уже не так часто. Сеансы подолгу не тянулись. Да и мы перестали ссориться из-за того, какой диафильм смотреть и кому отвечать за текст.

Отец мог быть доволен собой. Теперь, возвращаясь с работы, он преспокойно наслаждался фильмами с участием Гойко Митича, Митхуна Чакраборти, Майкла Дугласа, Джеки Чана, не беспокоясь о том, что мы посмеем вечерами столь же часто, как раньше, претендовать на единственный в семье цветной телевизор. А если кому-то было невтерпёж, то на кухне для этого имелась переносная чёрно-белая “Электроника”, почти квадратная, не занимавшая на холодильнике много места.

Зато из зала всё чаще стали доноситься отцовские рыки. Старенький “Рубин” не только рябил, но и звуки издавать периодически прекращал. Отец нехотя вскакивал с постели и начинал шевелить антенну и различные рычажки. Чаще всего починить технику удавалось смачным шлепком по корпусу.

Устав воевать со строптивым ветераном, отец вскоре отнёс барахливший телевизор на хоккейную коробку, где подрабатывал тренером. Вместо “Рубина” притащил домой новомодный и дефицитный “Горизонт”, который достал по благу через знакомых мужиков.

К тому времени фильмоскоп обрёл вторую жизнь. Наши с братом друзья признали о странной штуковине и предлагали конфеты, жвачки, вкладыши, лишь бы своими глазами увидеть пару-другую диафильмов.

Как-то раз мы собрали в комнате целую толпу и устроили коллективный просмотр. Без сестры, которую специально выгнали на улицу. Пацаны восхищённо галдели и наперебой читали высвечивавшийся текст.

— Фильмы по видеошнику всё равно баще, чем эта крутилка, — презрительно сказал кто-то из приятелей брата.

— Ну и вали тогда, богатенький! — ответили ему.

Недовольный хмыкнул, поднялся с пола и собрался покинуть комнату. Но из-за внезапно раздавшегося по ту сторону двери визга отскочил назад и случайно наступил на ногу крайнему из нас, как следствие, всполошив уже всех без исключения. По разразившемуся в коридоре нытью я сразу понял, что произошло. Сестра, не пробывшая на улице и пяти минут, вернулась домой, осторожно приоткрыла дверь в детской и внаглую грела уши. А вот убрать пальцы подальше от косяка не додумалась. Прищемили — заголосила, как кошка в мартовскую ночь.

Пока мать успокаивала Рыжую, отец активно, но без лишних слов, разгонял нашу шоблу. Столпившиеся в пороге пацаны, обуваясь, недовольно поглядывали на малолетнюю виновницу инцидента.

Судьба фильмоскопа была предрешена. Друзья раз и навсегда забыли о нём. Мы же, пресытившись пересмотренными и выученными наизусть диафильмами, запахали коробку с плёнками и сам агрегат в выщербленный ящик кровати. Впоследствии только сестра, случалось, доставала оттуда “Знайку” и пыталась самостоятельно с ним справиться, но быстро теряла интерес к неподатливой конструкции.

## ГЛАВА 6. ИСПЫТАНИЯ БОРТАМИ

В начале ноября на городской хоккейной коробке появился долгожданный лёд. Отец заливал его ежевечерне по несколько раз, пропадая там после основной работы.

Трудился он на заводе низковольтной аппаратуры, на самом отшибе Дивногорска. А во второй половине дня, уже в центре города, в трёх минутах ходьбы от нашего дома, тренировал детей — не только для того, чтобы



прокормить многодетную семью, но ещё и ради будущего сыновей, в которых видел потенциальных хоккеистов.

— Самому не удалось заиграть, — иногда говаривал он приятелям, — поэтому в лепёшку расшибусь, чтобы мои пацаны профессиональными спортсменами стали. Если вдруг и не срastётся с карьерой, то уж хорошими людьми они точно будут. Для этого, считайте, и вкалываю. Но всё-таки надеюсь, что они выбьются в люди, заиграют по мастерам, деньги начнут получать хорошие, а не концы с концами сводить, как я, и не в двухшках ютиться со своими детьми.

Отец выходил на заливку, предварительно облачаясь в спитую самим синюю фуфайку, серенькую шапку-гребешок, валенки и толстенные верхонки. Сподвижники находились не всегда. Поэтому иногда лил в одиночку — из шланга. Но чаще — используя приспособленное к металлической штанге одеяло.

Во втором случае отцу помогали мужики. Впоследствии они почти каждый вечер, вплоть до апреля, с перерывами на воскресенье, гоняли на коробке шайбу, всякий раз завершая примерно двухчасовое ледовое побоище весёлыми посиделками под пиво или портвешок. Отец, не употреблявший ни капли, участия в дружеских попойках не принимал. Но и мужикам палки в колёса не вставлял, прося лишь об одном — убирать за собой срач.

— Сюда, помимо вас, дети приходят, — напоминал им отец.

Я стоял на коньках уже третий год. Не испытывая при этом ни морального, ни физического удовлетворения. Всё никак не мог научиться нормально тормозить, с завистью поглядывая на старшаков. Ещё и ноги в дутьшах сильно мёрзли. А когда я разувался и подносил дрожащие ступни к толстым и длинным, во всю стену вместительной раздевалки, трубам чугунной батареи, то слёзно скулил от нестерпимого покалывания и пощипывания. Отец советовал мне навсегда забыть про батарею и согреть ноги растиранием, но это было долго и вообще неудобно.

На одной из тренировок случился казус. Одиннадцатилетний Лёха Голубев, самый высокий и безбашенный из ходивших в хоккейную секцию пацанов, не глядя, уставившись в лёд, бросил шайбу в сторону ворот и попал тренеру в ногу. Шайба летела колобашкой. Но и этого хватило, чтобы отец рухнул и застался. Катаясь со своими воспитанниками, он пренебрегал экипировкой, даже шлем с налокотниками не надевал. Как следствие, перелом голени.

Пока отец лежал в больнице, за главного на тренировках оставался его пышноусый помощник Юрий Борисович, которому помогал мой брат, игравший по своему возрасту лучше всех. Вместе они контролировали посещаемость и следили за шайбами, каждая из которых была на вес золота. Если хоть одна вылетала за пределы площадки, виновник перелезал через борт и искал чёрный снаряд. Иногда приходилось буквально тонуть в сугробах, скапливавшихся по ту сторону коробки после чистки.

Старшаки, все как один игравшие в серых шортах с белыми полосками по бокам и в шлемах “Сальво” с прикрученными к ним широченными масками, частенько хитрили. Говорили, что не удалось найти шайбу, а сами уносили её домой, чтоб было чем играть во дворе. Потом начинали ныть на тренировках, дескать, катастрофически не хватает патронов, из-за чего приходится обворовывать друг друга прямо в ходе упражнений.

Я тогда ещё не умел подковыривать шайбу так сильно, чтоб она перелетала через борт. Если просто взмывала над льдом хотя бы на сантиметр, уже был дико рад этому и представлял, как через пару-тройку годиков буду обыгрывать мешковатых мужиков. Однако мне тоже невольно приходилось примерять на себя роль виновника, терявшего драгоценные хоккейные снаряды. Бортики были гнилыми и дырявыми. И шайбы частенько в них залетали, хоронясь в крошечной тьме между досками.

Поначалу я пробовал исправляться. Подъезжал, опираясь на клюшку, к бортику, падал на колени и, засовывая руку в неведомое мне пространство, шарил там наугад. Почти всегда возвращал шайбу обратно. И лишь изредка поднимался со льда с пустыми руками. Иногда — с порванными рукавами или в занозах.

— Куда ты лезешь? Смелый, что ли? — сбил меня однажды с толку Сая Ястребов, один из старшаков. — Тебе не говорили, что там крысы живут внутри? Подруки оттяпают — не заметишь. Меня уже кусали один раз. Представляешь?

Представил. И желание совать руки куда-либо отпало сразу. В конце концов, не мне же эти шайбы покупать. Не понимал только, почему Ястребов сам потом шарил в тех местах, куда я закидывал шайбы. Наверное, за крысами охотился.

Отцовские слова о том, что первым делом надо научиться хорошо кататься и лишь затем браться за клюшку, меня не оставляли. Я пытался в одиночку отработать торможение, чтоб было чем удивить отца после его выписки из больницы. Почти ничего не получалось: только ступни выворачивал и колени протирал, психуя из-за собственной беспомощности. Если просто удавалось устоять на ногах, лихорадочно размахивая руками для сохранения баланса, то уже радовался. Но всё-таки оглядывался: никто ли не увидел этот цирк в исполнении нелепого получеловека-полуптицы.

В один из вечеров устроили соревнования на скорость. Дима Бизонов предложил остальным встать вдоль синей линии и на счёт “три” рвануть до ближайшего бортика. Проигравшему предстояло в одиночку собирать шайбы после тренировки. Желающих посоревноваться вызвалось пятеро. Включая меня. Причём я был самым младшим. Уверенно тормозить по-прежнему не умел. Зато скорость в свои семь с хвостиком набирал приличную и катался быстрее многих восьмилетних.

Когда Дима дал сигнал, все рванули с места с дикими воплями. Я, одержимый желанием обогнать старшаков, разогнался так, что в паре метров от борта успел краем глаза заметить: финиширую третьим. Машинально вытянул руки вперёд, чтобы смягчить столкновение. Врезался в бортик и, вне себя от радости, хотел начать высмеивать проигравших.

Выпученные глаза Бизонова, неловко зашевелившего ртом и ринувшегося ко мне, не столько испугали, сколько смутили. Дима провёл по льду рукой и поднёс её, уже заснеженную, к моему лицу. Я инстинктивно отклонился, опустил взгляд и увидел лужицу крови.

— Да не крутись ты, дурья башка, — нервничал Бизонов. — Дай снег приложу.

— Ему в больницу надо, — заключил стоявший позади нас розовощёкий Жека Петрищев, победивший в том забеге.

От неуклюжего столкновения с заскорузлым деревянным бортом у меня почти наполовину оторвалась нижняя губа. Она держалась, можно сказать, на тонкой плёночке, которую приходилось поддерживать холодной рукой.

Вот так вслед за отцом в больнице оказался и я. Хирург со смешной, но тогда не рассмешившей меня фамилией Кот сказал несколько успокаивающих слов, сделал укол и играючи пришил губу на место. Я и понятия не имел, что человека можно заштопать, как одежду. Моему удивлению не было предела.

Ещё несколько дней рядом я подходил к зеркалу и разглядывал уродливые швы. Отец, выписанный из больницы, называл меня мужиком, говорил, что я на правильном пути, что готовлю себя к большому спорту, где без травм не обходится. Но в то же время как-то подозрительно хихикал. Он часёненько совмещал поддержку с издёвкой.

## ГЛАВА 7. БАЗАЙСКИЕ СТРАСТИ

ДОК. Так называлась детская хоккейная команда, за которую предстояло играть в первенстве Красноярска моему брату и ещё пяти пацанам из нашей секции.

Я понятия не имел, как и когда отец смог договориться о сотрудничестве с Юрием Ивановичем. Этот высокий усатый мужик с чудовищно вытаращенными глазами, зато с доброй улыбкой, работал тренером на коробке неподалёку от красноярского деревообрабатывающего комбината и накануне

сезона хотел укрепить состав команды пятёркой талантливых игроков и вратарём.

На смотрины в соседний Дивногорск он не приезжал и пальцем в подходящих ему ребят не тыкал. У нас в городе вообще никаких игр не проводили — только тренировки. Поэтому я, оказавшийся в пролёте, недоумевал, как в ДОК могли попасть те, кто играл ничуть не лучше меня.

Вспомнились неоднократные отцовские похвалы. Получается, что все они были фикцией, и я просто-напросто купался в беспочвенных подбадриваниях, как сам же и считал. Видимо, они служили таким утешением, чтоб малолетка не разочаровался в хоккее раньше времени. Как после этого верить взрослым?

Брат, превосходивший по уровню техники всех в нашей секции, говорил мне, что я ещё не готов сражаться против старших:

— Ты только тормозить научился более-менее. Ничего, кроме чужих ворот, не видишь — вне игры лезешь постоянно. А в Красноярске придётся против старшаков бодаться. Они тебя ещё и по борту размажут.

— Не размажут, — нудил я, жаждая вкусить запретный плод. — На тренировках больше вас забиваю. А как на игры ехать, так без меня...

— Потому что папа не сможет там на лёд с тобой выходить, — злил меня брат. — Пасы тебе некому будет отдавать на пустые ворота. И шнурки завязывать тоже. Якорь ты! Натуральный якорёк.

ДОК участвовал в первенстве среди девятилетних. Первый соперник и впрямь оказался сильнее. И выше. И шире.

Меня долго держали на скамейке. Я мёрз и не видел, что происходит на льду. Ещё и очки под маской запотели, а протирать — неудобно. С правой стороны от меня была деревянная стена, полностью закрывавшая обзор, а с другой маячило больше десятка галдевших пацанов, облачённых в откровенное рваньё, где даже стандартному “Главспортпрому” места не находилось. Благодаря золотым рукам отца, который сам шил нам майки, рейтузы, краги, мы выглядели в разы эффектнее и краше, чем чумазая красноярская ребятня.

В конце первого периода Юрий Иванович сказал мне приготовиться. Вне себя от счастья, забыв даже о задубевших пальцах, я собрался выпрыгнуть на лёд велел за партнёром, который менял другого.

— Куда ты ломишься?! — схватил меня за майку отец, стоявший рядом с тренером. — И так пять полевых на льду.

Через несколько секунд мой черёд всё же настал. Радость была недолгой и почти сразу сменилась паникой. Сновавшие вокруг меня незнакомцы казались настолько непреодолимой силой, что даже шайба, отлетевшая ко мне волею рикошета, показалась змеюкой, готовой укусить. Вместо того чтобы приструнить её и отдать пас свободному партнёру, я приподнял клюшку и трусливо пропустил круглое чёрное “пресмыкающееся”, глупо шмякнувшись на лёд от неведомого ужаса.

“Вот и поиграл, — пронеслось у меня в голове после спасительного судейского свистка. — Теперь уже не выпустят. Да и не хочется как-то”.

— Нормально, — сказал отец, едва я уселся обратно на скамейку. — Пойдёт.

Незадолго до перерыва меня снова выпустили на лёд. Соперник начал атаку из своей зоны, последовал диагональный пас на дальний борт, где за моей спиной набирал скорость до смешного худощавый дьлда. Шайба прошла у меня между коньками. Я, боясь упустить нескладного нападающего, зацепил его клюшкой за шорты и так поехал следом. Судья удалил меня с площадки на две минуты. А соперник, едва начался второй период, забил нам в большинстве.

“Зачем я вообще сюда приехал? К чёрту весь этот хоккей! Не буду больше в него играть”. Однако ж, какие бы там мысли ни одолевали, играл как миленький. И в том матче — тоже. Юрий Иванович будто бы не видел моих ошибок и продолжал выпускать меня на лёд, но уже в одной пятёрке с братом, который был защитником. А отец, словно издеваясь, повторял: молодец, нормально, молодец, всё хорошо, молодец...

Тот матч мы проиграли — 2:5. Зато в конце третьего периода ДОК так навалил сопернику, что судьи с трудом разняли дерущихся. В этом горячие базайские парни, как оказалось, преуспевали всегда: не победить, так хоть морду набить.

Следующий матч состоялся через неделю. Мы снова проиграли. Но Женька Задавакин гораздо увереннее действовал в воротах, вселяя в нас надежду на будущие успехи. А штатные бузотёры команды Бирюков и Гришин так просто не сдались, учинив трёпку четырём соперникам и проверив их шлемы на прочность. Слегка досталось даже одному из судей.

Когда пришёл черёд матча против “Факела” из Подгорного, который уверенно побеждал всех и каждого, Юрий Иванович выставил за нас троих подставок — в обход разрешённых правил. Один из старшаков, не выделявшийся ростом, чего не скажешь о скорости, в первом же периоде забил три гола приехавшей из закрытого посёлка команде. Мы, сами о том не мечтая, повели в счёте — 3:2.

Юрий Иванович как знал, что тренер “Факела” не станет требовать метрики. В составе гостей мало кто волновался по этому поводу. Они задвигались, перестали играть в пас ради паса, подолгу держали шайбу и прочно закрепились в нашей зоне. Их вратарь сохранил завидное, несколько пугающее спокойствие и даже за ворота выехал, взявшись прямо в ходе игры болтать со своим знакомым, выглядывавшим из-за бортика по другую сторону защитной сетки.

В тот момент на площадке посчастливилось быть и мне. Пока мои партнёры отбивались, я лениво барражировал у красной линии, не спеша им помогать. Надеюсь на чудо. Которое, впрочем, вряд ли могло произойти в матче с таким сильным соперником.

Вдруг шайба вылетела в среднюю зону и почти легла мне, задрожавшему от лютого страха, на крюк. Я развернулся, вошёл в чужую зону и, не приближаясь к воротам, даже не глядя на них, боясь преследования, что есть силы катнул чёрный снаряд в направлении, где должен был находиться вратарь. Тот всё ещё балаболит с приятелем и не видел, что ДОК наконец-то отбился от затыжного натиска “Факела”. Шайба кое-как доползла до цели и остановилась за ленточкой возле штанги.

Болельщики взревели так, что мне пришлось поднять голову и осознать: мой первый в жизни гол стал явью. Настоящий гол, а не та ерунда, что частенько случалась на тренировках. Гол в ворота сильнейшей команды Красноярского края. Гол, который до меня ещё никто из дивногогорцев, кроме Жеки Петрищева, не забивал в том первенстве.

— Молодчик! Лучший! — радостно смеялся Юрий Иванович, напоминая в тот момент довольного Карабаса Барабаса.

Он по-отечески прижимал меня к груди и осыпал комплиментами, как никого другого в предыдущих матчах. Отец же, стоя в сторонке и щуря глаза, молча улыбался.

“Факел” тогда всё равно выиграл — 5:4. Но вскоре пришёл и наш черёд. ДОК стал побеждать, поднялся в турнирной таблице на десяток позиций и ближе к весне был уже на пятом месте.

Я играл всё чаще, хотя по-прежнему боялся старшаков и почти не подъезжал к бортам. Забил за сезон шесть голов. Один из них — в падении, когда замыкал зрячую, но не совсем точную поперечную передачу в район дальней штанги.

А в один из игровых дней меня чуть не сбила электричка, дольше обычного задержавшаяся на Красноярских Столбах. Когда мы уже прошли через мост над Базаихой, то услышали позади гудок поезда, и я зачем-то отпрыгнул вправо. Отец с пацанами оказались по другую сторону рельсов. Это испугало меня ещё сильнее, чем приближающийся состав.

Не обращая внимания на строжайший отцовский приказ оставаться на месте, я ломанулся к своим. Ветер от пролетевшей за спиной электрички, неистово гудевшей уже секунд пятнадцать, всколыхнул мои длинные, торчавшие из-под шапки волосы. Седина на голове тогда хоть и не проступила, но наверняка где-то глубоко затаилась.

## ГЛАВА 8. КОРОЛЬ ВКЛАДЫШЕЙ

Перечитав и изучив едва ли не все стихи, рассказы, энциклопедии и даже атласы, какие только были у нас дома и у родственников, я не ценил свои школьные достижения по-настоящему. Как не ценил их и отец, считавший, что такие результаты вполне ожидаемы, ведь его сын не по годам башковит. Мне же казалось: одноклассники просто лентяи, не желавшие палец о палец ударить.

Многих из нас куда больше стали интересовать совсем иные удары. По вкладышам от жвачек. А коллекционирование этикеток от спичечных коробков уходило в прошлое. Школу захлестнула игорная лихорадка. Конечно, находились и те, кому игра казалась опасной или невыгодной затеей. Но даже в таких сквальягах проснулся азарт. Они теперь не просто копили отдельные коллекции вкладышей, обмениваясь повторяющимися экземплярами, а собирали вообще всё подряд, лишь бы обойти остальных и заставить их изводиться от зависти. В нашем классе этому безумию ни на йоту не поддались разве что тихони вроде Столбовой, Бражниковой, Столяровой.

На переменах старшеклассники играли на вкладыши прямо на подоконниках. Если цветочные горшки мешали, то их отодвигали в сторону, усаживаясь рядышком. Те, кто помладше, иногда даже на пол заваливались, не подкладывая под пятую точку ранец и, соответственно, ничуть не беспокоясь о чистоте школьной формы.

Ребятка ставила одинаковое, по договорённости, количество вкладышей, складывала их в стопку и на пальцах определяла, кто будет первым шлёпать ладонью по кучке. Перевернувшиеся трофеи переходили в собственность игрока, который передавал ход другому. И так — пока всё не разыграют.

— Ван, ту, фри, гоп! — чуть ли не ежеминутно повторяли мы одно и то же на автомате, размахивая кулачишками и выбрасывая вперёд пальцы, чтобы определить счастливлчика, получавшего возможность первым хлопнуть по сокровенной стопке.

“Дональд”, “Пембо”, “Типити”. На вкладышах от этих жвачек были изображены забавные истории в комиксах. На них мы чаще всего и играли. “Турбо” и “Финал” ценились выше, порой идя один за три, а то и за пять. После их массового распространения “Бабл Гам” — с пресловутыми вкладышами-полосками — многим опостылел и перестал котироваться.

Деньги на покупку жевательной резинки отец давал мне только по большим праздникам. Называл это бесполезным занятием. И постоянно напоминал про мои дырявые зубы, которые я наотрез отказывался чистить.

— Дома и так жрать почти нечего, а ему, царьку, жёбу подавай.

Лишь мать, работавшая продавцом в магазине на самом краю Дивногорска, рядом с гостиницей “Бирюса”, неподалёку от городского лягушатника, иногда приносила домой по несколько жвачек.

Бывало, мы с братом и сестрой сами бегали к матери на работу, с верхней застройки вниз, наперегонки, без остановок минуя несколько лестничных маршей и каменистых спусков, а затем устраивали дерзкое попрошайничество возле прилавка. Если удавалось разжиться парочкой “Дональдов”, то путь через полгорода был проделан не зря.

Излучая счастье и деловито шевеля челюстями, мы переходили через дорогу от магазина и топали по набережной, любуясь массивными горами и речкой, которая даже зимой не замерзала из-за перекрытия плотиной гидроэлектростанции. Если нам фартило, то на глаза попадалась и “Ракета”, разрезавшая блестящую водную гладь.

“Везёт же кому-то рядом с такой красотой жить”, — думал я, мечтательно переводя взгляд на Енисея на череду панельных пятиэтажек, разделённую пополам просторной площадью с четырьмя кирпичными девятиэтажными домами и бетонным памятником в виде палатки. Там мы сворачивали к виадуку вблизи вокзала, проходили над железнодорожными путями и, по диагонали минуя помпезный Дворец культуры “Энергетик”, уже дворами и закоулками добирались до 30 лет Победы.

Попавшиеся вкладыши интересовали меня ничуть не меньше живописной набережной. Ведь ради них мы и устраивали свои марш-броски. А сама жвачка была побочным явлением. Хотя выплёвывали мы её в лучшем случае через полчаса. Тем не менее вкладыши у нас дома пачками не водились. Приходилось дорожить каждым из имеющихся. И периодически, набираясь смелости или наглости, клянчить у друзей повторяющиеся. Каждый день я, сгорбившись на полу в детской, пересчитывал свои накопления, которые частично заменяли нам деньги. Самые любимые вкладыши разглаживал рукой, заботливо разгибая уголки. Брат пошёл дальше меня и пользовался утюгом.

На переменах в школе я, несмотря на весьма скромные запасы вкладышей, продолжал играть. Но гораздо реже, чем брат. И помногу не ставил.

Вскоре моя любовь к придумыванию чего-то необычного принесла плоды. Ежедневно тренируясь дома, доставая соседей снизу, я выработал свою технику удара и стал непобедимым для одноклассников. По стопкам бил не ровной ладошкой, как соперники, а сложенной в виде лодочки, с подогнутым к указательному большому пальцем. И руку не вверх поднимал, а отводил в сторону. Вкладыши подлетали не хаотично, не по одному-два, как осенняя листва, а всей кучей, будто приклеенные друг к дружке, и покорно переворачивались.

Денис Чесноков, самый низкорослый в нашем классе, даже играть перестал. Сначала — против меня, а через пару дней — вообще. На переменах он стоял рядом со мной и заворожённо смотрел на то, как я опустошаю чьи-нибудь запасы.

— Очуметь! Научи меня так же, — просил Денис, напоминая покорного пса, трущегося возле хозяина.

— Сам учишь.

И Чесноков научился. Сам. Почти сам. Пристально наблюдая за мной, шкет уловил суть и стал играть точно так же. Потом разболтал все секреты одноклассникам. А те — своим друзьям, соседям, братьям.

К середине июня я растерял половину накопленного. С кем бы ни играл во дворе — на лавочках, на опрокинутых вазонах, на асфальте, — всюду наткнулся на свою же технику. Технику, которую, по словам моего брата, старшеклассники использовали уже давно.

Король вкладышей оказался голым.

Зато хитрым. Желая вернуть былую непобедимость, я стал плутовать. Когда игра стоила свеч, то при ударе по вкладышам поддевал их большим пальцем, переворачивая всю толстенную пачку целиком. Со мной вновь опасались играть. Но вскоре поймали с поличным, навалились вчетвером и бесцеремонно отобрали всё, что было у меня при себе. Заодно обещали побить, если ещё когда-нибудь такое увидят.

## ГЛАВА 9. ОКОЛО ФУТБОЛА

Отец брал меня с собой на все матчи городского чемпионата по футболу. Даже если сам в тот день не играл. Он был вратарём “Электрона” — сильнейшей команды Дивногорска на стыке десятилетий.

Мужики называли моего отца Гочей. За сходство с неизвестным мне грузинским голкипером. По одной из версий — за сходство внешнее. По другой — за аналогичное умение в акробатических прыжках доставать тяжелейшие мячи из девятки.

Каждый матч чемпионата города собирал на трибунах стадиона “Спутник” по две-три сотни болельщиков. Почти все из них — завсегдатаи, имевшие свои места, давно насиженные, позариться на которые никто больше не смел. Хотя вход был бесплатным.

— Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Приветствуем вас на нашем стадионе. Через несколько минут состоится очередная встреча чемпионата города по футболу, — вещал из комментаторской будки на весь тридцатитысячный Дивногорск местный глашатай по прозвищу Ойка, на чей призыв моментально стягивались особо забывчивые или просто мимо проходившие.

Кто-то устраивался под открытым небом на деревянной скамейке в три ряда и, не стесняясь самых хлётких выражений и язвительных шуточек, попутно отмахиваясь от комаров или мух, болтал с друзьями на протяжении всего матча, заодно насмехаясь над теми, кто пытался изображать из себя Владимира Перетурина или его коллегу и тезку Маслаченко. Кто-то усаживался по другую сторону игрового поля, под крышей, предпочитая наблюдать за футбольными перипетиями с самого краешка трибуны, периодически прячась за неё в лесочке, чтобы перекурить или справить нужду. Некоторые же предпочитали находиться в гуще толпы, откуда все комбинации, передачи, удары были видны лучше всего, но сам матч толком не смотрели, попивая пиво или водочку, травя омерзительные байки и иногда устраивая разборки.

Милиция на играх не дежурила. Разнимать буйных приходилось сидевшим по соседству. Иногда, сами того не ведая, вмешивались и футболисты, вовремя забивавшие гол. В таких случаях перебравшие с градусом резко забывали все обиды и начинали неистово праздновать, после чего разливали ещё по полстаканчика — себе и оппоненту — в качестве мировой. Бывало, что после игр некоторых, болевших с особой силой, уносили с трибун, как сдвинувшие мячи.

Я всякий раз героически пытался смотреть футбол вместе с отцом. Правда, больше чем на двадцать минут меня не хватало. Отпрашивался и, выслушав короткую нотацию, что с таким слабым терпением никогда не стану хорошим спортсменом, уходил на турники. Они находились сразу за трёхъярусными скамьями, аккуратно возле входа в продолговатое одноэтажное здание с раздевалками и спортзалом. Там, за спиной у отца, в окружении брусьев, штанг и вкопанных в землю покрышек, я бесцельно лазал, дожидаясь окончания матча. Чаще всего компанию мне составлял Костя Хомутов, чей батя играл с моим в одной команде.

За месяц мы с Костей, сухопарым и угрюмым одногодком, исследовали все закоулки стадиона. Залезали на вышки, откуда нам уже через пару-другую минут приказывали спускаться кричавшие благим матом мужики. Забирались и на покатую крышу трибуны, где нас умудрялись не замечать благодаря её приличному наклону. В конце концов поиски укромного местечка увенчались успехом. Наше внимание привлекла одна из двух приземистых деревянных построек голубого цвета, служивших чем-то вроде амбаров и располагавшихся по бокам от тех трибун, что без крыши. Этакие неказистые, почти дачные домишки с крыльцом и ставнями.

Тот, который соседствовал с комментаторской и с сектором для прыжков в длину, был отделён кустами от ближайшей зрительской скамейки. На его ступеньках вывалилась одна из широких досок. Пока публика наблюдала за происходящим на футбольном поле, я пролез под крыльцо и обнаружил там не менее узкий лаз уже под сам домик. Приятно удивлённый, позвал за собой стоявшего на стрёме Костю.

Внутри было темно и грязно: приходилось ползать на четвереньках, а под коленками, среди песка и камней, валялись обломки досок. Зато не слишком темно, ибо сквозь щели проникало достаточное для нас количество солнечного света. Мы условились, что на следующей игре вернёмся сюда. Уже с едой. А часть запасов оставим на хранение, чтоб всегда можно было вернуться и перекусить. Так и сделали. Пока наши отцы следили за противостоянием двух главных соперников “Электрона”, мы с Костей проникли в свою резиденцию и закатали там пирушку. Наскоро соорудили из валявшихся обломков подобие столика, донельзя хлипкого, подёрли булыжниками и высыпали на него принесённое с собой печенье.

— Сейчас бы газировки ещё, — мечтательно сказал Костя.

— Угу, — ответил я, давясь печенюшкой и мысленно сожалел о том, что мы не догадались притащить заодно и бутылку с водой. — Или хотя бы чаю.

— Фу, он горячий. И так жарко. Лимонада хочется.

Когда провизия закончилась, я зачерпнул из кармана шорт немного семечек. Мать пожарила их накануне.

— Будешь? — протянул я в кулаке горсточку Косте, который в это время наблюдал за чем-то сквозь расщелину.

— Тихо, — даже не оглянувшись, прошептал он приказным тоном. — Ползи сюда. Смотри.

Я высунул семечки на импровизированный столик и присоединился к Косте, который снова едва слышно попросил быть тише. Прямо перед домиком стояли девчонка в короткой юбке и парень в широких разноцветных шортах. Старшеклассники. Они обнимались и, судя по звукам, целовались, вероятно, полагая, что из-за кустов их никто с ближайших скамеек не замечает. Я решил развлечь себя и протянул максимально грозным и громким голосом:

— Мы всё видим!

Парень отшатнулся в сторону, ноги его затопали на месте. Ничего не поняв, он сказал девчонке, что надо быстро валить отсюда.

— Ты совсем debil? — собрался накинуться на меня Костя, но, ударившись головой, моментально остыл. — У-у! Я тебе это припомню.

— Да всё равно ничего не видно было.

— Видно! — протестовал он, почёсывая затылок. — Очки себе нормальные купи. Debil слепешарый.

— Обзывать-то чего сразу?.. Семечки будешь?

— Запихай их себе...

Костя полез обратно на улицу. Я, оставив рассыпанную горсть на подобии столика, поспешил за товарищем. Но разговорить его всё равно не удалось.

На следующую игру Костя не пришёл. Я, посидев рядом с отцом минут десять, отправился на турники. Вспомнив про семечки, решил наведаться в логово и тем самым убить время. Когда уже преодолел второй лаз, то до смерти перепугался, услышав справа от себя:

— Блин, это ты...

Костя сидел в ближнем углу, опёршись спиной на доски и держась за подогнутые колени.

— А я уже думал, что кто-то из взрослых меня заметил, — расслабился он и как-то по-дурацки рассмеялся.

— Так умереть можно от страха, — сказал я, тяжело дыша и осознавая, что посадил занозу, когда рефлекторно дёрнул ногой. — Что ты вообще тут делаешь?

— Я проголодался и пришёл сюда.

— У тебя еда с собой, что ли?

— Нет. Ты же сам семечки тут оставлял.

— А меня предупредить нельзя было? — обиженно произнёс я.

— Ой, да и подавись ты своими семечками, жадина-говядина.

— Просто мог бы и меня дождаться. Я думал, что тебя сегодня вообще нет на футболе.

Мы чуть не поцапались. То ли на счастье, то ли на беду рядом послышались шаги. Костя погрозил мне кулаком и приложил палец к губам. Кто-то остановился рядом с домиком.

— Странно, я даже и не замечал, — раздался весёлый мужской голос, нас с Костей ни капли не развеселивший.

— Что?

— Вон какая дыра в ступеньках. Надо бы заколотить.

— Ну да.

— Своим скажи. Пускай займутся.

— Ага.

Мужики постояли ещё несколько секунд и ушли. Мы с Костей, выпучив глаза и почти не шевелясь, бешено уставились друг на друга. Обоих обдало плотным жаром. Когда опасность миновала, я первым метнулся на выход, но зацепился своими длинными волосами за что-то, торчащее из доски. Ещё и боль в ноге дала о себе знать.

— Отвали с прохода! — нервно рыкнул Костя, больно стукнув меня кулаком по бедру.

Я отполз, покорно пропуская его вперёд. Спустя полминуты сам оказался на свободе и, даже не отряхнувшись, свинтус свинтусом, пошёл искать отца, едва заметно прихрамывая.



То крыльцо так и не починили. Ни через неделю, ни через месяц. Но мы с Костей больше не совались в тайное убежище. Жутко боялись, что кто-нибудь заколотит лаз, пока мы сидим внутри.

## ГЛАВА 10. МАЛЬЧИК НА ПОБЕГУШКАХ

Футбольные страсти разворачивались и рядом с домом. На пришкольном стадионе, в жару утопавшем в пыли, а после дождя смахивавшем на труднопреодолимое болото. Трава на нём росла только за воротами, которыми служили три приваренные друг к другу толстенные железные трубы, намертво воткнутые в землю.

На этом стадионе два предыдущих лета отец почти ежедневно пытался лепить из меня голкипера, несильно пиная мяч то в один угол, то в другой. Я же, памятуя об отцовских спортивных подвигах, задорно прыгал и стелился, как длинноволосый колумбийский вратарь Рене Игита, преграждая кожаной сфере путь за линию ворот, не имевших сетки. Хотя на тренировках в хоккейной секции всегда был нападающим, даже когда мы играли там в футбол — либо на самой коробке с разбитым асфальтом, либо чуть выше неё, на теннисном корте, где покрытие было почти идеально ровным, но бетонным.

Пришкольный стадион одним лишь подобием футбольного поля не ограничивался. Чуть ниже, на склоне возле продолговатого металлического забора, находились высоченные турники и баскетбольная площадка, разделённые пешеходной дорожкой, ведущей к крайнему дому на Театральной. Брат и его компания, где все были на пару лет старше, редко брали меня в команду. Хотя отец, подолгу пропадавший на работе, неоднократно просил старшего сына не просто следить за мной, но и подключать к дворовому спорту.

Игнорировали меня не только из-за возраста — слишком уж много было желающих гонять мяч. Поэтому, пока два-три десятка пацанов носились по полю, поднимая столбы пыли или, в зависимости от погоды, раскрашивая друг друга грязью, я лазил по турникам или кидал камни в баскетбольное кольцо.

Если же народу набиралось маловато, то наставал мой час. Я воодушевлённо занимал место в железной рамке. Чуть реже — в защите. Ощутимой пользы не приносил, пропуская всё, что только можно, будь то голы или же соперники, стремившиеся к нашим владениям. И когда партнёрам это надоело, они выгоняли меня за ворота, где я был куда более полезен в роли мальчика на побегушках. О роли Андреаса Бреме, забивающего ключевой пенальти в финале чемпионата мира, оставалось только мечтать.

— Можно за вас? — снова томясь от скуки, окликнул я топтавшегося возле штанги Женьку Задавакина, чья сестра была моей одноклассницей и который сам учился в одном классе с моим братом. — Ну, хоть немного. До двух голов.

— Слышали? — шепеляво сказал конопатый Женька Сане Исмаилову, Вовчику Михайлову и Глебу Карасёву, по-дурацки улыбаясь. — За нас хочет.

— Он и так за нас, — отозвался Карасёв, грузный телом, но всегда довольный. — Вон как мастерски мячики подаёт.

— Ладно, сделаю тебе одолжение, — повернулся ко мне Задавакин, вселив надежду. — Чего без дела стоять, правда? Так и быть. Носки мои стирать будешь.

Глеб, услышав это, прыснул со смеху. Но сам Женька — в разы громче.

В этот момент кто-то ударил мимо ворот, и мяч улетел в небольшой лесок, ближе к школьному забору. Я даже не шелохнулся, дуясь на всех и каждого.

— Чего стоишь? — спросил у меня запыхавшийся от духоты брат, вернувшись в защиту. — Принеси мячик.

— Я вам не слуга.

— Никто и не говорит.

— Ага... Как играть, так не берёте, а как принести, так сразу...

Самый старший и высокий, хлопнув моего брата по плечу и недвусмысленно показав пальцем на поле, отвёл меня чуть в сторону, буквально на пять шагов, и дружески приобнял. Потом опасливо оглянувшись на пару секунд, достал из кармана “Финал”, протянул его мне и, наклонившись, сказал — будто бы на ухо, но все наверняка это слышали:

— Ты не обижайся. Следующим летом уже точно будешь с нами играть. А пока посмотри, поучись. Ну, и жвачку пожуй, чтоб веселее было.

Я обрадовался. Со мной никто ещё не делился жевательной резинкой. Тем более — “Финалом”. Рыцарский, можно сказать, поступок.

“Вдруг попадётся Марадона, Ромарио или Гуллит, — думал я о футболистах, которых у меня ещё не было в коллекции. — Хоть бы, хоть бы”.

Отсутствие внутри вкладыша смутило. Но не остановило. Я машинально закинул содержимое в рот и одновременно почувствовал, что пальцы стали непривычно липкими, а сама жвачка на удивление безвкусна. Это ж надо так попасться! Пластилин!

Пока я отплёвывался и вытирал руки об уделанные в песке шорты, пацаны смеялись, держась за животы. Брат не спешил заступаться за меня, хоча вместе с остальными. Даже охранявший штангу безграмотный дядюшка Женьки Задавакина, юродивый, чем-то напоминавший безусого и потрёпанного жизнью почтальона Печкина, скалился всеми своими прогнившими кривыми зубами.

Как от всего этого было не разреветься?

Опозорившись, я побежал домой, попутно обдумывая, стоит ли жаловаться родителям. Далеко не первый раз поймал себя на мысли, что с отцом раньше куда интереснее было. Но теперь он крайне редко со мной бесился, гулять так вообще перестал. Твердил, что ему некогда. И что сам я уже не маленький мальчик, чтоб меня на шею таскали или по двору со мной бегали.

Дойдя до подъезда, я сел на дугообразную лавку, вытер слёзы и, разглядывая замысловато выложенную из камня стенку перед мусоропроводом, успокоился. Решил: жаловаться не буду, ведь отец придёт с работы уставший и, не разбираясь, снова скажет, что брат не виноват. Но и со старшаками мяч гонять — всё, хватит!

Данное себе обещание я выполнил, только не до конца. И уже на следующую день снова играл с братом, Женькой Задавакиным и Глебом Карасёвым. Нет, не в футбол. В дурака. За домом.

Там, вдоль выложенной квадратными бетонными плитками дорожки, идущей от электроподстанции до пришкольного стадиона, посреди кустарников и вазонов, стояло несколько лавочек. Сидя на них, мы всякий раз представляли себя в некоем штабе с зелёными шторами, хотя любой мог нас увидеть, особо не всматриваясь.

Задавакин с Карасёвым постоянно мухлевали. Я раз за разом проигрывал и выслушивал безобидные, зато частые насмешки. Если бы брат не подшучивал над пацанами в ответ и не поставил неутомному Женьке несколько щелбанов, то мне, возможно, снова захотелось бы уйти.

Впрочем, Задавакин так заразительно хохотал, зачастую без повода, а Карасёв так эмоционально рассказывал непонятные мне анекдоты, вворачивая крепкие словечки, что покинуть их сумасбродную компанию, ещё и в неимоверно душный денёк, было сродни попытке самоубийства.

— Это кто тут матерится, ёшь вашу мать?! — прервал очередную байку Глеба грозный и хриплый голос.

— Щемись! Старый хрен идёт! — задорно гаркнул Женька и, швырнув карты на землю, рванул в другую сторону от приближавшегося к нам мужичка лет шестидесяти.

— Рыжий, ты карты-то зачем?.. — возмутился Карасёв, догоняя Задавакина.

— Не бойсь! Сейчас дом оббежим и всё соберём.

— Материться они мне тут, сука, будут! — горланил вдогонку мужичок, размахивая палкой.

Мы скрылись за углом, заметавшись, залетели в первый подъезд и преодолели пару лестничных маршей. Брат через разбитое окно над козырьком

высматривал великовозрастного преследователя, но его всё не было. Зря боялись. Женька, судя по его ухмылке, не боялся вообще.

Когда мы, на всякий случай озираясь по сторонам, вернулись к месту игры, то нашли там всего одну карту — трефового короля. Она схоронилась между вазоном и пучком травы. Остальное не могло раздуть — ветра не было. Неужели кто-то подобрал? Поискав ещё немного, разошлись по домам. А вечером снова были на улице. Играли в московские прятки. Когда мы с братом и Женькой забежали за угол дома и заняли позицию для последующего старта, сидевший на ближайшей к нам лавке мужичок привстал, неспешно подошёл к матюгнувшемуся Задавакину и залепил ему палкой по мягкому месту. Женька хотел было возмутиться, но сразу понял, что перед ним тот самый поборник чистоты речи. Оставалось прикинуться жертвой.

— Что я сделал? Что вам надо?

— Язык тебе оторвать.

— Дяденька, мы не будем больше, — замахал руками брат, вступаясь за друга, чья весёлость уже испарилась. — Мы всё поняли. Простите.

— Ясное дело, что не будете, — хрипло ответил агрессор, уставившись на Женьку, будто гипнотизируя его. — Вот только с родителями вашими поговорю. И карты им отдам. Как доказательство. Поняли они мне тут, сука, видите ли...

Я, не дожидаясь, когда палкой треснут и мне, потихоньку отошёл назад. И стремглав побежал в наш подъезд — в соседний. Когда уже открывал уличную дверь, то услышал, как водящий с азартом выкрикивает имена брата и Задавакина, явно застав их врасплох. Домой заходить не рискнул — меня могли загнать и больше не выпустить. Поэтому предпочёл схорониться за мусоропроводом между первым и вторым этажами.

Ума не приложу, кто поставил туда сразу два стекольных листа и как я их сразу не заметил. Хлынувшая из левой коленки кровяница вывела меня из игры — пришлось-таки возвращаться домой. И хотя до квартиры было всего-то около десяти ступенек вверх, препятствие показалось труднопреодолимым.

На два пореза ушёл целый рулон бинта. С перемотанной ногой я улёгся на свою кровать и, пялясь в полку второго яруса, размышлял, чем же мне, хромоногому, заниматься в ближайшие дни. Про улицу можно забыть. Непрочитанных детских книжек дома не осталось. Ещё и чемпионат мира по футболу, проходивший в Италии, как назло, закончился.

Когда брат вернулся с прогулки, то первым делом назвал меня трусом. Заодно передал все слова, адресованные раздосадованным водящим.

— Всем двором тебя искали. А ты тут валяешься себе спокойно... Предупреждать надо, что не играешь больше.

— Чего пристал к нему? — заглянула в комнату мать, показывая на моё колено. — Он теперь ещё долго ни во что играть не будет.

Брат наконец-то заметил перевязку. Сразу изменился в лице. Подошёл вплотную, наклонился, присмотрелся, дотронулся, чуть ли не понохал:

— Так тебе и надо, якорь. Допрыгался.

Другого я от него и не ждал.

## ГЛАВА 11. НАСТОЯЩИЙ ДУРДОМ

За лето почти никто из моих одноклассников по школе не соскучился. Многие пришли на первые после каникул занятия с кислыми минами, наперебой причитая, что не успели отдохнуть и наиграться.

Из пацанов нездоровый оптимизм излучали только ни капельки не подросший Денис Чесноков и, наоборот, вымахавший Димка Коневский. Чему они радовались, если это вообще радость была? Что хорошего в предстоящих уроках и домашних заданиях, когда можно с куда большим удовольствием и азартом резаться в чижа, прятки, выжигало, казаков-разбойников, халихало? Непонятно.

Отчасти я понимал лишь хмуроватого Кольку Сараева. Он хоть и не улыбался беспричинно, но и не нудил. Стоял себе отстранённо возле подоконника

напротив соседнего класса, ни с кем не болтая и сквозь прищур равнодушно созерцая всеобщее недовольство. А на первой же перемене преспокойно подошёл к учительскому столу и слопал весь мел, который попался ему на глаза. Даже с классной доски стёр одно слово пальцем и облизнул его.

Ещё в первом классе многие заметили, что мел — любимейшее лакомство Сараева. Хотя тогда он сильно не наглед, ограничиваясь откусыванием небольшого кусочка. Так по чуть-чуть и уминал.

Прошло лето, и первая же Колькина порция увеличилась в размерах многократно. Соскучился, наверное, парень по меду. Дома-то не накормят такой вкусотищей.

Начался урок математики. Мария Антоновна брезгливо смахнула со стола крошки мела и огласила задание. Макс Ладоскин, пристально оглядевшись, открыл мятую тетрадку с обратной стороны, оторвал полоску бумаги, разделил её на несколько неровных частей и скатал из них микроскопические шарики. Затем вынул стержень из ручки, запихнул в неё один из патронов и, ещё раз оглядев весь класс, определил мишень. Выстрел пришёлся прямиком в ухо лохматому Игорю Палкину. Тот оглянулся, гнусаво что-то промямлил, но не смог понять, кто же в классе такой меткий и беспардонный. Через несколько секунд ещё один патрон пролетел у Игоря перед самым носом и приземлился возле классной доски, смешавшись с меловыми крошками, оставленными там ненасытным Сараевым.

— Максим, если я ещё раз такое увижу, — рывкнула на притаившегося стрелка Мария Антоновна, — мать в школу вызову. Не буди лихо, пока оно тихо.

Ладоскин скорчил физиономию, явно не уловив смысл услышанного. Палкин снова оглянулся и, привычно жмурясь, растёкся в злорадной улыбке.

— Куда весь мел подевался? — слышался раздражённый голос Марии Антоновны, которая уже с минуту шарилась у себя в столе и на подоконнике.

Почти по-лошадиному улыбающийся Лёха Лаврентьев и будто прилизанный Женька Бахматов, прекрасно знавшие ответ на столь животрепещущий вопрос, рассмеялись первыми. Не удержались и Черноусов с Ладоскиным, только и ждавшие, кто же даст новый повод. Зарумянившаяся Машка Ромашкина, взглянув на сторбившегося Кольку Сараева, аж рот руками прикрыла, чтоб как-то сдержат безудержный хохот. Остальные девчонки тоже не отмалчивались, хотя видимой активности, в отличие от ребят, не проявляли.

Воспользовавшись случаем, кто-то швырнул с задних рядов стирательную резинку. Ластик отскочил от доски и попал в лоб Марии Антоновне, взявшейся писать задание жалким огрызком мела, неведь где раздобытым. Весь класс моментально взорвался оглушительным гоготанием и столь же резко замолк.

Когда скрипевшая зубами учительница повернулась, все усердно делали вид, что работают и ничего не видели. Мария Антоновна на удивление тихо сказала что-то про перебор, потом предположила, что этот сумасшедший класс сведёт её в могилу, и заикнулась о родительском собрании. Но никого конкретно не обругала и из кабинета не выгнала. Меня эта необъяснимая сдержанность испугала даже сильнее, чем более привычные рыки и угрозы. Одноклассников, судя по воцарившейся тишине, тоже.

Звонок на перемену снял всеобщее напряжение. Мария Антоновна ушла в учительскую, предварительно потребовав, чтоб мы вели себя тихо. Колья Черноусов не посмел ей перечить и максимально бесшумно стащил у зазевавшегося круглолицего Ваньки Пнёва ранец, всучив его сидевшему рядом Артёму Иваницкому:

— Передай другому!

Расстёгнутая сумка пошла по рукам. Хозяин увидел её лишь в тот момент, когда она вылетела из окна на улицу.

— Вы оборзели? — вскочил Ванька и бросился к подоконнику.

Ранец валялся возле небольшой канавки, а тетради с ручками и карандашами рассыпались рядом.

Пнёв повернулся обратно. Стоявший перед ним Макс Ладоскин, который как раз и швырнул сумку в окно, властно скалился, не подозревая, что секундами ранее его собственный ранец оказался в коридоре, пройдя через

руки Игоря Палкина, Антона Билецкого и Димки Коневского. Ванька, наблюдавший уже финальную стадию перемещения чужого имущества в пространстве, довольно надул алые щёки и почти победоносно рассмеялся.

Ладошкин не ожидал такой реакции и, разозлённый, пихнул Пнёва в плечо. Ванька перестал хихикать, но сдачи не дал, а лишь поправил рубашку и приколотый к ней исключительно для красоты значок.

Затем Пнёв снова выглянул в распахнутое окошко, чтобы проверить, все ли вещи лежат на том же месте. Увидев, как два куривших на углу старшекласника бесцельно перекидывают друг другу его хлипкую тетрадку, он побежал на улицу. Собрав своё барахлишко, вернулся в школу. А когда заворачивал за угол напротив гардероба, то чуть не получил по голени чьим-то ранцем. Пятиклассники играли им в футбол.

Ванька понял, что это сумка Ладошкина, и сам от души приложился по ней ногой. Мы с Денисом Чесноковым, ненадолго отвлекшись от игры на вкладыши и тем самым дав передышку подоконнику напротив школьной библиотеки, уставились на Пнёва. Он всё пинал и пинал ранец своего обидчика, войдя в раж и не обращая внимания на надрывающих животы пятиклассников, с которых футбольное представление как раз и началось.

Вдруг рядом со мной приземлилась мокрая половая тряпка. Совсем не выжатая. Кто и в кого ею целился — большой вопрос. Но личный пример Ваньки Пнёва вдохновил меня. Подобрал сифу, я в шутку кинул её в лицо Чеснокову, посмевавшему всего за одну перемену сократить мои запасы вкладышей на пару десятков:

— Ты голишь, клопыш!

Денис отплюнул, сострыпал обиженное лицо и в ответ бросил тряпкой в меня. Я увернулся, а вот худющий как плеть Макс Дроздов, возвращавшийся из туалета, не успел.

— Ну всё! — проскрипел он, стёр грязь с лица, осмотрел свою клетчатую рубашку, почти не пострадавшую, поднял сифу с пола и ломанулся вслед за нами, неуклюже поскользнувшись на мокром следе от тряпки.

От нашего громкого топота и озорного смеха даже цветочные горшки на подоконниках завибрировали, а редко высывавшиеся тараканы наверняка забились в свои норы от страха. Мы залетели в кабинет, предварительно сбив с ног хрупкую и нехотати оказавшуюся на пути Наташку Солодкину, заодно перепугав пухлощёкую Ольгу Игнатенкову, которая не преминула бросить нам вслед пару ласковых. Схоронились возле учительского стола. Ведь на нём лежал журнал, а он, что каждому из нас было известно, неприкосновенен.

Рядом судорожно метался Ладошкин, одержимый поисками, безостановочно ругавшийся и тем самым смешивший хриплоголоую Светку Дружинину, жившую с ним в одном доме. Она держалась за живот и отрывала от него руки лишь для того, чтобы в очередной раз смахнуть с лица волосы, падавшие с её макушки, где торчал наскоро завязанный длиннющий хвост.

Мы же, зная, где валяется прилично потрёпанный ранец бунтаря, куда больше были обеспокоены мстью Дроздова, перемахнувшего через порог кабинета.

— Ловите! — крикнул рыжеволосый преследователь и, как следует размахнувшись, зарядил в нас сифой.

— Э-э, не понял юмора, — взбунтовался Ладошкин, получив смачную оплеуху краем тряпки. — Тебе хана, короче!

— Что здесь творится?! — ещё более ужасающе прозвучал голос Марии Антоновны, от которого оба Макса вмиг остоленели. — Сколько можно это терпеть? Ни на минуту вас нельзя одних оставить. Дурдом! Самый настоящий дурдом! Послал же Боженька испытание перед пенсией.

Мы попрытали глаза и стали молча рассаживаться по своим местам, в знак недовольства толкая, пиная конторки или шлёпая по ним, правда, максимально сдержанно. Лишь Ванька Пнёв, зашедший в кабинет вместе с учителем, торжествующе улыбался: если он и впрямь был пациентом школьного дурдома, куда его одноклассников только что поместила Мария Антоновна, то уже, судя по всему, держал в руках документы на выписку,

а его белая рубашка ничем не напоминала смирительную. Сам я куда больше походил на штатного секретаря, максимально кратко фиксировавшего в чистой тетрадке интересные моменты классной жизни, заодно воссоздавая минувшие события в подобии комиксов.

Зато к какой категории отнести Сашку Бабинцева, окончательно покинувшего наши ряды, никто не знал. Учительница сказала, что он остался на второй год. Но в школе больше не видели вечно заплаканного доходягу с пятном на щеке.

## ГЛАВА 12. ВСПЛЫВШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Во второй учебной четверти уроки физкультуры иногда проходили в плавательном бассейне “Дельфин” на Набережной. Это было компактное одноэтажное здание с облупившейся краской на стенах и потрескавшимся местами кафелем на полу. Зато с несколькими большими настенными сушилками для волос, которые мы нигде прежде не видели.

Ходить всем классом с верхней застройки на нижнюю мало кому нравилось. Слишком уж долго. Ступенек много. Ещё и лез кто-нибудь постоянно: то пинка наладить пытались, то за волосы дёрнуть, то под изредка проезжавшие мимо машины толкнуть. Шутник на шутнике.

Я сходил в бассейн всего три раза, после чего окончательно перешел. Не потому, что сама дорога была долгой и утомительной. Просто у меня никак не получалось плавать. Барахтался и во всех красках представлял, как слепну, глухну, задыхаюсь. Возможно, сказывались детские болячки и частые простывания, а также вечно забитый из-за тренировок на морозе нос.

Вода оказалась сильнее меня. Я не стал ей долго сопротивляться и почти всё третье по счёту занятие просидел на бортике, свесив ноги в воду и игнорируя требования инструктора лезть в чашу. Не понимал, чему так радуются одноклассники и как при этом умудряются не тонуть. Не говоря уже о сомнительных забавах с плесканием в душе, с сумасшедшими прыжками в воду с разбега, с очередями возле тех самых фенов для сушки волос.

Когда сзади ко мне, безмятежно потягивавшемуся от накотившей зевоты, подкрались пацаны и столкнули в бассейн, то я, чудом не захлебнувшийся, для себя дорогу в “Дельфин” закрыл уже навсегда. Дома отец меня не поддержал, но и не обругал:

— Не хочешь — дело твоё. Вырастешь — наверняка будешь жалеть, что не научился плавать. Заниматься спортом и не уметь держаться на воде? Нонсенс! Хотя лишние проблемы тоже ни к чему. Если совсем-совсем не получается, как ты уверяешь, если прямо ни капельки удовольствия не испытываешь, то, конечно, лучше не мучить себя.

Проблемы всё же возникли. Даже без возвращения в бассейн.

Вши. Мать обнаружила их у меня через пару дней. Несколько часов я просидел, упёршись спиной в кровать родителей, а они попеременно шарил в моих длиннющих волосах, вылавливая паразитов и гниды.

— Когда там уже всё? — заскулил я, устав изучать неприглядный палас.

— Это, братишечка, надолго, — огорчил меня отец. — Очень надолго. Слишком большой улов ты из бассейна принёс.

Я и подумать не мог, что “надолго” растянется на несколько дней, а отнюдь не часов. Ежедневно приходилось просиживать перед телевизором в зале, пока мать или отец шаманили надо мной, ругаясь и прося не дёргаться. А ещё над ванной подолгу вычёсывали, как собачонку.

Родственники советовали постричь меня — проблема решилась бы сама собой. Но я боялся даже представить себя наголо стриженным, ведь такого на моей памяти и близко не было. Отец тоже стоял насмерть. Моя пышная шевелюра — его творение, причём во всех смыслах, включая наследственность. Он сам ходил с длинными кудрявыми чёрными волосами и меня видел исключительно таким же. А если кто-то предлагал “обкорнать малого”, отец в ответ не скупился на грубые словечки, рекомендуя советчикам почаще смотреться в зеркало.

За несколько недель игры во вшивые прятки, сопровождавшиеся частым принятием душа и обильным покрытием волос какой-то мазью, я успел возненавидеть свои кудри. Успокаивало лишь то, что вместе со мной школу не посещали ещё человек пять из класса. В основном девчонки. И у всех путающий диагноз — педикулёз. Какая связь между первыми пятью буквами из этого слова и непобедимыми вшами, я не знал. Но пацаны, с завидной лёгкостью лишавшиеся своих волос вместе с многочисленными паразитами и продолжавшие ходить на занятия, вероломно твердили: кто сидит дома, как раз и есть тот самый. Мне их слова передал брат, которого беда не коснулась.

В школу я вернулся через полторы недели, не столько соскучившись по урокам или одноклассникам, сколько устав чувствовать себя убогим отщепенцем. Плотно контактировать с кем-либо мне ещё не разрешалось. Но злоеций педикулёз уже сходил на нет. Вместе с бесснежными и относительно тёплыми денёчками. На смену им шёл новый хоккейный сезон.

Он начался с череды крепких ноябрьских морозов, готовых, как мне чудилось, если не всё живое уничтожить, то хотя бы с гнидами покончить. Однако минусовые температуры потерпели фиаско в противоборстве с вновь нагрянувшими плюсовыми. Нечто подобное, тоже заикаясь о гнидах и полнейшем провале, взрослые рассказывали про заgrimированного ленинградского демонстранта, который седьмого ноября пытался добраться до президента СССР на Красной площади столицы, но был повязан сотрудниками Комитета госбезопасности.

Неуловимые до поры до времени, прямо как маньяк Чикатило, вши всё-таки были побеждены. Окончательно и бесповоротно. Заодно я навсегда забыл, что такое купание в бассейне и водоёмах вообще. Примерно так же, как соотечественники забыли о демонстрациях в честь годовщины Октябрьской революции на государственном уровне.

Научиться плавать мне не удалось. Но это, по словам бабы Тони, во многом являлось следствием жутковатого случая шестилетней давности, который никак не связан с моими врождёнными способностями, усилиями инструкторов или вмешательствами одноклассников.

Когда мне было примерно два года, наша семья пришла к бабушке на дачу, что на самом верху города, в лесной чаще, — немного помочь по огородным делам и заодно отдохнуть на свежем воздухе. Во всеобщей суматохе за мной, любознательным непоседой, не уследили. А когда взялись искать, то обнаружили в уличной ванночке с водой, лежащим на дне. Как откачали — по сей день многих удивляло.

Сам я этого не помнил. Абсолютно. Ни на йоту. Но человеческое подсознание неуничтожимо. И моя нелюбовь к воде, до той поры необъяснимая, стала вполне ярким тому свидетельством.

## ГЛАВА 13. ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ

Прошлогодний инцидент с Лёхой Голубевым многому научил отца, который уже не выходил на лёд без наколенников. С тех пор он всегда надевал их, как и ракушку, под комбинезон. Между лёгкой болоньевой курткой и вышедшим из моды свитером — налокотники. Из самого необходимого гнушался только шлемом, всё так же катаясь с серым гребешком на голове. Дескать, чтоб черепушку не сжимало.

На игровых тренировках отец уже второй год подряд брал меня к себе в команду и в каждой атаке выискивал пасом — как специально. Чаще всего, пока остальные кучей гонялись за тренером, я доезжал до штанги чужих ворот и почти прилипал к ней, ожидая результативного подарка. Отец тут же отдавал шайбу от противоположного борта мне, никем не прикрытому. Оставалось лишь переправить её в цель. Сделать это в одно касание получалось не всегда. Но всё равно, даже чуть замешкавшись, я забивал-таки очередной гол и начинал неистово праздновать, чем заметно злил соперников.

— Радости полные штаны!.. — завистливо говорил одиннадцатилетний Женька Манищенко своему тёзке Куницыну. — Можно подумать, будто сам всех обвёл. Папин сыночек.

Бурчанием дело не ограничилось. В одной из атак шустрый Манищенко подловил меня и провёл сокрушительный силовой приём. Я рухнул на лёд в паре метров от вратарского пятачка и с досады отмахнулся, понав метителю по икроножной мышце крюком клюшки. Женька упал рядом, скорчился и завизжал, как свинья на заклании. Мне хотелось всыпать ему снова, но смелости хватило лишь на замах. Нанести ещё один удар так и не отважился.

Все как по сигналу бросили играть и устали на нас. Я трусовато посмотрел на отца, ожидая его незамедлительной поддержки. Он, окружённый свитой настроенных пацанов, неспешно подъехал к нам. Приказал обоим подниматься. Я вскочил моментально. Женька ещё немного поскулил и только потом медленно встал, подогнув травмированную ногу.

— А теперь каждый, — гаркнул отец, обводя всех испепеляющим взглядом, — навсегда должен уяснить, что ждёт любого... любого, кто будет вести себя точно так же, как сейчас поступил один из этих. Напоминаю, что здесь хоккей, а не фигурное катание.

Он укорительно пошевелил пальцем перед самым носом у Манищенко. От испуга тот карикатурно округлил глаза, едва не выпрыгнувшие через маску-решётку, и рефлекторно зашевелил губами, ожидая неминуемого наказания.

“Сейчас получишь, козёл! — покосился я на Женьку, не придав никакого значения тому, что отец повернулся ко мне. — Будешь знать, как...”

Неожиданный удар клюшкой по моей голове резко оборвал всякие мысли. Волосы дико зачесались, будто сгорели под самый корень. Едва не расколотившийся надвое шлем шмякнулся Манищенко под ноги. Тот аж отскочил, словно от молниеносного разряда. Я, пребывая в шоке от такого поворота событий, но боясь зануть и ещё сильнее разозлить отца, нервно всхлипывал и ощупывал голову, проверяя, на месте ли она. Зубы стучали от дикой дрожи в далеко не самый морозный вечер.

— А ты?.. — повернулся отец к Женьке. — Ровню себе не мог найти, что ли? На сопляках отрываешься, герой? Меня слабо бортануть?

Манищенко не отвечал. Разглядывал валявшуюся на льду дефицитную жёлтую “Йофу” третьей модели и думал о чём-то своём. На этом тренировка была окончена. Отец отправил нас в раздевалку раньше положенного, не дав пробить серию любимых всеми буллитов. Такое случилось впервые после его выздоровления. Женька переделся самым первым, раскидав экипировку по мокрому полу. Мимоходом, недружелюбно упомянув в гневе самку собаки, сломал свою потресканную клюшку “Енисей” об батарею. Да так, что крюк отлетел в лоб сидевшему напротив широкоплечему Витале Курилину, который в это время увлечённо жевал бутерброд с сыром и чуть не подавился. Потом, пока я развязывал шнурки на коньках, Манищенко харкнул мне на майку и убежал, ни с кем не попрощавшись. На хоккее он больше не появлялся.

Рассказывали, что на следующий день бунтарь приходил к нам в школу и искал меня, жаждая покататься. Но был, по всей видимости, не очень терпелив и настойчив в достижении своей никчёмной цели, минут десять потоптавшись возле гардероба, ни разу не взглянув на расписание и в итоге уйдя в компании кого-то из местных.

Через неделю на хоккейной коробке побывали ночные воры. Они разбили окно рядом с задним входом, что напротив детского сада, проникли внутрь здания, сломали простецкие дверные замки в обеих раздевалках и вынесли оттуда магнитофон “Шарп”, безбожно жуящий кассеты, а также телевизор, несколько клюшек и пар коньков. Воров было минимум двое, потому что один не смог бы залезть так высоко. Лестницу с собой вряд ли кто-нибудь потащил бы. Поразмыслив над пропажей, отец решил, что ночью на коробке орудовали свои же. Причём — худые и молодые. Разбитое окно было слишком узким. Опытные воры не позарились бы на выдохшуюся технику. А исчезнувший хоккейный инвентарь и вовсе сводил круг подозреваемых к минимуму.



Уже вечером отцу удалось отыскать пару пропавших коньков. Он целенаправленно пришёл на городской стадион и увидел на массовом катании сухощавого парня в почти новеньких “Динамо”, скакавшего вокруг трёх девчонок-малолеток и мешковато отстукивавшего лезвиями что-то невнятное под “Маргариту” Валерия Леонтьева. После дотошного допроса испуганного ловеласа ниточки привели к Женьке Манищенко, который несколькими часами ранее обменял эти коньки своему знакомому на какую-то кнопочную игру.

Обращаться в милицию не пришлось. Женькины родители, даже не прекрекаясь, но стыдясь, помогли вернуть часть украденного. А в семье одного из подельников, коим оказался другой несостоявшийся хоккеист, года на три старше Манищенко, вместо канувшего в Лету цветного “Рубина” решили отдать на нужды спортивной секции телевизор “Рассвет” — чёрно-белый, зато новенький.

Больше всего меня удивило то, что отец будто бы оправдывал воришек. Перед очередной тренировкой он болтал с кем-то из мужиков в своём рабочем кабинете, стены которого украшали сувенирные шайбы и клюшки редких моделей:

— Не думаю, что пацаны сюда со зла или из мести залезли. Ты сам посмотри вокруг: все как с катушек съехали после этих обменов денежных. Что старые полтинники с сотнями, что новые — никто ж никакой разницы не видит. На кой чёрт эти реформы идиотские? Ясно-понятно, что на народе просто наживаются. И так уже, волки позорные, развалили всё, что можно. С таким правительством скоро по миру пойдём.

Через два месяца коробку обворовали снова. Уже путём взлома двери заднего входа, которым редко кто пользовался. Преступников не нашли.

## ГЛАВА 14. ВАТА ВАТНАЯ

Начало февраля девяносто первого выдалось суровым, морозным. СССР потихоньку распадался. Мои кости с конечностями, как мне самому представлялось, тоже.

Несмотря на хоккейную закалку, всё же трудновато было выдерживать двадцатиградусные испытания, ещё и с неприятным ветерком. Пальцы зябли, зубы стучали, сопли лились ручьём, а мурашки неукротимо бегали по телу, как привидения за Пакманом в культовой аркадной игре.

В понедельник после уроков мы с Лёхой Лаврентьевым, любившим мямлить и возмущаться, отправились в гости к Женьке Бахматову, который чаще всех в классе шутил и при этом делал вид, что ничего такого не сказал. Он жил в одном из двухэтажных деревянных домишек рядом со школой, чуть ниже большого магазина, где хотела работать моя мать, уставшая ездить на автобусе на нижнюю застройку города.

В отличие от Лёхи, не говоря уже про увязавшегося за нами остроносого и ушастого Юрку Каплина, которому просто оказалось по пути, я шёл к Женьке исключительно за парочкой вкладышей. В моих коллекциях их очень не доставало. И хотя Бахматову они не были особо нужны, мало кто отдавал за так то, что можно обменять с выгодой для себя.

От школы к Женькиному дому вела узкая асфальтовая дорожка, переходившая в перпендикулярно расположенную, куда более широкую и дугообразную. Между ними и школьным забором в землю были воткнуты, причём без какой-либо симметрии, два скособоченных восьмиквартирных домика из бруса. Один — тёмно-коричневого цвета, другой — голубого, непривычного для этого квартала.

— Давай погреемся зайдём, — предложил Лаврентьев, показав на более посредственное жилище, поправив варежку и вновь убрав руку в карман.

— А смысл? Через минуту до меня дойдём, — парировал Бахматов.

— Дубак! Не могу больше идти, — заканючил Лёха, хотя до Женькиного дома оставалось ровно столько же, сколько мы преодолели, выйдя из школы.

Лаврентьев, не дожидаясь нашего согласия, повернул к ближайшему дому. Обладавший сангвиническим характером Бахматов цыкнул и недовольно закатил глаза, но всё-таки последовал за товарищем. Каплин — туда же. Мне оставалось лишь принять правила игры. Игры на выживание в условиях стужи и непредсказуемого поведения одноклассников.

В подъезде было теплее. Но не настолько, чтобы сразу мысленно ощутить себя на курорте. Лёха, похлопав себя по бокам, присел на деревянную лестницу. И тут же подскочил, недовольно посмотрев вниз и буркнув что-то про ледышку.

Женька, не снимая варежек, положил руки на батарею.

— Лучше три их, — посоветовал я ему, неуклюже переминаясь в валенках с ноги на ногу. — Если руки тереть, то быстрее согреешься. Меня так папка учил.

— Да я так-то не замёрз. В отличие от некоторых.

— А чего тогда к батарее приклеился? — съехидничал Лаврентьев и еле заметно вздрогнул.

— Просто сравниваю с нашим домом. Как у них тут греет, — начал оправдываться Бахматов и, вероятно, ещё что-то придумывая на ходу, бесцельно пожевал ртом. — У нас, например, нет вот такой фигни в подъезде.

Он обвёл взглядом широкую трубу, укутанную в толстую ватную шубу, и потеревил болтавшиеся на ней грязные ошметки краем варежки.

— В нашем подъезде тоже нет, — сказал Лаврентьев.

— И в нашем, — добавил я.

— Дебилы, вы не в деревяшках живёте, — огрызнулся Женька.

— Зато я в деревяшке, — напомнил о себе Каплин. — Но у нас тоже нет такого. А в двух соседних домах есть.

— Да какая, в натуре, разница! — раздражённо сказал Бахматов и внезапно рассмеялся. — Короче, пойдёте уже отсюда. Время только зря тратим.

— Вата ватная, — хихикнул Юрка, похлопав рукавицей по батарее. — Прикинь, как польхнуло бы зыбански.

— А у меня как раз спички есть, — подхватил я его идею, мгновенно оживившись и поправив ушанку. — Вчера дома стырил.

Дверь напротив нас, обтянутая чёрным дерматином и крест-накрест оббитая декоративными гвоздями, закрипела и кое-как открылась. Сквозь щель выглянул бородастый дедок. Если точнее, то половинка его лица и одна рука в дырявой тельняшке.

— Чего здесь топчетесь? — недружелюбно спросил он.

— Мы... ну... греемся, — испуганно отчитался Лаврентьев, как будто зашёл в подъезд по какой-то иной причине.

— Только попробуйте мне тут насрать, хулиганьё! Знаю я вас, — прохрипел дедок, закрывая дверь.

Женька снова предложил покинуть подъезд. Но мы с Юркой, как сговорившись, попросили ещё немного подождать. Лёха нас поддержал.

Я поднёс пятерню ко рту и всем видом дал понять, что прислушиваюсь. Пацаны тоже замерли и слегка прищурились.

— Ц-ц! Не орите, — протянул я шёпотом и достал спички. — Натё. Поджигайте.

— Сам поджигай, — взбрыкнул Лёха, боязливо вертя головой.

— Да тихо! Чего сразу я-то?

— А кто? Твои же спички, — заявил Лаврентьев так, что не придерётся.

— Но предложил-то не я. Пускай Капыч тогда и поджигает.

— Фу, ссыкло! — отозвался Юрка, вспомнивший, что лучшая защита — это нападение.

— Давай быстрее, в натуре. Чего тянешь? — подзуживал меня уже стоявший в тамбуре Бахматов, чей пристальный и коварный взгляд способен был, казалось, без всякой искры поджечь ватную шубейку, тянущуюся вдоль разбухшей стены.

Я сдася и чиркнул спичкой. Она потухла почти сразу. Следующая горела чуть дольше, но ожидаемого нами пламени так и не возникло. Лишь с третьей попытки всё удалось. Мы несколько секунд постояли в тамбуре, зачарованно наблюдая за тем, как огонь распространяется по периметру трубы. И только потом выскочили на улицу, рванув напрямую к Женькиному дому, прямо по сугробам, и безумно смеясь. Но если мне в валенках было неудобно, зато сухо, то пацаны все ноги в ботинках промочили.

На следующий день, когда мы с одноклассниками обедали в школьной столовой, в соседнем ряду шла оживлённая беседа. Учителя перебивали косточки каким-то малолетним пироманам, чуть не спалившим накануне целый дом недалеко от школы, заодно хаяли их родителей, которые не думают следить за детьми. Услышав это, Женька Бахматов выпучил зенки, Лёха Лаврентьев закашлялся, а мне макаронина едва поперёк горла не стала. Капли же и бровью не повёл, усердно чавкая и кривовато ухмыляясь.

О возможных жертвах мы по-прежнему не задумывались. Куда больше нас беспокоило собственное будущее: лишь бы никто не узнал, не наказал, из школы не выгнал.

Чудом всё обошлось. И тогда — с жильцами деревянной двухэтажки, и теперь — с нами. Каждый остался при своём. Разве что изрядно понервничав.

А на следующий день Ельцин в эфире Центрального телевидения потребовал отставки Горбачёва. Назревало нечто более масштабное, чем локальный необдуманный поджог деревянного жилого дома бестолковой школотой.

## ГЛАВА 15. СЛЮНЯВЫЙ СТРЕЛОК

Лестничный закуток на третьем этаже школы был излюбленным местом для многих. Мы с одноклассниками тоже обожали стоять там, облокотившись на перила и разглядывая тех, кто поднимался или спускался. Всё сопровождалось обсуждениями, осуждениями или же вовсе бессмысленным трёпом.

А когда в районе первого или второго этажей показывалась малышня, не говоря уже о недругах, с которыми имелись свои счёты, то кое-кто, случалось, не мог себя сдержат, прицельно плевал вниз и резко убегал в безопасное место, будь то кабинет, туалет, свободная лавочка или подоконник.

Старшеклассники не трусили, в отличие от нас. Так, в один из дней я отправился искать брата и на площадке между верхними этажами остановился, отряхивая штанины, которые замарал после игры в догонялки по квадратным и треугольным пришкольным клумбам. В это время пацан лет пятнадцати бесшумно плюнул сверху на поднимавшегося по ступенькам низкорослого толстяка. И — прямо на голову. Но не стал убегать, а рассмеялся вместе со своими товарищами, стоявшими рядом. Толстяк и ухом не повёл, пройдя мимо меня со смачной, почти сияющей и уже потёкшей печатью на тёмных волосах.

Было очень забавно. Однако сам я не отважился повторить подобное. Куда больше меня интересовала техника плевка едва заметным движением рта. Как из водяного пистолета. Без привычного надувания щёк и вытягивания губ. Это занимало меня куда сильнее, чем кистевые броски, которые мы зимой отработывали на хоккейной коробке под неусыпным надзором и гневными выкриками отца.

Я тренировался плевать как на переменах, выбегая на улицу, так и по пути домой. А через пару дней ненадолго отпросился у Марии Антоновны с урока, якобы попить, и помчал на третий этаж — обезлюдевший. Заняв боевую позицию во всеми любимом закутке, попробовал прыснуть вниз на манер того старшеклассника. Попытка не удалась — уделал самого себя. Тогда я накопил побольше слюней и шамальнул снова. На этот раз уделал перила.

Решив, что делаю недостаточно сильный рывок головой, предпринял новую попытку. Когда уже отклонился назад и был в паре мгновений от

задуманного, то услышал чьи-то шаги прямо под собой. Плевок, предотвратить который уже не представлялось возможным, случился вслед за лёгким испугом. А едва показавшийся на лестнице человек вызвал у меня самый настоящий страх.

Не глядя, кто именно там шёл и куда угодил жидкий патрон, я дал дёру до туалета и навалился на дверь с обратной стороны. Боялся не только шевелиться, но и дышать. Этому способствовал и не смытый кем-то подарок.

Через несколько секунд дверь попытались открыть. Я держал оборону как мог. Но быстро сдался. Находившаяся по ту сторону учительница оказалась сильнее и настойчивее. Я сразу узнал её — она вела природоведение у класса моего брата. Всё ограничилось попыткой слегка пристыдить меня. Ни криков, ни жалоб. Видимо, моё подавленное состояние говорило само за себя: простите, каюсь, такое больше не повторится. Вернувшись в кабинет, я всё-таки получил порцию критики. От Марии Антоновны.

— Ты там не захлебнулся? — без намёков на заботу спросила она, рассмешив весь класс.

На перемене пацаны выпытывали, куда я ходил и что делал. Рассказать решил только Денису Чеснокову. Да и то лишь на ухо. Шкет расплылся в ленивой улыбке, пытаясь переварить полученную информацию.

Я закрыл тетрадку с неказистым комиксом про харкающего человечка, приподнял брови и шевельнул указательным пальцем, давая пацанам понять, что сейчас будет представление. Дождавшись, когда кто-нибудь из сидевших рядом одноклассниц привстанет, подкрался и бесшумно плюнул на сиденье. Потом вернулся на своё место и сел, слегка вздрогнув от внезапно разразившегося вокруг смеха. Пацаны надрывали животы и шумно хлопали ладошками по конторкам, хотя ещё никто не угодил в устроенную мной ловушку. Я не сдержался и тоже начал хохотать.

Одноклассники умолкли только вместе со звонком на урок, когда в кабинет вошла Мария Антоновна, а следом за ней — несколько девчонок. Ленка Бражникова застыла возле своей конторки, показала Аньке Столбовой на оплётанную лавку, молча протёрла её листком бумаги и, элегантно усевшись, приготовилась слушать учителя.

Лишь после занятий Чесноков мне всё рассказал: пока я подкрадывался к Ленкиному сиденью, на моё тихонько плюнул Колян Черноусов.

— Так вот почему вы ржали...

— Просто ты такую дурацкую рожу состряпал, — подчеркнул Денис, спускаясь с крыльца вместе со мной. — А потом ещё, получается, сам над собой смеялся.

— Вот и весели вас после этого, — расстроился я, взявшись разглядывать разбитые носки своей обуви.

— Да ладно, наплевать, не злись, — дружески хлопнул меня тыльной стороной ладони по плечу Чесноков и, засмотревшись, чуть не врезался в старшаков, дымивших “Астрой” на углу школы.

— Наплевать? Хм. Очень смешно.

Денис вдруг понял, что непреднамеренно скаламбурил, и зашёлся от смеха.

Вечером, когда домашнее задание было почти доделано, ко мне пристал брат. С издёвкой спрашивал, зачем я плюю в людей.

— Ты меня перед учителями не позорь. Думаешь, приятно выслушивать из-за тебя? Хочешь, чтоб отец узнал?

“Рассказывай сколько влезет, — подумал я, но не произнёс вслух, а только тетрадку в сторону пихнул и по педали швейной машинки ногой ударил. — Почти все в школе такое вытворяют, иногда и хуже. И вы с Рыжей тоже не паиньки”.

— Семечки будете? — заглянула в комнату мать. — Нажарила только что. Целую миску.

— Которая из-под теста?

— Нет, в которой суп греем.

— Не сильно-то и большая, — констатировал брат и, влепив мне щелбана, иронично добавил, — но верблюду поплевать хватит.

— Ты про что? — непонимающе спросила мать.  
— Да так... Просто... Сейчас в зал придём. Там же мультики начаться должны.  
— Отец кино смотрит. Так что здесь плуйте. Верблюды. Или кто вы там?  
Мать всегда жарила семечки по высшему разряду...

## ГЛАВА 16. ЛАТЕНТНЫЙ НИНДЗЯ

Шла середина мая. Дима, как ужаленный, носился по залу, запрыгивая то на приколотенные к стенам ковры, то на застиранные шторы. Неугомонного серого котёнка, как и канарейку, мне подарили на день рождения — только годом позже, уже на восьмилетие. В отличие от птички, мяукающий разбойник не спешил нас покидать, хотя тоже очень любил балкон. Родители прозвали нового питомца Дымком. Но я быстро превратил Дыму в Диму.

За полгода он успел не только обои, ковры, мебель подрать, но и несколько вкладышей из моих коллекций испортил. Непостижимым образом добрался даже до висевших в детской на стене глянцевых цветных плакатов с составами воскресенского “Химика” и киевского “Сокола”, где значились навсегда врезавшиеся в мою память братья Квартальновы, Трухно, Шундров, Степанищев, Ширяев, Доника и другие хоккеисты. За всё это я неизменно награждал Диму поджопниками. Отец, бывало, тоже упражнялся — за кошачье пристрастие периодически напрудить где ни попадя.

Теребя в руках пару исполосованных вкладышей от жвачки “Турбо”, я услышал, как с улицы меня зовёт Рома Чулков. Во всех ближайших дворах нельзя было сыскать более фанатичного коллекционера, чем он.

“У него-то наверняка есть нужные мне вкладыши”.

Я вскочил с пола, подбежал к окну, кое-как справился с двумя щеколдами и распахнул раму:

— Привет, белобрысый. Ты прям вовремя. Заходи.

— Привет, — ответил Рома, стоя на пригорке, глядя в окно на втором этаже и шурясь от солнца. — Сам выходи. Погуляем.

— В такую жару? Пошли лучше к тебе тогда. Мне как раз кое-какие вкладыши выменять надо.

— Я не меняюсь. Только играю.

— Ну и зря. Я ж тебя порву.

— Сомневаюсь, — скривил он краешек рта и бесцельно зашарил в карманах своих узких, но длинных шорт, которые давно не мешало бы постирать. — Меня мало кто побеждает.

— Да что вы говорите!.. Зато почему-то бьют часто, — вырвалось у меня как-то само по себе.

Чахлый Рома, почти ежедневно огребавший от соседских пацанов, обижено опустил голову, а через пару секунд вообще отвернулся, словно что-то разглядывая среди вымахавших в высоту травинок.

— Ну что, я выхожу?

— Как хочешь, — отозвался Чулков, изображая безразличие.

Уже через пару минут мы шли к его дому — розовой кирпичной пятиэтажке, которая виднелась с нашего балкона. Тётя Нонна выгуливала Филю с Каштанкой и, заметив меня, пожелала удачного дня, нарисовав на своём ангелоподобном лице ласковую улыбку. Удача и впрямь не помешала бы.

Когда мы с Ромой были в считанных метрах от нужного подъезда, предпоследнего, то увидели круглолицего одноклассника моего брата — Дениса Геращенко. Всегда казавшийся мне сонным и никуда не спешившим, он сидел на лавочке возле песочницы и бесцельно тасовал карты.

— Ты к этой психопатке, что ли, собрался? — спросил у меня Денис, показывая зажатой в руке колодой на Рому.

— И что такого? — удивился я.

— Смотри, как бы от тебя топором не зарубил, — ухмыльнулся Геращенко, но по его доброму взгляду я решил, что сказанное — всего лишь шутка.

— Отвали уже от меня, мегера губастая! — раскричался Рома. — Все отвалите! Вообще все! Достали!

— Ха, психичка, — сказал Денис, лениво поднявшись с лавочки и убрав карты в нагрудный карман рубашки. — Тебе вчера мало было, чулок штопаный? Забыл, как тебя Гусевы откумарили?

— Пинай его! — призывно раздалось со стороны первого подъезда. — Нечего с ним базарить.

Это был выглядывавший с лоджии Саня Гусев. Растрёпанный, с небольшим синяком под глазом.

— Себя пни, — от беспомощности проскрипел Рома, но так, чтобы высокий и плечистый Гусев его не услышал.

— А громче слабо сказать? — насмеялся Геращенко над Чулковым, сближаясь с ним, но не проявляя никакой агрессии. — Только шёпотом можешь, соплежуй?

— Не подходи! — закричал Рома на весь околоток и поднял с земли большой камень с острыми краями. — Я кину, если подойдёшь.

— Ха, кидай. Ну! Давай. Кидай, говорю. Оглух, что ли? Давай уже кидай, смельчак.

— Не подходи! — несколько раз повторил Чулков, трясаясь от страха и скаля зубы, после чего всё-таки кинул камень, но в нескольких метрах от Геращенко, который даже отворачиваться не стал.

— Тупой нытик, — сказал Денис и пихнул Рому в плечо, — пошёл отсюда быстро! А ты, — это было уже в мой адрес, — аккуратнее там. С таким дружить себе дорожке. Можешь у брата своего спросить — он подтвердит.

Я неоднократно видел, как Чулков, который был на два с половиной года старше меня, отбивается от обидчиков всем, что попало ему под руку. Мало кто мог одобрить такое поведение. Попади Рома хоть раз кому-нибудь в голову молотком или бутылкой — без увечий не обошлось бы, да и самого сразу же толпой запинали бы до посинения.

Однако теперь, заходя в подъезд вслед за Чулковым и затылком ощущая недружелюбный взгляд обычно равнодушного ко всему Геращенко, поймал себя на мысли: если бы меня столь же часто и без повода доставали — тоже сорвался бы и взял в руки что покрепче, причём мимо кидать не стал бы.

— Здравствуйте, — скинув драные кеды, обратился я к Роминой матери, сидевшей на кухне и шкрябавшей ножиком по чугунной сковородке.

В ответ она картаво произнесла что-то, больше смахивавшее на “припёрлись”. Мы с Ромой прошли в комнату — единственную в квартире. Кровати не были заправлены. Палас, порванный в двух местах, утонул в игрушках и крошках. На полочках красовались модельки машин, которые Чулков коллекционировал с не меньшим азартом. А по стенам ползали тараканы, которые явно не чувствовали себя непрощёнными гостями.

— Вот такие, смотри, есть у тебя? — достал я из левого кармана шорт два вкладыша, испорченных своим пушистым домашним любимцем.

— Таких вот три штуки, — показал Рома на один, — а таких вот... Надо поискать. Один точно есть, но из основной коллекции я не буду доставать.

— И что делать будем? Меняться ты не хочешь...

— Я же говорил, давай играть. Выиграешь — получишь, что хотел. Продаешь — всё моё будет.

Держа в поле зрения внезапно замершего прямо по центру стены таракана, я многозначительно приподнял брови и почесал немытую после вчерашнего футбола шею. Потом достал уже из правого кармана — чтобы ничего не перепуталось — пухлую пачку вкладышей.

Начали с игры десять на десять. Ставки росли по мере того, как запасы Чулкова иссякали. Проигрывая помалу, он хотел вернуть всё разом, но оттого быстрее разорялся. Минут через сорок мой чистый выигрыш составлял уже почти пятьсот вкладышей. Включая два, за которыми я как раз и пришёл. Чувства меры не знал, поэтому играл бы ещё и ещё, но — устал.

— Ладно, пойду домой, — сказал я Роме, небрежно распахив бумажные трофеи по карманам и двинувшись к порогу.

— Отдавай вкладыши! — истерично прозвучало у меня за спиной.

Не успев надеть второй кед, я оглянулся. Чулков, роняя скупые слёзы, стоял в паре метров от меня и картинно, как в популярных фильмах, размахивал откуда-то извлечёнными нунчаками.

— Ты большой? — испугался я, но тут же вспомнил, что тщедушный Рома никогда никого не трогал, а лишь страдал. — Сам проиграл. Нечего теперь орать.

— Отдавай вкладыши! — повторил он и зарядил нунчаками по разделявшему нас дверному косяку, из-за чего топорщившиеся куски краски рухнули на пол — вместе с огромным тараканом, который сразу же дал стрекача в сторону туалета.

— Что ты там у Романа забрал? — противно рявкнула с кухни мать Чулкова и, нахмурившаяся, высунулась из-за угла. — Ну-ка возвращай и выматывайся отсюда!

— Я у него честно всё выиграл. Пускай не играет тогда ни с кем, если...

— По-хорошему, скотина, возвращай, кому сказано! — перебила она, не вникая в суть конфликта.

— Но я же честно выиграл.

— Отдавай вкладыши! — не унимался Рома, уже несколько раз отоварив нунчаками самого себя, но продолжая размахивать ими для устрашения.

Мне не было так обидно даже в те моменты, когда сестра сама нарывалась, а потом, надрывая глотку, звала на помощь отца.

Я достал вкладыши из карманов, от злости скомкал их и швырнул в сторону неуравновешенного ниндзя. Он тут же выронил нунчаки и начал спешно поднимать добычу. А до меня, что есть мочи громыхнувшего входной дверью, не сразу дошло: вместе с выигранными вкладышами на полу оказались и мои собственные, с которыми я изначально заявился к Чулкову.

“Только попробуй теперь появиться в нашем дворе, — не покидала меня мысль по пути домой. — Там ты свои долбаные нунчаки уже не достанешь”.

Пролетая мимо длиннющего бетонного забора, утопавшего в зарослях крапивы и репейника, я заметил стоявшего ко мне спиной Геращенко. Он что-то замыслил на пару с соседским пацаном, исподтишка кидая в него колючки.

Когда Денис оглянулся, на его лице возникла хитрющая толстогубая улыбка, адресованная мне и никому другому. Я понял, что облажался в разы крупнее, чем думал ещё минуту назад.

## ГЛАВА 17. ИНОРОДНОЕ ТЕЛО

Летом девяносто первого отец неоднократно рассказывал матери и иногда приходившим гостям, что на заводе низковольтной аппаратуры зреют большие перемены, радоваться которым вряд ли кто станет. Только вот подробностей не сообщал. А если они и звучали, то сути их я не улавливал, преспокойно балдея в детской комнате или смотря мультики во временно пустующем зале.

Что-то невразумительное творилось и в стране. Михаил Горбачёв по-прежнему возглавлял СССР, а Бориса Ельцина уже избрали президентом РСФСР. Меня это никак не интересовало. Просто потому, что ничегошеньки в происходящем не понимал. Но разговоры взрослых слегка настораживали излишней эмоциональностью.

Отец всё чаще нервничал, на первый взгляд, без повода. Говорил о каком-то бардаке на прилавках магазинов и о скачущих куда-то ценах. Упоминал Рыжую, которой в сентябре предстояло идти в первый класс. Заикался о наших с братом успехах в играх за красноярский ДОК во втором сезоне и о необходимости двигаться куда-то дальше, а также о дефиците качественной хоккейной формы, особенно коньков и клюшек.

Вечерами мне приходилось пропадать на улице, чтобы не угодить отцу под горячую руку. Большинство моих одноклассников жили в других кварталах, поэтому нередко я, один-одинёшенек, бесцельно шатался на заднем дворе, срывая травинки, выскивая взглядом что-нибудь интересное в кустах или

ямах, качался на качелях, разглядывая облака причудливых форм, или же лазил по заржавевшим турникам.

Из нашего класса со мной в доме жили только Ольга Задавакина, её тёзка Магаданова и Танька Афонькина. Последнюю, с которой мы ранее прошли через два детских сада, но так и не сдружились, я почти никогда не видел на улице. Магаданова же, когда выходила гулять в своей длиннющей чёрной юбке и единственном, как многие считали, свитере из не по-летнему толстой материи тёмно-синего цвета, с похожим на ленту рисунком на груди, доставала окружающих странными шутками и протяжным гнусавым голосом. А в ответ на грубость или даже на обыкновенное безразличие могла так отхлестать обидчиков крапивой, что отпадало всякое желание не только играть и разговаривать с этой нескладной, почти шкафоподобной истеричкой, но и знаться вообще.

Хоть сколько-нибудь тесные отношения мы поддерживали лишь с высокорослой Задавакиной. В отличие от других девчонок, она с куда большей охотой гуляла с парнями и разделяла почти все их интересы, кроме игры на вкладыши. Даже на хоккей к моему отцу ходить начала и мало кому уступала в борьбе за шайбу. Шутила нечасто, но весьма удачно. Бегала быстрее многих, и это очень помогало ей в московских прятках. В обиду себя тоже не давала и способна была поставить на место зарвавшегося неприятеля одной хлёсткой пощёчиной, предварительно, словно в качестве отвлекающего манёвра, повыше подтянув колготки. А уж если разгневанная Ольга отваживалась гаркнуть, то на мгновение замирали даже случайные прохожие.

Меня, как ни странно, всё это необъяснимым образом привлекало и в хорошем смысле слова смешило. Когда на улице начинала галдеть толпа, я спешно одевался и нёсся туда же, по пути делая небольшую остановку на первом этаже возле лифта и стучась к Задавакиным, чтобы позвать Ольгу гулять. Если же, глядя в окошко, замечал её во дворе, то пытался привлечь внимание любым возможным способом. Доходило до того, что мог залезть на подоконник и, стоя на нём в одних трусах, сбавать что-нибудь зажигательное, лишь бы Задавакина рассмеялась.

Говорят, что родителей не выбирают. Мы, дети, не выбираем и соседей. Какие есть, с такими и дружим.

Как ни странно, сама Ольга ко мне не заходила. Вместо неё это делал Денис Чесноков, словно и не думавший прибавлять в росте ни на сантиметр.

С самым крошечным и одновременно самым забавным из одноклассников мы, обложившись тетрадками, ручками и карандашами, по два-три часа просиживали за рисованием комиксов. Ещё в ходе учебного года я придумал целую россыпь пузатых короткопалых колобков и от нечего делать штамповал неказистые, но забавные истории в картинках. Денис увидел мои творения и, попрактиковавшись в подобном творчестве у себя дома, стал напрашиваться в гости, чтобы под неусыпным надзором сэнсэя-очкарика совершенствовать художественные навыки. Мы изрисовывали по тетрадке в день и лелеяли мечты о собственном бизнесе в будущем.

— Вырастем и начнём свои комиксы выпускать, — сказал я как-то.

— Ага, и богатыми станем, — добавил шкет.

— Ты, Малевич, лучше бы о хоккейной карьере почаще думал, — бросил мимоходом отец, случайно услышав очередной наш с Денисом треп, — и на льду тренировался так же активно, как рисуешь.

— Малевич — это он про тебя, про малявку, — подколот я Чеснокова, особо не вникая в отцовские ворчания.

— Мне тоже так показалось, — засмеялся шкет. — Слушай, а ты хоккей, что ли, бросил?

— Да я бы, может, и бросил, — мой голос стал тихим, — но кто мне разрешит? Кататься-то нравится, голы забивать, всё такое. Но треньки капец как ненавижу. Мёрзнуть надоело. И от старшаков получать — дыхалку потом так сбивает, ты не представляешь. Ещё и отец вечно орёт. Типа я лучше могу играть, просто не хочу. Ага, такой знаток, куда деваться. На фиг этот хоккей — у меня всё равно ничего не получается. Я бы лучше рисовал, истории всякие сочинял.



Несмотря на сильное увлечение комиксами, всё же досадно было раз за разом выходить на улицу, видеть там Ольгу с другими пацанами и нерешительно примыкать к ним, как инородное тело. Так всегда случается, если ты не первым предложил во что-то поиграть и не собрал вокруг себя толпу. Остаётся соглашаться либо на предложенное, либо на участь изгоя.

“Всю жизнь, что ли, самому к ней заходить? — думалось мне. — Делать больше нечего. Захочет — сама припрётся”.

Я обиделся на Задавакину и стал всё чаще напрашиваться к брату и его компании. Но меня далеко не всегда были рады там видеть. Поэтому наблюдал за старшаками со стороны и обмозговывал, как устроить нечто подобное для ровесников и стать хозяином положения.

В один из жарких июльских дней брат отправился гулять, захватив бутылку с водой, зачем-то предварительно посоленную. Любопытство взяло надо мной верх. Отпросившись у матери, я тоже вышел на улицу и начал искать брата. Обошёл вокруг дома — нигде не увидел. Ни на лавочках возле подъездов, ни через дорогу от них, где в недавно построенных серых панельных девятиэтажках жили несколько знакомых пацанов, ни рядом с электроподстанцией, ни на пришкольном стадионе. Я собрался уже обратно домой, вынашивая в голове историю про колобка, разыскивающего своих собратьев, но почувствовал, как попавшие внутрь обуви камешки упираются в пятку. Присел на лавочку, снял кед и вытряхнул содержимое.

Из первого подъезда с диким рёвом выскочила толпа парней. Среди них и мой брат. Что-то, судя по его плутовскому взгляду, натворивший. Все они поочерёдно забежали во второй подъезд и не выходили оттуда несколько минут.

Сидя на лавочке с кедом в руке, я пялился вперёд, терпеливо ожидая развития событий. Вскоре заметил, как из окна над замусоренным козырьком показалась голова одного из ребят. Он кого-то высматривал по правую от себя сторону, но в поле его зрения попадали только прохожие, сновавшие мимо дома. Из первого подъезда никто не выходил.

Пацаны вернулись на улицу и, сдержанно хохоча, разбрелись кто куда. Брат подошёл ко мне и спросил, почему я сижу разутый. До меня только дошло, что пора уже надеть кед, который успел проветриться и не вонял так сильно, как обычно.

— Вы от кого там бегали? — поинтересовался я у брата.

— Тебе скажи — тоже захочешь.

— Ой, да и не надо.

Брат ушёл домой. Я же продолжил сидеть на лавочке, дуясь на него и сокрушаясь, что кому-то, значит, можно заниматься ерундой и при этом быть умным сыном и талантливым хоккеистом, а кто-то якорь, балласт, трутень и вечно всё делает не так. Из первого подъезда вышел худой коротко стриженный мужик лет сорока. Осмотревшись, он выругался и нацеленным шагом отправился ко мне. Я всерьёз струхнул.

— Давно тут сидишь? — спросил мужик.

— Нет. Ну, то есть как... Да. Минут десять.

— Из первого подъезда кто-нибудь выбегал недавно?

— Да, — выпалил я и сразу понял, что напрасно.

— Кто? И где он? Или они?

— Они... Я их не знаю. Они по разным сторонам разбежались.

— Пацаны? Мелкие?

Я кивнул, а глаза непроизвольно забегали туда-сюда.

— Щенки драные! — выругался мужик, почёсывая пятую точку. — Поймаю — руки повыдергаю.

— А что они сделали?

— Звонок водой залили, падлы. Минут пять не затыкался, потом вообще заискрился. Теперь не позвонишь — током сразу шандарахнет.

— Делать кому-то нечего, — согласился я, подумав о брате.

— Это точно не ты? — спросил вдруг мужик. — Не тряпись ты так. Я просто уточнил. Ты ещё мал для такого. Да, мал. Слишком уж маленький. Трусливый к тому же. И до звонка моего не достал бы.

Он снова посмотрел по сторонам, горячо обругал неизвестных ему хулиганов и пошёл обратно к первому подъезду.

“Я слишком маленький для такого? Трусливый? Ну, это ты, мужик, зря”.

На следующий день, когда ко мне зашёл Чесноков, я рассказал ему свой план: забегаем в любой подъезд, кроме моего, выливаем воду на звонок одной из квартир на третьем или четвёртом этаже, чтоб потом не очень долго было вниз спускаться, прячемся на улице в кустах и ждём вылазки раздражённых хозяев, которые будут орать на чём свет стоит.

Так и сделали. Через час без малого, когда уже летели вниз по ступенькам, Денис вдруг споткнулся на лестничной площадке рядом с почтовыми ящиками и бросил мне вдогонку:

— Давай тут спрячемся?

Не дожидаясь моего ответа, он встал за мусоропровод. Я же, вспомнив свои изрезанные стеклом колени и услышав открывавшуюся где-то дверь, махнул рукой и побежал дальше. Едва выскочил на улицу, как над головой устрашающе раздалось:

— Теперь понятно, кто это делает. Вот гадёныш! Беги, беги, давай. Всё равно знаю, где ты живёшь.

Я слегка сбавил скорость и посмотрел наверх. Из распахнутого настежь окна выглядывал дедок, грозивший мне кулаком.

Сказать, что попался, — ничего не сказать. В руках у меня была бутылка, которую я не догадался выбросить. А главное — не додумался выбрать квартиру, окна в которой выходили бы на задний двор. Урок на всю оставшуюся жизнь.

Мог бы быть урок. Причём весьма жёсткий. Домой к нам действительно приходил мужчина в возрасте и, насколько это было слышно из детской, жаловался на то, что “ваш сын звонки водой поливает”. С полным перечнем последствий, разумеется. Но всё ограничилось тем, что родители извинились перед гостем, и тот ушёл.

Когда отец заглянул к нам в комнату, то первым делом посмотрел на старшего сына — неодобрительно, словно вообще не знаком с ним. Тот сидел на диване, подогнув ноги под себя, и всем видом давал понять, что просит прощения. Воцарившуюся на несколько секунд тишину нарушил грохот двери. Отец, так и не сказав ни слова, ушёл на кухню допивать чай с любимой халвой.

Пронесло.

## ГЛАВА 18. ЗАЖРАЛИСЬ

Переходя в третий класс, ловишь себя на мысли, что учишься уже далеко не в первом, как напуганная и зажатая мелюзга из соседних кабинетов, не выдавшая школьной жизни. Начинаешь дышать полной грудью и всё больше примеряешься к поведению старшаков, к их привычкам и словечкам. Ведь через год ты окажешься уже в пятом классе, перескочив через несуществующий четвёртый, а это почти экватор внушительного срока, мотать который нудно, хотя и нужно.

Пока Советский Союз сходил с ума и доживал свои последние деньки, распадаясь на отдельные государства, мы с одноклассниками тоже неистовствовали, приходя на занятия кто в чём горазд и оставляя на вешалках прошлого однотипные сарафаны и костюмы. Но при этом всё больше сплачивались. Если один из нас шутил, то остальные смеялись. Если кто-то начинал игру, даже невнятную или опасную, то другие подключались. И никакие увещевания, а тем паче угрозы не могли предотвратить приступы безумия, возникавшие в нашем классе, что тоже смахивало на творившийся в государственных верхах бардак.

С первых же дней сентября учительница начала терять над нами контроль. Хотя наш непреднамеренный и в какой-то степени инстинктивный бунт не шёл ни в какое сравнение с августовским путчем в стране. Мы были охвачены неистовым желанием походить на старшеклассников, одевались,

как они, если это позволял родительский кошелёк, имитировали походку, манеру речи, заодно высмеивая неподвинутых. И даже играя во что-то старое доброе, вносили туда элемент нового злого.

Апогеем массового сумасбродства стал один из дождливых октябрьских денёчков. Насмотревшись в сентябре на старшаков, которые всякий раз летали на обед с такой скоростью и громкостью, что лестницы и стены кое-как выдерживали этот слоновий топот и рёв гишпопотамов, мы с одноклассниками сами не поняли, как им уподобились, кто из нас стал зачинщиком или просто сделал первый шаг.

Едва прозвенел звонок на перемену, а пацаны уже высыпали из кабинета и, не дожидаясь Марии Антоновны, завозившейся с медлительными девчонками, безудержно ломанулись в столовую, находившуюся в другом конце первого этажа, по соседству со спортзалом. Я мчал вслед за громогласной толпой, стараясь не только хоть кого-нибудь обогнать, но и от толчков с подножками увернуться по возможности, а заодно не врезаться в мимо проходивших старшаков, которые возмущались нахрапистостью малолеток.

Проснувшийся в одноклассниках азарт плавно перетёк из суеты и криков в форменное сумасшествие. Добравшись до столовой, где уже было накрыто, одни, словно заранее договорившись, набросились на чужие порции, но из каждой стоявшей поблизости тарелки съедали совсем понемногу. Другие, включая меня, взялись упражняться в искусстве смешивания супа и компота. Макс Ладошкин зачерпнул ложкой немного картофельного пюре и метнул снаряд-размазню в направлении Ваньки Пнёва и Антона Билецкого, первому испачкав рубашку, а второму — брюки. Колян Черноусов, неистово хохоча, харкнул в тарелку Максиму Дроздову и приказал передать другому.

Лишь флегматичный Колька Сараев не суетился — мел в меню не значился.

Через минуту-полторы в столовую зашли девчонки в сопровождении Марии Антоновны, которая в ужасе застыла и выпучила глаза. Выпучила так сильно, как никогда раньше. Она бы вмиг поседела от увиденного, если бы не была уже седой ввиду почтенного возраста.

Мария Антоновна оказалась одной из немногих, кого вся эта катавасия чертовски возмутила. Некоторые из девчонок равнодушно или слегка расстроено развернулись и потопали обратно в класс. Кто-то дул губы и шмыгал носом, поглядывая на учителя и как бы вопрошая, что же им, проголодавшимся, теперь есть. Ольга Задавакина и опёршаяся на её могучее плечо миниатюрная смуглянка Лилька Шарипова, напротив, заразились нашим неумолкаемым смехом и показывали пальцем то на одного, то на другого. И лишь Танька Афонькина с Наташкой Волосовой буйно топали ногами, обзывая нас то дураками, то ещё какими-то отнюдь не благодушными существами.

Ладошкин, увидев момент, пока Мария Антоновна объяснялась с другими учителями, швырнул в Афонькину обкусанной котлетой. Уставившись на свой испачканный передник, Танька взбеленилась, подбежала к Максиму и, яростно вереща, как умела только она, вцепилась обидчику в волосы. Такой смелости, смахивавшей на отчаяние, никто прежде не набирался. Все боялись отдачи — Ладошкин очень часто ею страдал. Но как только сам схлопотал отдачу, то опешил и сразу же отступил, пригрозив разгневанной Афонькиной, что ей хана.

Родительское собрание состоялось через два дня. “Зажрались!” — к этому свелась вся дискуссия, где никто и не подумал оправдывать наше поведение. Вернувшись с собрания, моя мать заявила, что если я и дальше буду участвовать в столовских беспорядках, то дома на кормёжку могу не рассчитывать. И хотя к числу знатных едоков меня, любителя покочевряжиться, никак нельзя было отнести, лишиться жареной картошечки, особенно со шкварками, а также халвы, пряников и печенья уж точно не хотелось. Как и отпираться. Ведь отец наверняка бы всё узнал, а его на мякине не проведёшь.

## ГЛАВА 19. ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА

Для отца очередной осенний денёк начался с безмятежного просмотра “Утренней почты” по Первой программе и с сытного завтрака.

Меня же разбудила чрезмерная громкость звука телевизора, взревевшего лишь на несколько секунд. Я поморщился, поморгал левым глазом, отодвинул от подушки свою любимую, зачитанную до дыр книгу “Тамбу-ламбу”, с которой, судя по всему, умудрился уснуть, недовольно поднялся с кровати и пошёл в туалет. Но возвращаться под одеяло не захотел — с кухни доносился манящий запах чего-то жареного.

Мать, облачённая в повязанный вокруг старого узорчатого коричневого халата фартук, топталась возле печки, держа в руках маленькую сковородку и выливая на неё немного жидкого теста. Рядом стояла тарелка с готовыми блинчиками.

— У-у-у! — угрожающе выкрикнул я, незаметно подкравшись сзади.

Мать вздрогнула и уронила сковородку на пол. Я, не предугадав такого исхода, испугался ещё сильнее и мысленно признал свою чрезмерную глупость. Заодно подумал об отце, который мог прийти из зала и учинить трёпку.

— Ты с ума сошёл? — смотрела на меня выпученными глазами мать. — А если бы я обожглась?

— Я не думал, что у тебя... что... что ты испугаешься.

— А мне надо было радоваться, да, по-твоему?

Ответа она не дождалась и, взяв измочаленную до отвращения тряпку, принялась оттирать ею пол, и без того липкий. Когда закончила, то обнаружила, что горячую воду внезапно отключили.

— Ну вот, снова, — посетовала мать, откладывая мерзкую жирную тряпку в сторону. — Даже не предупредили. А ведь не лето уже.

В коридоре послышались шаги отца. Я поспешил ретироваться с кухни и, едва не столкнувшись с ним, заскочил в ванную. Выдавил в рот горшину зубной пасты, налил в ладонь немного холодной воды из-под крана и забулькал.

— Чего тряпка грязная такая? — услышал я отцовский голос за стеной.

— У меня не десять рук, — раздражённо ответила мать. — И горячую отключили. Только что, видимо. Очень даже кстати...

— Точно. Вода. На двери же уличной объявление висело, — заметил отец. — Работы у них какие-то на сутки, кажется.

— А мне не мог сразу сказать? Стою тут в жиру. Как не знаю кто.

— Закрутился — забыл.

— Вот. А хочешь, чтоб другие были идеальными. Иди доставай кастрюлю, греть ставь. Сейчас дети проснутся. Мыться надо будет всем.

Ближе к вечеру мы снова были дома у Варежкиных, предварительно успев промокнуть под внезапно хлынувшим дождём, который застал нас в самом уязвимом месте — за углом подпорной стены, прямо под открытым небом. Зайдя в квартиру, мы брезгливо сбросили с себя противно чмокавшие кеды вместе с промокшими носками и на цыпочках отправились в детскую. Димкины родители смотрели в зале новую телевизионную игру “Любовь с первого взгляда” и странно подхихикивали.

— Тискаются там сейчас, наверное, — язвительно предположил Димка, нервно помаргивая, и закрыл дверь в своей комнате.

Мы надумали построить штаб. Кинули на пол матрас. Составили вокруг него несколько стульев и накиннули сверху широченное покрывало. Сквозь щель просунули настольную лампу, а свет в комнате выключили.

Внутри было тесно. Играть в дурака пришлось прямо на коленках. Ноги затекали. Андрей постоянно лез к нам, нарушая целостность убежища. Мы дважды перестраивали штаб, в итоге задействовав даже кровать, на которую поместили край покрывала и завалили его подушками.

Пока Димка утихомиривал младшего брата, я занял самое укромное местечко под крышей. Вытянув ноги, тасовал карты и ждал начала новой партии.

— Ты случайно не обурел? — возмутился Димка, заглядывая внутрь штаба и снова как-то необъяснимо моргая. — Двигайся.

— Места много ещё. Зря, что ли, перестраивали?

— Это моя комната. Ты у меня дома. И не тебе тут вякать. Двигайся, говорю.

— Надо же, какие мы важные, — расстроился я. — Могу вообще уйти.

— Уходи.

— Думаешь, не уйду?

— Да пожалуйста, — стоял на своём Димка и, выглянув наружу, позвал младшего. — Андрей, иди сюда. Для тебя тут сейчас место появится.

Я резко поднялся на ноги, головой стянув покрывало. Потом пихнул рукой крайнюю к себе подушку и сгоряча пнул по одному из деревянных стульев, ножка у которого и так на ладан дышала.

Андрей сверлил меня непонимающим взглядом, под которым красовалась лёгкая ухмылка. Димка недовольно оттопырил губу и двинул мне в грудь.

— Ты в кого такой обуревающий, а? — возмутился он. — При давай отсюда, водолаз. И не приходи больше.

Я хотел сказать в ответ что-нибудь колкое про негостеприимный братский дуэт, но не нашёл нужных слов и, шмыгая носом, высочил в коридор.

— У нас сегодня есть одна идеальная пара, — прозвучал голос Бориса Крюка из телевизора.

“Вы ещё в дальней комнате парочку не видели”, — подумал я, надевая ничуть не высохшие кеды и пытаюсь открыть входную дверь самостоятельно, чтобы не прощаться с Димкиными родителями.

— Всё, уходишь? — вышла-таки из зала светловолосая тётя Галя, держа указательным и большим пальцами за оправу очков.

Я молча кивнул, стараясь не выдать своей обиды. И, как только дверь открылась, ракетой полетел наверх, оставляя за собой следы от мокрых подошв.

Брат уже собирался домой. Сытый, чистенький и до безобразия довольный. Я же не успел ни наестся от пуза, ни в ванной поваляться. Только под дождём и умылся чуть-чуть.

## ГЛАВА 20. ПОРВАЛОН

На тренировку, разово перенесённую на поздний вечер, почти никто из ребят ещё не пришёл. Ждать было утомительно. Поэтому я, бегло пролистав пару номеров цветного календаря “Спорт” и несколько тоненьких справочников с хоккейной статистикой, надел коньки, попросил отца включить освещение вокруг коробки и выскочил на толком не застывший лёд.

Нарезая круги перед воротами и обводя воображаемых соперников, забивал один гол за другим. Мне куда больше нравилась полная свобода действий, чем всякие упражнения, в которых я не преуспевал, напрасно зля как себя, так и отца. Разок попал в штангу, после чего шайба угодила мне в подбородок, лишь чудом не попав в очки. Без них я уже не мог играть: шайба расплывалась, а мои движения и реакция на происходящее вокруг замедлялись.

Было больно, даже очень. Но ни слезинки не уронил. Всё равно рядом ни души — никто бы не отреагировал: отец в своей каморке сидел, а пацаны, уже успевшие прийти на коробку, играли в теннис на недавно установленном в раздевалке столе.

За бортиком показался автобус. Остановился виритирку к зданию. Я, охваченный любопытством, подкатил ближе и увидел незнакомых мне ребят, выходявших на улицу с баулами и шуровавших в сторону разрисованной двери, ведущей в помещение. Отец их позвал, что ли? Говорил же, кстати, о какой-то товарищеской игре. Действительно. Приглашённая команда. Из Ачинска. Вот так неожиданность.

Евгений Иванович — приезжий тренер, крепко сбитый, круглолицый, черноволосый, с приятной улыбкой — познакомился с отцом в ходе краевого

первенства, когда обратил особое внимание на вдохновенную игру дивногорцев за ДОК. В Ачинске, где была своя хоккейная команда мастеров “Металлург”, спонсируемая местным глинозёмным комбинатом, как раз не хватало доморощенных ребят для участия в масштабных юношеских турнирах. Соответственно, требовалось усиление со стороны. Так между тренерами двух секций и возникла договорённость об очной встрече.

Когда местные парни наконец-то собрались на коробке, ачинцы уже всю катались на незнакомом для них льду, привыкая к обстановке. Отец подгонял нас, вальяжно переодевавшихся, говоря, что соперник зря мёрзнет.

Прежде в полноценных матчах по всем правилам я участвовал только на площадках Красноярска и Подгорного. В Дивногорске же — никогда. Неожиданно нагрянувшие зрители, занявшие все удобные места посреди нами же накиданных снежных куч, под светом высоченных фонарей, дополнительно мотивировали. Мы долгое время проигрывали, но в концовке усилиями брата и Жеки Петрищева соорудили несколько голевых комбинаций и победили с минимальным преимуществом.

На следующий день состоялась ответная встреча. Дивногорск снова выиграл, теперь уже с крупной разницей в счёте, не оставив поникшему сопернику ни единого шанса. Отец в шутку назвал это “порвалоном” — именно так Рыжая произносила слово “поролон”. А завершилось всё радостным для нас объявлением: кое-кого берут в юношеский состав “Металлурга”.

Кое-кем оказались те же самые ребята, что два года подряд выступали за ДОК. В их числе не было лишь приземистого Вадика Шепелева, который в предыдущем сезоне сыграл в Красноярске пару матчей, но затем забросил хоккей и перешёл на футбол, где ему всё удавалось гораздо лучше. А вот худощавый и кривоногий Саня Злов, приглянувшийся ачинскому наставнику своей бесстрашной игрой возле бортов и на чужом пятачке, а также всегда нацеленный на ворота Костя Хомутов, напротив, получили новые для себя жизненные вызовы.

— Поздравляю, парни! Готовьтесь к серьёзным испытаниям, — напутствовал нас в раздевалке Евгений Иванович. — По шарикую покатаетесь. Это вам на всю жизнь запомнится, даже если профессионалами не станете.

Эти слова открыли меня. ДОК навсегда остался в прошлом.

Со следующего сезона мы продолжили выступать в краевом первенстве, но — за ачинский “Металлург”. Отец к тому времени уже ушёл с завода. Платили там всё равно меньше и реже, чем в былые годы. Некоторым выдавали часть зарплаты продуктами или тряпками. Многодетным семьям стало совсем невмоготу.

Отныне отец ежедневно пропадал на коробке, посвящая всего себя хоккейному росту сыновей. Я даже немножечко начал это ценить — благодаря судьбоносному визиту ачинцев в Дивногорск. Мать уволилась из очередного магазина и занималась теперь исключительно домашними делами. Нас с братом ждали увлекательные поездки — вместе с отцом, который должен был помогать Евгению Ивановичу. Матери же предстояло контролировать Рыжую, только окончившую первый класс.

Дикой нужды наша семья, как мне казалось, не испытывала. Хотя роскошных нарядов в домашнем гардеробе не водилось, как и изысканных яств на столе. Родственники помогали чем могли, включая поношенную, но вполне ещё годную одежду. Особенно старались бабушки, приносившие нам домой всевозможные соленья и варенья, сотворённые своими руками.

А вот о карманных деньгах мне пришлось позабыть. Как и о кнопочной игре “Электроника”, в которой волк из “Ну, погоди!” ловил в корзину яйца, падавшие с обоих краёв крошечного экрана всё быстрее и быстрее с каждой минутой. Сперва мы долго не могли купить свежие батарейки. А потом и саму игру, уже изрядно замусоленную, где-то потеряли.

Кое о чём на тот момент забыл и отец — вместе со своими знакомыми, неистово обожавшими футбол. Провал национальной сборной на чемпионате мира уже был историей. Как, впрочем, и сам Советский Союз. От чемпионата Европы болельщики в стране ждали куда большего. Только болеть им пришлось за сборную, представлявшую Содружество независимых государств

и не имевшую ни истории, ни флага. Результата эта команда тоже не доби- лась. Сыграв вничью с немцами и голландцами, футболисты с русскими фа- милиями, но из неведомого мне государства были напоследок разгромлены шотландцами, которые поднялись в рейтинге на строчку выше и оставили СНГ на самом дне — и в группе, и во всём турнире целиком. Отец же, не- одобрительно покачивая головой, вновь упомянул “порвалон”.

— Как живём, так и в футбол играем, — заметили через пару дней му- жики, собравшиеся на коробке погонять мяч на разбитом асфальте.

А жили многие всё хуже и хуже. За исключением тех, кто получил не- гласный статус мафиози, делая деньги на чём угодно и какими угодно спо- собами.

Чтобы сводить концы с концами, отец, договорившись со знакомыми, выбил себе ставку спортивного инструктора — всё того же тренера — на од- ном из крупнейших предприятий Дивногорска. Заодно стал в разы чаще шить на заказ одежду и хоккейную экипировку или просто чинил что-нибудь прохудившееся, из-за чего швейная машинка дома почти не выключалась.

В городе нередко находились желающие обзавестись то игровым свите- ром с собственной фамилией, то оригинальными крагами, смахивавшими на заокеанские аналоги. А отец, с его-то золотыми руками и дипломом портно- го, был и на многое другое способен. Хотя сам ходил в одной и той же джин- совой рубашке — очень модной, но безнадежно выцветавшей.

— Гоча, коньки надо заклепать — сделаешь?

— Шитки с налокотниками реанимируешь?

— А мне краги сошьёшь, как своим сыновьям?

— Говорят, ты маску вратарскую слепить можешь, это правда?

Не было такого заказа, с которым отец не справился бы. И знакомым — качественная вещь по дешёвке, и нашей семье — дополнительная копейка. А сарафанное радио помогало не только стихийную клиентуру привлекать, но и полезными связями обрывать. А без них в маленьком городке станови- лось всё сложнее. Люди теряли работу, оставались без денег. Грабежи и во- ровство, не бывшие в диковинку и раньше, процветали пуще прежнего.

Меня, как и любого другого ребёнка, это не слишком беспокоило. Вме- реди маячила поездка в Ярославль — на первый по-настоящему серьёзный для нас хоккейный турнир. Участвовать в нём должны были двенадцатилет- ние ребята, но Евгений Иванович собирался взять и пятёрку моих ровесни- ков — десятилеток.

## ГЛАВА 21. ФЕЙСОМ ОБ ТЕЙБЛ

Всего за пару месяцев я успел натворить тёмных делишек. Довёл до бе- лого каления математичку, которая давала слишком простые задания и вы- нуждала меня выплёскивать на неё лишнюю энергию — из-за скуки и, чего уж там, ради всеобщего веселья. Изрисовал англичанке журнал за то, что она поставила мне, одному на весь класс, двойку за якобы плохой перевод. Сорвал урок в одном из кабинетов, залепив на перемене замочную скважи- ну жвачкой. Трижды получил кедом по заднице от физрука, услышавшего из моих уст матерную тираду при пересказе анекдота в раздевалке.

Отец уже давно перестал ходить на родительские собрания. Говорил, чтоб я сам расхлёбывал кашу. И что он не станет заступаться, если меня, почти отличника, выгонят из-за отвратительного поведения. Верилось в это слабо: на хоккейных тренировках он тоже, бывало, дико орал, но потом вся- чески успокаивал и извинялся. А Лариса Васильевна если и читала мне но- тации, то настолько дружелюбно и тихо, что услышанные слова вылетали из моих ушей в те же секунды.

Беда пришла из ниоткуда. Совершенно иная, с учителями не связанная. Случилось это в третьей четверти — уже после возвращения из Ярославля, где ачинская команда не снискала себе ни малейшей доли славы, а меня и моих одноклассников, за исключением Сани Злова, сумевшего даже важный гол забить, почти не выпускали на лёд. Что, впрочем, не особо-то и огорчило,

так как по пути на турнир отец по дешёвке купил мне на железнодорожном вокзале Новосибирска целый блок жвачки “Бомбибом” с долгоиграющим дынным вкусом.

Ошалело носясь на перемене по школьным коридорам вместе с Игорем Палкиным, Артёмом Иванищким и Денисом Чесноковым, я не вписался в поворот и случайно столкнулся с пацаном из старшего класса. Рухнули оба. Соломки никто постелить не успел. Поднявшись, я сподобился только на никчёмное и бестолковое “блин”. Пацан же, не разбираясь, врезал мне по плечу, а когда услышал в ответ неловкие, трусоватые возмущения, то дал уже по зубам. А на следующий день после случившегося посланный мне судьбой недруг уже не мог пройти мимо, чтоб не толкнуть меня или не пнуть. Просто так. За всё бывшее. От Чеснокова я узнал, что этот гад живёт с ним в одном доме, посещает какие-то единоборства и что звать его Женей Стариковым. Поэтому, когда меня, в очередной раз получившего без всякого повода тумак и оттого насупившегося, увидел удивлённый брат, рассказать ему всё в мельчайших подробностях оказалось проще простого. Слова сами срывались с языка.

— Этот козёл на класс старше меня учится, — выслушивал мои жалобы брат, рядом с которым стояли Женька Задавакин и Вадик Шепелев, заметно уступавшие своему однокласснику в росте и смелости, но почти везде его сопровождавшие. — Я ему ничего не делаю. Он просто мимо проходит и докапывается. То обзовёт, то ударит, то плюнет.

— Надо этому ублюдку упороть! — немного задавался Шепелев.

— А то вообще страх потеряет, — слегка шепелявил Задавакин.

— Ну, поговорим, значит, с мальчиком. Можно и по сопатке разочек дать, — поддержал их брат и подмигнул Вадиду, — да ведь?

— Всяко, — улыбнулся Шепелев в ответ. — Не можно, а нужно.

Уже на следующей перемене брат выяснил, в каком классе учится Стариков. Спустился на первый этаж, глянул на исцарапанный стенд с расписанием. Снова поднялся наверх и, мысленно пребывая где-то в другом месте, что было видно по его глазам, попросил меня подождать возле подоконника.

Войдя в располагавшийся в самом центре второго этажа кабинет, в котором учительница уже что-то рассказывала ученикам, брат закрыл за собой дверь. Обратный вышел через минуту. Выглядел чрезмерно спокойным. Почти безучастным.

— Всё, он больше не будет, — равнодушно сказал мне брат. — Иди на занятия.

Вот так просто? Несколько дней издеваться, мстить, а теперь — больше не будет? Я отказывался верить в то, что проблема решена. О чём брат мог говорить со Стариковым, ещё и в присутствии учителя? Попросил не лезть ко мне? Ага, так его и послушали. Да и была ли там вообще хоть какая-то разборка? Дома брат всячески меня доставал, а теперь в герои-защитники заделался?

На уроке природоведения я был настолько погружён в свои мысли, что не услышал, как мне задали вопрос. Двойку не получил, но на смех себя выставил.

Когда прозвенел звонок, меня вдруг осенило: если не смешаюсь с толпой, Стариков наверняка мне навалит с удвоенной силой за то, что я посмел пожаловаться брату. Одноклассники уже выходили из кабинета. Поэтому пришлось в рекордно короткие сроки собирать свой новенький портфель, подаренный роднёй на день рождения, и бежать вслед за остальными.

В коридоре я увидел брата. Он стоял ко мне спиной и, крутя головой влево-вправо, болтал с Вадиком. Шепелев увлечённо его слушал и кивал, слегка шурясь и гоняя то вверх, то вниз застёжку-молнию на своей разноцветной олимпийке.

— Я в кабинет захожу, с училкой здороваюсь, — рассказывал брат. — Она у нашего класса ничего не ведёт, даже не знаю её. Вылупилась такая в шоке. Я ей рукой показываю, типа всё нормально, полминутки — и слиняю. Подваливаю к этому чёрту: “Алло, блин, воин, я, блин, что-то не понял!” За затылок его сразу хватаю. Фейсом об тейбл — на!



— В натуре? — усмехнулся Вадик.

— В арматуре. Потом говорю: “Ещё раз моего брата-очкарика тронешь — получишь сильнее”. Перед училкой извиняюсь и спокойно из класса ухожу.

— Не нажаловалась бы только, — ответил Шепелев, веря каждому слову своего друга, после чего повернулся и увидел меня. — О, а вот и братец твой.

Я застыл на месте, пытаюсь понять, правда ли то, что было мною услышано.

— И не только братец, — добавил Вадик, показав пальцем вдаль.

Мы оглянулись. Там шёл Стариков, на лбу у которого и впрямь маячил свежий красный след от удара об стол. Мой обидчик оробело взглянул на нас и спустился вниз по лестнице.

— Вали давай отсюда! — дерзко бросил Шепелев вдогонку уже скрывшемуся из виду Старикову и самодовольно посмеялся, после чего мой брат, нелепо улыбнувшись, одобрительно похлопал друга по спине.

— Он меня точно не выследит где-нибудь? — поинтересовался я на всякий случай. — Вдруг вообще против вас толпу соберёт. Постоянно ведь кто-то двор на двор дерётся. То за школами, то на стадионе, то в лесу, то ещё где. С центами приходят, с касетами. Может, не надо было?

— Говорю же, он больше не будет, — успокоил меня брат.

В последующие месяцы поводов для жалоб не возникало. Моего брата боялись многие. Да и сам я на старшаков не рыпался. Но Шепелев, едва замечая меня в школе, обязательно спрашивал:

— К тебе никто не лезет?

Порадовать друзей брата, почёсывавших руки в ожидании какой-нибудь разборки, было нечем.

— Точно никто не лезет? — решил однажды убедиться Вадик, выглядя слишком уж хмурым в немного слякотный денёк.

— Точно, — неуверенно ответил я, разглядывая очередную убитую собой пару ботинок и вспоминая слова отца, который обещал обуть меня в консервные банки.

— Не может быть такого, чтобы совсем никто не лез. Ты хорошо подумал?

Сменившие мимо нас Вовчик Михайлов и Лёха Ермолаев — отличники, никогда не участвовавшие ни в каких передрагах, на пару секунд сбавили скорость. Будто прислушиваясь, оба с прищуром посмотрели на своих надменных одноклассников, которые окружили меня, как некое тотемное животное. Вовчик иронично улыбнулся, качнул головой и одновременно вздохнул. Затем пихнул застывшего Лёху в бок, и они ушли.

— Ну так что? Лез кто-нибудь? — снова спросил Вадик.

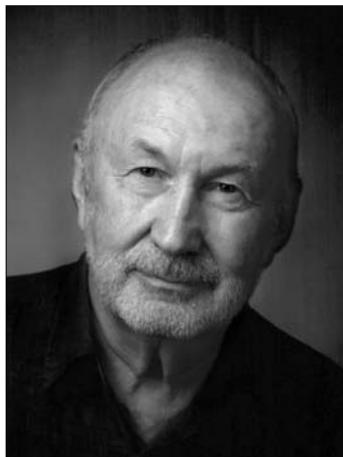
— Не знаю. Не помню. Кажется, никто.

— Ты повспоминай лучше. Всяко же лезли.

Уж очень им хотелось ещё кого-нибудь наказать за меня.

*(Продолжение следует)*

ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВ



“ВРЕМЕНА ГОДА”

\* \* \*

Весна входила незаметно;  
Ночами заморозки висли.  
Снегами пахли первоцветы,  
Как будто бы дышали высью.

И ты влетела в дом, как птица,  
Спустилась из иного края,  
Чтобы опять со мной проститься,  
Всё наперёд, наверно, зная.

\* \* \*

А по голубому небу  
Плывут тёмные облака.  
И молния молча ударит в сердце,  
Как женщина, что обняла.

О, как вспыхнули в небе васильки,  
И простыни пахнут, как цветы в поле.  
А руки ослабшие твои,  
Как лебеди, спят в моём изголовье.

---

*ВАСИЛЬЕВ Ярослав Иванович родился в г. Молотов (ныне Пермь). Окончил Московский геологоразведочный институт, работал геологом, печатается в центральных изданиях с начала 70-х годов. Автор нескольких поэтических сборников. Член Союза писателей России.*

## ЖАРА

Небо, как выцветший василёк,  
Уже устало от синевы.  
И на реке задремал порог,  
Который пеной играть привык.

И всё живое забилося в тень,  
И птицы затихли, как перед грозой,  
И только ветру ещё не лень  
Чуть-чуть шевелить надо мной листвою.

Как будто горячие губы твои  
Мне шепчут и здесь, в глухой дали,  
Что можно выжить и без любви,  
Но васильки — не смогли.

## ЕЩЁ В НАС НЕ БЫЛО ЛЮБВИ

А в августе пошли грибы,  
Лес зааукал голосами,  
Мы не сбежали от судьбы,  
Когда вдвоём с тобой отстали.

Потом, в погаснувшем лесу,  
Внезапно поезд где-то ухнул,  
И мы пошли, как на звезду,  
На станцию в просвете узком.

Ещё в нас не было любви,  
Мы мало знали друг о друге,  
Но то, что будет впереди,  
Уже сплетало наши руки.

\* \* \*

Года идут, и всё темней вокруг,  
И я живу как будто по наитию.  
Друзей всё меньше, и совсем не друг  
Стучит в мою домашнюю обитель.

И за меня он поднимает тост,  
И красный лист срывается с осины,  
А я с годами становлюсь не прост,  
Моё молчанье придаёт мне силы.

\* \* \*

Опали ягоды в саду,  
Давно их никому не надо.  
Дождинки били по ведру,  
Насаженному на ограду.

Ты вспоминала о тепле;  
И яблоки срывались с веток,  
Чтоб долго пахнуть на земле  
Вином и окончаньем лета.

\* \* \*

Лучи легли на хризантемы,  
Твои любимые цветы,  
Скользнули коротко по стенам;  
И снова одинока ты.

И мы с тобой не виноваты,  
Что краток свет у октября;  
Что я любил тебя когда-то,  
Как жёлтый луч на склоне дня.

\* \* \*

Закат был пепельным, с прожилками огня,  
И пахло дымом от садов раздетых.  
Твои глаза с горчинкой миндаля  
Как будто вспоминают лето.  
Да, золото и платину листвы  
Нам никогда не переплавить в кольца.  
Но запах дыма — аромат любви —  
В меня проник и в сердце остаётся.

## ЗАКАТ

Это закат так чадит,  
Что я вытираю глаза.  
Но всё равно — это свет;  
Хоть что-то ты мне оставила.

Надо ценить и такой,  
Когда догорает осень.  
И долго пахнет тобой  
Солнце багровое в соснах.

\* \* \*

Летает в небе мотылёк,  
А небо светло-голубое  
Напоминает василёк,  
Уже поблёкнувший от зноя.

Так всё живет — одно в другом.  
Я знаю, как приходит радость, —  
Природа жертвует цветком,  
Чтоб ты при встрече улыбалась.

Когда уйдёшь, в душе темно,  
Но от себя не запереться.  
И бабочки летят в окно,  
Как на цветок, садясь на сердце.

\* \* \*

Всё запаздывало: весна, лето...  
Только зима пришла рано,  
Сразу за не успевшей остыть осенью;

И снега легли на жёлтые астры,  
На бурые клёны;  
И ты, ещё не надышавшаяся теплом,  
Слизывала снег с губ своих, как с бутона,  
Потому, что душа — вечная,  
А любовь, может быть, не вернётся.

\* \* \*

Солнышко, словно чудак-ювелир,  
Приплатило вереск на гребень горы,  
Вот и растёт он теперь, золотой,  
Подчёркнутый чернью гранитных глыб.

И улыбка твоя, и лицо твоё —  
Как будто и ты ещё в небесах  
Проглядываешь сквозь войлок туч,  
А земля под ногами твоими — мрак.

И всё подвигается к зиме,  
И лучи становятся, как серебро,  
Словно в лучах отражается снег,  
Хотя сегодня ещё тепло.

\* \* \*

Снега и небо стали выше,  
Просторней белые поля,  
И светлый ангел звёзды вышел  
На тёмном небе декабря.

До Рождества ещё не скоро,  
Волхвы прокладывают путь.  
Они идут и слышат Слово,  
И им с дороги не свернуть.

В кормушку накрошили хлеба,  
И рядом — лёгкие следы.  
А может, Дух спустился с неба,  
Но это не заметил ты.

## ЗАХОЛУСТЬЕ

Зима не прячет чувства,  
Белеет всё окрест.  
Распухло захолустье  
В сугробах до небес.

И в них увязло солнце,  
Просело до земли;  
Летят в твоё оконце  
Лучи, как снегири.

В снегу тропинка тонет:  
От вмёрзшей в лёд избы  
Она — как на ладони  
Черта твоей судьбы.

ВИКТОР ГОБОРОВ



## ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ ЧАЙКОВСКОГО

РАССКАЗЫ

СОН НАЯВУ

Расположившись у тихой заводи, я так увлёкся ловом, что не заметил, как закончился душный июльский день и наступил взбадривающий вечер. А клёв с каждой секундой усиливался. Сожалел, что время поджимало, наскоро смотал удочки. Как бы не опоздать на последнюю электричку, да и небо заволочло чёрными тучами. Только двинулся в путь, громыхнуло с разламывающимся треском так, что вздрогнула земля. А чёрную мглу в клочья разорвало ослепительным блеском. Повеяло влажной прохладой. И зашумел, усиливая напор, проливной дождь. Тугие струи чуть не сбивали с ног.

Насквозь промокший, увидел впереди на пригорке деревенское кладбище, и на нём какие-то тени. Привидения, что ли?.. Встряхнул головой, протёр лицо. Но они среди чахлой растительности и крестов проступили отчётливее. Нечто тёмное, покачиваясь, направилось ко мне. Закравшийся в душу страх

---

*ГОБОРОВ Виктор Степанович родился в 1940 году в Смоленске. Окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета. Работал инженером на заводе в Саратове. После службы в армии поступил в аспирантуру Московской военной академии. Кандидат юридических наук. Был направлен в Ленинград на преподавательскую деятельность. В 1991 году вышел на пенсию в звании полковника. Печатается с 1970-х годов. Автор книг "Повести и рассказы", "Храм судьбы", "Я и эмиссар", "Шакалы", "Ордер на предательство", "Орден для капитана". Один из авторов сценария телесериала "Орден", получившего в 2022 году международную премию "Таурус" в Лос-Анжелесе. Живёт в Санкт-Петербурге.*

отступил, когда блеск молнии высветил человека. Утопая в непролазной грязи, он подошёл ко мне. Втянув лысую голову в плечи, низкорослый, широкоплечий мужчина в телогрейке и кирзачах предложил:

— Браток, ты уж прости нас. Уж не побрезгуй. Подойти. Выпей с нами стопку за помин души Марьи Савельевой.

Как некстати! Но делать нечего, и я оказался в группе из двух десятков женщин и мужчин. Почему забрёл в забытые Богом края, не удивились: рыбалка здесь отменная. А узнав, что журналист, пригласили на сороковины в избу покойницы.

Хата покойницы располагалась среди почерневших и покосившихся от времени пустующих домов с заколоченными ставнями. Меня препроводили в просторную, светлую горницу с домоткаными покрытиями деревянного пола. Усадили за стол. Выпили домашнего крепача по стопке. По второй. Съели по поминальному блину. Кто-то из женщин тихо всплакнул. Вспомнили, какая добрая, душевная, хозяйственная была Мария. Ей бы жить да жить...

— От чего умерла? — поинтересовался у соседа.

— Понимаешь, браток, — сказал он. — Тут, как тебе сказать... такое дело...

Заколебался.

— Ну, ну? — Я не сводил с него взгляда.

— Марьянушка, браток, повесилась, — протёр огромную лысину платочком. — Вечером подоила коровку. Очистила хлев. Убрала всё в доме. Посмотрела телевизор. Достала мужнин ремень, на котором год назад повесился он. Накинула на шею. Встала на табурет. Зацепила ремень вон за тот крюк в потолке. И оттолкнула табуретку... — Он тяжело вздохнул. — Вот так, браток. Ещё одна жизнь на том саморучно прервалась...

— Зачем она это сделала? У неё какое-то горе? Или что-то ещё?..

— Нет. Нормальная, здоровая баба в соку...

— Но тогда почему?

— Вот тут, браток, не всё так просто...

— То есть?

— Говори, как есть, — пробурчал густым басом надушенный мужик слева.

— Черёд её пришёл, — кинул кто-то.

— Черёд? — не понял я. — Какой ещё черёд?

— Да что ж тут, браток, неясного? — подхватил сосед. — Все мы, браток, кроме тебя, здесь висельники.

— Как это?..

— Мы, так сказать, браток, поштучники.

— А это что? — Меня брала оторопь.

— Каждый год по штуке залазим в петлю...

Помолчав немного в оцепенении, я спросил:

— И зачем вы это делаете?

Меня будто не слышали.

— Зачем? — повторил я.

Но на их сонно-печально-задумчивых лицах никакой реакции. Лишь сосед неохотно изрёк:

— Это, браток, у нас началось неспроста...

— С чего?

— Со всего, браток, со всего... — загадочно протянул он.

— Можно яснее?

— А с чего ж нельзя? Можно, браток. Вот ты журналист. Это значит, ты видишь, какая у нас теперь жизнь. Ты, может, и доволен. И другие, кто повыше тебя и познатнее. А какова она у нас? А? Наматываешь на ус?

— Но не так всё...

— А ты слушай, браток. Не перебивай, — оборвал он меня. — Вижу по тебе, не хочешь нашу душу крестьянскую понять...

Помрачнев, отвернулся от меня.

— Тут у нас у Василия Кривошеина единственный любимый сын-шестилетка в луже утонул, — вступил в разговор молча наблюдавший за нами,

похожий на цыгана бородач. — Пошёл пацанёнок вон в такой, как этот, дождь гулять. Поскользнулся в луже. И утонул в ней. Может, кто-то помог ему. Это так говорят. Да никто этого не видал. Отвезли его на то кладбище, где тебя повстречали. Отец над гробом убивался, убивался, а потом и говорит: жди, мол, сынок любимый, через месяц и я к тебе приду. Всё одно такая жизнь, как у нас, теперечи никому не нужна. Запил Василий, а через месяц удавился в сенах. Один жил. Жёна во время родов померла. Хватились его дня через четыре. Дверь выставили, ну, а там... И будто Василий глаз дурной навёл тогда на всю деревню поступком своим. Теперечи каждый из нас каждый год петлю на шею затягивает. Счас вот покушаем, попьём и начнём гадать, кто следующий?

“Не сон ли это?..” — в ужасе подумал я.

Из ступора вывел сипловатый голос. Худосочный мужичок с редкой, почавшей сесть бородач и колочими глазками проворковал:

— Если в этом году удавилась Марья, в следующем году должен кто-то из мужиков.

— Это почему так? — запротестовала мужская половина.

Прервав жёсткий спор между женщинами и мужчинами, мужичок уверенно заявил:

— Поди, с десяток лет так выходит — через одного. Вспомните, как Катькин муж Сиволап хотел позапрошлой осенью черёд поломать. Но Катька тогда увидела и вытащила его из петли. Так ведь было? — обратился он к грузному с низким лбом и диковатым взглядом утрутому мужику.

— Так, — буркнул тот под нос.

— Вот я и говорю, — не унимался мужичок. — Аккурат через две недели Дарья, Касьяна Зарина жена, повесилась в сарае под пятницу. А уж на будущий год сам Касьян в колодец сгинул.

Сосед толкнул меня в бок:

— Точно, браток, говорит. Как есть. Касьян у нас единственный был, кто утопился. Он, когда во так же очередного висельника поминал, сказал, что вешаться не будет. Что, мол, противно ему, как хряку освежёванному, на крюке болтаться. Сдержал он, браток, слово...

Спорщики сошлись на том, что на будущий год вешаться будет кто-то из мужчин. И трезвенник. А таковых в деревне осталось двое. И ни тот, ни другой не стали возражать. Только молча выпили друг с другом по стакану и, закусив, понуро опустили кудлатые головы...

Я глядел на молодых, полных сил мужиков и, как ни старался, не мог войти в толк.

— Вы хоть понимаете, что происходит? — не сдержавшись, обратился к ним.

— Станный вы... — с невозмутимым спокойствием ответил один из них.

— Почему странный?

— Вы хотите услышать от меня, хочу ли я помирать?

— Именно, — подхватил я.

— Отвечаю, как на духу, не хочу. Да ещё так грешно. Не по-христиански...

— Отчего же лезете в петлю? — возмутился я.

— Ведь не я, мать их в душу, всё это придумал... — выругался он и тихо добавил: — От судьбы, мил человек, не уйдёшь...

— И сколько вас таких?.. — едва выдавил я из себя.

— Все, кто здесь есть, не считая детей и дряхлых стариков, — словно из преисподней дохнуло на меня.

— Ты вот что, браток, кончай свои расспросы, чтобы не вышло чего дурного, — дёрнул меня за рукав сосед.

— О чем вы?.. — потерянно отозвалось во мне.

— Ни к чему тебе, браток, всё это. Лучше давай я тебя провожу. Пока беда и с тобой не случилась...

Я хотя не разумел, о чём он, послушно кивнул и, словно сомнамбула, поплёлся за ним. Где-то продолжало грохотать и сверкать. Но над нами,



омытые бушевавшим ливнем, ярко и живо горели звёзды. Сосед предложил переночевать у него. Поблагодарив, я отказался.

— Понимаю, браток. Понимаю...

— А я ничего...

Остановился. Он тоже. И, задумавшись, с тяжелым вздохом изрёк:

— М-да...

— Что вы обо всём этом думаете? — спросил я.

— Думаю я, браток, вот что. Это не какая-то дьявольщина. Это болезнь. Страшная болезнь. И кто знает, может, заразная. Очень.

— Надо же её лечить.

— Надо, браток. Надо, — согласился он. — Вот вам, молодым, образованным, и карты в руки, — кинул он сухо и, попрощавшись, торопливо зашагал в сторону дома с чёрными, хищно отсвечивающимися в ночи окнами.

А я неспешно зашагал в сторону полустанка. Удушливые, перевернувшие душу мысли не оставляли меня ни на секунду. И с каждым шагом невыносимей. Испытывая тупую щемящую боль и непроходящую горечь, я шёл с опущенной головой. За спиной замелькали огни фар. Грузовик, поравнявшись со мной, остановился. Из кабины показался парень в клетчатой рубашке и кепке на рыжей голове.

— Куда?

— В город.

— Садись.

— Сколько?

— Оставь. — Он улыбнулся.

Ехали молча. Я украдкой поглядывал на него. Приятного вида, широкоскулый, с добрым открытым лицом. Не назойливый. А в голове: неужели и он из этих? А потому, видать, и деньги ему ни к чему. Наверное, он что-то почувствовал и спросил:

— Что с вами?

— Всё в норме.

Он покачал головой, мол, что-то всё же не то, но больше не задавал вопросов. И я больше не направлял свой взор на него.

Довёз до моего дома. При расставании сказал:

— Вы, наверное, плохо себя чувствуете.

Я кивнул и, поблагодарив его, поспешил к себе. Жена спала. Будить не стал. Достал бутылку водки. Налил стакан и намахнул без закуски.

Утром супруга ушла на работу. Оставила записку: “Всю ночь ты был в поту. Стонал, размахивая руками и что-то бормотал. Такое за тобой не замечала... Рыбалка, любимый, наверное, довела тебя. Теперь одного не отпущу”.

Я умылся, выпил крепкого чаю и отправился в редакцию. Люд спешил по своим делам. Лимузины, сплошь импортные, теснясь, тоже заботливо мчали на всех скоростях. Лишь яркое солнце, укутанное в голубую вуаль, равнодушно поглядывало на бесконечные земные заботы. А у меня из головы не выходил сон... Только сон наяву... Потом я пытался узнать, что за село самоубийц, но так ничего и не выведал. Это было как наваждение и до сих пор осталось для меня тайной.

## ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ

Что влекло нас к этому месту и почему, не ответил бы никто, как и на вопрос, с чего начались здесь наши посиделки. Но как только была возможность, мы тут же оказывались на заветной скамейке под почерневшим от времени раскидистым клёном в глубине городского сада, откуда до нашей альма-матер рукой подать. Здесь мы, молодые, непоседливые, жизнерадостные, полные веры в себя, мечтающие стать великими артистами, звёздами экрана, делились впечатлениями, мыслями обо всём, что волновало нас, — современные театральные постановки, музыкальные хиты, артисты эстрады, ведущие каналов, знаменитые спортсмены, мода... — спорили, травили

анекдоты, сплетничали, покуривали, потягивали пиво, а то и что покрепче... В общем, не скучали.

Как-то в перерыве между занятиями, а денёк был славный: тихий, безоблачный с расщедрившимся солнцем, мы, подходя к своему месту, увидели, что наш любимый уголок занят. На скамейке неподвижно, словно статуя, восседал старик. Странный какой-то. Несмотря на удручающую жару, он был облачён в чёрный старомодный, но аккуратный, тщательно выглаженный костюм. Накрахмаленную, снежной белизны сорочку с жёстким воротничком под чёрный, узкий, маленьким узелком галстук. На голове — новенькая соломенная шляпа, из-под которой, скрывая уши, спадали на узкие, костлявые плечи поредевшие, с отблеском начищенного серебра, волосок к волоску, кудри. Они трогательно и живописно очерчивали узкий овал бледного лица. Застывшее, умиротворённое, оно казалось восковым, а вздёрнутый, тщательно выбритый подбородок и прямая спина подчёркивали достоинство и независимость сильного, решительного благородного человека. Глаза скрывались под круглыми солнцезащитными очками. Рядом лежал потёртый, с большой костяной загнутой ручкой и шёлковой петлёй чёрный зонт, какие можно увидеть лишь в музее. И ко всему этому на ногах — домашние клетчатые тапочки.

— Ну и чудело...

— Отличная фактура!

— А старичок-то ничего...

— Вам бы, девчонки, только бы штаны...

— Нет, ребята, он и впрямь образина, каких поискать!

— Хватит вам, мальчики, измываться над бедным стариком.

— Верно, хватит. Давайте лучше решим, убирать ли его с нашего места?

— Что значит “убирать”? Мы что, бандиты?

— Попросим просто его пересесть. Вон сколько свободных скамеек.

Спор длился недолго: решили оставить старика в покое. Разместились неподалёку и забыли о нём. Приближалась сессия. Она на этот раз оказалась главной темой наших разговоров. Затем стали показывать друг другу этюды, обсуждать их. Кто-то из ребят заметил, что старик за нами наблюдает. И подслушивает. Вначале не придавали этому значения: хочется ему, ну и пусть. Надоест, отстанет. Видать, не надоело. А нас стало раздражать.

— Какого хрена?

— И чего пялится?

— Пялится на наших девчонок!

— Влюбился, старче, в кого-то.

— Во всех сразу!

— Да будет вам, мальчики.

Один из нас даже нетерпеливо вскочил:

— Пойду. Врежу ему!

— Как бы не врезал он тебе, — усмехнулись мы.

— Нет, ребята, я больше так не могу...

— И я...

— И я...

Поняв, наверное, по нашему поведению, что переусердствовал, старик перестал глазеть на нас. Но, внеся раскол, настроение многим испортил. Те, кто настаивал на продолжении тусовки, как и я, оказались в меньшинстве. Начали расходиться.

Расставшись с друзьями, я решил переговорить со стариком, пристыдить его. Направляясь к нему, думал: ну, старик, держись...

“А что, собственно, сделал он такого, чтобы “держаться”?” — мелькнула здравая мысль... Ну, спрошу. Ну, удовлетворю любопытство. Ну и что? А если в ответ заявит, что и не собирался подглядывать за нами. И всё это лишь показалось нам. Или заметит, мол, взглянул случайно. И что из этого? Разве запрещено?

Когда остановился возле него, не знал, что делать, с чего начать.

— Хотите, юноша, поговорить со мной, — первым заговорил старик хорошо поставленным, мягким, ласкающим голосом и указал на место рядом. Я сел рядом. — Слушаю вас, молодой человек.

— Да... вообще-то... — смутился я.

— Ну, ну, смелее.

Но я почему-то молчал. Слетев с ветки клёна, юркий воробышек приземлился почти у наших ног. Громко чирикавая, что-то поклёвывая, запрыгал, не отдаляясь от нас.

— Сколько их полегло в тот день... — нарушил молчание, уставясь в пространство, старик. — А день был, как сегодня, яркий, безоблачный, и невыносимая жара...

Помолчав ради приличия, я спросил:

— Вы о войне?..

— О ней, проклятой... — не сразу ответил он. — О ней, мой юный друг...

— Расскажите.

И он, выдержав паузу, рассказал.

Рота занимала оборону в областном драматическом театре. От старинного величественного здания с мраморными колоннами остался лишь испещрённый пулями и осколками обугленный остов, кучи щебня от внутреннего убранства, перемолотые ряды плюшевых кресел, разбитая, обгоревшая сцена с почерневшими досками бордового занавеса.

Он, бывший актёр, оказался в разрушенном театре. Невольно направился в сторону сцены. “Кто знает, — думалось ему, — может, через секунду-другую меня, как многих товарищей, не станет навсегда. Так хоть в последний раз перед этим поднимусь на подмости, постою там, почувствую себя в том благодатном, вдохновенном, божественном времени...”

В глубине сцены справа вместо двери, ведущей в закулисы, зиял огромный пролом. Среди куч тряпья, смешанного с мусором, он увидел нечто, напоминающее изуродованный, с неестественными вмятинами и выпуклостями скафандр с высокой горловиной, весь стянутый стальными пластинами.

Его пробил возбуждённо-сладостная дрожь. Спрессованный из плотного, толстого картона со стальными стружками, обклеенный серой материей, то был бутафорский костюм Квазимодо, одного из героев романа Виктора Гюго “Собор Парижской Богоматери”. И тут же он решил примерить его на себя. Позабыв о всякой осторожности, отложив винтовку, сняв ремень с патронташем, он с трудом влез в костюм вместе с медалями, орденом Красной Звезды и гвардейским значком. Завязал накрепко тесёмки справа и слева выше пояса и вмиг ощутил бывалый взлёт вдохновения, который всегда охватывал его, как только на спектаклях облачался в такой же. Не единожды он появлялся на сцене в образе Квазимодо. И каждый выход был для него счастьем.

Облачившись в костюм Квазимодо, он поймал себя на том, что заговорил его языком, его словами сам с собой. Заговорил вслух, что не сразу заметил. Медленно, грузно переваливаясь с боку на бок, согнувшись в три погибели, вытянув шею и перекосив до неузнаваемости лицо, подтянутое специальными зажимами, невидимыми зрителю, стал двигаться по сцене. Вдруг замер, понимая, что вот теперь-то он отличная мишень, и любой притаившийся неподалёку гитлеровец в два счёта выбьет у него мозги. Но, несмотря ни на что, он продолжал играть роль.

Вдруг заметил, как из укрытий появляется один, другой, третий боец. За ними следующий и следующий... Вначале в недоумении взирали на него, не соображая, что происходит. Обожжённые, почерневшие от пыли, грязи, дыма, нервного перенапряжения, сверкая белками ярких возбуждённых глаз с чёрными обводами вокруг, его боевые товарищи стали смотреть спектакль в исполнении одного актёра.

Заряжаясь их особым вниманием, он всё громче играл и за себя, и за других персонажей. И вдруг перешёл на совсем иные слова, не из пьесы:

— Вот вам, фашистская сволота! Вот вам, фашистское отребье! Вот вам, гитлеровская мразь! Вот вам, варварское племя! Не сломать вам нас никогда, ублюдки германские! Мы вас всё равно уничтожим. Вырвем с корнем ваше смертельное жало! Никогда вам, грабители и убийцы, не победить нас! Никогда!

Он замолчал, и на развалинах театра воцарилась тишина. Потом бойцы зааплодировали, но тотчас раздался громкий возглас:

— Танки!

Он бросился снимать с себя бутафорию, но тотчас раздался взрыв, и его подкинуло...

Сколько он находился без сознания, неведомо. Очнувшись, понял, что его выбросило из развалин. Он лежал у обочины дороги, проходившей мимо театра. У его стены. В глазах рябь. В голове шум. Трещит затылок. А из ушей — тёплые струйки и звон. И солнце печёт страшно.

С трудом развернувшись и скосив взгляд, он заметил неподалёку два трупа. Один — немецкий солдат, почти мальчишка. С удивлённым застывшим взглядом серых глаз. Возле белобрысой его головы каска. Рядом, привалившись на правый бок, с опущенной стриженной тёмной головой полулежал наш боец, тоже совсем юный. Из небольшого тёмно-бордового пятна на лбу стекала на висок струйка крови.

Тут раздался ляг гусениц, и появились немецкие танки. Скосившись до боли в глазах на движущуюся черную смерть с крупными белыми крестами на квадратных башнях, он не знал, что делать. Винтовка осталась на сцене. Да и смешно с ней против такой машины. Гранаты в прикрытие, которое покинул, уверенный, что в случае надобности в три-четыре прыжка снова окажусь в полной готовности к бою. А теперь, вне сомнения, его непременно обнаружат. И если не расстреляют в упор, непременно ради потехи, как у фашистов принято, превратят в кровавое месиво. Подмывало прикинуться мёртвым. Но тут же подленькую мыслишку откинул: буду биться до конца. Но как?..

Неожиданно взгляд зацепил вроде бы... О Боже!.. — чуть не воскликнул он от счастья. Оказывается, убитый наш солдатик не завалился полностью набок потому, что его подпирала связка гранат. Одна большая с длинной ручкой, а другие поменьше. Он подполз к нему, перегрыз зубами тесёмки, которой были привязаны гранаты к парню, и, почувствовав облегчение, что жизнь теперь задаром фашистам не отдаст, попытался встать. Повернулся на правый бок. Опёрся на локоть и правое колено, чуть приподнялся. Затем схватился левой рукой за торчащий из земли кусок стальной арматуры и, опираясь на неё, медленно, с трудом, не выпуская из рук смертельный груз, поднялся. Постояв, удерживая равновесие, чуть отвёл за спину, как мог, связку гранат и заковылял к проезжей части дороги.

Страха не ощущал. Когда решаешься на что-то невозвратное, он исчезает. Его душила ненависть. Идущий впереди танк притормозил и стал наводить орудие прямо на него. Но выстрела не последовало. Неожиданно открылся люк водителя. Потом башенный. Из них высунулись в чёрных шлемах головы фашистов. Удивлённо уставились на бойца в костюме Квазимодо. На их самодовольных лицах появилась улыбка. А спустя секунду, указывая на актёра, немцы уже тряслись от неудержимого смеха.

Квазимодо, обливаясь потом, медленно, но уверенно, как мог, шёл к ним навстречу, держа за спиной связку гранат. Когда танк оказался на расстоянии броска, когда молодые, наглые, уверенные в своей непобедимости их лица он мог разглядеть до подробностей, отмечая у водителя ямку на тяжёлом, в светлой щетине подбородке, а у верхнего из люка — шрам на левой щеке, он приготовился швырнуть смерть под танк.

Каркас костюма оказался таким жёстким, что рукой не взмахнуть. Её невозможно было даже приподнять. А немцы громко ржали. Почти в полубморочном состоянии, ослеплённый раздражающей его на части ненавистью, собрав последние капли сил, он, развернувшись влево и крутанувшись на правой ступне, снизу вверх из-за колена швырнул связку под танк. И бессиленный, упал...

Когда очнулся в следующий раз, пахло эфиром, смешанным с какими-то лекарствами. Было душно, и в распахнутые окна небольшого помещения, в котором кроме него лежали несколько перевязанных бойцов, глядело порозовевшее солнце. Где-то рядом чирикали воробушки. Пожилой человек в очках, в белом халате и белом колпаке, с седыми усами держал его за руку у запястья, глядя на ручные часы.

— Вот и славно, — быстро проговорил он. — Наш герой очнулся.  
— Как я оказался здесь, доктор?  
— Долгая история, юноша... долгая.  
— Прошу вас, доктор.  
— Да как оказался... Похоронная команда подбирала убитых. Натолкнулась на тебя. Ты был в каком-то странном облачении из железного каркаса.... Скажу тебе, мил человек, если б не твой бронированный костюм... И откуда он у тебя, ума не приложу?..  
— А танк?  
— Сгорел вместе с экипажем. А другие танки не пропустили наши слабые защитники...

Старик замолчал. Опустив голову, глубоко задумался. Только сейчас я заметил, что правое ухо, аккуратно прикрытое волосами, опалено и скручено. Ожог красным пятном на шее уходил под воротничок сорочки. Подрагивающие губы в рубцах, как и почерневшие тонкие пальцы.

Мне стало так стыдно и больно за себя, за ребят. Вдруг старик, не снимая очков, пристально уставился на меня и пробормотал:

— Неважно у нас в стране сейчас... неважно...

Я пожал плечами. А он добавил:

— Было хуже. Смерть нависла над нашей страной. Чёрной, непобедимой, казалось, тучей над нашей страной, но одолели её. И одолеем всё, что встретилось и встречается на нашем пути. Правильно?

Я кивнул.

Спустя много лет я с гастроями оказался в этом городе. При первой возможности помчался к заветному месту. Всё осталось прежним. И клён. И скамейка. Только она пустовала. Сильно волнуясь, приблизился к ней. Опустился. И ощутив, как тревожно сжалось сердце, откинул голову. Небо было так же чисто. Солнце ярко и весело. И даже те же юркие пташки у ног...

## ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ ЧАЙКОВСКОГО

Этот вокзал Смирнов со своими однополчанами защищал с небывалой жестокостью. Доходило до рукопашной. Почти все, кто оборонялся, погибли. Он лежал ничком на усыпанном гильзами полу. Лево́й ладонью пытался остановить хлещущую кровь. Пуля по касательной попала в переносицу и задела левый глаз. Правый тоже почти ничего не видит. Он слышал продолжающуюся где-то перестрелку. Хриплые предсмертные стоны. Крепкий мат. Топот ног. Гортанную немецкую речь. Вдруг почувствовал, как кто-то остановился рядом. “Моя смерть...” — решил Смирнов.

— Ну, мать твою, чего тянешь?! — в ярости вывалил он.

В ответ кованый сапог мыском ударил его под правое ребро. Он с трудом приподнял голову. Единственным глазом, словно в тумане, увидел силуэт фашиста с нацеленным на него автоматом. И опять последовал удар в то же место, аж сломалось ребро. Раздалась требовательная команда на лающем немецком языке, в которой понятными были только слова “руссишес швайн”.

Истекающих кровью пленных вывели на перрон. Кругом трупы. Солнце нещадное. По небу метались, завывая, обстреливая и сбрасывая бомбы на город, бомбардировщики с чёрными крестами. Едва держащихся на ногах пятерых пленных шестеро гитлеровцев с автоматами наготове повели в сторону старого, на холме, кладбища с церковью посредине. Почему решили расправиться там, а не на месте, Смирнов не понимал. Кругом виднелись разрушенные дымящиеся пристройки. Неестественно изогнутые рельсы. Перевёрнутые и искорёженные в огне товарные и пассажирские вагоны. Уткнувшиеся носом в землю и свалившиеся набок, словно гигантские животные, дымящиеся паровозы. Почерневшие ямы от бомб и снарядов. И трупы, трупы, трупы, изувеченные и растерзанные. Дети, женщины, старики. Голова

тяжёлая, будто налита свинцом. Раскальвается. Тошнота непереносимая. Кровь из прикрытой ладонью раны, липкая и солёная, смешавшись с потом, уже не хлестала. Ноги от слабости подкашиваются. А в спину подгоняют то дулом, то прикладом.

Обесиленных расстреляли бы вмиг. Потому мысль напасть на конвой Смирнов отбросил. Помогая друг другу, по насыпи поднялись на шоссе. А по нему без конца и начала — машины с вооружёнными гитлеровцами и песнями во всё горло под губную гармошку, танки, самоходки, пушки на прицепах. И беженцы. Испуганные. Измученные. Господи, не сон ли то?..

У кладбища фашисты прошли очередью истекающего кровью молодого солдата. Смирнов был уверен, очередь за ним. Потому что ноги отказывали. Почти ничего не видел.

По узкой тропке поднялись в гору. Мимо заросших зеленью крестов, обелисков, оградок. Впереди два фашиста и сзади три. Чтобы не оступиться и не упасть, он крепко хватался за кусты, высокую траву, кладбищенские памятники, решётки оград. Хотя не всё ли равно, где уложат..

Вышли на широкую, рассекающую пополам кладбище дорогу. Она вела к церкви. Высокая, округлая с острым шпилем без креста, она была запёрта на широкие деревянные ворота. Перед нею небольшая площадка. Группа гитлеровцев и молодой офицер. Что-то рассказывал. Они раскатисто гоготали. А он, щеголеватый, гордый, довольный, с видом победителя, постукивая тросточкой по голенищу начищенных до блеска сапог, возбуждённо продолжал их улаживать.

Увидав пленных, замолчал. Остальные тоже устали на группу искалеченных солдат. Когда подошли к ним, офицер внимательно, с высокомерным презрением, оглядел каждого. Указал тросточкой на истекающего потом и кровью, с трудом держащегося за Смирнова, и небрежно махнул рукой. Несчастного тут же подхватили подмышки и поволокли в сторону. Тут же последовали выстрелы.

Офицер ещё раз оглядел пленных и остановил холодный, безжалостный взгляд на Смирнове. С трудом выпрямившись, тот взглянул на убийцу единственным глазом и злобно выпалил:

— Чего медлишь, гад? Давай, мать твою!..

Видать, тот передумал и кивнул в сторону церкви. Солдаты вмиг отворили ворота. И вот он уже на пахнущем плесенью и живительной прохладой земляном полу. Отдышавшись, огляделся. В полутёмном помещении с ликами святых на стенах около сотни бойцов. Много раненых, с окровавленными бинтами, с повязками из разодранного нижнего белья. Лежат, сидят, стоят. Почерневшие, грязные. Унылые. Потерянные. Приговорённые. Одна молодёжь. Кто-то бормочет. Кого-то выворачивает от кашля. Стон с разных сторон. Молодой солдатик, обхватив стриженую голову руками, покачиваясь, без конца повторял:

— Мама, мамочка...

В церкви, видать, недавно располагался склад — кругом кирпичи, какие-то колья, доски, арматура.

Смирнов сел. Кажда казалась смертельной. Сглатывая слюны, почувствовал толчок соседа.

— Держи. Только пару глоточков.

Фляга. Трясущимися руками отвинтил крышку. Вода тёплая, но вовек вкусней не пробовал...

Чуть-чуть утолив жажду, вернул флягу и вдруг вспомнил отца. Он воевал в Первую мировую. Его поколению было, пожалуй, не легче. Выдюжили. И мы должны. Обязаны. Ощущая, как укрепляется потерянная вера, Смирнов скинул ремень. Снял пропитанную потом и кровью рубаху. Нижнюю разорвал. Одним из лоскутов перевязал рану. Правый глаз уже видел лучше.

“Вырваться отсюда, если даже восстанем, не получится, — размышлял Смирнов. — Значит, если тут не расстреляют, направят в какой-либо концлагерь. Тогда по пути можно попробовать убежать. Но сколько времени здесь продержат? Может быть, ждут, что кто-то умрёт. Чтобы не возиться с теми,

кто еле двигается, — войне нужны рабы здоровые — пристрелят тут же...”.

Раздумья оборвала музыка.

С привокзальной площади. Из уцелевшего, видать, репродуктора. Видать, немцы нашли первую попавшуюся пластинку и поставили на всю громкость в ознаменование своей победы.

Смирнов узнал эту музыку. Её играл совсем юный пианист из Москвы. Он приезжал в их Пензу на гастроли незадолго до начала войны. Запомнилось: Первый концерт Чайковского для фортепьяно с оркестром.

И вот теперь вновь эта музыка!

Ни стоны, ни вздоха, ни кашля, ни проклятия в сторону захватчиков, даже за воротами стихло. И будто война с взрывами, вспышками, дрожью от бомб отступила. Только музыка владела необъятным пространством, в котором схлестнулись насмерть две непримиримые силы...

Молодой солдатик с забинтованной головой справа от Смирнова стал медленно подниматься. Левая рука безжизненно повисла. Гимнастёрка в области плеча густо пропитана кровью. Пошатываясь, направился на выход. Посреди церкви остановился, откинул голову и застыл. Неужели ему так лучше слышать? Ведь и без того громкость сильная.

Кто-то участливо заметил:

— Поберёг бы себя, браток. Вона как всего измолотило...

Он не шелохнулся.

Внимательно присмотревшись к нему, Смирнов не мог поверить своему правому глазу. Он! Тот самый пианист! Который до войны давал концерты в пензенской филармонии и на открытой площадке в городском парке. Афиши с его портретом были расклеены повсюду. И хотя Смирнов не охоч до классики, но говорили, что из молодых пианист лучший в стране.

Неужели он?!

Музыка не затихала. Сопровождаемый литаврами и барабанами, раздался громopodobный аккорд. Другой... Неудержимо яростные, стремительные, требовательные. А за ними приутихшая мелодия. Упоительная. Нежная. Ласкающая. Будто любящая мать, как в детстве, сладко нашептывает. Отчего слёзы по щекам. Обильные. Обжигающие...

И когда волнообразные отзвуки стали растворяться в оцепеневшей тиши, раздался голос. Негромкий, но чёткий:

— Слушайте...

Затем громче:

— Слышите!..

Все уставились на него.

А он... Высокий. Стройный! Очень красивый. Возвышаясь над пленными советскими бойцами, лежащими, сидящими, стоящими, поднял правую руку. Устремил указательный палец в купол, пронизанный лучами яркого солнца, весь исходящий серебряным светом.

Все заворожённо уставились на пианиста, ожидая, что он скажет. А он вдруг тихо вымолвил:

— Ура, товарищи!..

Подчиняясь его призыву, пленные похватили колья, доски, камни, кирпичи, железные прутья и с яростью рванулись за пианистом к воротам. Разом навалились, и ворота резко и широко распахнулись. И, прошитый очередью, первым упал пианист, за ним другой пленный, третий, пятый, десятый...

Смирнов, сбив ближайшего фашиста, выхватил его автомат. Другим тоже удалось завладеть оружием. Из ста пленных меньше половины вырвались наружу, перебив немецкую охрану.

Но всё-таки вырвались!

И увидели немцев, в панике бегущих под натиском наступающих бойцов Красной армии.

Первый концерт Чайковского!..

### ЮРИЙ ЖУРАВЛЁВ

\* \* \*

Зной мазутный железной дороги!  
Не забыть мне тебя никогда:  
Безотцовщина, бóсье ноги,  
И летящие вдаль поезда.  
Мчался грохот, растянутый в линию,  
Мимо спелых полей и берёз,  
Я любил нашу Родину сильную  
Так, что сердце сжималось до слёз.  
Сколько раз, провожая составы,  
Я мечтал, замирая душой,  
Что я тоже умчусь — не для славы,  
А для службы России большой.  
Разве знал я, что всё повторится,  
Только горьким в груди будет ком?  
Мчится мимо история, мчится,  
Обдавая протяжным гудком.  
Только мы на обочине мира  
Повторяем всех как-то не так,  
Всё свергаем, свергаем кумира,  
А на смену приходит дурак,  
А на сцену приходит ворюга,  
А за сценой разлётся бандит,  
И проклятие русское — вьюга  
Поднимает меня и кружит.  
И опять я пред ней безоружен,  
И опять, хоть отсохни рука,  
Чтоб не выбрать кого-нибудь хуже.  
Тороплюсь поддержать дурака.

\* \* \*

Скоро стану стариком:  
одуванчик белый-белый  
покачнётся облетелый,  
шевельнётся в горле ком.  
Шевельнётся — не беда,  
зря ничто не шевельнётся.  
Посмотри, как тихо льётся  
отзвеневшая вода.  
Посмотри, моя печаль,



на сменяющее племя,  
расставаться в это время  
как бы даже и не жаль.  
И пускай, когда уйду,  
нескудеющую нежность  
одолеет неизбежность,  
вишни вырубят в саду.  
Я прошу твою измену,  
стук поспешный топоров:  
дня и ночи перемены  
в этом лучшем из миров  
неизбежны.

Но прощая...

Но прощая и прощаясь,  
превращаясь в пыль и дым,  
ни минутой не раскаюсь,  
что когда-то молодым  
пел и плакал под гитару,  
целовал чужих невест  
и заслуженную кару  
нёс торжественно, как крест.

Что потом, в кругу учёном  
далеко не крайним был,  
но в корыте золочёном  
рук ничьих не отдавил;  
что потом, уже на склоне,  
уходя уже от дел,  
был пространством удостоен  
различить живой предел.

И поэтому, прощаясь,  
превращаясь в пыль и дым,  
счастлив тем,  
что возвращаюсь  
к тем истокам молодым,  
из которых в странном виде —  
незнакомом, но живом,  
нам на смену некто выйдет,  
думал и мечтал о ком.  
И в душе его лучистой,  
может быть — всего одна! —  
будет петь светло и чисто  
мною задетая струна.

\* \* \*

Никому, никому, никому,  
Никогда просто так не поверю.  
Слово каждое смыслом проверю,  
Цифру каждую вверю уму.  
Друг мой, брат, это так тяжело —  
Самому измерять мирозданье.  
Мир дуален, поэтому знание  
Так легко превращается в зло.  
Как ты мог, научась создавать  
Нити жизни своими руками,  
Как ты мог позабыть, потерять,  
Что тебя создавало веками?

Это просто любому из нас  
И особенно — в поздние годы,  
В бриллиантовый сев унитаза,  
Возомнить себя верхом природы,

И легко превращённому в голь,  
Наломавшись, измучась, изверясь,  
Согласиться на всякую ересь,  
На любую, на низкую роль.

Пей и лей  
Хитромудрую ложь.  
Только знай:  
Ты себя этим губишь.  
Ты когда-нибудь это поймёшь,  
Но уже никогда не полюбишь.

*г. Владивосток*

## **ВИТАЛИЙ АВЕРЬЯНОВ**

### **ИЗ ЦИКЛА “ИМПЕРИЯ ЗЛА”**

В Москву ушли брательники ещё при Кукурузнике —  
В охранники, в гаишники, в помощники у дворника.  
Уже не в подкулачниках — в зятях да подкаблучниках,  
Зато потом племянники вписались в шестигранники.

Мы шупаем лопатники и цыкаем на ценники,  
Бессребреники, скромники, в душе новоплатоники.  
Хотя не побирушники, отнюдь не христарадники,  
Бюджетники и грыжники, поскольку безлошадники...

Ещё вчера сангвиники, мы нынче неврастеники,  
Нам дают подлокотники, нас душат подголовники.  
Все хроники-карбольники, сердечники и жёлчники,  
С запорами в кишечнике, с хандрою в позвоночнике,  
Сначала гипертоники, ан глядь — уж предынсультники!

Ни битники, ни гопники не вышли на субботники.  
А мы сморкались в ватники, ворочая булыжники...  
Мы строили коровники. Мы запускали спутники.  
Былинные целинники и знатные ударники.

Но съели наши полдниги политпросветработники,  
Мандатники, купонники и всякие талонники,  
Пособники поделльников, сподручники приспешников,  
Паскудники и шкурники, по сути — соучастники.

Но мы-то не дальтоники, мы видим, где изменники,  
Чмыри белобилетники, хмыри пятоколонники.  
Все сплошь шестидесятники они, низкопоклонники,  
Теперь правозащитники и первокагорники!  
Получите на пряники, небожьи вы угодники!



Всё в тебе явилось цельным,  
Крепким, зрелым, драгоценным.  
И горят огнём прицельным  
Грани лика твоего.  
Станем чёрною золою,  
Станем светлою смолою,  
Станем пёстрою листвою —  
Станем памятью живой.

Встреть же, осень, превращенье,  
Судеб перевоплощенье,  
Как вселенское Прощенье,  
От обиды откажись...  
И в упор не видя таинств,  
Век живём мы, в них купаясь,  
Каждый миг преображаясь  
В кровь ли, в плоть, в иную жизнь!

И стихии ищут Матерь,  
Ищут общий знаменатель  
И находят, что Создатель  
Их привёл в осенний суд.  
Как ни странно, все спокойны  
И ведут себя достойно.  
Слёзы высохли. И стройно  
Подсудимые идут:

“Наша печь самодержавна  
И полна народным жаром,  
Пламя ровно, православно,  
Ну, а мы... а мы дрова!  
Станем чёрною золою,  
Станем облачную мглою,  
Станем памятью живою,  
Ясной плотью Покровá!”

Осень. Мудрость, вескость слова.  
Хоровод вокруг Покрова.  
Помирать земля готова.  
Смерть пройдёт —

земля жива...

## ИРИНА ШЕВЕЛЁВА

\* \* \*

Ах, какое лето когда-то было!  
В детстве солнце ярко всегда светило.  
Убежать с утра — прибежать к обеду...  
— Де-е-е-да!

— Внучка, как насчёт карасей в сметане?  
Ну, тогда пошли, удочки достанем...  
И за дедом я побегу беспечно  
К речке.



Смотришь вокруг,  
набираясь силы,  
Дышишь глубо́ко,  
вбирая воздух,  
Прошрое видишь простым и милым,  
Будто былое  
всего лишь отдых.

Перерастаешь границы мыслей,  
Чувств  
и эмоций,  
и восприятия,  
Ориентиры прошедших миссий,  
Ближких,  
далёких,  
родных,  
приятелей...

Это случается вдруг,  
внезапно,  
Взрывом,  
нежданным высвобождением,  
Вкусом иным,  
посторонним запахом,  
Вспышкой,  
смыслов преобразованием...

Это случается,  
не со всяким  
В возрасте разном  
у всех по-разному,  
Вдруг в голове прорастает знаками  
Что-то неимоверно-ясное.

Перерастаешь своё мышление,  
Путы срываешь,  
забрала с шорами...  
И, озираясь на поколения,  
Мчишься вперёд,  
как скакун под шпорами.

Мчишься  
и вот  
земли чуть касаешься,  
Воздух становится новой твердью...  
Пусть у виска крутят пальцем  
товарищи,  
Пусть кричат бороды:  
“Что не каешься?” —  
Сети расставив с любовью-верою...

Ты далёк.  
Улетаешь от были суетной.  
Ты обрёл,  
потеряв,  
и стремишься странствовать,  
Наслаждаясь не днями,  
всецело сутками  
От познания древа  
Плодами-яствами.



Жук золотой по ней ползёт,  
Ползёт, родной, своей стезёй,  
Упорно так — как я по жизни...

## ОЛЕГ ГОНОЗОВ

\* \* \*

Я к реке выходил — и пугался  
непривычно холодной воды...  
А на том берегу открывался  
чудный вид — золотые кресты!

И оттуда, как будто из рая,  
раздавался полуденный звон.  
На воде блики солнца, играя,  
превращали всё в сказочный сон.

Я немел, мне хотелось молиться  
в ожиданье последнего дня...  
Только Волги холодной водица  
никуда не пускала меня.

## В БИБЛИОТЕКЕ

В библиотеке свечи и камин,  
как настоящий, только из картона.  
В окне последний журавлиный клин  
и лип осенних золотые кроны.

Звучат слова в уснувшей тишине —  
неведомый поэт стихи читает.  
И кажется, с портрета на стене  
его Некрасов сам благословляет.

А мы молчим, забыв, что есть слова  
другие, а не те, что у поэта.  
И кружится под вечер голова,  
и не хватает воздуха и света.

*г. Ярославль*

## ОЛЬГА ШАБЛАКОВА

### ГАЛЧОНОК

У природы поменялся нрав,  
Дождь со снегом быстро входят в моду.  
Сидя на заборе, клюв задрал,  
Ждёт галчонок тёплую погоду.

В мутном небе мчатся облака,  
Сумрачно под сизым небосводом,



Но упрям галчонок, и пока  
Остаётся там, откуда родом.

Впереди холодная зима...  
Щурится галчонок бестолковый  
На сырые серые дома,  
Хохлится, расплакаться готовый.

Не найти жучков да червячков,  
Рвёт морозный ветер ветки-плети.  
Согревая изгородь бочком,  
Выросший птенец грустит о лете.

\* \* \*

Спят холмы, долины, перелески,  
Спят поля, заросшие травой.  
Не звенит здесь больше голос детский.  
Глушь такая, что на волчий вой

Не залают во дворах собаки,  
Из ружья никто не запалит.  
...Никого не знала здесь. Однако  
Отчего же так душа болит?

Мы идём поэту поклониться  
Улицей бывшего села.  
И хотя вокруг щебечут птицы,  
Тень печали здесь на всё легла.

От домов лишь остовы чернеют —  
Нет хозяев многие лета.  
Вместо кровель кроны зеленеют,  
Вместо песен — неба высота.

Сколько сёл подобных по России  
Затерялось в средней полосе!..  
...Некого спросить, а я б спросила:  
Где они, кто жил в деревне, все?

Чьи они, зияющие окна,  
В сорняках колючих огород?  
Кто они, кем отчий дом отторгнут,  
Что переходил из рода в род?

На каких дорогах счастье ищут,  
Позабыв селение своё?  
Путь ведёт на тихое кладбище,  
Умерла деревня, нет её.

Лишь деревья, растопырив ветки,  
Прячут неприглядный, жалкий вид,  
Да с тоской в глазах паломник редкий  
У родных могилок стоит.

*г. Брянск*

## АНАТОЛИЙ АРЕСТОВ

### РЕЛЬСЫ

Блестящие рельсы — железные нити дороги,  
связавшие прошлое с будущим в крепком объёме,  
холодным металлом сближают родные пороги,  
где счастье закончится радостным мероприятием.  
Ненужная нежность дождя омывает вагоны,  
стекая по стёклам подобием спрятанных вен.  
В плацкарте мелькают покрывшие плечи погоны  
защитников Родины, сдавшихся в водочный плен.  
Размеренный такт отбивающих время колёс  
уносится с поездом дальше к намеченной цели.  
В блестящие рельсы железными нитями врос,  
связавшими прошлое с будущим, песню допели...

### МИМОЛЁТНОЕ

Черёмуха в окна грозит лепестками  
Соцветий цветов. Приоткрою окно,  
Не трону, конечно, бутонов руками —  
Боюсь повредить красоту! Решено!

Поставлю пустую стеклянную вазу  
На свой подоконник и буду смотреть  
В нелепую суть, так приятную глазу.  
Не дам мимолётному я умереть!

*г. Рубцовск*

## ИГОРЬ ТЮЛЕНЕВ

\* \* \*

Из печки выплывает чугунок,  
Позвякивая по шестку ухватом.  
Заслонкой закрывает, как булатом,  
Хозяйка печку... дети наутёк

Бегут на речку мимо тополей.  
Взахлёб смеются и, не зная броду,  
Баркас столкнули в голубую воду,  
А циферки летят с календарей...

На солнечной завалинке сижу,  
За детворой зелёной наблюдаю,  
Как будто в жизни что-то понимаю?  
Наоборот — по правде вам скажу!

Всё ближе, ближе, ближе к рубежу,  
А что за горизонтом — не понятно...  
И перевозчику: — Перевези обратно, —  
Не скажешь вслух по радиоузелу.

## ВЕТЕР

Осень. Ветер сквозь рощу засвищет,  
Как в губную гармошку артист,  
Разметав на пригорке стожище —  
Никого, ничего не щадит!

Зря тревожишь небесные своды  
И крестьянские пажити рвёшь.  
У души не отнимешь свободы.  
Русь за море не унесёшь.

## ЯБЛОКИ ДЕТСТВА

Яблоки падают в руки детей.  
Дети бегут по стерне.  
Дети бегут, превращаясь в людей.  
Розы срывая во сне.

А за спиной невозвратные дни  
Гаснут, как звёзды в пруду!  
В старости спросите: — Где же они?  
Я их никак не найду...

А на рассвете — закаты сожгут  
Прошлые черновики.  
И навсегда ты останешься тут  
В песне простой у реки.

*г. Пермь*

## НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ

\* \* \*

Гроыхнуло по небу и где-то за лесом упало  
Дальнобойное эхо за вспышкой молнии вслед.  
По реке побледневшей мгновенная дрожь пробежала.  
Ветер хлопнул дверьми и смешал с полутьмой полусвет.

И, внезапно родившийся, пляшущий, странный для слуха,  
Шум пошёл шелестеть, теревить на деревьях листву,  
Прибывая к земле колтуны тополиного пуха  
И расчёсывая утомлённую зноем траву.

Ливня гулкий набег печенегом прошёлся повсюду,  
Не оставив в окрестных владеньях сухого клочка,  
И на нашем дворе вмиг наполнил пустую посуду —  
Жестяное корыто, пять вёдер и три чугушка...

## ЛАСТОЧКИ

Ну, как представишь без касаток  
Июль, ильинские жары,  
Цветенье огуречных грядок  
И деревенские дворы?

Перед глазами мальчугана,  
Белёсого, как молоко,  
Они мелькают непрестанно,  
Скользя просторно и легко.

А он, забытый в огороде,  
В блаженной кротости затих  
И слушает, как на излёте  
Трепещут крылышки у них.

\* \* \*

Лопухов подзаборная сила  
Из младенцев меня выносила  
На зелёных своих парусах.  
Ветром в снасти крепёжные било.  
Вкус земли на разбитых губах.

Всё, что есть, начиналось оттуда:  
Предвкушенье доступного чуда,  
Мельтешенье распахнутых дней.  
Гул грозы выходил из-под спуда  
Узловатых сплетённых корней.

Подступало приливами время.  
Пёрло в рост кудеярово семя  
Без оглядки, размашисто, всласть,  
Всеми клетками, фибрами всеми  
За лобастый пригорок держась.

Что там было ещё? Только это  
Небывало длиннущее лето,  
Лопухи, воробьи, мураши —  
Благодатные проливни света  
Для открытой ребячьей души.

*г. Брест*

## **ВИТАЛИЙ МОЛЧАНОВ**

### **НОВОСВЕТЛОВКА\***

*Светлане Мячиной*

Пьют облака рассветы, красят бледные дали.  
Только бы тучи где-то в небе не заплутали,  
Вылили б дождь холодный и остудили раны  
Скорбной земли бесплодной, ужас познавшей бранный.

Танками пропахали без сожаленья нивы,  
Зёрен бы вместо стали — стал бы весь край счастливым.  
Взорванного асфальта режут по сердцу грани.  
Голубь, исполнив сальто, сгинул в густом тумане.

---

\* 13 августа 2014 года украинские каратели вошли в посёлок Новосветловка Луганской области. Ни ополченцы, а тем более жители посёлка не ожидали такого развития событий. Немало ополченцев попало в плен, некоторые из них были расстреляны, местные жители подверглись террору со стороны карательного батальона "Айдар"...



Тявкать, что люди — звери,  
Хитрым аршином мерить  
К выгоде личной дни.  
Ты так не мог, впустую.  
Смело шагнул за двери,  
Став роковой потерей —  
Светочем для семьи.

\* \* \*

...она молила извергов: “Не надо, я маленькая”, —  
Худенькую спину стирая о жёсткий матрас,  
Спутанные волосы на диванном валике,  
Мокрые от пота... Крики закрытых глаз.

Её никто не слушал, прижав коленями руки,  
Только ножонки дёргались птицами в злых силках.  
Первый, второй, двадцатый... Нескончаемо длятся муки,  
Она отделилась от тела, забыв про стыд и про страх.

Сороковой... Когда внутрь проникла монтажная пена,  
Она была ещё жива. В свои четырнадцать лет  
Разорванная, окаменевшая. В крови обои на стенах —  
В алой крови Богородицы, чище которой нет.

И людская, и Божья ждёт насильников кара,  
Пусть будет она страшнее всех существующих кар.  
...на дверце шкафа — молний запараллеленных пара  
И штык-ножом вырезано: “Новосветловка” и “Айдар”.

\* \* \*

Был бы птицей — пел бы песни соловьиным языком  
Всё залиvisteй, чудесней, вдохновением влеком.  
Пел бы дому, пел бы саду, речке быстрой и мосту.  
Но вчера попал в засаду — повязали на посту.

Мыслью — в небо, носом — в камень новосветловской земли,  
Снайпер острым глазом славен — опознали, повели.  
Били так, что еле помню, как я встал тогда с колен,  
Кровь утёр с лица ладонью... Смерть меня ждала, не плен.

Был бы в силах — спел бы песню на орлином языке,  
Духом — ввысь, минуя веси, горы, степи вдалеке,  
И пришла б на помощь стая славных родичей-орлов,  
Разбежалась б нечисть злая, разорившая мой кров.

БТР взревел и дёрнул — натянулся чёрный трос,  
Ополченцу прямо к горлу он петлёй-змеёй прирос,  
Разрывая плоть на части, красную впитал струю...  
В небе, жаворонок, властвуй, Богу скорбь неси свою.

Пусть душа услышит песню вновь на русском языке,  
Прилетели с доброй вестью птицы в рай не налегке:  
В трелях их и боль, и отклик, клёкот — плачи матерей,  
И замученного подвиг, и свобода у дверей!

\* \* \*

Как бойцы, застыли свечи пред иконами в строю.  
Натянув пальто на плечи, я в безмолвии стою.  
Нет ни радости, ни горя, нет ни цели, ни судьбы,  
Лишь Святые Богу вторят, по канону морща лбы.

В запах ладана вплетает аромат горящий воск,  
Сердце бьётся, замирает, остужает правда мозг:  
— Ты молекула, песчинка, только капля вешних вод...  
И Угодника слезинка вдруг по лаку потечёт.

Чёрный август пах убийством, невозбранно сеял страх,  
По Луганску снова выстрел... Жизнь повергнувшие в прах  
В церковь из домов сгоняли и шерстили по углам,  
Что не брали, то ломали, превращая вещи в хлам.

Усмиряя жажду мести, насыщая духом плоть,  
В церкви, Господи, мы вместе, ты возьми нас, Боже, в горсть  
И неси по жизни топкой, защищая от беды,  
Прочь войну с бездонной глоткой, потуши пожар вражды!

Как бойцы, застыли свечи, шлют мольбы на небеса.  
Спят освенцимские печи, в Новосветловке роса —  
Кровь убитых ополченцев — на траве горит огнём,  
И слезу с иконы в сердце каждый чувствует своём.

*г. Оренбург*

ЕЛЕНА ПОНОМАРЁВА,  
ЕВГЕНИЙ РЯБИНИН

## “ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ” В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ “УПРАВЛЯЕМОГО ХАОСА”

Современный мир переживает перманентную трансформацию. Начавшись в конце 1980-х годов, этот процесс прошёл в своём развитии как минимум три стадии. Первая (относительно мирная) отмечена распадом биполярной системы международных отношений, стартовавшим в 1989 году и закончившимся разрушением Советского Союза и социалистической Югославии. Деструкция этих политических систем привела не только к возникновению новых, зачастую несостоявшихся государственных образований на политической карте мира, но и спровоцировала серию этнополитических и военных конфликтов на постсоветском и постюгославском пространствах. Параллельно с переделом территорий и появлением новых властных групп произошло сначала усиление роли США в мировых политических процессах, а впоследствии их превращение в страну-гегемона. Однако создание на обломках СССР и СФРЮ самостоятельных и устойчивых государств, способных проводить суверенную внутреннюю и внешнюю политику, не входило в планы США. Ослабление имеющего потенциал суверенности стран (такowymi, прежде всего, являлись Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Россия, Союзная Республика Югославия, Узбекистан, Украина), которого можно было достичь разными способами, начиная от требований либерализации экономики и заканчивая бомбардировками и применением технологий политических переворотов, осталось стратегией официального Вашингтона.

Вторая стадия трансформации мировой системы – с 1999-го по 2008 год – может быть названа военно-революционной. Впервые после окончания Второй мировой войны страны НАТО без мандата СБ ООН в течение 78 дней бомбили суверенное европейское государство – Союзную Республику Югославию. Итогом этого варварского акта стало не только вбомбливание

---

*ПОНОМАРЁВА Елена Георгиевна — доктор политических наук, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО (У) МИД России; заместитель директора Института системно-стратегического анализа (ИСАН).*

*РЯБИНИН Евгений Вадимович — кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений и внешней политики Мариупольского государственного университета.*



страны в неоархаику, но и отделение части её территории – автономного края Косово и Метохия<sup>1</sup>, а также организация первой в постбиполярный период “цветной революции”, что привело к свержению в октябре 2000 года режима С. Милошевича и определило последующее дробление Югославии.

Серьёзным образом реализацию данной стратегии облегчили события 11 сентября 2001 года. Взрывы башен-близнецов Всемирного торгового центра в Манхеттене, которые унесли жизни 2 977 человек (24 пропали без вести, а 19 террористов в список погибших не включены), осуществленные, согласно официальной версии, “Аль-Каидой” (неофициальные версии весьма убедительно доказывают причастность государственных служб США к данной трагедии<sup>2</sup>), окончательно позволили Белому дому в одностороннем порядке взять на себя право решать судьбу того или иного государства, якобы борясь с международным терроризмом, за права человека, построение гражданского общества и распространение демократии. Однако нигде, куда американские военные и политики “несли демократию”, обозначенные цели не были достигнуты. Зато была создана огромная, постоянно растущая зона нестабильности: серьёзную обкатку технологии “цветных революций” как деструкторов политической системы прошли в Грузии (2003), на Украине (2004), в Киргизии (2005).

Третья стадия может быть определена как ультрареволюционная (отметим, что технологиями смены политических режимов, которые называют “цветными революциями”, к революциям в полном понимании этого слова не имеют никакого отношения, но для удобства обозначения мы используем эту терминологию), хотя её начало связано с другим событием. Операция “по принуждению к миру”, ставшая ответной реакцией России на агрессию Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года, стала переломным моментом в определении и установке пределов американскому и шире – западному – гегемонизму. С этого момента Россия, показавшая всему миру, что постсоветское пространство является её зоной ответственности и защита российских граждан, включая военных, в любой точке мира – приоритетной задачей российского руководства, определила для американской стороны однозначный выбор стратегии “управляемого хаоса” как главного способа воздействия на своих геополитических оппонентов.

Усиление конфронтационного давления со стороны США на Россию, которое выливается, в частности, в активизацию “дуги нестабильности”<sup>3</sup> в Евразии, прежде всего, через серию “цветных революций”, происходит на фоне преломления вектора однополярности – главным трендом современности становится многополярность. Приостановить, замедлить этот процесс США пытаются всеми имеющимися средствами: экономическим и политическим давлением, играми на нефтяном рынке, шпионскими скандалами. Однако одним из самых действенных способов дестабилизации Евразии в русле стратегии “управляемого хаоса” являются “цветные революции”, эдакие “технологические инновации”<sup>4</sup> политической борьбы.

### **Концепция “управляемого хаоса” как стратегия действия**

Стратегема “управляемого хаоса” возникла в глубокой древности. В частности, в китайской традиции “грабёж во время пожара”<sup>5</sup> предусматривает необходимость активных действий, когда противник по каким-либо причинам оказался в сложной ситуации. В трактате “Искусство войны”, традиционно приписываемом древнекитайскому мыслителю Сунь-цзы и датированном второй половиной V в. до н. э., написано: “Когда враг повержен в хаос – пришло время торжествовать над ним”<sup>6</sup>.

В современных условиях хаос может быть вызван падением курса национальной валюты, цен на энергоносители, ростом оппозиционных настроений, применением практики так называемых ненасильственных действий, которые приводят к отставке правительства и т. п., общей демократизацией, которая вполне сравнима с пожаром. Кстати, весьма показательно, что “Искусство войны” является книгой для обязательного чтения в системе военного обучения США.

Что же касается истории возникновения концепции, то её элементы присутствовали также в стратегии Римской империи эпохи завоеваний Галлии, Британии, Дакии. Известно, что римские полководцы целенаправленно создавали военно-политический и социально-экономический хаос в будущих

провинциях Рима, срамливая между собой племена и их вождей, а также лишая противника ресурсов, продовольствия, воды. Похожие примеры можно обнаружить и в политике Чингизидов и Тимуридов относительно владений русских князей, азиатских султанов, индийских махараджей. Ещё больше примеров использования концепции “управляемого хаоса” даёт эпоха колониальных империй Нового времени, а также периоды, связанные с последними мировыми войнами<sup>7</sup>.

Современные события на арабском Востоке и Украине являются звеньями одной цепи и полностью вписываются в разработанную в США геополитическую концепцию “управляемого хаоса” (“контролируемой нестабильности”), авторами которой являются Зб. Бжезинский, Дж. Шарп, С. Манн. Одним из первых ввёл в научный дискурс понятие “управляемый хаос” выпускник Национального военного колледжа (Вашингтон), бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху и советник Госдепартамента по Центральной Азии, советолог Стивен Манн. Его работа “Теория хаоса и стратегическая мысль” впервые увидела свет в 1992 году и имеет прямое отношение к “цветным революциям” в республиках бывшего СССР<sup>8</sup>.

Следует отметить, что в США вопросами целенаправленного влияния на развитие отдельных стран и целых регионов занимаются с 1960-х годов, но лишь в 1990-е годы концепция глобального управления в условиях критичности, хаотизации больших пространств и сообществ получила название “управляемый хаос” или “контролируемая нестабильность”. В то же время следует помнить, что эта концепция не является оформленной в документ внешнеполитической доктриной США. Применительно к политической практике это, скорее всего, некий собирательный образ, вобравший в себя реально существующие принципы, которыми США руководствуются в своей внешней политике. “Усиление эксплуатации критичности” и “создание хаоса” активно используются в качестве инструментов обеспечения национальных интересов США.

Основные положения данной доктрины предполагают:

- объединение в нужный момент и на требуемый период разрозненных политических сил страны-мишени, которые проявляют недовольство в отношении существующей политической системы, законного правительства;
- подрыв уверенности лидеров страны-мишени в своей легитимности, а также в способности защиты власти и государства со стороны силовых структур;
- прямую дестабилизацию обстановки в стране-мишени, поощрение настроений протеста с привлечением криминальных элементов, чтобы посеять панику и недоверие к правительству, осуществить его фактическую делегитимацию;
- организацию смены власти путём, как правило, внеочередных выборов, вооружённых выступлений или другими методами так называемого ненасильственного сопротивления<sup>9</sup>.

Геополитика хаоса опирается, прежде всего, на реально существующее общественное недовольство в стране из-за отсутствия нормальных каналов взаимодействия по линии “власть-общество”, когда негативное самоощущение населения вызывает осознанный социальный дискомфорт, что, в свою очередь, может привести к общепризнанной в обществе неспособности власти функционировать в прежнем режиме. При этом должна существовать некая организационная группа, которая может влиять на внутриполитический процесс в стране-мишени. Для геополитической экспансии нужны также определённые социальные группы или сообщества, которые можно использовать в качестве “инкубатора революционных настроений” (например, оппозиционно настроенная интеллигенция). Такого рода “общины” объективно играют роль “пятой колонны”. По разнообразным информационно-коммуникационным каналам недовольство и идеи трансформации существующей политической системы активно транслируются вовне данного сообщества, что может создавать кумулятивный эффект недовольства.

Современные технологии деструкции государственной системы направлены на перенос агрессии из военно-географического пространства в информационное. Полем битвы становится когнитивное, ментальная сфера, самосознание народа, его национальная и культурная идентичность. Первым шагом в этом направлении является дискредитация, а при возможности и уничтожение традиционных ценностей нации. А для того чтобы внешняя информационная агрессия

воспринималась массовым сознанием безболезненно, она рядится в глянце-вые одежды, представляется как движение по пути прогресса и защиты прав человека. Согласно одному из ведущих разработчиков способов применения информационных технологий в системе национальной безопасности США М. Либицки, информационно-психологическая война является одним из действенных способов поражения противника. По мнению эксперта, следует выделять четыре формы её ведения: культурный конфликт (замещение ценностей), операции против национальной воли (снижение иммунитета нации, деформация её ценностей и традиционных установок), военного руководства и войск противника<sup>10</sup>.

В стратегии “управляемого хаоса” оказываются задействованы, прежде всего, две первые формы. Их успешное осуществление создаёт почву для провоцирования разного рода конфликтов (социальных, этно-религиозных, межнациональных), которые при определённых обстоятельствах могут переходить в “цветные революции”, перевороты, вооружённые конфликты и даже локальные войны. В итоге на определённой территории формируется зона хаоса. В условиях хаотизации пространства размывается национальный суверенитет, разрушается политическая вертикаль власти. В таких условиях национальные лидеры (прежние или новые) становятся более зависимыми от международных групп влияния и транснационального бизнеса, а сами государства — более уязвимы и подвержены различным потрясениям.

Концепция “управляемого хаоса” может быть применима как к отдельным странам, так и на региональном уровне. Наличие нескольких региональных зон деструкции способно породить глобальный хаос, управлять которым будет довольно проблематично. Первым явным симптомом неуправляемости дестабилизированного пространства стало появление на обломках Ирака и Сирии “Исламского государства”, которое, в свою очередь, катализировало напряжённость и нестабильность не только на арабском востоке, но и во всём мире.

### **Шаблоны “цветных революций”: от Белграда до Киева**

Одним из действенных методов “управляемого хаоса” являются так называемые “цветные революции”, отправной точкой которых служит либо требование проведения досрочных выборов, либо непризнание итогов проведённых.

Отработкой технологий будущих “цветных”/“бархатных революций” США занялись сразу после окончания Второй мировой войны — вмешательство в избирательный процесс в Греции, Италии и Франции; смены режимов в Иране (1953) и Гватемале (1954). К тому времени, когда в 1973 году ЦРУ активно содействовало свержению правительства С. Альенде в Чили, методика была уже довольно хорошо разработана и готова к использованию практически в любой части мира.

В постбиполярный период первой страной, где были применены “цветные” технологии смены политического режима, стала Сербия. Поскольку значительная часть сербских наработок была использована во всех других странах, где осуществлялись политические перевороты, выделим знаковые моменты “белградской осени”.

С начала 1990-х годов США и Великобритания снабжали оппозиционные СМИ финансовыми средствами и оборудованием, поддерживали тесные контакты с политическими партиями, находившимися в оппозиции к режиму Милошевича. В ходе ряда встреч в конце 1998 году президент США Б. Клинтон и чиновники Белого дома приняли решение о проведении тайной операции по свержению правительства Югославии. По данным британских аналитиков, смерть Милошевича рассматривалась в случае необходимости “как очевидное решение”<sup>11</sup>.

При существенной финансовой и консультационной поддержке США оппозиционные сербские партии сформировали коалицию “Демократическая оппозиция Сербии” (ДОС). Американский Национальный демократический институт (NDI) разработал предвыборную платформу и технологию избирательной кампании коалиции как на национальном, так и на региональном уровне. NDI также занимался обучением активистов тактическим приёмам в ходе выборов<sup>12</sup>. По сути, США управляли избирательной кампанией ДОС.

В Будапеште под эгидой Международного республиканского института (IRI) были организованы курсы и семинары для членов антиправительственной студенческой организации “Отпор!”. Одним из главных лекторов на этих занятиях был отставной полковник армии США Р. Хелви. Аналогичные центры по подготовке оппозиционеров с конца августа 2000 года заработали в Софии и Бухаресте<sup>13</sup>.

В кампанию по подготовке свержения Милошевича были привлечены различные американские фонды и институты, которые не только щедро финансировали изготовление наглядной агитации (брошюры, плакаты, наклейки, майки, флаги и т. п.)<sup>14</sup>, но и обеспечивали оппозиционные структуры оргтехникой, компьютерным оборудованием, средствами доставки; оплачивали аренду помещений. Один из основателей движения “Отпор!” С. Хомен по прошествии времени признался, что оппозиционеры получали “большую финансовую помощь от неправительственных организаций Запада, а также от некоторых западных правительственных организаций”<sup>15</sup>. Очевидно, что серьёзные средства ушли на подкуп представителей силовых и правительственных структур, а также на подготовку отрядов боевиков, готовых в случае необходимости к вооружённому противостоянию силам правопорядка<sup>16</sup>.

Особо следует отметить роль информационного фактора в подготовке и осуществлении переворотов. В 2000 году роль социальных сетей как детонатора социального и политического взрыва выполняло теле- и радиовещание. США и их союзники вели против режима Милошевича открытую информационную войну. Помимо представления действующей сербской власти как агрессивной и даже фашистской в мировых СМИ, Запад активно работал на её делегитимацию внутри союзной Югославии. В соседних с Сербией странах была построена сеть радиовышек, обслуживающих вещание “Голоса Америки”, “Радио Свободная Европа”, Би-би-си, “Немецкой волны”, “Радио США” и других медиа в СРЮ. Кроме того, с августа 1999 года американские космические корабли и передатчики в соседних странах осуществляли глушение частот государственных телевизионных и радиостанций Югославии, что было грубым нарушением международного права, регулирующего дистанционную передачу информации. К этому следует добавить активную деятельность радиоцентров США, развёрнутых в Боснии и Герцеговине, главной целью которых было прослушивание югославских каналов связи. В свою очередь, Болгария, имеющая собственный центр прослушивания, сообщала американской стороне необходимую развединформацию<sup>17</sup>.

Неприкрытое давление на сербское общественное мнение оказывали и еврочиновики, обратившиеся за несколько дней до выборов с посланием к сербскому народу. “Сдать” Милошевича предлагалось за отмену санкций. Уставшее от многолетних и масштабных санкционных мер, от ощущения “всемирной ненависти” население при массированном информационном давлении связывало надежду на скорейшие изменения к лучшему с уходом прежнего лидера. Сами оппозиционеры не слышали и не хотели верить его пророческим словам: “Каждому должно быть ясно, что они (страны НАТО. — **Е. П., Е. Р.**) нападают не на Сербию из-за Милошевича, а на Милошевича из-за Сербии”<sup>18</sup>. Эти слова зеркально отражают ситуацию во всех странах, где случились или готовились “цветные революции”. На Каддафи напали из-за Ливии; на Асада — из-за Сирии; на Януковича — из-за Украины, так же, как и на Путина давление осуществляется из-за России.

Однако вернёмся к Сербии. На президентских выборах от всех демократических оппозиционных сил был выдвинут единый кандидат — В. Коштуница, что также следует отнести к технологическим приёмам переворотов. Распылённые и враждующие между собой оппозиционные силы не представляли бы серьёзной угрозы режиму, а вот единый “кулак”, который и стал главным символом “белградской осени”, нанёс ему сокрушительный удар. Триггером волнений стало объявление результатов выборов, сделанное якобы независимым агентством, согласно которым Коштуница выиграл уже в первом туре. Реальная ситуация была совершенно иная — в избирательной гонке лидировал Милошевич. Однако “революционный маховик” парализованная внутренней разобщённостью и агентами “глубокого залегания”, щедро финансируемые западными фондами, центральная власть уже не смогла остановить. 6 октября в 22 часа 36 минут в телеобращении, переданном на телестудию “Ю-инфо”, С. Милошевич признал своё поражение.

Это был первый в постбиполярный период мировой истории успешный государственный переворот, подготовленный и реализованный западными спецслужбами совместно с местными НПО. Началась эра “цветных революций”: “революция роз” в Грузии (2003); “оранжевая революция” на Украине (2004), “тюльпановая” – в Киргизии (2005), неудавшаяся “васильковая” – в Белоруссии (2006). “Цветным” атакам подвергались Азербайджан (2005) и Армения (2008), опять Киргизия (2010) и Молдова (2009, 2015), Болгария (2013), Россия (2011–2012), Румыния (2004), Турция (2013) и даже Китай (“революция зонтиков”, 2014–2015). Однако самые серьезные потрясения не только для политической системы конкретных стран, но для всей системы международных отношений принесла серия переворотов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, вошедшая в историю под названием “арабская весна” (2010–2011), а также евромайдан на Украине (2013–2014).

“Цветные революции” готовятся и реализуются (с небольшими вариациями) по одному и тому же шаблонному сценарию, предложенному Дж. Шарпом. Его самая известная книга “От диктатуры к демократии”, ставшая концентрированной выжимкой из философских размышлений (Г. Торо, Л. Толстой, М. Ганди) и практических навыков политической борьбы (Л. Троцкий, А. Грамши, М. Л. Кинг), была впервые опубликована в Бангкоке в 1993 году и предназначалась для бирманских оппозиционеров.

Согласно Дж. Шарпу, в конституционных рамках борьба против “диктаторских” режимов не имеет смысла. Именно поэтому он предложил оппозиции целиком сосредоточиться на организации массового политического неповиновения властям. Основными принципами развития “цветной революции” являются:

- наличие относительно представительной и политически влиятельной социальной группы, не удовлетворённой своим положением и стремящейся к завоеванию доминирующих позиций во властной иерархии;
- наличие довольно широкого слоя населения или групп, из которых могут рекрутироваться участники массовых ненасильственных мероприятий (как правило, это молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет);
- неудовлетворённость значительной части населения реальным положением дел в стране, а также качеством предлагаемых правящей группой реформ;
- слабый контроль со стороны общества над опорными источниками силы и институтами власти;
- наличие в правящем классе сторонников оппозиции и противников лидера<sup>19</sup>.

Начиная с “арабской весны”, вышеназванные принципы дополняются открытыми боевыми действиями между сторонниками и противниками правящего режима. Иными словами, гражданская война стала закономерным этапом “ЦР” – митинги и демонстрации лишь открывают эту возможность для “цветного” движения. В современных условиях уже не важна численность митингующих. Более значимым фактором “ЦР” оказываются потенциальный накал борьбы и готовность больших масс людей выйти на улицу. В переломный момент “революции” достаточно серии провокаций, хорошо срежиссированных акций, имеющих человеческие жертвы, виновниками которых объявляется действующая власть. Кровь и смерть, как правило, оказывают дестабилизирующее влияние на режим и позволяют завершить “цветной” переворот. Именно такая технология была впервые использована в ходе политического переворота в Вильнюсе 13 января 1991 года и 14 января 1991 года в Риге, а также 21 августа 1991 года в Москве во время нападения на колонну БМП под Новоарбатским мостом.

Аналогичный сценарий был применён 20 февраля 2014 года в Киеве. Все жертвы были “списаны” на действующую на тот момент власть, тем самым совершался окончательный акт её дискредитации в глазах украинского населения и мирового сообщества в целом. Последующие расследования показали, что это были сознательные и хорошо организованные провокации, ответственность за которые лежит на противниках действующей власти и так называемых “революционерах”, которые, естественно, своей вины не признают.

## Родовые признаки “ЦР”

Подводя итог сказанному, выделим основные особенности — родовые признаки — “цветных революций”. Во-первых, “ЦР” — это продукт совместной деятельности внутренних и внешних сил, заинтересованных в отстранении от власти представителей определённой политической группы и в её замене на другую, более лояльную по отношению к внешним игрокам и готовую пожертвовать национальными интересами ради личного обогащения и временной власти.

Во-вторых, подготовка и финансирование деятельности внутренней оппозиции в значительной (но далеко не в полной) мере осуществляется внешними игроками. Местный олигархат также принимает активное участие в подготовке — организационной и финансовой — переворота, надеясь на значительные властные преференции в случае победы. Что же касается финансирования “ЦР” извне, то основными каналами передачи средств являются такие организации и фонды, как USAID, USIA, IREX, NDI, GDN, Фонд Форда, Фонд Макатура, Госдепартамент США, Корпус мира, Министерство обороны США. Например, только по данным финансирования данными структурами различных программ можно предположить “готовность” той или иной страны к “ЦР”. Так, в 2000-х годах общая сумма финансирования программ НПО в Украине составляла в среднем 150 млн долларов США: в 2001 году — 145 млн долларов, в 2002 году — 173 млн долларов, в 2003 году — 95 млн долларов, в 2004 году — 133 млн долларов, в 2005 году — 157 млн долларов, в 2006 году — 153 млн долларов, в 2007 году — 154 млн долларов, в 2008 году — 141 млн долларов, в 2009 году — 195 млн долларов. После избрания В. Януковича на пост президента Украины в 2010 году произошло резкое увеличение помощи финансирования третьего сектора, что является косвенным свидетельством готовящейся дестабилизации Украины. В 2010 году на развитие украинского гражданского общества Запад выделил 315 млн долларов, в 2011 году — 289 млн долларов, в 2012 году — 282 млн долларов, в 2013 году — 256 млн. После евромайдана уровень финансирования резко снизился: в 2014 году третий сектор получил 138 млн долларов, а за полгода 2015-го — только 45 млн долларов США<sup>20</sup>.

В-третьих, главными бенефициариями в случае победы “ЦР” являются внешние игроки. Победа в “ЦР” имеет транснациональную и геополитическую природу. В первом случае неограниченный доступ к национальным ресурсам получают ТНК. Во втором — закрепляется влияние на конкретном пространстве страны-куратора и финансиста “ЦР”. В современных условиях это Соединённые Штаты и их ближайшие союзники. Влияние может быть использовано с целью дальнейшей дестабилизации ситуации в целом регионе. Тем самым реализуется стратегия “управляемого хаоса”.

В-четвёртых, для успешного осуществления “цветной революции” необходимо наличие, с одной стороны, комплекса социально-экономических проблем, переживаемых страной в течение довольно долгого периода времени (итоги неолиберальных реформ — рост социального расслоения, безработицы, инфляции; последствия санкций; многоуровневая коррупция) и способных сформировать устойчивое раздражение властью у значительной части активного населения. С другой — должен иметь место фактор обязательных и даже исключительных дивидендов, получаемых сторонниками “революции” в случае её успеха. Таковыми могут быть обещания со стороны внешних игроков отмены санкций, предоставление кредитов, модернизация экономики, предоставление определённых свобод, быстрое вступление страны в наднациональные структуры, например, в ЕС и НАТО.

В-пятых, одним из самых благоприятных моментов осуществления “ЦР” являются парламентские или президентские выборы либо требование их досрочного проведения. Большинство “ЦР” проводилось во время или сразу после избирательных кампаний. В случае незначительной разницы в голосах, отданных за действующую власть и за оппозицию, представители последней ещё до окончательного подсчёта голосов объявляют о победе своего кандидата. Неприятие данной позиции действующей властью ведёт к использованию оппозицией технологических заготовок — от нескольких сотен до нескольких тысяч заранее ангажированных людей выходит на центральное (в идеале, сакральное) место столицы. Тем самым даётся старт бессрочной акции протеста с требованиями либо пересмотра итогов выборов,

либо отставки действующей власти. В случае, если власть не идёт на уступки, может быть активизирован “силовой сценарий” – столкновения с силовыми структурами государства; переход к вооружённой фазе сопротивления.

В-шестых, хотя “ЦР” для стороннего наблюдателя выглядят как спонтанные явления, якобы являющиеся реакцией активных граждан на явную несправедливость, они готовятся долго и тщательно. В ряду обязательных этапов подготовки “ЦР” выделим формирование группы оппозиционных политиков; создание в стране разветвлённой сети НПО не только для раскачки общественного мнения, но и для трансфера денег из зарубежных фондов; делигитимация правящего режима посредством регулярных акций и информационных вбросов; обучение активистов основам проведения протестных акций и методам сопротивления; подготовка события-триггера, способного окончательно дискредитировать власть и перевести “ЦР” в активную фазу.

В-седьмых, “цветные революции” отличает шаблонный сценарий. Технологии “ЦР” обкатываются на примере одной страны, корректируются и затем запускаются далее.

И, наконец, последнее по перечислению, но не по значению. “Цветные революции” не имеют обязательной для социальной революции, революции без кавычек идеологической конструкции, являющейся её обязательным стержнем.

\* \* \*

Знание и понимание специфики “цветных революций” даёт возможность разработки комплексных превентивных мер по противодействию угрозе “управляемого хаоса”, одной из действенных методик которого являются “цветные революции”. Выступая на 70-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН, Президент России В. В. Путин особо подчеркнул, что “экспорт социальных экспериментов, попытки подстегнуть перемены в тех или иных странах, исходя из своих идеологических установок” часто приводили и приводят к трагическим последствиям, не к прогрессу, а к деградации. Агрессивное внешнее вмешательство в ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке “привело к тому, что вместо реформ государственные институты, да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся”<sup>21</sup>. Не допустить повторения подобного экспорта “демократических” революций, оборачивающихся на практике хаосом, причём не всегда управляемым, – задача всех здоровых сил в любой стране мира.

Среди конкретных мер противодействия угрозе хаотизации России и всего евразийского пространства, помимо конкретных шагов государственных спецслужб по выявлению лиц, организаций и фондов, занимающихся подрывной деятельностью и подготовкой политических переворотов, наиболее значимыми мы видим информационно-психологические. Речь идёт о защите “национальной воли” (вспомним М. Либицки), которая возможна через активизацию таких резистентных факторов, как обучение, воспитание, социокультурная идентичность. Обучение формирует картину мира, определяет каналы получения информации, а также уровень анализа и критичности. Воспитание формирует ценности и защиту от негативной информации, даёт уверенность в своей правоте и силе. Принцип “хорошая или плохая – это моя страна” должен стать определяющим в системе воспитания. Социокультурная идентичность защищает общество от манипулирования по тому же принципу, что и идеология.

Иными словами, для предотвращения рецидивов “ЦР” нужна комплексная государственная программа по обучению и воспитанию активных граждан, преданных своей Родине. Без информационно-психологической стратегии развития общества, без должной защиты своего культурного пространства, “своих богов” противостоять “цветным” технологиям, а значит и “управляемому хаосу” невозможно.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Пономарёва Е. Г. Да не будет забыто! Агрессия НАТО против Югославии // Обозреватель. 2014. № 6. С. 83–100.
- <sup>2</sup> См., например, “9/11: Расследование с нуля”. Фильм по материалам расследования Дж. Кьезы. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=3kAZ2XH1zfc>.
- <sup>3</sup> Края дуги нестабильности: Балканы – Центральная Азия / Под ред. Г. А. Рудова, Е. Г. Пономарёвой. М.: Восток-Запад, 2010. С. 12.
- <sup>4</sup> Пономарёва Е. Г., Никифорова А. Э. Инновации как научная и политическая проблема // Свободная мысль. 2011. № 1. С. 36.
- <sup>5</sup> Воеводин А. И. Стратегемы. Стратегии войны, бизнеса, манипуляции, обмана. Красноярск: Ситал, 2011. С. 34.
- <sup>6</sup> Сунь-цзы. Искусство войны. М.: София, 2014. URL: <http://lib.ru/POECHIN/suntzur.txt>.
- <sup>7</sup> Бялый Ю. Управляемый хаос URL: [http://www.intelros.ru/intelros/reiting/reiting\\_09/material\\_sofiy/8441-upravlyaemyj-chaos.html](http://www.intelros.ru/intelros/reiting/reiting_09/material_sofiy/8441-upravlyaemyj-chaos.html).
- <sup>8</sup> Манн С. Теория хаоса и стратегическая мысль. URL: <http://spkurdumov.ru/what/mann/>.
- <sup>9</sup> Рябинин Е. Региональное измерение геополитических конфликтов. Донецк: Изд-во “Ноулидж”, 2013. 311 с.; Рябинин Є. В. Концепція керованого хаосу в контексті побудови сучасного світового порядку // Зовнішні справи. 2013. № 11. С. 32–38.
- <sup>10</sup> Libicki M. C. Whats is Information Warfare? // Strategic Forum. 1995. № 28–31. URL: <https://www.questia.com/library/journal/1G1-129891565/what-is-information-warfare>; Information Warfare: A Brief Guide to Defense Preparedness // Physics Today. 1997. Vol. 50. September. P. 40–45.
- <sup>11</sup> Beaver P., Vulliamy E., Bird Ch. Clinton Tells CIA to Oust Milosevic // The Observer. London. 1998. November 29.
- <sup>12</sup> Technology is Transforming Democracy. URL: <https://www.ndi.org/technology-transforming-democracy>; Serbia. NDI Programs. URL: [https://www.ndi.org/serbia?quicktabs\\_country\\_page\\_tabs=0#quicktabs-country\\_page\\_tabs](https://www.ndi.org/serbia?quicktabs_country_page_tabs=0#quicktabs-country_page_tabs); Serbia 2000: Election Watch. URL: [https://www.ndi.org/files/1071\\_yu\\_2000electwatch.pdf](https://www.ndi.org/files/1071_yu_2000electwatch.pdf).
- <sup>13</sup> The Balkans are Latin Amerika for CIA // Monitor. Sofia. 2000. August 28.
- <sup>14</sup> Dobbs M. U. S. Advice Guided Milosevic Opposition // Washington Post. 2000. December 11.
- <sup>15</sup> Элих Г. Сербия: переворот 2000 года – шаблон для “цветных революций” // Убийство демократии: операции ЦРУ и Пентагона в постсоветский период. М.: Кучково поле, 2014. С. 82.
- <sup>16</sup> Ильченков П. “Экспресс-революция” в Сербии // Оранжевые сети: от Белграда до Бишкека. СПб.: Алетейя, 2008. С. 62, 83.
- <sup>17</sup> Элих Г. Сербия: переворот 2000 года – шаблон для “цветных революций”... С. 84–85.
- <sup>18</sup> Говор Председника СР Југославије Слободана Милошевича // Политика. Београд. 2000. 1 Октобра.
- <sup>19</sup> Шарп Дж. От диктатуры к демократии. М.: Свободный выбор. 1993. 72 с.
- <sup>20</sup> Foreign aid dashboard. URL: <https://explorer.usaid.gov/>.
- <sup>21</sup> Выступление Президента России В. В. Путина на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 28 сентября 2015 г. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/50385>.



МИХАИЛ ЧЕРНУШЕНКО

## РЕВОЛЮЦИЯ И РОССИЯ. СТАЛИН И ПОБЕДА

(Опыт теодицеи)

### Война

Чем кто согрешает, тем тот и наказывается. Не хотели самодержавной монархии — получили анархию и разруху, а потом вдесятеро более жёсткую власть. Не хотели верить в Бога — стали верить в выдумки человеческие и спорить до смерти о деталях этих верований. Восхищались всем “прогрессивным”, что порождала Европа, — и Европа сначала одарила нас марксизмом, а потом пришла в своём предельно откровенном фашистском, точнее, в нацистском облике. Не хотели вытерпеть тяжёлую войну с Германией кайзера — получили вдвое, если не вдесятеро, страшнейшую войну гражданскую, а потом — всё равно войну с Германией, только уже с Германией Гитлера.

Об этой войне рассказывать как-то неловко, казалось бы, все должны о ней знать хотя бы главное. И понятно, что и о том, что считать главным, будут споры. И тем более будут споры, если я коснусь темы Божьей воли и промысла Бога, явленных в событиях войны. Тут уж ожидать согласия невозможно, ибо я и сам лишь хочу **угадать** истину. Но и промолчать о том, о чём угадываю, не хочу.

Для нас, русских, мир после войны и Победы стал иным. Навсегда. Дело не только во всемирном авторитете русского имени и не в праве вето в ООН. Дело в том, что мы заглянули в глаза смерти. Смерти всего народа, которую тогда почти каждый осознавал и как свою смерть.

В годы революции многие заговорили о **смерти** России. Но, несмотря на весь кошмар братоубийства и смертельной разрухи, миллионы активных людей верили в новую **жизнь**. Она оказалась тяжёлой и сложной, но и надежды были сильны.

А в 1941 году иллюзий не осталось. **С Запада шла смерть**. Они шли нас убивать. Если не каждого как индивидуума, то каждого как часть народа, который не должен был остаться в истории.

Мы тогда были больными, всё ещё травмированными революцией. Гражданская война разъярала нас на части. И нацисты это знали. Но они не успели узнать, что Сталин уже немножко срстил нас мёртвой водой. И они шли нас добить. Думали, что это легко получится. Но вместо этого капли живой воды стали оживлять богатыря. Мы победили смерть.

Даже помрачение ума 1991 года не стёрло этой памяти. Наоборот. Обновило её. И не случайно столь массовое участие русских в Бессмертном полку.

Мы знаем случаи возвращения к жизни уже умерших людей. Такие люди меняются бесповоротно. Они узнали такое, что делает все их прежние заботы пустяковой суетой. И даже те, кто не умирал по-настоящему, а всего лишь ходил по грани жизни и смерти, выходят из этого пограничного состояния другими людьми. У них другие глаза. Они видят другое.

Так и наш народ. Мы соборно пережили борьбу на грани жизни и смерти, и с тех пор заботы “нормальных” народов нам порой кажутся детскими забавами или подростковым выпендрёжем. Мы не враги им. Мы просто узнали такое, чего им никогда не узнать. И мы даже не можем пожелать им узнать **это**. Мы не можем желать им узнать взгляд смерти в лицо.

Вероятно, мы не одни такие. Сербов тоже истребляли. По крайней мере, в Боснии и Краинах. Китайцы тоже в своё время прошли вблизи грани смерти.

Особый разговор о евреях. Тут есть что помыслить о Промысле Божиим. Но об этом чуть позже.

Самое главное — это то, что Россия в этой войне оказалась на стороне добра. Не в смысле безгрешности действий, чего не было и не могло быть, а в смысле самом простом — сохранения жизни.

Привитый России с Запада грех революции и гражданской войны и сам по себе должен был убить её. Но для надёжности Россию должен был добить ещё и абсолютно беспощадный враг, воплощение inferнальности. Одни только горы очков, волос, детских тупфелек, собранные в лагерях истребления людей, свидетельствуют о природе Европейского Третьего рейха.

И Победа ценой напряжения всех народных сил спасла жизнь народа и страны. Спасла ещё и тем, что кончилось истребительное гонение на Церковь, она была восстановлена в правах и воссоздана в своих институтах, хотя, конечно, не вполне.

И сама эта необходимость напряжения ВСЕХ народных сил резко притупила внутреннюю гражданскую войну. А начало этому прекращению ещё в конце тридцатых годов было положено Сталиным, стремившимся переместить центр власти из структур партийных в структуры общегосударственные.

### **Право жить всем. Зачем война шла так долго**

Говоря иначе и попросту, **всем людям надо было дать право жить**. После обязательной классовой ненависти гражданской войны в СССР это утверждение было совсем не банально. И оно было явно несовместимо и с германским нацизмом, совершенно очевидно имевшим цель поработить “арийцами” одни народы, а другие истребить.

В преддверии войны вышел фильм “Александр Невский”, явно далеко ушедший от революционных идеалов 1917 года. Вот мнение современного зрителя о нём:

“Безусловно, радует основная линия, идущая вдоль сюжета, — вера. Не просто вера, а ценности, исконные русские. Очень красочно показывает мировоззренческую разницу между Западом и Русью одна из первых сцен, там, где спасённый самим князем рыцарь предлагает не скорбеть Александру по убитым, так как убиты были слуги, и его светлая милость не должна горевать по таким пустякам.

На это князь новгородский отвечает ему, что не слуги, но люди были убиты, а не скорбеть по людям нельзя. В этой короткой, казалось бы, мелькнувшей сценке заложена вся разница в сущности бытия православной и католической церкви.

Католики достаточно чётко представлены в виде громоздкого управленческого механизма, угнетающего и покоряющего всё на своём пути, где человек не более чем маленькое устройство, выполняющее определённый набор функций, в случае гибели устройства его место займёт другое и продолжит действовать.

Вообще, в фильме достаточно много времени уделено вопросам религиозным”.

Обратим внимание на то, что неслучайно накануне тяжёлой и кровопролитной войны Сталин на всю страну озвучил слова: не скорбеть по людям нельзя!

Наталья Алексеевна Нарочницкая в книге “Россия и русские в мировой истории” говорит, “что ещё в 30-е годы И. В. Сталин осуществил вместе со своими ближайшими соратниками по Политбюро ЦК ВКП(б) какой-то коренной

пересмотр существовавших до этого идеологических установок по религиозному вопросу”.

Документы открылись лишь в конце 1990-х годов, подтвердив, что “ещё в 30-е годы состоялись важнейшие решения Политбюро ЦК ВКП(б)... которые подвергли радикальному пересмотру существовавшую ранее беспощадную ленинскую политику по отношению к Русской Православной Церкви.

При этом... ни в прессе, ни в опубликованных партийных документах об этом специально не говорилось”.

Наиболее значимым, определяющим решением по данному вопросу, по мнению эксперта по взаимоотношениям Церкви и Советского государства Алексева, явилось совершенно секретное решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1939 года за № 22 в протоколе № 88, которое, как пишет в 1999 году автор, “до сего дня не только никогда не публиковалось, но и видеть его могли лишь немногие”.

Под скромным названием “Вопросы религии”, но с грифом “Особый контроль” и четырьмя дополнительными грифами секретности папок хранения (“Особой важности”, “Совершенно секретно”, “Особая папка”, “Рассекречиванию не подлежит”), этот документ делает крутой поворот от ленинской воинствующей атеизации населения и культуры в стране, где три четверти населения были верующими.

Как гласит документ, “по отношению к религии, служителям Русской православной церкви и верующим ЦК постановляет:

1. Признать нецелесообразной впредь практику органов НКВД СССР в части арестов служителей церкви, преследования верующих”.

В пункте 2 прямо говорилось:

“Указание тов. Ленина В. И. от 1 мая 1919 г. за № 13666/2 “О борьбе с папами и религией”, адресованное Пред. ВЧК тов. Дзержинскому Ф. Э., и все соответствующие инструкции ОГПУ-НКВД, касающиеся преследования служителей церкви и православноверующих, — ОТМЕНИТЬ”.

Великая Отечественная война окончилась так же, как и Отечественная война против Наполеона, в столице врага на Христову Пасху, на праздник победы над смертью. Победа Советского Союза над рейхом спасла жизнь не только России и соединённых с нею народов, она спасла и жизнь народов Европы и всего мира. Им была возвращена жизнь, свобода от необходимости поклонения inferнальному злу, каковым был нацизм.

Почитайте книгу “Капут” Курцио Малапарте — он знает, чем была тогдашняя Европа, от королевских семейств и элит рейха до бездомных калек неаполитанских трущоб, которым одним, может быть, дозволялось открыто являть человечность.

А европейский нацизм был создан и выпестован глобальной финансовой элитой Запада, и после 1945 года эта элита не исчезла, а только набралась сил на своей половине Земного шара.

Так вот, имя Иосифа Сталина, маршала той великой Победы 1945 года, означает не только Божий бич, которым наказывалась подпавшая греху революции Россия. Имя Сталина означает и преодоление этого греха гражданской войны. И это же ещё имя возвращения к жизни **Победой над смертельным врагом внешним**. И не только в мае 1945 года.

Ведь в августе были взорваны американские атомные бомбы в Хиросиме и Нагасаки. И планы Запада по истреблению Советского Союза посредством ядерных бомбардировок, выраженные в задуманной операции “Немыслимое”, вполне могли бы реализоваться, если бы Сталин с Берией не успели создать свою бомбу, — кстати, не где-нибудь, а в Сарове, не без благодатной помощи Саровского преподобного Серафима, надо полагать.

Если вдуматься, то открываются новые стороны спасительного Промысла Божия. Операция “Немыслимое” не была реализована в те несколько лет монополии Запада на ядерную бомбу ещё и потому, что за несколько лет войны общественное мнение Англии и Америки успело приучиться сочувствовать Советскому Союзу в его трагической борьбе с нацистским рейхом.

### Анатолий Кузнецов. “Бабий Яр”

Есть такая незаурядная книга — “Бабий яр” Анатолия Кузнецова. Автор дал ей подзаголовок “Роман-документ”, но документ этот получился как бы **двойным**.

Анатолий Кузнецов жил в Киеве на окраинной Куренёвке, и во время нацистской оккупации города с сентября 1941-го по начало ноября 1943 года ему было от 12 до 14 лет. Мальчик с цепкой памятью, дотошный в оценках событий, способный сочувствовать людям в беде, он запоминал и записывал всё, что вокруг видел. Уже и после освобождения города в разные годы он находил выживших свидетелей и описывал с их слов, что происходило в Бабьем Яру и в сопряжённом с ним Сырецком концлагере.

Этот рассказ охватывал и полные драматизма финальные недели существования лагеря. Тогда специальный отряд из нескольких сотен заключённых выкапывал бесконечные слои гниющих трупов, складывал их штабелями вперемежку с дровами в огромные, инженерно продуманные печи, собранные из кладбищенских надгробий, и сжигал с помощью нефти. Золу выгружали, разбрасывали и складывали новый штабель трупов. В одну закладку входило тысячи две тел. Немцы не жалели дефицитной нефти, они заметали следы массовых расстрелов.

Расстрелы в эти последние недели оккупации Киева не только не утихли, а, наоборот, интенсифицировались. Истреблялись все мало-мальски подозрительные. Уничтожили зачем-то официанток из офицерских столовых и “кабаре”. Впрочем, теперь не столько расстреливали, сколько морили угарным газом в специальных фургонах. Эти “газвагены” подгонялись прямо к месту сжигания, что сильно упростило логистику предприятия.

Ровно во вторую годовщину начала расстрелов в Бабьем Яру, 29 сентября 1943 года, тайно организовавшись накануне намеченной на этот день их собственной ликвидации, заключённые смогли восстать, перебить часть охраны и разбежаться по округе. Пятнадцать человек смогли выжить, дожидаясь прихода Красной армии и повоевать в её рядах. Девятеро дошли до Победы. Кузнецов приводит список этих людей и даже отмечает, кто и чем занимался после войны в гражданской жизни.

“Роман-документ” опубликовали в 1966 году в журнале “Юность”, но текст был существенно испорчен редакторской цензурой. Переиздание отдельной книгой мало что исправило. К этому времени повзрослевший автор надышался воздухом хрущёвской “оттепели”, и борьбу за правду своего романа постепенно сопряг с тогдашней борьбой диссидентов с Советским Союзом. В 1969 году вместе с фотокопиями своих рукописей он сумел бежать из СССР в Англию, где издал свой “роман-документ” уже как бы со “вторым этажом”. Во-первых, он показывал, какие фрагменты были из книги выброшены глупой редактурой перестраховщиков из “Юности”, а во-вторых, дописывал новые комментарии, которые по сути сводились к тому, что СССР Сталина (как, впрочем, и Хрущёва, и так далее), мол, ничуть не лучше Германии Гитлера. В 1979 году Анатолий Кузнецов умер.

Но когда внимательно читаешь эту увлекательную книгу, то замечаешь, что **документом** “второго этажа” оказываются вовсе не уничтожительные оценки Советского Союза. Эти оценки вполне произвольны. Документом же они становятся в сопоставлении с собственным рассказом автора о событиях войны. Документом, характеризующим не СССР и не Сталина, а сами эти поздние оценки, их надуманность и фальшь.

Например, автор патетически подчёркивает, что всё в этом документальном романе — правда. И под этот тезис подтаскивает утверждение, что все выжившие в немецком плену советские военнопленные автоматически арестовывались и отправлялись в лагерь советские.

Можно, конечно, было бы исследовать архивы или рассказы свидетелей и убедиться, что побывавшие в плену направлялись, да и то не всегда, в лагерь **проверочно-фильтрационные**. Это не концлагеря и не тюрьмы. Из них после проверки подавляющая часть отправлялась служить в армию, тогда как аресту и суду подвергались лишь несколько процентов — а не “все”, как пишет поздний Кузнецов эпохи своей жизни в Англии. Но более просто и наглядно утверждение Кузнецова опровергает сам же Кузнецов своей же книгой, где приводит уже упомянутый список людей, вырвавшихся из немецкого концлагеря и потом служивших в Красной армии и свободно трудившихся после демобилизации в Киеве и других местах страны.

Узники Сырецкого концлагеря имели возможность сравнить свой лагерь с лагерями “сталинскими”, так как некоторые из них до войны успели побывать и там. “Любой советский лагерь по сравнению с Бабьим Яром — курорт”.

Эти слова приводит сам же Кузнецов. И зверства немецких (или, к примеру, хорватских) лагерей – это не случайность, не “эксцесс исполнителя”. Расчеловечивающее зверство сознательно планировалось творцами нацистской системы.

Для киевского мальчика, выживавшего со своей мамой при немцах, прятавшего красный флаг, писавшего наивные листовки, укравшего у немцев винтовку и с нетерпением ждавшего освобождения, не было ни малейших сомнений, что с немцами к ним пришла смерть, а с солдатами Красной армии – спасение от смерти. Бедность, убогость, глупость, грубость, зашоренность и даже несправедливость каких-то сторон советской жизни не отменяли того простого факта, что это была жизнь, и её целью была жизнь людей.

Подводя итоги двух лет в оккупации, Анатолий Кузнецов приводит целый список из десятков причин, по которым его **должны** были по всем законам, правилам и распоряжениям немецких властей **расстрелять**. Он выжил в виде исключения, просто потому, что не попался. А он должен был бы быть многократно расстрелян – за спрятанный красный флаг, за недонесение о беглом советском солдате, за ношение валенок, за кражу свёклы с грузовой трамвайной платформы, за работу на уклонявшегося от налогов колбасника, за уклонение от отправки в рейх на работу по достижении 14 лет, как и за множество других “преступлений” – от несдачи “излишков” продовольствия до пребывания с матерью осенью 1943 года сорок дней в запретной прифронтовой зоне, то есть в своём же собственном доме. За одно это расстрелять могли сорок раз.

Как пишет автор, “при этом я не был членом компартии, комсомола, подполья, не был евреем, цыганом, не попался в заложники, не совершал открытых выступлений, не имел голубей или радиоприёмника, а был ОБЫКНОВЕННЕЙШИЙ, рядовой, незаметный, маленький человечек в картузе. Но я уже НЕ ИМЕЛ ПРАВА ЖИТЬ, если следовать установленным властями правилам”.

Надо отметить, что немецким фронтовикам, ставшим на постой в их с мамой доме, распоряжения оккупационных властей в отношении гражданских лиц были безразличны, и они даже вполне человечно делились с ними едой и впечатлениями от страшной войны. Правда, погибнуть мальчик всё равно мог бы очень легко как от какого-то патрульного, уже успевшего уверенно прицелиться в него, но почему-то не выстрелившего, так и от снарядов и бомб советских штурмовиков.

Когда эти Ил-2 методично пропахивали своим огнём занятые немецкими войсками окраинные кварталы города, из которых гражданское население было вроде бы выведено, то бывалые немецкие солдаты в беспомощном ужасе вжимались в землю. Но вот что делали мальчик Толя и его мама в окопе на собственном огороде:

“Из-за садов и домов вырвались самолёты, затряслась земля, словно какой-то разъярённый великан барабанил по ней, ходуном заходили балки перекрытия, посыпались струи земли, мать грубо затолкнула меня в глубину, упала сверху, накрывая меня собой, а когда грохот стих, она выглянула, бормоча, словно молилась:

– Голубчики, так их!

Она схватила меня, обезумевшая, раскачивалась и говорила не столько мне, сколько “им”:

– Пусть и мы погибнем, но сколько можно – бросайте! Бейте их! Так их! Пусть нас, но чтобы и их!

Боюсь, что вы этого не поймёте или не поверите. У меня внутри скопились истерические рыдания. Я любил эти самолёты, этих НАШИХ, которые в них сидели и знали, что здесь только немцы, и чесали, что надо. Вот, значит, как их гонят, мерзавцев.

– Чешите, голубчики, чешите!”

Когда Кузнецов был мальчиком, он точно знал, где НАШИ, русские, и почему без НАШИХ, русских – смерть. И даже хуже смерти.

## Шоа

В некоторых странах существует уголовная ответственность за “отрицание Холокоста”. Очевидно, что отрицать факт геноцида евреев в Европе Третьего рейха невозможно: нацисты уничтожали их предельно тщательно. Столь же

старательно европейские нацисты истребляли также цыган. Менее систематично, но тоже массово убивали русских и сербов. Кстати, быть коммунистом тоже означало быть убитым или как минимум посаженным в концлагерь, причём за коммунистов нацисты принялись ещё задолго до того, как приступили к “окончательному решению проблемы евреев”. И хотя в реальной пропаганде у гитлеровцев “жиды и коммунисты” шли нерасторжимой парой, но о коммунистах как о жертвах европейского нацизма говорят ныне с неохотой, тогда как истребление евреев порой представляют чуть ли не главным содержанием Второй мировой войны.

Главное или не главное, но это истребление – очевидный факт. Немного сложнее с канонизированной цифрой этого истребления – “шесть миллионов евреев”. Никакой реальный точный подсчёт по множеству причин невозможен. Немцы учёта убитых не вели, а если где-то и вели, то документы уничтожались. Демографическая статистика крайне приблизительна и запутана как быстрыми переменами государственных границ Польши, Румынии, СССР и других государств, так и перемещениями населения.

Неясно к тому же, кого именно и по каким критериям считать евреем. По записи в советском паспорте? По стандартам раввинов? По правилам иммиграционных служб Израиля? По тем же критериям, по которым фашисты уничтожали еврейское население? Но эти критерии менялись. Например, караимов в какие-то периоды уничтожали, в какие-то нет. Где-то крестившихся евреев не трогали, а где-то их истребляли наравне с некрещёными.

Как считать умерших в связи с войной, но не бывших под властью гитлеровцев? Если еврея, умершего в 1942 году в блокадном Ленинграде, ещё бы можно было зачислить в эти шесть миллионов, то можно ли считать “жертвой Холокоста”, к примеру, еврея, умершего в Москве в том же году? А еврея, умершего на Урале?

А как быть с немецкими евреями, погибшими на службе в Люфтваффе или Кригсмарине? Это тоже “жертвы Холокоста”? Их таких было немного, но ведь были же. И гораздо больше евреев было включено в деятельность различных государственных служб Венгрии, в том числе оборонных, где отношение к ним было более терпимое, чем в Германии. Фактически они воевали за Гитлера против Советского Союза. Многие тысячи их погибли, тысяч десять попало в советский плен. Конечно, и они в каком-то смысле жертвы, но как-то неловко приравнивать их к тем беззащитным детям, женщинам и старикам, которых просто согнали в овраг, расстреляли и добились лопатами.

Наконец, как быть с евреями, погибшими в бою с оружием в руках в рядах Красной армии? Может быть, им положен “другой статус”? Например, мы знаем романтическую песню “Бригантина”. Слова песни написал перед войной молодой поэт Павел Давидович Коган. В сентябре 1942 года он возглавлял разведгруппу и погиб под Новороссийском. Он “жертва Холокоста”? Или он воин, павший в бою за свободу и независимость нашей Родины?

Число “шесть миллионов” можно воспринимать лишь как условное, символическое, подогнанное под число концов шестиконечной звезды, которую в последние два-три столетия стали ассоциировать с еврейством. И если число в принципе неустановимо человеческими способами, то лишь Бог ведает, каково оно.

Пожалуй, важнее определить отношение к термину “холокост” или, точнее, “холокауст” или “холокаутома”, то есть к библейскому термину “всесожжение” на древнегреческом языке. На еврейском термину соответствует слово “ола́”, то есть “возношение”, “поднимающаяся жертва”. К геноциду евреев это слово применил бывший узник нацистов Эли Визель, хотя потом он вроде бы колебался. В 2005 году в одном из интервью он заявил, что отказывается от употребления слова “холокост” по отношению к евреям. Хозяева глобального дискурса это слово, однако, канонизировали.

Но нам применять его не сто́ит. Это слово описывает жертву, которую целиком посвящают Богу. Одно из маргинальных иудаистских осмыслений катастрофы еврейства во Второй мировой войне подразумевает некую жертву Богу, знаменующую наступление мессианских времён. Мол, не зря после этого возникло государство Израиль, так что вот, теперь ждём прихода Машиаха.

Для нас, христиан, это категорически неприемлемо. Мессия, Иисус Христос, уже пришёл и принёс Себя в Жертву.

Но важней всего то, что те, кто осуществлял геноцид евреев, вовсе не приносили жертву Богу. Уж во всяком случае, не Истинному Богу. Если в мистике Третьего рейха уничтожение евреев и других “унтерменшей” как-то и осмыслялось, то совсем иначе. Окультисты из СС и Аненербе ожидали появления на земле “сверхчеловека” с небывалыми способностями и полагали, что этому будет способствовать изменение соотношения между высшей “расой арийцев” и расами “недочеловеков”.

Этой “высокой” мистической цели не противоречили и цели прикладные, вроде желания потрафить страстям европейских обывателей, считавших евреев банкирами-кровопийцами, от которых все беды и которых давно пора как следует пограбить. А докладывать обывателям о том, что грабёж доходил до золота зубных коронок изо ртов трупов, причём вовсе не “банкиров”, а сапожников, скрипачей и фельдшеро́в, было совершенно ни к чему.

Наконец, реальные еврейские банкиры и другие серьёзные деятели, до которых руки нацистов вовсе не были способны дотянуться, вполне хладнокровно допускали массовое истребление евреев Европы с тем расчётом, что это будет способствовать переселению активных и жизнестойких евреев в Палестину, а заодно и создаст после уничтожения Германского рейха основание для нового глобального дискурса. Вот для этого дискурса слово “холокост” очень удобно.

Кстати, в Израиле для обозначения геноцида евреев в ходу другой термин “Шоа”. Здесь корень слова тот же, что и в слове “шеол” (ад). “Шоа” значит “пустота”. Пустота не в смысле отсутствия вещества, а в смысле отсутствия Бога, отсутствия правды и святости. А значит, присутствия всего того, что Богу, правде и святости противится.

### **Бабий Яр. “Дело Бейлиса”. Евреи и русские**

Но был ли в этом смысл? Смысл провиденциальный?

Киевский Бабий Яр был **знаковым событием**. Среди всей оккупированной немцами территории Советского Союза именно в Бабьем Яру единоментно, за несколько дней уничтожено евреев было больше, чем где бы то ни было ещё. То, что за последующие два года в этот огромный овраг уложили ещё два-три слоя трупов других “врагов рейха”, так что к концу оккупации их там лежало больше, чем оставалось в Киеве жителей, не отменяет того, что Бабий Яр является символом уничтожения именно евреев.

Если же спросить, что было наиболее ярким **знаковым событием** в Российской империи в годы перед Первой мировой войной, то это, конечно, не официальное празднование Трёхсотлетия Дома Романовых и даже не убийство Столыпина. Это так называемое “дело Бейлиса”, которое точнее назвать делом об изуверском убийстве мальчика Андрея Ющинского 12 (25) марта 1911 года. Кто и зачем обескровил ребёнка через надрез на сосуде шеи, нанёс на голову и на теле определённое количество ранок и добил уколom в сердце? Почему это было накануне Песаха?

Следствие и процесс шли более двух лет, арестован и обвинён был Мендель Бейлис, хотя очевидно, что убийца был не один. Судом присяжных был установлен ритуальный характер преступления, но в отношении доказанности вины лично Бейлиса голоса разделились поровну, и он был отпущен. Фактически никто наказан не был.

О подробностях нетрудно почитать в разных публикациях, причём и сейчас читатель обнаружит две противоположные версии события. Каждая из них горячо взывает к морали и совести.

Версия обвинения, а точнее, потерпевшей стороны, описывает страдание изуверски замученного ребёнка. Как можно оставить **такое** безнаказанным?

Версия защиты говорит вообще о другом. Ребёнка будто бы убил неизвестно кто, но обвиняют не только Бейлиса, а весь еврейский народ, приписывая ему ритуальную охоту за кровью христианских младенцев. То есть с помощью “кровавого навета” обвинение готовит грандиозный еврейский погром, и как можно не бороться с **таким** чудовищным злом?

Были ли убийцы действительно религиозными изуверами, были ли посвящены в их дела кто-то из раввината или из еврейской общественности? Или, наоборот, это были жестокие тайные провокаторы, которым кровь ребёнка сама по себе была не нужна ни для каких ритуалов, а нужен был непримиримый гражданский конфликт, который бы бил по царской власти?

Из месяца в месяц публиковались материалы на темы процесса, и читатели гневных газет разных направлений сжимали кулаки в жажде справедливости. Сколько из них хотели бы сжимать и пистолеты! Фактически, как мы можем сейчас видеть, шла мобилизация для “красной” и “белой” сторон революции и гражданской войны.

Можно констатировать, что “красная” мобилизация прошла успешней. Сторона защиты фактически была стороной нападения, стороной дискредитации и разрушения царской России. Неудивительно, что за время следствия и суда погибли свидетели и другие участники только со стороны обвинения, то есть со стороны потерпевших и со стороны правосудия. Но для “широкой общественности” это ничего не значило, ей всё было понятно и так: во всём виновата “власть”.

В конце концов, она стала “виноватой” и для “белой” стороны, так как не смогла осуществить правосудие. К Февралю 1917 года царя стало некому поддерживать.

Сколько тысяч горячих молодых людей, как евреев, так и всех прочих “передовых и сознательных”, взяли вскоре в руки наганы и маузеры и пошли в подвалы Киевской и других “чрезвычайек” вершить дело высшей справедливости, истребляя врагов новой власти? “Красная” мобилизация удалась на славу. Впрочем, сработала и “белая” мобилизация. Гражданская война тому порукой. . .

Но только к чему весь этот разговор о “знаковых событиях”?

А вот здесь **внимание, господа!** Почему-то никто не замечает, что яркое знаковое событие в предреволюционной России и столь же яркое знаковое событие в Великой Отечественной войне, разнесённые между собой на три десятка лет, при всей огромности территории России, произошли не просто в одном и том же городе, а **в одном и том же месте** этого города. Бабий Яр находится как раз между местом убийства Андрея Ющинского и местом его могилы, от которой до нынешнего памятника жертвам Бабьего Яра лишь несколько сот метров.

И это не людских рук дело. Людей – судей, журналистов, историков – можно обмануть, соблазнить, запугать, подкупить, убить. Но нельзя обмануть Бога. А перед нами очевидный знак Божий.

Так что же, получается, “белая” версия “дела Бейлиса” права? “Бог долго терпит, да больно бьёт”? Руками Гитлера, оказывается, справедливое возмездие постигло грешников? Не зря, мол, столько написано о еврейском засилье в деле революции! Ведь тут “белым” агитаторам и историкам материала хватало. Образ еврея-комиссара или еврея-чекиста с наганом и в кожанке не надо было выдумывать.

Что ж, да, поучаствовали евреи в грехе революции. Но только смотрите, как дивно распорядился Бог! Не просто ведь послал кару и страдание. Ведь послал и спасение! И спасением еврейский народ, оказывается, обязан русскому солдату. Причём красному русскому солдату! “Белая” версия звала русских к отмщению. Но Бог не дал русским согрешить местью. Бог дал русским освятиться подвигом спасения, спасения и самих себя, и евреев. И других народов. И даже немцев, в конце концов.

### **Сребролюбие. Вавилон и революция**

Вавилонское пленение России – это пленение финансовым глобализмом. Оно началось не в 1917 году, а в тот трудно определимый момент, когда Россия стала включаться в этот глобальный финансовый проект, где Русское Православное Царство могло быть лишь пищей, жертвенным животным для культа Золотого тельца или для Молоха. У нас иногда любят хвалить Витте с его золотым рублём – так вот, возможно, введение этого рубля и создало инструмент по перекачке русских ресурсов в западные банки. Но русский капитализм, мир Лужина, так ужаснувшийся Достоевского, уже пророс в русскую жизнь и до Витте.

Так или иначе, Вавилон, о котором идёт речь, – это не тот страшный, величественный, но всё же простецкий локальный золотой Вавилон Навуходоносора, который “мене, мене, теке, упарсин”, – сменился на серебряное персидское царство. А это тот Вавилон книги Бытия, он же Вавилон Апокалипсиса, который являет собой всемирную инженерную и финансовую деятельность.



Безымянные “они” (*Бытие 11:2*), ушедшие с востока без царя и священства, энтузиасты корпоративной деятельности, “делают себе имя” сами. Бог им не нужен, они просто о Нём и знать не знают и думать не думают, а цель их — “рассеяться по лицу земли”. Рассеяться не в смысле “исчезнуть”, “распылиться”, а в смысле насадиться повсюду, заразить собой и заменить собой всю остальную жизнь.

Эта деятельность — это “башня”, “глава которой в небе”. То есть если “глава”, или “начало” (по-еврейски “рош”) в небе, то они строят именно вниз, от неба к земле, и затем по земле горизонтально во все стороны. Они идут с востока — значит, для них всё, любое направление — это “запад”. Запад. Всё у них земное, человеческое, глиняное.

Унифицированный кирпич из глины, которая есть символ человека (“прах земли”). Обожжённые кирпичи соединяются в монолит асфальтом, смолой — “медиа”. Они соединены, но при этом изолированы друг от друга. Тут нет той умелой связи “дерев четверугольных”, как в ковчеге Ноя, или как в том искусстве строительства, которым владели на земле строитель (“тектон”) Иосиф и Иисус, Сын Божий.

Именно этот пленяющий человека вавилонский проект и вызвал схождение Самого Бога на землю посмотреть на строителей башни и разорить их деятельность, прекратить тот непредставимый нам теперь единый способ говорения “на губе” и “замесить” людям разные языки, создав “языки”, то есть народы, ставшие отныне создавать национальные государства и наднациональные империи, но неспособные к единому глобальному проекту, — пока не родится Церковь Христова.

Или — пока не придёт её враг и её подмена, Вавилон книги Откровения: великий город всемирной торговли, и он же — блудница, вином блудодеяния совратившая все народы.

Этот Вавилон поджёт мировую войну и разрушит царства с тем, чтобы пленить народы. Разрушил и Русское царство и посягнул на Русскую Церковь, но прежде попытавшись обаять и соблазнить иерархов церкви. Предательский Февраль должен был смениться Октябрём, цель которого, с точки зрения всемирной **тайны беззакония**, — аннулировать и возможную демократическую легитимность нового государства и физически истребить царскую династию, затруднив возможную реставрацию монархии. А заодно и разорить Россию в неизбежной гражданской войне, в которой хозяева денег смогут помогать разным сторонам схватки и ставить их в зависимость от себя.

Но есть ещё и **тайна спасения**. Не всё идёт так, как планирует мировая финансовая “закулиса”.

Главные деятели большевистского этапа революции — это Ленин, Троцкий, Свердлов. Ленин, как и вся разношёрстная эмигрантская революционная тусовка, давно, десятилетиями был на содержании спецслужб, и отнюдь не кайзеровских. Троцкий — тот и вовсе в начале 1917 года получает из рук Президента США Вудро Вильсона американский паспорт, а его дядя банкир Животовский вполне в курсе дел того пула банкиров, которые при попустительстве Вильсона в нарушение американской Конституции создали Федеральную резервную систему и приватизировали долларовую пирамиду, начав планомерный захват мира.

Младший брат Якова Свердлова Вениамин успел поработать на Бродвее 120 банкирчиком, решая текущие вопросы перевода денег революционерам. Дальше он вернулся в охваченную революцией Россию, поработал там на разных должностях и сгинул в 1938 году как “троцкист”.

Сам же Яков Свердлов был тесно связан как с революционерами и с их заморскими кураторами, так и с уральскими уголовниками. Есть свидетельства, что он ещё увлекался и какой-то чёрной мистикой, оккультными колдовскими практиками\*.

Так хорошо начавшийся проект сорвался. Свердлов, успев истребить царскую династию, вдруг в начале 1919 года умер. Троцкий старательно играл

\* Был ещё старший брат, Завель, в крещении Зиновий, после крещения усыновлённый Максимом Горьким, соответственно, имевший фамилию Пешков, служивший затем во французской армии, и в гражданскую войну бывший одним из представителей Антанты при Колчаке, а потом проживший ещё немало и насыщенную событиями жизнь, став другом де Голя и кавалером ордена Почётного Легиона. С Церковью не враждовал, похоронен с православной иконой в гробу.

свою роль поджигателя мировой революции, но Россия (во главе которой ведь тайно была Державная Царица Небесная) оказалась непредсказуемой страной с загадочным юридическим народом, и при всём своём артистизме Троцкий не мог найти к нему ключа.

А вот Ленин смог.

Ну, не может русский народ жить по денежной выгоде. Деньги деньгами, всем они нужны, а всё равно жить народ хочет по-братски. По-коммунистически.

Мы знаем о монашестве, что есть монахи-отшельники, есть также монастыри особножительные и есть **общежительные** монастыри, где всё общее, все призваны к братской любви и где все братья должны не за страх, а за совесть подчиняться настоятелю. “Общежитие” в переводе на латинский – это **“коммунизм”**. При всей гегельянско-марксистской попытке западного ума всё обосновать “научно”, в своей сути коммунизм предполагал просто идеал братства. Без погони за выгодой. Без predeterminedного разделения людей на чистых и грязных. Без господ и слуг. Без изгоев. Без продажи людей хоть в рабство, хоть почасово. Вообще без продажности. И этот идеал – он и в Европе идеал. Хотя и в разной мере в разных народах.

Ленин действительно верил в утопическую идею построения братского общества на земле и, захватив власть в России и будучи гениальным тактиком, стал планомерно, не сразу выдавая себя, сходить с заграничного крючка. Да, большевики на первых этапах получали огромную помощь от американцев. Уильям Бойз Томпсон (Чэйс Мэнхэттен Банк, Федеральная резервная система) лично переслал большевикам миллион долларов. Он организовал “Миссию Красного Креста”, в которой были банкиры, адвокаты, журналисты.

Вспомним похороненного у Кремлёвской стены Джона Рида. Кем он был? Талантливым бескорыстным репортёром-романтиком, каким его описала Елизавета Драбкина в советской книжке для детей “Навстречу бурям”? Возможно, такой и был нужен для отвода глаз и для информационного обеспечения захвата власти большевиками, для создания героического образа нового светлого мира. И сам он, возможно, искренне ненавидел власть Золотого тельца и верил в коммунизм. А возможно, он был умелым разведчиком и просто цинично ваял красного идола для русских, как спустя несколько лет его близкий приятель по Гарварду Эрнст Ганфштенгль (Hanfstaengl) будет ваять нацизм для немцев, а Лоуренс Аравийский ваял тогдашнюю “арабскую весну”.

Нет, я не хочу сказать, что нашу революцию “сваял” Джон Рид, а немецкий нацизм – Ганфштенгль. Очевидно, что это слишком грандиозные и эпикальные явления, чтобы их могли сконструировать журналисты или агенты разведок. Но эти явления не просто “случились”. Их делали своими делами люди (а над всеми делами был Промысл).

Помощь от Уолл-стрит большевикам, конечно, была двурешной. Запускался механизм разрушительной гражданской войны и, на следующем этапе, механизм ограбления и закабаления России. А Ленин сумел, попользовавшись и заграничной помощью, найти в противовес ей опору и в захваченной революционерами России, надолго ставшей Россией Советской. В этом он оказался мастером, и заграничные кураторы Русской революции, вероятно, не раз пожалели, что поставили на него. Вероятно, что и покушения на Ленина были делом рук вовсе не белых или стихийных “мстителей”, а как раз финансовых кругов Запада, раскусивших его игру.

А опираться Ленин в своей игре стал как раз на этот народный идеал братства. Для него и Церковь Христова была связанной с миром эксплуатации человека человеком и отвергалась так же, как и все прочие атрибуты денежного рабства. Старый мир со всеми его классами и прослойками подлежал уничтожению, как и все, кто из этих классов и прослоек не успел или не захотел выскочить.

Красный революционный террор, естественно, поднял “белое” контрреволюционное движение, но оно точно так же вынуждено было прибегать к реквизициям и террору, порой абсолютно зверскому и отчаянному, как в Майкопе в сентябре 1918 года, а решиться поднять знамя братского идеала на основе реставрации подлинной Православной Монархии белые не решились.

Многие из белых сами были революционерами, только пожиже, чем большевики. И белые проиграли. Василий Шульгин, прошедший с белыми весь путь отступления, горько заметил в книге “1920” об отношении народа к ним:

“Увы, “освободителям русского народа” нельзя оставаться в одиночку... Убивают”.

И не комиссары с маузерами, а Ваньки да Грицьки с вилами да обрезами убивают. Белые могли являть чудеса бескорыстности, храбрости и военной смекалки, могли за одного своего павшего воина укладывать десяток врагов, но для народа они всё равно оставались защитниками ненавистного мира наживы, мира говоривших по-немецки да по-французски самовлюблённых “графьёв” и “буржуев”, лицемерного мира лакированной кривды. И если они ещё и в храме с попом Богу молятся, так тем хуже для попа и храма.

И перед лицом этой ненависти и белые обязывались быть люто непримиримыми и беспощадными. Белая эмиграция многолика. В ней были и святые. Были те, кто со временем примирился с Советской Россией в той или иной форме. Но непримиримых в ней было очень много. Они принесли в Европу и Америку образ бесчеловечного большевика-коммуниста, в борьбе с которым позволительно **всё**, и когда через полтора-два десятка лет после их исхода из России ликом Европы станут батальоны и дивизии SS, то нужно помнить, что свой вклад в их духовное становление внесли и белые борцы.

Ещё в 1911 году Борис Савинков, эсер-террорист, подготовивший убийство Великого князя Сергея, впоследствии Военный министр Временного правительства и один из ключевых организаторов Белого движения, прочувствовал этот вектор белого дела в своих стихах:

...Я знаю, жжёт святой огонь,  
Убийца в град Христов не ввидет,  
Его затопчет Бледный Конь  
И Царь царей возненавидит.

Мы сказали, что революция — это предельный вид греха, и тут же — о том, что Россия влеклась к 1917 году неотвратимо, как по Божьей воле. Так что же, Бог вёл ко греху?!

Преступление русской революции готовилось давно. 1917 год — это уже фактически наказание за преступление (вспомним, что на библейском языке это одно и то же еврейское слово “авон”). Уже Достоевский описывал пропитанное этим грехом русское общество, искавшее пути к своему революционному самоубийству. Но был ещё более страшный и более абсолютный грех, так же пропитывавший Россию. Православную пока ещё внешне Россию, хотя этот покров церковности становился всё тоньше. Но грех этот пропитывал не одну только Россию. Как и революция, он тоже шёл с Запада. И это **он** был первичен даже по отношению ко греху революции. Что же это за грех?

Это **грех сребролюбия**. Апостол называет его “корнем всех зол”. Не гордость, не убийство, не ложь, не революцию даже, а сребролюбие. Почему?

### Сребролюбие. Гой ло касаф (Соф. 2:1)

Благой памяти Евгений Авдеенко пронизательно разбирает эту тему. Он толкует:

“У пророка Софонии находим жестокий упрёк народу Израиля: “Народ не жаждет” (Соф. 2:1). Считают, что этот стих или испорчен или недописан. Смысл его не понимают. Что это значит: “народ не жаждет”? Это означает, что народ к Богу охладил. Интересно, что эта высокая “жажда” обозначена словом обиходной и даже низменной алчбы: *каса́ф* *qoz* — “жаждать”, а того же корня *кéseф* *qoz* — “серебро, деньги”. Людям Израиля было дано Откровение и богообщение, и если человек (или народ) его не “жаждет” (*каса́ф*), то он впадает в жадность к деньгам (*кéseф*).

То, что в еврейском языке слова “жаждать” и “деньги” — одного корня, показывает, что было великим, даже величайшим искушением для еврейского народа: само обладание большими **деньгами** могло именно в **Израиле** быть знаком того, что такому богачу (или Израилю) спасение души — “возрождение и обновление Святым Духом” (Тит. 3:5) — стало и далеко, и трудно: “Трудно (неудобь) богатому войти в Царство Небесное” (Мф. 19:23).

В Израиле как нигде сильно звучало слово: “Корень всех зол есть сребролюбие”, — ибо жажда денег прямо отвращала от веры. “Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись” — которого возжелав: *ὀρεγόμενοι*,

то есть “возжелав сребролюбия” – “некоторые заблудились от веры и себя пронзили страданиями многими” (1 Тим. 6:10).

Жажда наживы – коварная страсть, потому что не утоляется от наживы, но умножается от неё: вначале человек “жаждет” денег, так возникает “сребролюбие”. Затем человек “желает” самого “сребролюбия”, и это уже закольцованная на себя дурная бесконечность. Такой человек попадает под брюхо Левиафана.

Еврейский язык обнаруживает ловушку дьявола: если “пожелать желаемого” (*касаф ле-кесеф* – это так естественно), – станешь сребролюбом, охладеешь к Богу, погибнешь. Мысль апостола Павла в том, что если пожелать желаемого, то возжелаешь самого этого желания... Святые отцы говорят, что сребролюбие есть крайняя форма идолопоклонства и потому противоречит первой заповеди: “Не будет у тебя богов других, кроме Меня” (Исх. 20:3).

Христиане должны знать, что всё золото мира находится под брюхом Левиафана, и нимало тем не смущаться, потому что от Левиафана-дьявола их может остеречь одно решительное действие – нужно **искоренить** в себе сребролюбие. Если соблюдать одну первую заповедь, но в чистоте, то всё золото мира окажется против христиан ничтожным. Отношение к деньгам в рамках библейского мировоззрения – простое: **тем, кому дано Откровение и богословие, современным христианам, как евреям древности, особо нужно стеречься жажды – жадности до денег**”.

По-моему, разъяснение Евгения Авдеенко вполне достаточно, чтобы догадаться, зачем Бог вырвал Россию с её знаменитым декадентским Серебряным веком и золотым рублём из среды “цивилизованных народов” и поставил на стезю героических свершений эпохи Сталина, покончившей и с нэпом, и с Троцким, и с Гитлером, и с зависимостью от западных держав. Да, тогда мало кто мог понять, что страна взорванных храмов и превращённых в тюрьмы монастырей творила Божью заповедь. Но сейчас-то, оглянувшись и на наш русский путь, и на то, чем стал сегодня нерусский мир вокруг нас?

Наверное, понятней станет и поведение Государя Николая в страшные дни февраля и марта 1917 года. Святые чувствуют волю Божию и не противятся ей. Мир, сделавший сребролюбие своим законом, покатылся к принятию сына погибели, предтечей которого был Гитлер. Но Россия, казалось бы, изменившая Богу, не перестала удерживать (2 Сол. 2:7) мир от этого падения. Удерживает и сейчас. Не удивительно, что мир сребролюбия ненавидит её. А те, кто не обольщён им, видят в ней надежду.

### Траян и Григорий Двоеслов

Не нужно делать вид, будто какие-то сумасшедшие из Сталина лепят святого, и надо всем честным людям противостоять этому. Не лепят из него святого, и вовсе не икону его собирались изобразить в мемориальном храме. Но он и не то чудовище, на которое и взглянуть человеку нельзя.

Сталин, этот расколдованный упырь революции, стал точкой сборки разъятой России, той сказочной “мёртвой водой”, которая срастила рассечённое тело страны и народа. Может быть, не сам даже Сталин был сказочной “мёртвой водой”, а вот это ТЕРПЕНИЕ народом Сталина. А “живую воду” – это потом...

В известном смысле Сталин уже внесён в сакральное пространство – не отдельного храма, а Церкви как таковой. Он крещён, и после его смерти Патриарх Алексий (Симанский) и многие другие священники служили панихиды о нём. Были и заочные отпевания.

Тем не менее ещё раз спросим: был ли Сталин гонителем Церкви?

Да, по крайней мере, соучастником гонений в определённый – и немалый – период был. А как относиться к гонителю? Можно ли быть гонителю благодарным и можно ли надеяться, что он будет прощён и обрящет спасение?

В конце концов, если уж считать Сталина гонителем Церкви, то бывали и другие гонители. Например, Римский император Траян (в другом написании – Троян). Но вот какая странность: по молитве святого Григория Двоеслова душа Траяна избавлена от вечных мучений.

Эта история была упомянута св. Марком Эфесским на Ферраро-Флорентийском соборе. Впоследствии её кратко упоминал св. Филарет (Дроздов) и более подробно – иеромонах Серафим (Роуз). Он цитирует английское

житие восьмого века святителя Григория Двоеслова, папы Римского с 590-го по 604 год (который, помимо его других великих свершений на стези святости, много потрудились для христианского просвещения Англии). Вот что с ним было:

“Однажды, пересекая Форум, великолепное творение, которое, как говорят, было воздвигнуто Трояном, он обнаружил, тщательно изучая его, что, будучи язычником, Троян всё же сотворил дело столь великого милосердия, что оно казалось делом больше христианина, а не язычника. Ибо рассказы вают, что когда он во главе армии поспешно выступал против врага, его разжалобили слова одной вдовы, и император всего мира остановился. Она сказала: “Господин Троян, вот люди, которые убили моего сына и не хотят платить мне возмещение”. Он ответил: “Скажи мне об этом, когда я вернусь, и я заставлю их дать тебе возмещение”. Но она ответила: “Господин, если ты никогда не вернёшься, мне не будет помощи”. Тогда, стоя во всё своём вооружении, он заставил ответчиков тотчас в его присутствии заплатить возмещение, которое они были должны. Когда Григорий узнал об этой истории, он познал, что это то, о чём читаем в Писании: “Защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите, и рассудим, говорит Господь...” (Ис. 1: 17-18).

Поскольку Григорий не знал, что делать, чтобы утешить душу этого человека, который напомнил ему эти слова, он пошёл в церковь св. Петра и проливал потоки слёз, как было у него в обычае, пока, наконец, не получил через Божественное откровение уверение, что его молитвы услышаны, видя, что он никогда не брался просить ни за какого другого язычника”.

Дальше отец Серафим заключает: “Поскольку Церковь не приносит общественных молитв за умерших неверующих, ясно, что это избавление от ада было плодом личной молитвы св. Григория. Хотя это и редкий случай, но он даёт надежду тем, чьи близкие умерли вне веры” (*Приношение православного американца. Сборник трудов отца Серафима Платинского. М., 2008. С. 196*).

Не будем касаться богословских тонкостей того, что понимать под “избавлением от ада”. Для нашей темы важнее пример отношения святого человека к гонителю Церкви. А Траян, образцовый добросовестный древнеримский правитель, был не только гонителем Церкви. Под его умелым гражданским и военным руководством должность императора интерпретировалась как земное наместничество божественного порядка. Он и по своей должности императора был главой коллегии жрецов, и сам как император был объектом официального языческого культа.

Это был не фигуральный, “разоблаченный” при Хрущёве “культ личности”, а реальный языческий культ, имевший в разных местах Римской империи разные формы, но вполне включавший в себя принесение жертв на алтарях. В атеистическом СССР энтузиасты подхалимажа воскурять фимиам Сталину могли, но только в качестве фигуры речи. Фимиам Траяну на алтарях был вполне настоящим. Траян по-настоящему занимал то место, которое подобает Богу.

Но в какую меру Траян был гонителем Церкви? В православном житии священномученика Климента император Траян указывается непосредственным инициатором гонений на христианскую общину Херсонеса и казни святого Климента около 100 года.

Ярким свидетельством отношений римского государства и христианства является переписка Траяна с Плинием Младшим (Секундом) во время наместничества последнего в Вифинии. Христианские общины с точки зрения римского законодательства рассматривались как коллегии – объединения лиц, связанные отправлением культа или общей профессией. Их деятельность регулировалась имперским законодательством, которое требовало как минимум регистрации и получения разрешения. Христианские же общины Вифинии в силу распространённых тогда эсхатологических настроений от любого взаимодействия с мирскими властями отказывались, что и привело к расследованию.

На запрос Плиния Траян ответил, что анонимные доносы принимать не следует, однако в случае доказанности принадлежности к христианам следует требовать простого отречения. Только в случае отказа отречься от новой религии необходимо прибегать к наказанию.

В 107 году во время похода против армян император Траян проходил через Антиохию. Ему доложили, что святитель Игнатий исповедует Христа, учит презирать богатство, хранить девство и не приносить жертву римским богам. Император вызвал святителя и потребовал, чтобы он прекратил свою проповедь

о Христе. Старец отказался. Тогда его в оковах послали в Рим, где на потеху народу он был отдан на растерзание зверям в Колизее. По пути в Рим он написал семь посланий, которые сохранились до наших дней.

Траян — это образцовый усердный гонитель Церкви. И вот Господь по молитве святого милует эту душу. А что же Сталин?

Конечно, как гонитель Сталин лично вовсе не отличался усердием в борьбе с Церковью. В этом среди большевиков было кому себя проявить и без него. Кого-то Сталин даже лично ограждал от преследования, как архиепископа Димитрия, в схиме Антония (Абашидзе). Иначе говоря, в гонениях на Церковь Траяна он вряд ли превосходил.

Но защитил ли он вдовицу, как Траян?

Существует немало апофтегм о Сталине, с помощью которых его можно представить защитником вдов и сирот и поборником справедливости. Ещё проще найти рассказы о его беспощадности или привести законы и постановления, которые, к примеру, лишали пособий сирот и вдов тех павших в боях красноармейцев, чьё отцовство или брак не были зафиксированы в органах загса, а таких среди сельского населения предвоенного СССР было немало в силу разных причин.

Но всё это второстепенно. Суть ведь не в эпизодах из жизни Сталина. Много кто знал о Траяне всё то, что узнал о нём и Римский святитель Григорий, но только именно он почему-то упал перед Богом в слезной молитве за императора Рима и был услышан.

Я тоже мог бы сказать, что, по примеру Григория, надо **вымолить** Сталина, если уж полагать его таким страшным гонителем, а не выталкивать его из храма, из памяти, из истории. Но только это то же самое, что предложить нам всем стать святыми в меру Григория Двоеслова.

А впрочем, разве не **этого** от нас хочет Бог?

Для начала, может быть, хотя бы попробовать быть благодарным за то, за что можно быть благодарным? За Победу в смертельной войне? Вообще, **быть благодарным** — это правильно, а неблагодарным — неправильно. Господа, вы знаете об этом?

Когда человек на склоне лет вспоминает своих родителей, учителей и начальников, то нормально, если он вспоминает их с благодарностью, хотя наверняка в его жизни было немало обид от них. Забывать обиды — это и есть то **прощение**, которого от нас ждёт и требует Бог. Отсутствие благодарности и прощения обернётся ропотом на Отечество и на Бога.

Но, как сказал Пушкин в ответ на обличения Чаадаева, “...pour rien au monde je n’aurais voulu changer de patrie, ni avoir d’autre histoire que celle de nos ancêtres, telle que Dieu nous l’a donnée (...ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог её дал)”.

ВЛАДИМИР ШУЛЬГИН

“БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ ИГО”  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
В ОТОБРАЖЕНИИ  
РУССКОЙ КЛАССИКИ  
XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА

Основоположник современной отечественной судебной психиатрии П. И. Ковалевский (1849–1923) отмечал как нечто общеизвестное в патристическом обществе: “Много задержало развитие русского народа бюрократическое иго XIX века”<sup>1</sup>. Видный русский геополитик генерал А. Е. Вандам (Едрихин; 1867–1933), имея в виду тот же феномен современного противостояния российских верхов “духу народности”, писал о добровольной сдаче ангლოსаксам наших американских колоний, включая Аляску. И это несмотря на присоединение огромного массива американских земель к Российской империи, достигнутое народной самодеятельностью и вольнолюбием, по отношению к которым Петербург испытывал “зависть”<sup>2</sup>. Эти думы национально-ориентированных представителей русской мысли, характерные для всего предреволюционного века, образно обобщил А. С. Суворин в 1900 году, говоря об “официально-петербургском” феномене: “Александр III русского коня всё осаживал. Николай II запряг клячу. Он движется и не знает куда”<sup>3</sup>.

Названные авторы имели возможность оценить “революционные” итоги самоубийственного политического “петербургского курса”, о необходимости смены которого говорили в течение целого века представители русской классики школы Н. М. Карамзина и А. С. Пушкина. Речь идёт о деятелях “почвенного” круга: В. А. Жуковском, П. А. Вяземском, Ф. И. Тютчеве, И. В. Киреевском, А. С. Хомякове, А. А. Григорьеве, Ф. М. Достоевском, И. С. Аксакове, Ю. Ф. Самарине, К. Н. Леонтьеве, В. В. Розанове и т. д.

Поскольку свободной-консервативная и одновременно “самобытная” интеллектуальная традиция развивалась рядом главнейших наших художников и мыслителей, весьма полезно её рассмотреть. Тем более что современным исследователям недостаёт понимания её сути, несмотря на базовое духовное родство главнейших фигур отечественной мысли и культуры. Так, В. К. Кантор разрывает единую “самобытную” традицию, произвольно объединив в одно направление славянофилов, народников, бакунистов, марксистов-большевиков (то есть христиан и атеистов!)<sup>4</sup>. В этом же духе “разрыва единого”, теперь – в рядах “официальной России”, согрешившей западничеством, что стало “системной болезнью” империи, – В. К. Кантор противопоставляет Николая I Петру I, без оснований заявляя, что Николай “совершил антипетровский переворот”<sup>5</sup>.

На проблему единства отечественной христоцентричной культурно-интеллектуальной традиции следует обратить внимание и ввиду того, что нехватка духа народности в политике “официальной России”, о чём переживал выше-названный круг представителей “русского воззрения”, создала условия для победы революций 1917 года. Такого краха не хотели допустить наши классики, сделав ставку на отечественный *традиционализм* и *русизм*.

Сказанное и обусловило предлагаемый в данном материале подход, исходящий из основополагающего единства носителей *Русской идеи* в XVIII–XX веках, составивших одновременно круг главнейших отечественных классиков. В течение XVIII века в русском обществе стало крепнуть возрождавшееся русское настроение. Знаковым был публичный успех первой русской комедии “Бригадир” Д. И. Фонвизина (1769), обличившего *галломанию* российского дворянства, ставшую возможной в результате прозападного “перегиба” Петра Великого. Многие задумались о недопустимости такого противоречия, в которое впал персонаж пьесы, сын Бригадира, сожалеющий, что его тело “родилось в России”, тогда как “дух” всегда “принадлежал короне французской”<sup>6</sup>. Сам Фонвизин признавался в своих письмах из Франции, что переболел настроением *подражательности*. В апреле 1778 года он пишет родным из Парижа о своём разочаровании в так называемых просветителях, которые почти все “достойны презрения”, поскольку “высокомерие, зависть и коварство составляют их главный характер”<sup>7</sup>. Весьма современна и концовка письма родным. Фонвизин делает вывод: “. . . наша нация не хуже ни которой и . . . мы дома можем наслаждаться истинным счастьем, за которым нет нужды шататься в чужих краях”<sup>8</sup>.

Так со времени М. В. Ломоносова и Д. И. Фонвизина утвердился фактический лозунг, объединивший всех позднейших представителей национально-ориентированной мысли, гласивший: “Да здравствует русская самобытность, долой западническую подражательность!” Это и было “системное” противостояние “карамзинско-пушкинской” и т. д. культурной элиты и “болевшей” западничеством официальной бюрократии, включая онемеченную династию поздних Романовых, которые временами хотели вырваться из ментального добровольного пленения западными пристрастиями, да так и не сумели.

Дело Фонвизина по русскому перевоспитанию “бюрократической” элиты продолжил Н. М. Карамзин, которому удалось создать школу *свободных консерваторов*, отстаивавших Русскую Триаду приверженности к вере православной, государству самодержавно-христианскому и православному же народу. Ошибка либеральной историографии XIX века, перекочевавшая в советскую, состояла в приписывании авторства этого воззрения гр. С. С. Уварову, да ещё под грифом “официальной народности”. Доля истины в этой оценке состояла в подчёркивании неискренности официальных кругов империи, которые в их целом не могли принять идеи *народности*, то есть *русизма*. Ошибочность же была в атрибуции идеи. Русскую Триаду исповедовала изначально вся наша полнота, начиная с Илариона, митрополита Киевского; достаточно прочесть его “Слово о Законе и Благодати”, написанное в 1030-е годы с апологией “Русских”, которые приняли *Православие* под водительством “единодержца” *Князя Владимира*<sup>9</sup>.

В кругу Карамзина эта коренная русская жизненная и политическая “антибюрократическая” идея была возрождена. Историограф убеждал: “не формы, а люди важны”, — имея в виду недопустимость ставки на абсолютистские западнические государственные принципы с неременным забвением духа “народного”, чего в таком случае не избежать. Ведь очевидно, что лишь “мысли народные” в состоянии “лучше всех бранных форм” удержать государей “в пределах законной власти”<sup>10</sup>. Введение же в тело России западных государственных обыкновений отрывает новоявленную бюрократию от народа, которая “россиян” принимается “унижать в собственном их сердце”. На таком принципиальном отрыве от народных антиолигархических обычаев нельзя строить политику в России, потому что навязываемое “презрение к самому себе” не “располагает. . . человека и гражданина к великим делам”<sup>11</sup>.

Чрезвычайно важным было предостережение Карамзина, которое забюрократизированная верховная власть так и не услышала, допустив скатывание страны в революцию. Она не сумела “отказаться от Европы”, “забыть Европу” и “думать единственно о России”, как убеждал Александра I на примерах наш политический мыслитель, отталкиваясь “от противного”<sup>12</sup>. Власть не только не



услышала его советов в XIX веке, но и засекретила его выдающееся политическое сочинение, которое безуспешно пытался опубликовать А. С. Пушкин сотоварищи. Вот верхи и проглядели и предостережение Карамзина, хотя позднее его неоднократно повторил Ф. И. Тютчев и другие продолжатели Русской Традиции. Имеется в виду следующее. Карамзин констатировал, что внутренние силы России пока велики и, “если не придут к нам беды извне, то ещё смело можем и долгое время заблуждаться в нашей внутренней государственной системе”. Он призывал возвращаться к русизму во внутренней и внешней политике и перестать “изнужать силы” Отечества, бездумно растрачивая их на основании, “что их ещё довольно в запасе”<sup>13</sup>.

Петербургские верхи, к сожалению, проблемы в своём западническом отрыве от народа не видели и не хотели исправляться. Ф. И. Тютчев именно поэтому в 1858 году писал жене: “Тишина, господствующая в стране, ничуть меня не успокаивает, <...> она основана на очевидном недоразумении, на безграничном доверии народа к власти, на его вере в её к нему доброжелательность...”<sup>14</sup>. Тютчев, как и его предшественник, говорит о кредите народного доверия, ещё не исчерпанном, но который усиленно растрачивается столичной бюрократией. Он пишет об этом же министру иностранных дел А. М. Горчакову: “действительно тревожно... плачевно выше всякого выражения, это глубокое нравственное растление среды, которая окружает у нас правительство...” Поэт-мыслитель точно указывает, что он имеет в виду, говоря о духе влиятельных петербургских сфер, который характеризуется как “подлый”, “посредственный”, “антинациональный по эгоизму или происхождению”<sup>15</sup>. Ниже мы ещё коснёмся дум Тютчева по обсуждаемой проблеме.

Итак, в соответствии с убеждением Карамзина и его последователей, определяющим в русской жизни и политике является коренная традиция самобытной Триады русских: народности, веры и самодержавия, которые в их единстве и правде фатально не воспринимаются правящей бюрократией. При этом гораздо последовательнее Уварова идею “антибюрократической” Русской Триады принял другой первоначальный карамзинист – А. С. Пушкин. Наряду с национальным поэтом её исповедовали и другие деятели карамзинского круга – В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Ф. И. Тютчев<sup>16</sup> и другие соратники русского дела, – а затем славянофилы и почвенники. Они сыграли важнейшую роль в становлении русского свободного консерватизма пореформенного времени, защищая традиционные устои Триады даже ценой преследования со стороны как бюрократической “официальной России”, так и со стороны западной интеллигенции<sup>17</sup>.

Как уже фактически упоминалось, “карамзинисты” и “пушкинцы” стремились к *русскому просвещению*, к постепенному торжеству собственной цивилизации без ущерба для достигнутого уровня развития России. Они предлагали верховной власти ориентацию на носителей “русского воззрения”, весьма критически относясь к практике привлечения иностранцев на государственную службу. Ключевой их идеей была *передовая мысль* о возможности и необходимости симфонического сочетания *гражданской свободы* (в том числе свободы печати, отстаивающей национальные ценности) с *самодержавным русским царством*. Они были убеждены в правоте православной государственности и церковности, которые следовало в духе *русской народности* очистить от петровских “бюрократических” западных искажений. Внешнюю политику следовало переориентировать в национальных интересах и перестать обслуживать “неблагодарную” Европу.

К сожалению, Александр I и Николай I не услышали вопиющего гласа свободных консерваторов, этих просвещённых “самобытников”. После победы над наполеоновской Европой “русский разворот” был особенно возможен, тем более что проработка его плана была сделана Н. М. Карамзиным уже к 1811 году в “Записке о Древней и Новой России...” (см. выше). Верхи империи после эпохального 1812 года стали заполняться немцами, поляками, французами и т. д. Это вызвало рост недовольства, причём как в консервативной, так и в радикально-либеральной части общества (крайние честные фланги, бывает, сходятся в важных отношениях). Так, декабрист М. С. Лунин, внимательный наблюдатель “качества” сановных верхов (при Николае I) с точки зрения их национальной “органичности”, в 1839 году заметил, что “иностранцы, которые не понимают русского языка... находят мягкое кресло в Правительствующем Сенате”. Засилье чужестранцев в верхах было и при

Александре I. М. С. Лунин называл их “чиновниками-иностранцами”, опасавшимися русского оздоровления, так как сомнительные сановники-чужестранцы и им сочувствующие “боялись лишиться своего жалования”. Вывод его был аналогичен заключениям славянофилов и почвенников и гласил, что бюрократический сановный Петербург болен безродностью, правительство “лишено национального характера” (1840). Аналогичные мысли были характерны и для других радикалов, в том числе и “мягких”, то есть сторонников “ограниченного” монархизма. Так, Н. В. Басаргин сожалел, что правительство никак не желает “действовать в духе народном”<sup>18</sup>. Видим, что восстание декабристов во многом объяснялось той униженностью русских в их “собственном сердце”, какую точно фиксировал Карамзин<sup>19</sup>. Николай I не извлёк уроков из 1825 года, сделав остзейца А. Х. Бенкендорфа главным лицом предельно забюрократизированной вурденной политики, а “родившегося в португальском порту на английской корабле” чужеземца К. В. Нессельроде – ответственным за политику внешнюю.

Русская политика не началась, порыв к “русскому возрождению” не увенчался успехом, о чём возвестила Крымская война. Было упущено благоприятнейшее время “золотого века” русской культуры, когда царю могло бы помочь то уникальное “осияние царства”, о котором писал в “Апокалипсисе нашего времени” после краха России в 1917 году В. В. Розанов. Царь стремился к абстрактному “консервативному” европеизму. Он хотел “сиять” с немцами внешними и внутренними, а не со святителем Филаретом, которого отстранил от Синода, и не с “солнцем русской поэзии” Пушкиным, которого третировал его Бенкендорф<sup>20</sup>.

Вместо того чтобы в “пропаганде и агитации” сделать ставку на свободное слово гения, ставшего просвещённым консерватором, “слагавшим” царю “свободную хвалу”<sup>21</sup>, Пушкину не давали возможности основать политический журнал, более того – запрещали произведения, на которых бы могла воспитываться дерзновенная молодёжь. Вот юношество и стало отворачиваться от собственной империи, не желавшей стать “своенородной”, поворачиваясь лицом к западным теоретикам радикализма. При Николае I, по сути, началась кадровая подготовка радикалов к атеистическому перевороту, завершившемуся к 1917 году. Так безуспешно закончился первый исторический цикл русского возрождения эпохи модерна, которому не удалось победить “бюрократическое иго”. Однако “русский стиль” победил духовно, художественно, отобразился и в первых теоретических обобщениях. Чувствующему и мыслящему человеку стало ясно, что Россия, родив гениев религии, слова, музыки, была в состоянии вернуться к возрождению русской политики. Власть ничего не поняла, оставшись в кругу своих западных сочувствий (отсюда и сорокалетняя с лишним власть Нессельроде в МИДе).

Славянофилы и почвенники – наследники карамзинско-пушкинской традиции – пытались завершить дело своих учителей в пореформенный период. Они начали второй цикл “русского возрождения”, хотя и не в столь благоприятной обстановке, как в первую половину XIX века. Тогда Россия была воодушевлена эпохальной победой над агрессивным Западом, да и политический радикализм находился в зачаточном состоянии и мог быть купирован национально-ориентированной политикой. Оптимизма у “самобытников” стало меньше, сомнения в успехе возросли, о чём свидетельствуют высказывания 1850–1880-х годов классиков русской мысли и слова (Ф. И. Тютчева, П. А. Вяземского, Ф. И. Достоевского и т. д.). Однако сторонники русизма продолжали нести свой крест.

Формат материала не позволяет подробно проследить рост разочарования выдающихся деятелей национального движения, костями легших, чтобы убедить верхи империи повернуться лицом к России. Приведу лишь несколько типичных свидетельств. Если Пушкин в 1828 году ещё рассчитывает на “русское” оздоровление царя Николая, “хвалу свободную” ему “слагая” (то есть *свободно* руководствуется русским православным политико-монархическим чувством, а не за ордена и жалование), как это было отмечено выше, то уже Ф. И. Тютчев к 1850-м годам в значительной мере разочаровался. Он, конечно, не перестает, как и его дочь Анна, быть послом Русского народа при династии и правительстве, надеясь на убедительную силу своего слова. Надежда не умирает, но он всё чаще фиксирует приближение “точки невозврата” для Старой России и наступление революционного цикла отечественной истории.

В письмах 1850-х годов Тютчев постоянно говорит об официально-бюрократическом “кретинизме”, “идиотизме”, “извращении инстинктов и притуплении или уничтожении рассудка”, “тёмной ограниченности”, “чудовищной тупости”. Верхи отвратились от русского духа к фатуму революционной гибели своей петербургской системы, идущей “совершенно ложным направлением”, не умея исправиться в национальном духе и “возвратиться на верный путь”<sup>22</sup>. Констатации и пророчества Тютчева поразительны по точности. В глубоком письме 1857 года графине А. Д. Блудовой он согласился с её критикой правительственного феномена, который позднее Ф. М. Достоевский назовет “чужебесием” и “баден-баденством” петербургского политкласса. Тютчев предрекает “страшный кризис”, который “неминуемо” наступит в России, невзирая на скорую антикрепостническую реформу, которая главного западного порока не правит. Ведь власть “на деле безбожна”, “её образовало... собственное прошедшее своим полным разрывом со страной и её историческим прошлым”. Впереди ждут “наказания, столь нами заслуженные”<sup>23</sup>.

Старшая дочь поэта-мыслителя Анна Тютчева, фрейлина императрицы, с болью отмечала в дневнике антинародный, по сути, настрой ряда высших бюрократов вроде военного министра, а затем обер-жандарма В. А. Долгорукова или министра иностранных дел К. В. Нессельроде и других. Она замечала, что именно эта сановная публика, по сути, помогает Западу в его давлении на Россию. В конце 1854 года, в продолжении Крымской войны, она делает примечательную дневниковую запись: “От царствования Александра I ведёт своё начало эта... унижительная политика, приносящая в жертву интересы своей страны ради интересов Европы, отказывающаяся от всего нашего, <...> чтобы успокоить мнительность Европы по отношению к нам. Мы бы хотели совсем не иметь тела, чтобы не смущать Европу даже тенью, от него падающей <...> это огромное тело <...> торчит перед носом Европы, которая, несмотря на всю рыцарскую учтивость Александра I и Николая I, не может примириться с вопиющей бестактностью самого факта нашего существования”<sup>24</sup> Совет А. Тютчевой, чтобы исправить положение, был гениально-простым, но “сферы”, по их обыкновению, “русского глаза” не слышали. Она говорила, что нельзя поручать “управление людям неспособным, враждебным национальному духу и не пользующимся ни доверием, ни расположением страны”<sup>25</sup>.

Ф. И. Тютчев также постоянно высказывал эту же мысль, до сих пор не вполне учтённую. Имея в виду извечное геополитическое давление на Русь со стороны чуждого Запада, поэт-мыслитель печалился, что отсутствие русского самосознания в петербургских верхах препятствует России воспользоваться противоречиями между великими державами. Так, в письме Е. П. Ковалевскому (1860) он скорбит: “Никогда, может быть, в истории человеческих обществ не было подобного примера. Никогда государство – и какое государство! мир целый – не утрачивало до такой степени своё историческое самосознание” и дух самобытности<sup>26</sup>.

Аналогичным образом Ю. Ф. Самарин, которого за русизм император Николай I приказал однажды на время посадить в Петропавловскую крепость, в 1856 году заключал, что западническая бюрократически-ориентированная верховная власть страны взирает на своё Отечество чужими глазами. Он писал, ставя диагноз “Николаевской России”: “Российское государство и русская земля, правительство и народ так давно и так далеко разошлись друг с другом, что теперь они как будто раззнакомились... правительство отвыкло говорить языком, для народа понятным”<sup>27</sup>. Чтобы исправить положение, вновь, как и встарь, должен победить принцип “русской политики”<sup>28</sup>.

Классики свободного консерватизма находились между “молотом и наковальней”. Им противостояла сановная “официальная Россия”, продолжавшая идти нерусскими путями, и набравшая силу “революционная Россия”, умственно окормлявшаяся на заграничных радикальных ристалищах, следуя за чужеземными социалистами и т. д. Затем родились и свои радикалы. Ф. И. Тютчев, знавший верхи как свои пять пальцев, фиксирует неизбежное появление элитарной аристократической “руссофобии некоторых русских – причём весьма почитаемых” (1867)<sup>29</sup>. Русская струна натягивалась: верхи становились всё хуже, левые – всё сильнее. Поэт-мыслитель в 1860–1870-е годы, видя рост “левого сектора”, всё больше убеждается в неотвратимости революции, которая станет неизбежным воздаянием верхам за их западничество и “завершит” “целое вековое ложное направление” петровской России<sup>30</sup>.

Новые западники-радикалы, по Тютчеву, были почти обречены на победу над старыми западниками-аристократами. В письме к дочери Анне в сентябре 1871 года он риторически вопрошал: “Что может противопоставить этим ошибочным, но пылким убеждениям власть, лишённая всякого убеждения?”<sup>31</sup>. Ряд сановников Александра II вроде П. А. Валуева были русофобами, отчасти под влиянием своих немецких или польских матерей при полной “денационализации” отцов. Этот русофобский круг бюрократов, ставший средоточием между царём и народом, постоянно подвергался критике со стороны национально-ориентированных представителей культурной русской элиты. Так, А. В. Никитенко был убеждён, как и славянофилы с почвенниками, что революционная радикализация общества с началом террора против царя в 1866 году имеет своим главным истоком космополитизм и русофобию Санкт-петербургского верха, которая отвращает всё патриотическое в народе и обществе. Он печалился, что монарх ориентируется на “эти блестящие истуканы”. Среди последних он называл откровенных западников В. А. Долгорукова (министра, затем главного жандарма), А. А. Суворова (внука полководца, столичного генерал-губернатора, которого за русофобию критиковал Тютчев) и П. А. Валуева (министра)<sup>32</sup>. Поэтому и общий вывод Никитенко был столь же неутешительным, что и у Тютчева, Достоевского и т. п. представителей “национальной России”. В 1867 году он пишет в дневнике: “Самые опасные внутренние враги наши не поляки, не нигилисты, а те государственные люди, которые делают нигилистов, возбуждая негодование и отвращение к правительству...”<sup>33</sup>.

Запущенное положение, когда “точка невозврата” уже прошла, не могло быть качественно улучшено и при Александре III, лучшем царе XIX века с русской точки зрения. В династию и верхи въелась пороченческая “охранительная” психология, препятствовавшая курсу на достижение единства режима *гражданской свободы и самодержавной государственности* при “русском” её настрое. Царь, хотевший быть русским, продолжал по “железной” николаевской традиции не доверять своим консерваторам, не давая им “свободы монархической”, препятствуя “совместничеству умов” сторонников Русской Триады (выражения П. А. Вяземского). А. С. Суворин, бывший одним из вдумчивых наблюдателей, которые вынуждены были в очередной раз констатировать неудачу очередного “русского цикла” борьбы против Санкт-петербургской бюрократии, уже при новом царе записал в дневник страшную по пророческому потенциалу мысль, которую вторично цитирую по её суммирующей значимости: “Александр III русского коня всё осаживал. Николай II запряг клячу. Он движется и не знает куда...”<sup>34</sup>. Действительно, верховной власти не хватило разума восстановить Патриаршество, хотя о необходимости этого уже в 1811 году намекал Карамзин. Не был призван к служению в ключевые 1850–1860-е годы совещательный Земский Собор, вполне органичный для русского Царства. Не хватило даже ума для простого обратного переименования придворных чинов с немецкого языка на русский. Так до 1917 года и держались камергеры, камер-юнкеры и т. д. вместо сокольничих, конюшенных... Самое же страшное с русско-традиционалистской точки зрения произошло с самим Престолом царей русских. В. Ларионов называет всё это “загадкой из загадок”, отмечая следующее: “русским знаменитым и наидревнейшим родам Рюриковичей, Гедиминовичей... путь в Императорский дом был закрыт законом о престолонаследии и поправкой от 1820 года Александра I...” В то же время, так сказать, по закону деградирующего возмещения, доступ в русский царский дом оказался открыт “всяким мелкотравчатым немецким владетельным домам”<sup>35</sup>. Вот какие последствия возымел бюрократический “отрыв от народа” Петра Великого.

Всю эту наносную неметчину и смела народная стихия “возмездия”, о которой так ярко сказал великий А. Блок. Поэт, подобно своим предшественникам, убедился, что верхи были не в состоянии услышать голоса русской культуры, целый век взывавшего к престолу о восстановлении в правах *русской политики*. Как приговор звучали стихи гения: “Рождённые в года глухие / Пути не помнят своего...” (Тютчев, как мы уже видели, в тех же самых словах констатировал потерю своего “пути” русским бюрократизированным политическим классом). Поэт понял в 1914 году, что старая элита, так и не перестроившаяся на родной лад, забывшая русский “путь”, ответит за всё, потянув за собой и Россию. Впрочем, в последней строфе стихотворения он предрекает новый

русский “возвратный к себе” исторический цикл: “И пусть над нашим смертным ложем / Взовьётся с криком вороньё, — / Те, кто достойней, Боже, / Да узрят царствие своё”. Действительно, третий цикл нашего национального возрождения начался в советский период. Он, в частности, озаменован и тем, что великий композитор Г. В. Свиридов создал цикл песен на стихи А. Блока, в том числе включивший и процитированное стихотворение<sup>36</sup>.

Провозвестниками новой попытки русского возрождения, пытавшимися излечить Россию от старого западнически-бюрократического недуга, стали не только мыслители Зарубежья — И. А. Ильин и другие, религиозно и национально ориентированные русские, но и деятели, трудившиеся в Советской России. Удивительное дело — многие проблемы Старой России, в том числе и “бюрократическая” (отрыв власти от народа) перекочевали в Новую пореволюционную Советскую Россию. Среди мыслителей, понимавших это, ещё до Великой Отечественной войны сказали своё “возрожденческое” русское слово П. А. Флоренский и А. Ф. Лосев<sup>37</sup>. После войны, в условиях народного духовного подъёма острее стала чувствоваться русская бесприютность. Даже в компартии и государственном руководстве родилось национальное течение “русистов”, разгромленное по так называемому Ленинградскому делу (Н. А. Вознесенский, М. И. Родионов, А. А. Кузнецов)<sup>38</sup>.

Среди творческой интеллигенции, начиная с 1950-х годов, стало шириться национально-ориентированное движение, которое волновал тот же комплекс “антибюрократических” настроений, как и до революции — представителей школы Карамзина и Пушкина. Важнейшим писательским направлением этого склада стали *деревенщико*. Его лидерами были В. И. Белов, В. Г. Распутин, В. М. Шукшин, В. А. Солоухин и другие. Среди учёных первого разряда его представили академики И. Р. Шафаревич, Б. В. Раушенбах, Ф. Г. Углов. Среди композиторов русским вожаком был Г. В. Свиридов, а среди художников — И. С. Глазунов, среди поэтов — Ю. П. Кузнецов, среди историков — А. Г. Кузьмин. Возникло даже подпольное радикально-православное движение (И. В. Огурцов, Л. И. Бородин и др.). Легальными органами движения было Всероссийское общество охраны памятников и культуры (ВООПИК) и так называемый неформальный Русский клуб, объединившие идейный костяк деятелей русского возрождения (В. В. Кожин, С. Н. Семанов и др.).

Трагедией “многошелонированного” национального движения, имевшего легальные и нелегальные площадки, была полная невозможность его прорыва в политику. После погрома русских политиков в рамках “Ленинградского дела”, когда число расстрелянных исчислялось сотнями, а репрессированных — тысячами, это было неизбежно. Типологически повторилась ситуация первой половины XIX века, характеризовавшаяся наличием “золотой” русской культуры, сожительствующей с политическим классом, в котором господствовали не любившие русских “первые лица” вроде А. Х. Бенкендорфа, Л. В. Дубельта, М. А. Корфа. В 1970–1980-е годы среди коммунистической правящей элиты усилилось антирусское движение. Одним из его фактических лидеров был всеильный глава КГБ Ю. В. Андропов, активным идеологом антирусизма выступил будущий “прораб перестройки” А. Н. Яковлев<sup>39</sup>. Именно по записке Андропова в Политбюро (1981) лишился работы С. Н. Семанов, профессиональный историк и писатель, редактор популярного журнала “Человек и закон”, имевшего многомиллионный тираж.

Можно заключить, что не увенчавшийся успехом в 1950–1980-е годы третий исторический цикл русского “антибюрократического” политического возрождения не пропал даром, как и все прошлые, поскольку на идейном, культурном и философском уровнях его актуальность для России была ещё больше духовно осмыслена. Современные события, связанные с разрушительной деятельностью западных стран в России, Украине и Белоруссии по разложению их внутреннего руссоцентричного духовного, идейного и нравственного пространства, доказывают это. Украинский вызов особенно показателен. Окончательно изжило себя патологическое “правило” российского политического класса XVIII–XX веков, заставлявшее верхи пренебрегать интересами “народа-богоносца”, руководствуясь противоестественным для России западнизмом, аристократическим или демократическим. Сама наша земля вопиет, призывая верхи России более не следовать изболеченному Священным Писанием способу блёклого существования, когда “своя своих не познаша”<sup>40</sup>.

Сегодня не в меньшей мере должно быть востребовано наше национальное наследие в его стоянии за “своебытную” Россию, которая, по мысли классиков, должна отринуть бюрократический самообман петербургских верхов. Гениальный В. В. Розанов так суммировал в 1913 году эти спасительные чувства и мысли: “Безнародное правительство” — совершенная нелепость и бессилие. Только глубокая мечтательность русских и то же знаменитое русское “долготерпение” мирились и выносили, что у нас иногда на долгие десятилетия водружалось безнациональное, космополитическое правительство; что *бюрократия высшая и средняя действовала в России и чувствовала себя... как культурные германские инструкторы в Турции...*”<sup>41</sup>. Розанов заключал, сочувствуя государственному курсу П. А. Столыпина, что на Руси можно двигаться “только русскими парами”. Он рассчитывал, что “русская работа” в верхах империи будет когда-нибудь успешно завершена. Хотелось бы, чтобы эти вещие слова, воплотившие в себе соборный дух Русской традиции XIX — начала XX века, были бы, наконец, учтены в XXI веке.

Таким образом, на протяжении двухсот с лишним лет мы видим ряд повторяющихся попыток возвращения России “к самой себе”, к православно-ориентированной духовности, к возрождению собственной цивилизующей *самобытности* ценой отказа от *противоестественной подражательности*. Весьма важен опыт дореволюционного столетия, когда составилась отечественная “карамзинско-пушкинская” классическая школа мысли, отстаивавшая историческое право российской национально-ориентированной цивилизации, отвергшая западничество правящей “петербургской” элиты, приведшей Старую Россию к её “самоубийству” 1917 года<sup>42</sup>.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Ковалевский П. И. Психология русской нации. Воспитание молодёжи. М, 2005. С. 62.
- <sup>2</sup> Вандам А., Головин Н., Бубнов А. Неуслышанные пророки грядущих войн: Сборник. М., 2004. С. 46–49.
- <sup>3</sup> Суворин А. С. Дневник/ М.: Книговек, 2015. С. 260.
- <sup>4</sup> См., напр.: Кантор В. К. Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ). М., 2001. С. 106.
- <sup>5</sup> Там же. С. 117–118.
- <sup>6</sup> Фонвизин Д. И. Собрание сочинений в 2 томах. Т. 1. — М.-Л., 1959. С. 72.
- <sup>7</sup> Там же. Т. 2. С. 443. Справедливость недовольства Д. И. Фонвизина “просветителями” подтверждается откровенными критическими характеристиками “просветителей” со стороны Ж.-Ж. Руссо в его “Исповеди”. См., напр.: Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения в трёх томах. Т. III. — М., 1961. С. 362–375, 380, 399, 401, 407 и др.
- <sup>8</sup> Там же. С. 449.
- <sup>9</sup> Ужанков А. Н. “Слово о Законе и Благодати” и другие творения митрополита Илариона Киевского. М, 2014. С. 208–209, 201–211. Профессор Литературного института А. Н. Ужанков сделал уточнённый перевод классического произведения первоначальной русской словесности.
- <sup>10</sup> Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском отношениях (1811). М, 1991. С. 98, 32, 49.
- <sup>11</sup> Там же. С. 32.
- <sup>12</sup> Карамзин Н. М. Указ. соч. С. 53–54.
- <sup>13</sup> Там же. С. 97.
- <sup>14</sup> Тютчев Ф. И. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. Письма. — М: Правда, 1980. С. 186–187.
- <sup>15</sup> Там же. С. 190.
- <sup>16</sup> См. о них в данном контексте: Шульгин В. Н. Русский свободный консерватизм первой половины XIX в. СПб, 2009.
- <sup>17</sup> См. подробнее: Шульгин В. Н. Почвенничество // Русский консерватизм середины XVIII — начала XX века. Энциклопедия. М, 2010. С. 376.

- <sup>18</sup> См.: 1) Лунин М. С. Письма из Сибири. М: Наука, 1987. С. 24–25, 56, 121; 2) Мемуары декабристов. Южное общество. М.: Изд-во МГУ, 1982. С. 50.
- <sup>19</sup> См. подробнее: Шутьгин В. Н. “Уважение к своему народному достоинству”: Почему “Записка о древней и новой России” была запрещена // Литературная газета. 2011. № 44 (6345).>
- <sup>20</sup> Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. Собрание сочинений. М., 2000. С. 6.
- <sup>21</sup> Пушкин А. С. Друзьям (1828) // Он же. Полн. собр. соч. в 10 томах. Т. 3. – М., 1963. С. 48.
- <sup>22</sup> Тютчев Ф. И. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. Письма. – М: Правда, 1980. С. 159, 164–165, 173, 176 (курсив Тютчева).
- <sup>23</sup> Там же. С. 185.
- <sup>24</sup> Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. М.: Захаров, 2000. С. 115.
- <sup>25</sup> Там же. С. 235.
- <sup>26</sup> Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений и писем в шести томах. Т. 6. Письма 1860–1873. – М., 2004. С. 9 (курсив Тютчева).
- <sup>27</sup> Самарин Ю. Ф. Статьи. Воспоминания. Письма. – М., 1997. С. 81.
- <sup>28</sup> Там же. С. 86.
- <sup>29</sup> Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений и писем в шести томах. Т. 6. С. 271. Аналогичных суждений в письмах Тютчева много – см. с. 300, 302, 312, 326, 368–369 и др.
- <sup>30</sup> Там же. С. 364. Тютчев, наблюдая чиновные сочувствия Парижской коммуны, иронично предрекал в письме к И. С. Аксакову, взяв за кальку-образец *Заповеди Блаженств* на церковнославянском, подчёркивая неизбежность революции: “... блаженны нигилисты, тии бо наследят землю до поры до времени”. Там же. С. 399.
- <sup>31</sup> Там же. С. 402.
- <sup>32</sup> Никитенко А. В. Записки и дневник. В 3-х томах. Т. 3. – М: Захаров, 2005. С. 123.
- <sup>33</sup> Там же. С. 177.
- <sup>34</sup> Суворин А. С. Указ. соч. С. 260.
- <sup>35</sup> Ларионов В. Е. О православном монархизме и монархизме воровском // Третий Рим. Русский альманах. № 5. – Иркутск, 2006. С. 96–97.
- <sup>36</sup> См.: Свиридов Г. В. Музыка как судьба. М., 1917. С. 456–459 и др.
- <sup>37</sup> См., напр.: Флоренский П. А. Предполагаемое государственное устройство в будущем // Он же. Сочинения в 4-х томах. Т. 2. – М, 1996. С. 647–681.
- <sup>38</sup> См.: Платонов О. Ленинградское дело // <http://www.hrono.ru/sobyt/1900sob/195009301en.php>.
- <sup>39</sup> Этот идеолог ЦК КПСС “прославился” своим антирусским манифестом. См.: [Яковлев А. Н.] Против антиисторизма // Литературная газета. 15 ноября 1972. Ин. . 1:11 (цитата на церковно-славянском языке).
- <sup>40</sup> Розанов В. В. К открытию памятника П. А. Столыпину // Он же. На фундаменте прошлого (Статьи и очерки 1913–1915 гг.) / Общая редакция А. Н. Николюкина. М.: Республика, 2007. С. 136–137 (курсив мой. – **В. Ш.**).
- <sup>42</sup> М. Алданов, по сути, внёс вклад в социологию Русской революции, показывая её как синтез духа “убийства”, отстаиваемого революционной интеллигенцией, и “самоубийства”, характерного для столичной аристократии. См. его романы о вызревании революции в XIX–XX веках: “Истоки”, “Начало конца”, “Самоубийство”.

СЕРГЕЙ БЕРЕЖНОЙ

## ЭТЮДЫ ВОЙНЫ

ФЕВРАЛЬ 2022

У каждого свой первый день войны. У генерала он масштабно-информационный, у солдата – сжатый до кончика тлеющей сигареты перед командой: “Вперёд!”. У меня он оказался размытым, не концентрированным – то ли от какого-то внутреннего опустошения, то ли от усталости, то ли от досады из-за незавершённости домашних дел, а это всегда тяготит. Но не было и намёка на адреналин, на волнение перед прыжком с парашютом. Ни-че-го! Со стороны могло показаться, что это тупое равнодушие и покорность: будь что будет. Хотя было ощущение какой-то обыденности и повседневности, будто каждое утро начинается с новой войны.

Накануне отъезда зашёл в храм. Бываю в нём редко, всё больше от случая к случаю, да и молитв не знаю. Так, постою особнячком, питаюсь тишиной и благодатью, поставлю свечу, осеню себя крестом неумело и уйду с душой просветлённой. А здесь приказал кто-то незримый: зайди в храм, зайди.

Прихожан почти не было, полумрак в свечах, лики святых, строгие и аскетичные, но со взглядом мудрым и светлым, тишина с едва прорывающимся, почти неслышным шёпотом молящихся. Дольше других стоял у образа Николая Угодника. Почему не у Сергия Радонежского, не у Михаила Архистратига, не у Богородицы, а именно у святого Николая Угодника – не знаю. Просто потянуло к нему и уже не смог отойти. Может, потому что покровительствует путешествующим, странствующим, а значит, душам неугомным. А я как раз из тех, из бродяг, на месте не сидящих и всё что-то ищущих, ищущих, ищущих...

Почему его лик вставал перед глазами в те самые мгновения, когда только какое-то чудо сохраняло трепещущую ниточку жизни, тонюсенькую, как волосок, от смерти. И когда не рванул вместе со всеми в подвал, а прижался спиной к стене дома, уверенный, что беда пройдёт рядом, только, может быть, опалит своим дыханием. А мины ложились под противоположной стеной, и дом дрожал и раскачивался, а осколки и взрывные волны выносили окна и кромсали крышу, пятнали стены, выворачивая целые куски. А губы сами по себе шептали: “Спаси и сохрани!” – и растягивались в уверенной улыбке: “Пронесёт”.

И тогда, когда не упали на мёрзлую землю в страхе от ложившихся в трёхстах метрах снарядов “Града” – сначала полпакета, затем пакет. И тогда, когда заблуждало добраться до наших позиций под Святогорском, да плутанули по незнакомым просёлкам и едва не заехали к украм – глазастый Гарик успел-таки заметить безвольно обвисший жовто-блакитный флаг над зданием



деревенского старостата. Знать, только благодаря Николаю Угоднику сподобилось тогда выбраться.

— Война — удел молодых. После сорока воевать тяжеловато, — резюмировал один из комбригов ещё в четырнадцатом.

В общем-то он прав: и реакция не та, и резвость, как у старой клячи, — дай Бог дотащить себя до стойла, но всё-таки нет правил без исключений.

Наша крохотная в масштабах подразделения боевая единица была по своему уникальна: всем далеко за шестьдесят плюс один с онкологией — отложил операцию до победы, другой с двумя инфарктами, третий умудрился обзавестись всеми хворями, чем богата медицинская энциклопедия, четвёртый едва шкандыляет: ломан-переломан, пластинами скреплён, пятый вообще без глаза и конечности, шестой держится исключительно на самолюбии. Короче, инвалидная команда шестой степени свежести. А ещё нас называют комсомольцами, потому что Витя Носов на сомнения командира бодро отчеканил: “Партия сказала: “Надо!”, комсомол ответил: “Есть!” Вот с тех пор и приклеилось: “комсомольцы”.

Мы зашли под “крышей” “ANNA-News” — фронтового информационного агентства, на ладан дышащего после смерти Марата Мусина. Грушники — молодые симпатичные ребята — сделали вид, что верят в нашу легенду: главное, что мы дадим картинку и репортажи, которые они запишут на свой счёт. Нас такой расклад вполне устраивал: мы будем внутри событий и сможем видеть всё происходящее собственными глазами. Мы независимы в оценках, потому что нам никто не платит, и мы свободны от обязательств!

Наивные! Мы забыли старую истину, что на войне никому не нужны твои видения и рассуждения — всё подчинено человеку с оружием, который волен тебя задержать, арестовать, отобрать аппаратуру, посадить “на подвал” или вообще утилизировать в ближайшей лесопосадке и списать всё на ДРГ противника. Мы оказались вне правовой защиты государства. И всё равно решили не отступать.

Заходили, точнее, заезжали, а ещё точнее — завозили нас в “таблетке” верхней поклажей вповалку поверх ящиков с БК, РПГ-7, ПТУРов, пары пулемётов, спальников, упаковок воды и тушёнки. В общем-то не очень комфортно, учитывая довольно-таки пострадавшую дорогу с перемолотым в крошку асфальтом и ямищами от снарядов и мин. Потом командир признался, что специально упаковал нас в это средство передвижения в надежде, что мы откажемся от него, а поскольку иного нет, то значит, не поедем, и он будет избавлен от опеки над этими ветеранами обороны Шипки. Но мы были упрямы, и нам было всё равно, на чём нас доставят, хоть на метле.

Отцы-командиры долго совещались, кому-то докладывали в простуженно хрипящую рацию. Ну, если здесь и сейчас связь под боком у “ленты” ни к чёрту, то что от неё ожидать там?

— Это рэбовцы глушат, — с видом знатока веско произнёс Димка.

Он гусакон прохаживался от машин к краю посадки, то подходя на почти-тельное расстояние к стоящим поодаль офицерам разведки и командирам “моджахедов”, то возвращаясь к нам с таинственным видом хранителя страшной тайны, но вынужденного молчать.

Мы понимали, что РЭБ здесь ни при чём, что армия опять без связи и вторгается раз за разом то, что было и в сорок первом, и в девяносто шестом. Кто и из каких высших тактик и стратегий решил, что входящие в другую страну войска обойдутся и без связи? Ну ладно, напряжёнка с портативными рациями, нечасто встретишь “Баофенг”, ещё реже — “Азарт”, так хотя бы проводную полевую на первых порах размотали. Дудки!

— Мобилами обойдётесь, мать-перемать, — отрезал генерал на вчерашнем совещании. — Надо задачу выполнять, а не болтать по рации.

На его широком и бугристом лбу проступили капельки пота. Он ни на мгновение не сомневался, что будет мобильная связь, что Киев не отключит операторов, что артиллеристы сдуру не завалят опоры электропередач и вышки мобильной связи. Впрочем, какая разница, о чём он думал: у нас не было связи в первый день. Не будет и во второй, и в третий. Я с оказией выберусь в Белгород, подниму всех друзей, приятелей, друзей друзей и приятелей приятелей и привезу два десятка “Баофенгов”, которые за ночь “перешьёт” отрядный умелец.

Но это было вчера, а пока мы, заполняя мхатовскую паузу, глотали горький дым сигарет вместе с морозным воздухом, пахнущим весной, вовсе не от волнения, а от долгого ожидания и зябкости, заползающей под бушлаты и куртки. В километре была граница с привычным именем “лента” или, как её теперь называли, “ноль”. Кто решил, что “ноль” лучше “ленты”? Почему? Не знаю, но такое название границы мне совсем не ложилось на душу. Ноль — это ничего, пустота. А “лента” — это просто линия, за которую переступил и двинулся дальше. Хотя тоже черта, и для кого-то последняя, но всё же “ноль” — это не то. Наверное, кто-то решил, что это точка отсчёта нового, и, наверное, был в чём-то прав.

Мы не начинали жизнь с чистого листа — мы выбрали свой путь ещё в четырнадцатом и продолжали идти по нему, не желая иного. Мы опять были добровольцами — особый вид вымирающих представителей хомо сапиенса, выпадающих из нормальной обыденности. В отличие армейцев шли на войну не по приказу, в отличие от чэвэкашников — не по контракту. Мы были те, кто шёл по зову сердца, как бы патетически это ни звучало. Хотя нет, всё-таки мы подписали один-единственный контракт — контракт со смертью в надежде, что она пока повременит.

Сын проводил почти до “ленты”. Говорить особо не хотелось — всё было сказано-пересказано ещё восемь лет назад, когда провожал он меня на Донбасс. Обнялись, улыбнулись, стиснули зубы — так прощаются мужчины, без лишних слов и соплей. Будем жить!

\* \* \*

Заходили не фронтом, не развёрнутыми силами, охватывающими сразу все сёла до крохотного хуторка, а походными колоннами на “буханках” и “мотолыгах” без дозора и бокового охранения, без разведки и вообще без ума. И никто не знал, что творится в сотне метров от дороги на пустынных улицах сёл и посёлков, в посадках, рощицах, лесочках, вот за тем холмом или в подкравшемся к самой дороге балке или овраге. Просто потому, что никто не сказал, что придётся воевать и что вообще это будет самая настоящая война с убитыми, ранеными и пленными.

За Липцами в колонну встроились бэтээры, бодро вышедшие из распахнутых ворот украинской воинской части. Бойцы с любопытством разглядывали их, и лишь Батя приказал взять их в прицел гранатомёта. Они прошли с нами километров пять, потом резко отвернули в сторону и нырнули за посадку. Выскочили уже за Борщевой, но два из них стреножили: находиться под прицелом “граников” некомфортно, и мужики покорно полезли из люков, поднимая руки. Зато третий опять резко свернул влево и стал уходить, расчерчивая двумя широкими чёрными полосами яркую зелень озимых. Его можно было бы ещё достать, но Ясон, командир отряда, остановил Батю: пусть идёт. Батя — бывший майор-десантник — привык к подчинению, поэтому спорить не стал. Он пожалеет об этом через четверть часа, когда отпущенный на волю “Буцефал” притаится на краю посадки и из-засады сожжёт пару танков и положит полвзвода разведчиков, после чего преспокойно уберётся восвояси.

Местами поля были густо испятнаны воронками — следы нашей артподготовки. Красавцы! Рядышком батальон ВСУ квартировал: склады, казармы, ангары для техники — ни одного попадания, а зеленя перепажаны.

Вдоль дороги на обочинах изредка попадались подбитые, разбитые, сожжённые наши “Уралы”, пара “мотолыг”, танк с бессильно поникшей к грязному снегу пушкой и открытыми люками — они обогнали нас в Стрелечье. Выходит, приняли на себя уготованное нам. Потом буду встречать вдоль обочин и на Изюмском направлении, и на Святогорском, и под Боровой, и здесь, под Харьковом, битую и сгоревшую технику — дороги войны с её неперемненными атрибутами.

Мелькавшие за окном невзрачные до серости и какие-то обречённые сёла и посёлки, понурые и покорные, с безлюдными улицами, стылými изнутри домами со слепыми, без света, окнами. Наш первый и внезапный артурдар начисто снёс несколько опор и распорол газовую трубу, оставив сёла и городки без света, тепла и воды. Без света понятно — оборваны провода, без воды — тоже разобрались: электронасосы без электричества работать не желают, воду не

качают, а колодцами никто не занимался со времён получения самостоятельности. А вот с отоплением оказалось сложнее: от печей избавились накануне падения Союза, подарившего газ. Москва и Россия — это скверно, а вот газ из России — это хорошо. За три десятка лет кое-кто даже от топоров и пил избавился: ни к чему теперь в хозяйстве.

Что касается внезапности начала войны, так она больше для нас оказалась внезапной — секретность была на уровне. Зато чиновники местных властей, все правоохранители, пограничники, даже врачи из районной больницы, руководители всех служб и вообще мало-мальски наделённых властью ещё накануне подались в Харьков. Знали, чёрт возьми, до минуты знали, когда всё начнётся.

\* \* \*

Грохот и гул разорвали рассветную тишину. Сомнений, что началось, не было: ну наконец-то, дождались. Ждали ведь с четырнадцатого. И всё же осадок остался: почему с рассветом? Почему артиллерией и авиацией, а не добрым словом к жителям сёл, посёлков, городов хотя бы на пути к Харькову. Освободили от света, газа, тепла, кого-то от домов, сараев, скота домашне-го, работы, денег. А потом начался пинг-понг ракетами и снарядами, и людям было всё равно, от российских или украинских гибли их близкие. В сознании крепко-накрепко укоренилось: Россия принесла войну, и с этим нам придётся жить.

Почему назвали специальной военной операцией превентивные действия нашей армии по удалению ядовитого жала? Почему не война, хотя цели — тотальное уничтожение нацистской идеологии, идеи сверхчеловека и избранности украинской нации? Или не так? Или иная подоплёка, иные интересы, основные или сопутствующие, скрытые от наших глаз? Почему героизм наших десантников в Гостомле и вообще на киевском направлении, их самоотверженность и самопожертвование были перечёркнуты поспешным отступлением, напоминая бегство, в результате чего мы и понесли те самые страшные потери. Ну, а политическому имиджу России был нанесён сокрушительный удар, от которого мы едва оправились. Почему ракетно-бомбовые и артиллерийские удары были нанесены вне дислокации украинских подразделений? Почему? Потому что был какой-то “договорняк”, во всяком случае, на харьковском направлении? Потому что в очередной раз наступили на грабли и получили по лбу: с врагом нельзя договариваться? Он понимает только язык ультиматума, да и то под угрозой реального тотального уничтожения. С какого рожна решили, что будут встречать хлебом с солью на рушниках гарны дивчины с развевающимися лентами в косах? Встретили парубки, а не дивчины, и не с цветами, а с “джавелинами”, “энлау” и “стингерами”. Почему потом позволили нескончаемым потоком идти на Украину несущие смерть гаубицы, танки, ПТУРЫ, ПЗРК, миномёты и всякую другую нечисть, созданную исключительно для убийства? Война — бизнес сверхдоходный, но мы-то ведь ни при чём, не правда ли? Мы ведь не партнёры по производству, не совладельцы, не аффилированные и даже никаким боком не стоящие, не так ли? А почему бы и нет? Пять месяцев спустя мы продолжаем поставлять нашим убийцам редкоземельные металлы, электроэнергию, углеводороды, металлопрокат и т. д. — соблюдаем контракты, чёрт побери!

Потому, что нами задействованы малые силы, в несколько раз по численности уступающие противнику? Потому что изначально широкомасштабные действия сейчас локализованы на относительно небольшой территории? Потому что кому-то втемяшилось в голову сделать ставку на набранные наспех коммерческие подразделения — иначе их и не назвать — из бывших “чеченцев”, “сирийцев” и реже “афганцев”. Так за деньги на амбразуру не ложатся.

Хорошо, пусть будет специальная военная операция, хотя есть в этом что-то извиняющееся, словно не они орали “москаляку на гиляку”. Словно не они считали себя высшей белой расой Европы, наделённой миссией великого крестового похода на Россию.

Матушка из сельского храма сказала, что происходящее — кара Божья за равнодушие, за чёрствость людскую и что Россия продолжает Отечественную

войну за право жить на этой земле, говорить на родном языке, исповедовать веру предков.

\* \* \*

Мы найдём на окраины Харькова и даже закрепимся в ожидании основных сил. Мы сообщим о снайперских засадах на верхних этажах улиц Натальи Ужвий и Леся Сердюка, о подготовленных “мешках” с “джавелинами” и “энлау”. Мы многое успеем передать и будем недоумевать, почему никто не снизил этажность, уничтожив эти гнёзда.

А потом поступит приказ: оставить Харьков, уйти обратно за кольцевую в Циркуны и вместе с другими подразделениями стать лагерем на краю леса. Этот приказ мы нарушим: займём несколько брошенных домов на противоположном краю Циркунов, а по лесу будет нанесён удар РСЗО и миномётами. По тому самому месту, где должны были расположиться на ночь мы. А колонны “мотолыг” и буханок” двинутся по кольцевой прямо в западну, где их пожгут, и тела погибших будут коченеть, припорошённые снегом.

О них не расскажут официальные лица Минобороны. Во всяком случае, не сегодня. А всё потому, что происходящее здесь из разряда “вялотекущие бои местного значения”. Оборона, рейды разведгрупп по тылам, обстрелы – обычная рутинная фронтальная будней.

### **БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

Война – это быт, а всё остальное потом. Война – это рутинная грязь, тепло, неделями не знающее воды, пропахшая потом и чёрт знает чем одежда, промокшая, а потом прихваченная морозом и ставшая жестяной. Это сбитые в кровь пальцы и стёртые ноги в вечно мокрых берцах.

Разведгруппу на БМП тупо рванули “монкой” из засады. Трое “двухсотых”, остальные – “трёхсотые”. Ещё живой начштаба просил по рации помощь: оглушённый взрывом, контуженный, он хрипел, что контужен, не может ориентироваться и не знает, куда вывести людей, что патроны на исходе и что их ждали на этой дороге. Комбриг гонял желваки и молчал. Это он послал разведчиков вопреки здравому смыслу именно по этой дороге на БМП, хотя начштаба настаивал идти пешими через лес. Он понимал, что не окажи помощь – начштаба и разведчики погибнут, но свой резерв посылать не стал. Может, понимал, что и те могут угодить в засаду. Может, потому, что их было слишком мало. Может, потому, что живой комбат расскажет, кому обязан гибелью разведка. Может, потому, что... Да кто же знает, почему комбриг не принял решение. Начштаба последний раз вышел на связь. Он уже просил помощи – понимал, что никто не придёт, лишь прохрипел, что их осталось двое и что они уже выдернули чеку гранаты. И выругался угасающим голосом. Он не отпустил тангенту своей рации, и все слышали зачастившую и усиливающуюся автоматную дробь, взрыв и... обрушившую тишину в эфире.

Их тела вытащил комбат сутки спустя. Командир разведвзвода бригады рассказал ему о гибели разведгруппы и о том, что комбриг отказал им в помощи. Он вышел из дома и подставил лицо струям дождя, чтобы никто не видел его слёз, а потом собрал добровольцев и сам повёл группу на единственном уцелевшем бэтэзере. В том бою они пленных не брали.

### **ЭТОТ СЛАДКИЙ ГОРЬКИЙ ГОРОД ИЗЮМ ИЮЛЬ 2022**

Утром пришла весть: американскими “Хаймерсами” (“Himars”), на солдатском слэнге “Химеры”, укры ночью “накрыли” пекарню и топливозаправщики под Изюмом: “двухсотые”, “трёхсотые”, сгоревшие наливники, хлебопечки, помещения.

В тот день потускнели глаза и бойцов, желваки каменели на скулах комбрига, ротный Роман потерянно ходил от машины к машине, то поглаживал ладонью пробитое осколками крыло КамАЗа, словно утешая, то поправлял шнуровку тента и, ни к кому не обращаясь, потерянно и глухо твердил: “Его

мама вчера вечером звонила. Всё спрашивала, почему сын на звонки не отвечает, а я успокаивал её: мол, всё хорошо, просто связи нет. А пять часов спустя его не стало. Она опять будет звонить, а что я скажу?”

Комбриг приказал готовить документы: Роман сам повезёт своих погибших бойцов их родным, потому и не находит старлей места.

Колонну ждали после обеда, но солнце успело свалиться за гряду холмов, напоследок расплескав над лесом кроваво-красное с оранжевыми языками пламя заката, а её всё не было. Комбриг вышел к дороге, курил, жадно затягиваясь, и смотрел на таявший в сумерках асфальт. Ещё с десятков минут, и темнота поглотит его, смазав контуры с пшеничным полем. Ротный отошёл к перекрёстку и, широко расставив ноги и заложив руки за спину, устремил взгляд туда, откуда должны показаться машины.

Сначала пришёл звук гула моторов – натужный, с надрывом, потом показался свет фар – цепочкой тянущиеся одна пара, вторая, третья... Свет неяркий, даже тусклый, шарящий на два десятка метров перед собою.

Первыми на малой скорости шли машины сопровождения, следом – остальная колонна с разбитыми лобовыми стеклами, с буксируемыми на сцепках ранеными машинами с пробитыми скатами, дырявыми бортами, размоchalенными тентами и смятыми крыльями, калечной ходовой – кто без одного колеса, кто без двух; две хлебопечки на разутых дисках; в середине – “КамАЗ” с “зушкой” в кузове и телами погибших. Их не случайно положили в этот “КамАЗ” со скорострельной пушкой – своеобразный артиллерийский лафет, на котором перевозят для погребения военачальников. Это было символично, и комбриг приказал везти своих погибших бойцов именно в этой машине. Он вскинул руку к козырьку кепи, отдавая честь своим солдатам, полковник – рядовым.

Бригада выстроилась в каре за околицей села. Напротив выстроились машины с включёнными фарами, в середине – раскладные столы, напротив – “КамАЗ” с “зушкой”. Откинули борт и тела, укрытые в чёрные полиэтиленовые мешки, бережно сняли с машины и положили на столы. Кто-то стал в строй, кто-то замер у пулемёта и орудия, а один опустился на колени, положил голову на ноги погибшего и тихо плакал.

На небе ни звёздочки, густая вязкая темнота, едва рассекаемая светом фар, давила. Комбриг говорил резко и коротко о том, что это война на выживание, что нам не оставили выбора, но мы всё равно сильнее духом и за нами сила правды. Что всем хотелось бы вернуться живыми, но это война, и смерть выбирает лучших.

Потом бригада прощалась – выстроились в колонну по одному повзводно и поротно, проходили мимо столов, замедляя шаг и не сводя глаз с этих чёрных мешков, ставших саваном; кто-то смахивал слезу, кто-то крестился и что-то шептал, кто-то выходил из строя и замирал у тела того, с кем ещё вчера разговаривал, шутил, гонял по кругу сигарету. Они были ещё совсем мальчишки – старшему двадцать, младшему на год меньше. Совсем зелёная поросль, не оставившая корней. Генофонд России.

Стали грузить тела на машину, а бригада всё не расходилась, прощаясь с товарищами. Солдат, что плакал, опустившись на колени, трижды перекрестил погибшего, взял его на руки и понёс к машине.

Неожиданно пошёл дождь – тёплый летний дождь, мелкий, как через сито, и уже никто не таил слёз, смешивающихся со струйками. И как только машины тронулись, дождь прекратился так же неожиданно, как и пролился.

– Славные ребята были, раз небо просталось с ними, – последние слова замкомбриг произнёс вдруг севшим голосом в два приёма, и даже в размытой светом фар темноте было видно, как судорожно заходил кадык.

До рассвета мы так и не сомкнули глаз – сидели, курили до горечи, изредка перебрасываясь односложными фразами, а едва размыло сумерки, как колонна с БК, продуктами, водюю вновь пошла к фронту.

## **ТЫЛОВИКИ. 103-я Бр МТО**

О тыловиках не принято рассказывать – слишком обыденной и отнюдь не героической кажется их служба. 103-я бригада материально-технического снабжения – самые что ни на есть тыловики. С них даже “боевые” сняли – не в окопах же сидят. Ежедневно на рассвете уходят к фронту колонны машин,

доставляя выпеченный в бригадной пекарне хлеб, боеприпасы, топливо и ставшую драгоценностью воду. В непогоду и в зной, под обстрелами РСЗО и артиллерии, порой подрываясь на минах и расстреливаемые из засад, по бездорожью они выполняют свою рутинную работу, которую иначе, как боевой задачей, не назвать.

Бронежилеты на дверцах — почти девять кг, в них рулить неудобно, к тому же в такую жару футболка или майка под броником, напитанная солёным потом, за неделю расплзается на нитки.

В ту ночь вторая смена полевой пекарни выпекала хлеб, когда их накрыли ракеты “Хаймерса”. Начальника продслужбы капитана Сергея Петрашова взрывной волной впечатало в стену, но, преодолевая боль, головокружение и тошноту от полученной контузии, он бросился во двор, где занимались огнём заправщики и полевые хлебопечки, лежали погибшие и корчились раненые. Сначала вместе с бойцами затащил их в укрытие, а затем стал одну за другой заводить машины и выгонять их с территории. Горят машины, взрываются боеприпасы, а он раз за разом рвёт дверцу кабины, садится за руль очередной машины, заводит её, выводит на пустырь, сбивает пламя, возвращается, и всё повторяется сначала. Две машины спасти не удалось — заблокировало колёса, а пять вывел, едва не сгорев сам. Потом организовал отpravку раненых и погибших, а в уцелевшей хлебопечке стали выпекать хлеб. Ещё горят машины, дымятся развалины дома, а Петрашов с бойцами замешивает тесто, разводит огонь и выпекает хлеб, потому что утром надо кормить солдат.

Спросил у него, сколько же прошло времени от взрыва первой ракеты до последней выгнанной им машины. Он пожал плечами: наверное, минута, не больше. Вот так время спрессовалось у него в 60 секунд. На самом деле прошло действительно не так уж и много — минут 10. Шестьсот секунд поединка со смертью: могли сразить осколки, мог каждую секунду взорваться бензовоз.

Комбриг представил его к ордену Мужества. Он знает цену солдатского подвига — сам бывший сапёр, прошедший Чечню, вместе со своими бойцами сам водит колонны, делит с ними опасность, разминировует дорогу. Неужели кто-то в штабе округа отложит в сторону представление или начертает резолюцию “Недостойн”?

Сам же капитан Сергей Сергеевич Петрашов не считает совершённое им в ту ночь подвигом: обычная рутинная работа. Он напоминает капитана Тушина поразительной силой духа: невысокий, стеснительный, внешне заурядный, торопящийся уйти подальше от этого назойливого гражданского.

## САФАРИ

### 1

Накануне был у комбрига 103-й бригады материально-технического обеспечения: привезли с Виталием Писанковым “гуманитарку”. Встретил плотно сбитый крепкий военный с надвинутой на глаза кепкой, жёстким голосом и пристальным взглядом серых глаз:

— Пономарёв Николай Вениаминович, полковник, командир бригады.

Пока разгружали медикаменты, продукты и всё, по нашему разумению, необходимое бойцам, разговорились. Нас ждали в штабе 35-й армии, поэтому стал уговаривать отправить нас с оказией: всё равно везут боеприпасы, так, может, и нам найдётся местечко?

Конечно, радости общения с нами у комбрига не вызывало, но произнесённая фамилия генерала была заветным ключиком.

— Хорошо, завтра на рассвете отправлю.

Господи, радость-то какая! Расцеловать бы этого сурового полковника, да не удобно как-то.

О целях и задачах нашей крохотной группы никто не спрашивал, чем сразу же расположили к душевности и пониманию. Комбриг лишь приказал обеспечить “железом” и водой.

Заходили утром. Как обычно, подгонка броника и разгрузки, проверка оружия, распределение по машинам и... вперёд, через тернии к звёздам!

Терний было выше крыши, а если речь идёт о звездах небесных, то к ним могли взмыть на каждом километре фронтовых дорог, дорожек, троп, тропинок и просто продираясь либо сквозь заросли кустарника, либо ступая сторожко по полю, густо засеянному “лепестками”.

Мы – это четверо старичков-разбойничков под крышей “ANNA-News”, особо не обременившие собою командование. Там сразу посмотрели и распорядились: выдать этим недоумкам автоматы, по четыре магазина на брата, и пустить на вольные хлеба, раз им в кайф шариться по полям и лесам в поисках приключений на одно место. Впрочем, на всякий случай в сопровождение пошёл отчаянный подполковник, мастер спорта, интеллектуал, кандидат наук и прочая, и прочая. Назовём его просто Николаевич.

Мы – это Василий Проханов, одинаково профессионально владеющий фотокамерой и автоматом, прошедший Югославию, Таджикистан, Афган, Чечню и ещё кое-что, а теперь материализовавшийся здесь.

Это Кама, известный БНД, “Моссад” и иже с ними как “Дервиш”, 560 прыжков с парашютом, мастер спорта по боксу, карате, стрельбе и ещё черт знает по чёму. Перечень его регалий займёт целую страницу, ну, а о его прошлых “турне” по Афгану, Чечне, Африке, Донбассу и т. д. давно бы писать романы и снимать приключенческие фильмы, да только этого непоседу никак дома не застать, за комп не усадить, за стол не заманить.

Это Миша Вайнгольц, наш бессменный фоторепортёр, крайне флегматичный и невозмутимый, даже когда мина ложится рядом. Только отряхнётся и, лукаво щуря глаз, поинтересуется: “А шо це було? А ложиться надо было али нет?”. Шутник. У него за полтысячи прыжков, война на Донбассе и Украине, и вообще мужик надёжнейший и достойный.

Ну, и ваш покорный слуга, играющий роль бесстрашного Рэмбо, хотя на этот раз душа щемилась в пятках: нехорошее предчувствие стало ломать за двое суток до выхода.

## 2

Бросок на “КамАЗах” по дорогам Харьковщины и Луганщины к месту назначения надо было сделать за пару–тройку часов на предельной скорости. Ралли “Париж–Дакар” по сравнению с нашим перемещением – просто детские забавы в песочнице, а бездорожье африканской пустыни и рядом не стояло с этим ужасом грунтовок и асфальтово-щебёночной крошки. Если и был относительно ровный отрезок, то он не превышал диаметра колеса, а сама дорога была щедро испещрена ямами, рывтинами, воронками, изломана траками и пересечена колеями.

Льюис Хэмилтон просто дитя из ясельной группы детсада рядом с нашим водителем. Знакомимся ещё на базе, едва усаживаясь в кабине. Эдуард Юрьевич Соболев, сержант, контрактник из Хабаровского края, таёжник, сельский парень, а потому сметливый и цепкий, во всём обличье чувствуется сила, взгляд с лукавinkой. У него и подходка соответствующая, будто зверя скрадывает. Этому крепышу подвластна любая колёсно-гусеничная техника: танк, БМП, БТР, “КамАЗы”, “Уралы”, “тигры” и прочее “зверьё”. Ну, а легковушки и мотоциклы – просто семечки на один зубок. Год назад колесил по Сирии, накрутил почти сорок тысяч километров за семь месяцев, а теперь вот здесь разматывает километры и взбивает пыль фронтовых дорог. Матёрый “контрабас”, не чета мальчишкам-первогодкам.

Когда вернёмся и вывалимся в бессилии из кабины, волоча броники и автоматы, он вытряхнет резиновые коврики, вымоет кабину изнутри и снаружи, аккуратно заштопает дратвой пробитый осколками тент и отправится в автопарк в поисках пары досок, чтобы заделать зияющую дыру в кузове – осколок снаряда размочалил в щепки две доски в полу.

Но это будет потом, по возвращении, а пока мы в кабине “КамАЗа”, словно в миксере, – бросает из стороны в стороны и вверх-вниз: то головой бьёшься в потолок, то в плечо напарника, то в руку, вцепившуюся намертво в панель. Главное – не войти головой в лобовое стекло, иначе будет потом собирать по дороге разобранное по частям героическое тело. Но это так, ужастики, с непривычки разные глупости в голову лезут. Через часик пообвыкнемся, а через два уже с восхищением будем исподволь любоваться Эдиком, с лёгкостью вращающим баранку, бросая машину от обочины к обочине и ста-

вя её то на левые колёса, то на правые. Даром что бортом не цепляет дорогу.

Манера езды Эдика – не его прихоть, а жестокая необходимость: есть шанс в случае наезда на мину проскочить хотя бы кабиной, а в случае беспилотника или засады – снизить эффект прицеливания.

Едем молча, щупая взглядом дорогу, обочину, придорожные кусты, дальнюю опушку, разорванные в клочья облака, и кажется, что видим всё, что остаётся за спиной, словно стрекоза с её фасеточным зрением.

До Купянска сёла сонные и малолюдные, лишь детвора высыпает вдоль обочины и радостно машет руками. Редкая молодёжь сбивается в стайки, старательно изображая рыбаков, отворачивается и сразу же хватается за телефоны. Парадоксы войны: у нас связь только с Господом (да услышит Он наши молитвы!), а у них работает повсюду. После города пошли грунтовыми, изредка втыкаясь в ползущие колонны, но при удобном случае стараемся миновать их: лакомая цель для корректировщиков – растянувшаяся гусеницей техника, так что испытывать судьбу желания особого нет.

Мы идём первыми, угадывая направление по наитию, но вот не пропустить нужную дорогу удаётся не всегда. Пару раз проскакиваем нужные повороты – сам чёрт не разберёт в этой нарезке полевых дорог, но Николаевич угадывает нужное направление чутьём. Подполковник красавец: даже в самые критические мгновения бесенята пляшут в его карих глазах, и лукавинка не покидает их. Ни мата, ни крика – голос всегда ровный, вселяющий уверенность. Вот и в этот раз он обгоняет нас, останавливает, разворачивает, что-то объясняет Эдику, и тот понимающе кивает.

Изредка попадает разбитая или сожжённая техника: если наша, то напоролась на засаду или накрыла арта, если укроповская – значит, либо наши “вертушки” отработали, либо опять-таки арта, но уже наша. Любопытство гасит желание поскорее миновать место, где ещё, быть может, витают души погибших. Эдик старается объехать как можно дальше стороной эти “железяки”: разбросанные по дороге осколки, не ровен час, пропорют резину и минус полчаса как минимум, покуда снимешь-поставишь и накачаешь. Вообще-то оставаться одним на дороге нет большого резона даже днём, а если ближе к ночи? Какая-нибудь шишига выползет вон из того лесочка или дура прилетит, равняя на ноль. Впрочем, подобные опасения посещают головушку только по пути к фронту. Обратное усталость придавливает ощущение опасности к полу машины, и теснящий грунтовокку густой кустарник не кажется уже враждебным, разнотравье манит, а редкие возделанные поля умиляют. Пастораль!

В весьма негостеприимном местечке затвор автомата Камы заклинил намертво, и теперь этот чёртов карамультик годится лишь на то, чтобы прикладом мух гонять. Эдик не возражает, что наш аксакал теперь блаженствует с его аказмом: он ему в любом случае вряд ли пригодится, если наскочим на мину или долбанёт “птичка”. Даже если нарвёмся на засаду, его будут “снимать” первым, чтобы стреножить машину. У Мишки та же история, но сила русская одолела-таки это бездушное железо, и затворная рама с грехом пополам стала возвращаться на место.

Но нам везёт: видно, Богородица накрыла нас своим платом, защитила, спасла. Или молитва отца Николая хранила, а заодно вручённый им “Живой в помощи” – девяностый псалом, оберегающий воина.

### 3

Комбат ремонтного батальона молод, подтянут и строг, но вся строгость объясняется нечеловеческой усталостью. Круглосуточно принимает технику, организует ремонт, проверку, отправку. А ещё надо накормить и напоить прибывающие экипажи. Спит урывками и всё больше на ходу. Нам он не очень рад, хотя гостеприимно предложил переночевать, гарантируя тихое местечко под раскидистым орехом – гарантия, что тебя не намотает на траки в темноте, но мы категоричны: надо ехать, это лишь короткая остановка по требованию.

Слесаря, мотористы, оружейники и прочие работяги сугубо мирных профессий в военной форме, чумазые и с руками по локоть в мазуте, копаются в моторных отсеках, меняют опорные катки и траки на танках и БМП, лебёдушками поднимают двигатели, меняют направляющие на “Градах” и “Ураганах”. Вот взревел двигатель, и очередная бээмпэшка уходит на прогон – надо проверить реанимированный мотор на самых запредельных режимах.



Рембат расположился в поле и со стороны похож на колхозный полевой стан с ремонтной или тракторной бригадой. Впрочем, танки и БМП с задранными или опущенными стволами, РСЗО, грузовики, мощные скреперы и экскаваторы не приспособлены ни к посадке, ни к уборке, хотя перепахать землю могут запросто и глубоко. Да и засеять человеческими жизнями тоже.

Жара удушающая, броники сняты, но лежат рядышком вместе с автоматами – всё под рукой. Перерывы на перекуры, обед или отдых не предусмотрена – техника должна быть возвращена в строй в кратчайшие сроки.

Комбат превратил территорию рембата в редут со рвом и обваловой высотой метра в три. Предусмотрел ходы-выходы, визуальная охрана по периметру, постоянно дежурная группа оперативного реагирования. И не зря: “Точка У” легла метрах в двухстах, и все осколки принял на себя земляной вал. Точнее глиняный, плотный и рыжий. Ребята нарекли его “Чубайсом” или “Рыжим Толиком” и говорят, что впервые в жизни он сделал доброе дело, хотя и не по своей воле.

Котлован эта баллистическая фугасно-осколочная дура вырыла приличный – метров шесть-семь глубиной и метров 17 в диаметре. В кратере несколько крупных осколков, основная масса – в “оборонном” валу базы. Если бы не предусмотрительность комбата – быть бы беде: посекло бы – покосило и собрало бы обильную жатву из солдатских жизней.

В общем-то комбат спас десятки, а то и сотни жизней, десятки машин, вселил в солдатские души уверенность в безопасности. Не знаю даже, какая награда за это может быть и будет ли, но моторист возраста далеко не юного, вытирая ветошью руки, на мой вопрос улыбнулся:

– Батя придумал. Дай Бог ему здоровья и хорошей службы.

Батя – вот так уважительно сказал контрабас. “Батяня-комбат”, хотя этот “батяня” ему чуть ли не в сыновья годится. Но на войне уважают не возраст командира, а его заботу и умение беречь солдат.

Комбат отказался фотографироваться: зачем, мол, мы тыловики, мы подвиг не совершаем, мы просто работаем.

#### 4

Танк шёл как-то натужно, словно через силу. Рядом верной подругой прихрамывала бээмпэшка. Нет, она, конечно, не могла хромать – не колёса же, траки всё-таки. Но ощущение хромоножки давала неровность дороги и неритмично работающий двигатель, из-за чего она шла рывками.

На моторном отсеке танка на бушлате лежал танкист; второй, пристроившись рядом, придерживал его. Машины остановились, к танку бросились бойцы, на ходу растягивая носилки, но сидевший соскочил первым. Из люка ловко выбрался механик-водитель, невысокий и крепко сбитый, коротко стриженный и по виду вольный сын степей. Они аккуратно сняли лежавшего и бережно переложил его на носилки.

Когда раненого унесли, тот, что был на броне вместе с раненым, стянул шлем, вытер ладонью лицо и надел кепку. Был он невысок, коренаст и с виду неказист, с длинными не по росту руками, с небольшой бородкой на скуластом, азиатского типа лице. Он мазнул взглядом по лицам стоящих, и вдруг его прищуренные монгольские глаза полыхнули светом:

– Саньч! Чёрт возьми, Саньч! Мишка!!

Эта орущая макакa облапила стоявшего ближе Мишу, обхлопала и обмяла, затем принялась за меня, а я всё никак не мог узнать его, хотя что-то неуловимо знакомое было и в этих глазах, и в этих скулах, и в длинных загребастых руках.

– Это же Маугли! – радостно осклабился Миша.

Ну, конечно, Маугли, Серёга, забайкалец с густо замешанной монголо-бурятско-казачьей кровью. Тогда, под Харьковом, он был в балаклаве, а мы лиц не прятали, поэтому у него фора в узнавании.

Тесен мир, ой, как тесен. Мы расстались в середине марта под Харьковом, а потом их отряд сильно потрепали, и он “материализовался” за почти три сотни вёрст под Изюмом в танковом батальоне. Скороговоркой, торопясь, он рассказал о своих мытарствах, вспомнили остальных ребят – кто ушёл, кто погиб, кто ранен или контужен.

Смотрю с любопытством на танк: не наш, Т-64.

- Где взял, лишенец?
- У укропов заначил, – смеётся Маугли.

Справа на башне сбита динамическая защита, смято правое переднее крыло и взрывом задрано заднее. Слева от ствола по металлическим контейнерам динамической защиты белой краской выведено: “Сербия”.

Видя моё недоумение по поводу надписи, Маугли объясняет, что командир – серб, потому и танк назван в честь его родины. А вообще-то экипаж интернациональный. Они доставили своего раненого командира. Прямо из боя. Сейчас чуток подремонтируют машину и снова на передок.

Просит сфотографироваться. Это дело не жалую и практически всё, что есть, – результат тайных акций Миши и его коллег. Но отказать Маугли выше сил, и фотокамера по очереди запечатлевает нашу встречу, бронированного Боливара и его друга. Вот ведь как бывает: там, под Харьковом, в феврале и марте мы с Маугли совсем не ходили в друзьях – так, “привет-пока”, а оказалось, что здесь нет роднее и ближе, чем он.

– Маугли, ты когда поумнеешь? Тебе сколько годков-то? Дома, небось, ждут не дождутся непутёвого, а ты здесь шаландаешься. . .

– Пока нациков не добьём – домой не вернусь, – он веско ставит жирную точку и достаёт из кармана банку с колдой. – Будешь?

В танке духота и температура под полтинник, за бортом – плюс тридцать пять, пот выедаёт глаза, даже когда не шевелишься, а ты просто таешь, как эскимо. Ревёт двигатель, рыкает пушка, вытяжка не справляется, и от газов рвёт лёгкие, наждаком дерёт пересохшее горло, и ты одуреваешь за десять минут боя. Состояние знакомое, поэтому решительно отказываюсь. Маугли одним махом осушает банку, относит её в мусорный бак, стоящий под деревом, возвращается и начинает долбить Мишку своими дурацкими вопросами и рассуждениями. Конечно, он соскучился – всё-таки вместе были три недели, а на войне это огромный срок, и ему хочется поговорить не меньше, чем жажду утолить.

Парадоксально с точки зрения обывателя: Маугли отнёс банку в мусорный бак. Рембаза исполосована траками и колеями – недавно прошли дожди. Бумаг, картонок, тряпок и всякого хлама не видно – так, по мелочам, то патронные гильзы лежат, втоптаные в грунт, то снарядные, но городские улицы по чистоте всё равно уступают. Комбат не случайно поставил мусорные баки – чистота, по его разумению, залог дисциплины и гигиены, а с этим он строг. Вот и Маугли не посмел нарушить заведённый порядок.

Русский воин Серёга с позывным “Маугли” начинал бойцом штурмового отряда, теперь наводчик трофейного Т-64. Воюет не за деньги, звёздочки и бронзулетки – их получают другие, а чтобы жила Россия.

## 5

Нашу крошечную колонну из трёх “КамАЗов” вёл замкомбриг. В самом начале скрыл его под именем Николаевич, но теперь решил, что о таких офицерах надо говорить во весь голос. Зовут его Сергей Николаевич Марков, подполковник, кандидат наук, мастер спорта. Несмотря на нечеловеческую усталость, в глазах его пляшут бесенята, задор и какая-то гусарская лихость. Мне он интересен своей необычностью – без показной грубости, богатством, образностью и яркостью языка, точными и ёмкими оценками. Вот это и есть элита нации.

Солдат о Маркове не расспрашивал – негоже выпытывать о командире у подчинённых, неэтично, но они сами, с восхищением поглядывая в его сторону, говорят, что за ним готовы идти в огонь и в воду.

– Он на “ты” со смертью, но относится к ней уважительно, без бравады, потому и она его тоже уважает и обручиться не торопится. Короче, они взаимно вежливы, – старший прапорщик Андрей смотрит на замкомбрига, стоящего в полусотне метров в окружении офицеров бригады. – Понимаете, он настоящий. Как человек настоящий, а потому и офицер тоже настоящий, с большой буквы. На таких армия держится, а может, и вся страна. Его солдаты не просто любят – они боготворят его. Во мужик!

Он поднимает большой палец вверх, и его слова звучат так веско, что нет никаких сомнений в правдивости сказанного.

Он целый день в тяжёлом бронике и разгрузке, а со стороны – будто

в невесомой пелеринке ходит, бегают, прыгает. Я свой сбросил на третьем часу нашего сафари и больше не надевал, а затем и разгрузку забросил в машину, расставив магазины по карманам. А Кама так вообще сразу же засунул свой броник и разгрузку куда подальше. Но какой спрос с этих гражданских чудиков?

Его берцы блестят – умудряется, покинув кабину, сразу же смахнуть с них пыль и пройти щёткой. Боже мой! Тут в кроссовках ступни ног огнём горят, а он марку держит!

Когда-нибудь напишу книгу о нём, о комбриге полковнике Пономарёве Николае Вениаминовиче, о генерале Шкилюке Валерии Витальевиче, о сержанте Эдуарде Юрьевиче Соболеве, о майоре Уразакове Марате Галифутдиновиче, о старлее Романе, о многих других, с кем свела судьба в эти июльские дни и ночи.

Они в тени, и о них пока не говорят с экрана “ящика”, но без них не случится не только ни одна войсковая операция, но даже рядовой выход разведгруппы – они тот стержень, на котором держится армия. Это они днём и ночью в любую погоду доставляют боеприпасы, питание, воду, снаряжение. Это их трудами и заботами солдат сыт, в дивизионы и батареи доставлены снаряды и мины, магазины набиты патронами. Они тихие и незаметные рабочие войны, без которых армия не может жить и дышать.

## НЕТ ДЛЯ МЕНЯ РОДНЕЕ И БЛИЖЕ ИЗДАНИЯ, ЧЕМ “НАШ СОВРЕМЕННОК”...

### *Письма писателей Сергею Васильевичу Викулову*

После того как в 1968 году Сергей Васильевич Викулов возглавил журнал “Наш современник”, журнал кардинально изменил своё лицо. Новый главный редактор сформировал новую редколлегию.

“Кого читал и любил? – вспоминал он. – Ну, в первую очередь, курянина Евгения Носова, красноярца Виктора Астафьева, краснодарца Анатолия Знаменского (с ним учился на ВЛК), знал Виктора Лихоносова, Фёдора Абрамова, Гавриила Троепольского, помнил о земляках – Василии Белове, Александре Романове, Ольге Фокиной... С робкой надеждой думал о бывших провинциалах, к тому времени уже освоившихся в Москве... Но главная моя надежда была всё же на новые открытия: я верил, что Россия не оскудела талантами...”

Новая редколлегия не просто включилась в активную работу – она стала безотказным помощником главному редактору, настоящей семьёй, в которой происходило всякое, но неизменным оставалось главное: и Евгений Носов, и Гавриил Троепольский, и Фёдор Абрамов, и другие классики русской литературы второй половины XX века делились своими живыми впечатлениями о публикациях, искали и находили новых авторов, и рекомендовали их журналу – жили жизнью “Нашего современника”, который даже его противники признавали лучшим журнальным изданием в России.

Письма писателей, публикуемые ныне на наших страницах, свидетельствуют об этом.

### ПИСЬМА ВИКТОРА ЛИХОНОСОВА

#### 1

27 августа 1970 г.

Дорогой Сергей Васильевич!

Я написал вам сразу же после прочтения повести В. Распутина<sup>1</sup>, но не отправил. Благодарил Вас за великолепную вещь нашего сибиряка, очень природно-правдивую. А не тенденциозно-правдивую. Как повелось у нас в посл<едние> годы. Журнал всё лучше и лучше, и это движение к тому самому. О чём я Вам как-то писал: умно, талантливо, правдиво. Если ещё не

будете давать рецензий “по благу” (на средненькие книжки), то совсем хорошо. Вот и сейчас благодарю Вас. Дай Бог успехов и в будущем. За Ивана Бойко спасибо<sup>2</sup>. Он очень-очень хороший. Рекомендацию я напишу ему с удовольствием. Его надо принять обязательно: поддержка всяческая, и нам легче.

Повесть Жени Носова тоже хороша<sup>3</sup>, но, как всегда (или очень часто) бывает с Женей, слишком много здравого смысла, нет забвения, и на этот раз мне лично не хватило поэзии, которая в таких случаях пронзительно звучала у Бунина. Мысль должна быть окутана читательским наслаждением, строчки чтоб хотелось подчёркивать. Но это мои личные придирки, от того “перекося”, который “заметил” В. Камянов<sup>4</sup>. Бог с ним. Если никто больше не заступится, так мы и жить будем, значит: по углам материться и качать права – в письмах. На юге, конечно, рады. Была вёрстка книги, ещё не отправлена, и вот теперь ждут, очевидно, отзвука свыше. Был у меня сейчас Сережа Хохлов<sup>5</sup>, посидели, вы его не забывайте. Его здесь тоже унижают всякие умники. Эдак культурно. Напечатайте его! “Осень в Тамани” пришлю, рассчитайте на 1 полугодие 71-го<sup>6</sup>. Рассказ будет<sup>7</sup>. Моё творчество д<олжны> были обсуждать в сентябре в СП РСФСР, но я приехать смогу только в декабре. Всем привет. Будьте здоровы. Когда проезжал Москву, бывал в ней только утром и вечером. Позвонить не мог.

В. Лихоносов.

<sup>1</sup> Речь идёт о повести Валентина Григорьевича Распутина (1937–2015) “Последний срок”, напечатанной в №№7-8 за 1970 год.

<sup>2</sup> Повесть Ивана Николаевича Бойко (1934–2013) “Труболёт” была напечатана в № 11 журнала за 1970 год.

<sup>3</sup> Речь идёт о рассказе Евгения Ивановича Носова (1925–2002) “И уплывают пароходы, и остаются берега”, напечатанном в № 6 за 1970 год.

<sup>4</sup> Речь идёт о статье Виктора Камянова, напечатанной в “Литературной газете” 26 августа 1970 года.

<sup>5</sup> Поэт Семён Никанорович Хохлов (1927–2013), печатавшийся под псевдонимом “Сергей Хохлов”.

<sup>6</sup> Повесть “Осень в Тамани” была напечатана в № 5 за 1971 год.

<sup>7</sup> Очевидно, речь идёт о рассказе “Элегия”, напечатанном в № 10 за 1973 год.

## 2

30 июня 1973, суббота.

Дорогой Сергей Васильевич!

Ты меня всегда радуешь своей лаской, спасибо. Я спешу выразить признательность за то, что редакция взяла мою “Элегию” – вещь в каком-то смысле переходную в моём творчестве. Внутренне я тянусь к романному повествованию, но ещё придётся много пота пролить. Пока овладею этим методом. Читал недавно вёрстку своего однотомника и устал от своего бесконечного лиризма.

Быть членом редколлегии “Н<ашего> сов<ременника>” – большая честь и большая поддержка мне, живущему в провинции. Я ведь целиком разделяю позицию журнала, хотелось бы только, чтоб он (журнал) активнее завоевывал интеллигенцию, чтобы, читая и любя его, она вдруг создалась, что слишком часто клонила к изданиям космополитического духа. Задача трудная. Но от неё не уйдёшь. Так что я буду помогать вам, чем могу. Мы докажем. Что не один Нагибин печатает изобрет<ательную> прозу<sup>1</sup>, более того, его проза – умная подделка. Думаю, что повесть о молодёжи, которую творит сейчас Распутин<sup>2</sup>, поставит всё на место.

В понедельник я д<олжен> получить ордер. Уже знаю номер дома и квартиры. И. А. Кикило<sup>3</sup>, вознаграждая меня за мои краснодарские муки, провёл моё имя через все высшие гор<одские> инстанции и выбил мне жилище. Я теперь всё понимаю. Буду писать здесь, а печататься в Москве. Спасибо ему хоть за квартиру.

Сейчас отдохну. А в августе поеду с Ю. Гончаровым<sup>4</sup> по бунинским местам и возьмусь затем за продолжение “Когда же мы встретимся?” (1 ч. “Чистые глаза”)<sup>5</sup>.

Получил письмо от В. Потанина<sup>6</sup>. Он с начала года сидит в деревне с больной матерью. Доброе твоё слово, Сергей Васильевич, перед Дубултами (или оттуда) очень бы поддержало его. Подбодри его, вдалеке часто теряешь ощущение, что ты кому-л<ибо> нужен.

Адрес его:

Курганская обл., Притобольный р-н, село Утятское, В. П.

Обнимаю.  
В. Лихоносов.

---

<sup>1</sup> Юрий Маркович Нагибин (1920–1994) был членом редколлегии “Нашего современника” с 1966-го по 1981 год и регулярно печатал в это время в журнале свои рассказы. Уйдя из редколлегии, свёл через много лет счёты с журналом в “романе” “Тьма в конце туннеля”.

<sup>2</sup> Может быть, В. Лихоносов имел в виду повесть В. Распутина “Прощание с Матёрой”, напечатанную в №№ 10-11 за 1976 год.

<sup>3</sup> Иван Павлович Кикило – секретарь Краснодарского крайкома КПСС.

<sup>4</sup> Гончаров Юрий Данилович (1923–2013) – русский прозаик.

<sup>5</sup> Роман Виктора Ивановича Лихоносова “Когда же мы встретимся?” вышел отдельным изданием в издательстве “Современник” в 1978 году.

<sup>6</sup> Потанин Виктор Фёдорович (род. в 1937 г.) – русский прозаик.

## ПИСЬМА ГАВРИИЛА ТРОЕПОЛЬСКОГО

### 1

3 сентября 1971 г.

Дорогой Сергей Васильевич!

Не обижайтесь, что не ответил в срок на Ваше письмо. Утонул я в письмах. За лето не написал ни строки и совсем не отдыхал. Как выйти из такого положения – не знаю. Тупик.

Рецензию в “Звезде” прочитал и я. Хорошая рецензия и умная. Получил и письмо из редакции “Звезды” – тёплое и человеческое. Вообще-то редакции журналов и читатели стали меня баловать, но хорошо, что в моём возрасте зазнаться уже невозможно, а недостатки последней вещи, оказывается, я вижу лучше, чем кто-либо. Дай-то Бог, чтобы “Колокол”<sup>1</sup> не получился хуже “Бима”<sup>2</sup>.

Не все журналы приветствуют (это и естественно), а вот “Новый мир” по-приветствовал необычно. Я посылаю Вам копию письма и мой ответ на него<sup>3</sup>. Думаю, сами разберётесь и оцените ситуацию. Ну и ну! Остальные восклицания добавьте от себя.

Вы спрашиваете, когда я представлю рукопись. “Колокол” теперь уже будет повестью, а не рассказом, как предполагалось ранее, поэтому раньше второй половины 72 года дать рукопись не могу. Так или иначе, но она будет только у Вас в журнале – можно включить в проспект. Вот только не уверен – останется тем же названием (впрочем, это не так уж и важно).

Напишите о впечатлении от письма из “Н. М.”

Всем приветы и добрые пожелания.

Обнимаю.  
Г. Троепольский.

---

<sup>1</sup> Автобиографическая повесть “Колокол” так и осталась незавершённой и неопубликованной. Она неоднократно анонсировалась “Нашим современником”, но так и не была представлена в редакцию.

<sup>2</sup> Повесть “Белый Бим Чёрное Ухо” была напечатана в №№ 1-2 за 1971 год.

<sup>3</sup> 18 августа 1971 года из редакции “Нового мира” Гавриилу Троепольскому было отправлено следующее письмо:

“Уважаемый Гавриил Николаевич!

С некоторым удивлением члены редколлегии “Нового мира” прочли в “Нашем современнике” Вашу повесть “Белый Бим Чёрное Ухо”. Удивляться есть чему:

повесть, на которую у Вас договор с “Новым миром”, Вы передаёте другому журналу, даже не поставив нас в известность.

Разумеется, это Ваше право — печататься там, где Вы желаете, но всё-таки, мягко говоря, неловко получилось. Неизбежно встаёт финансовый вопрос: Вы должны вернуть “Новому миру” аванс, полученный за “Бима”. Или — если у Вас желание и реальные возможности — давайте перезаключим договор на новую вещь.

Наше доброе отношение к Вам остаётся неизменным: мы называем Ваше имя в проспекте “Нового мира” на 1972 год и печатаем весьма тёплую рецензию на “Бима”.  
С уважением О. Смирнов”.

Гавриил Троепольский тут же ответил на это письмо, подчеркнув, что он не собирается иметь дела с “Новым миром” после ухода оттуда А. Т. Твардовского, которому он и посвятил повесть “Белый Бим Чёрное Ухо”:

“2 сентября 1971 г.

Воронеж.

Прошу извинить за официальное обращение — не знаю имени и отчества.

На Ваше письмо от 18 августа 71 г. я не смог ответить в срок по самой простой причине: оно показалось настолько нелепым и обидным, что пришлось сначала отлежаться. Но — что поделаешь! — приходится отвечать.

Во-первых. Ещё в ноябре 1970 г. “Современник” объявил на обложке о том, что моя повесть “Белый Бим” будет напечатана в 1-2 номерах 71 г. Тем самым поставлен в известность не только “Новый мир” (кстати, об этом знали и в аппарате ЦК КПСС). Однако ни 10 месяцев назад, ни после опубликования повести никакого удивления редакция “Н. М.” не выразила, его и не могло быть, потому что причины расторжения договора с “Н. М.” были понятны, как мне казалось, каждому. При обращении даже к формальной логике действительно не столь трудно понять мой простой и, думаю, обычный для нормального человека шаг. Сомнений в том, что я обязан был поступить именно так, не возникало у меня ни на секунду.

Во-вторых, Вы пишете: “... всё-таки, мягко говоря, неловко получилось. Неизбежно встаёт финансовый вопрос: Вы обязаны вернуть “Новому миру” аванс” и т. д. Таким-то вот образом Вы неприкрыто ставите под сомнение мою честь, так как обо всём, что подразумевается под словами “мягко говоря”, догадаться легко, поскольку прозрачность этого выражения ещё ни у кого не вызывала сомнения.

Слов нет, понятие о чести у разных людей иногда разное, но очень редко бывает, чтобы честный поступок определялся как бесчестный. Однако таким исключением и является Ваше письмо с лёгким оттенком фамильярности и недопустимого в нашей профессии приёма — “испугом — на лопатки”.

В-третьих. Приёмом испуга Вы поставили себя в весьма неудобное и невыгодное для Вас положение, доказательством чего служит нижеследующее.

Если для Вас лично “встаёт финансовый вопрос” (касательно моего якобы бесчестного поступка), то для меня лично этот вопрос “не вставал и не встаёт”. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в бухгалтерию. Со своей стороны, сообщаю: как только получил 1-й номер “Современника”, где напечатана 1-я половина повести, я немедленно (6 февраля 71 г.) отправил 300 руб. в счёт погашения аванса (квитанция № 1421) и одновременно известил, что остальную часть переведу при первой возможности. Вы же “с некоторым удивлением” выражаете мне недоверие даже в “финансовом вопросе”. Говоря Вашими словами, действительно “неловко получилось” и “удивляться есть чему”.

Ещё раз официально подтверждаю: остальную сумму переведу обязательно. Если же требуется возвратить немедленно (по моим расчётам 400 руб.), то сообщите через бухгалтерию точную сумму, и я сделаю это при любых финансовых возможностях.

Из всего вышесказанного вытекает, что обсуждение Вашего категоричного “или-или” по отношению ко мне (или возвратите аванс, или “давайте перезаключим договор”) уже не имеет смысла. Следовательно, и моя фамилия автоматически выпадает из проспекта на 1972 год, о чём и извещаю настоящим письмом.

...Позвольте теперь высказать несколько кратких мыслей, пришедших в заключение данного письма, неофициальных, просто человеческих.

Благодарю Вас за радужные слова о неизменности доброго отношения ко мне. Но, поверьте старику, радушие и даже добропорядочность и постоянная приветливость, смешанные с недоверием к человеку и сомнением в его честности, — жуткое состояние души. Не дай бог Вам такого в будущем!

Подумайте и над тремя последними строками своего письма: “доброе отношение остаётся неизменным”. Дескать, хоть ты и скверно поступил, но всё-таки — “остаётся”. Да и само доброе отношение конкретизировано и выражено достаточно выпукло: “называем имя в проспекте” и “печатаем рецензию”. На мой взгляд и

то, и другое не зависит только от доброго отношения; точнее, и то, и другое должно быть сугубо объективно и вне зависимости от “остаётся” или “не остаётся”.

В заключение выражаю уверенность в том, что ни главный редактор, ни другие члены редколлегии непричастны к Вашему письму. Что же касается наших (с Вами лично) первых эпистолярных связей, то, думаю, Вы принимаете меня не за того, и мы, видимо, некоторым образом расходимся в некоторых понятиях. В числе прочих расхождений я, например, полагаю, что писатель обязан преимущественно писать, тем более — на склоне лет, но вряд ли этому помогают письма, подобные Вашему... Ведь оно получено в том самом конверте со штампом “Новый мир”, из того журнала, с которым связана моя литературная судьба. А Вы, незнакомый мне человек, написали такое самонадеянно-самодетальное письмо в те дни, когда тот, кому посвящена повесть моего сердца, тяжело болен...

Чуткость Ваша своеобразна, необычна и, мягко говоря, не вызывает одобрения.

Г. Троепольский”.

## 2

2 ноября 1971 г.

Дорогой Сергей Васильевич!

Не осудите, пожалуйста, что не ответил в срок на ваше тёплое и умное письмо. Весь октябрь я не работал и фактически не был дома с 10-го числа. Иначе не отдохнул бы.

Спасибо вам за добрые слова и за то, что Вы меня понимаете.

О “Колоколе” отвечаю: думаю, соображаю, вписываюсь — что-то должно получиться, а буде на то здоровье, сдам в обещанный срок. Чувствую — будет мне не легче, чем с “Бимом”, но поднатужусь. Однако имейте в виду, что начальный вариант мне не понравился: начал всё сызнова (это у меня бывает).

Говорят, что “Свобода” что-то провакала из “Бима” — то ль отрывок, то ль ещё какое-то “ку-ка-реку”. Вот уж истинно, дерьмоведы. А ну их к...! Они ведь могут отравиться и в источнике доброты и доверия запросто... Собака лает — верблюду идёт.

Поздравляю вас с праздником. Желаю всего доброго в жизни и важных действий!

Ваш Г. Троепольский.

Р. С. Студия им. М. Горького будет ставить “Бима”<sup>1</sup>. Режиссёр С. И. Росточкий. Соглашение на экранизацию подписал и отправил вчера. Писать сценарий отказался — иначе “Колокол” не зазвенит, а с деньгами в 1972 г. должно быть лучше, т. к. выйдет книжка в “СП”. Кроме того, уверен, что Росточкий сделает сценарий лучше меня, а это главное, чем деньги.

Вот и ещё один “след на Земле” оставит наш “Бим”.

Читали ль рецензию в “Новом мире”?

Г. Т.

Всем друзьям привет и поздравления с праздником!

---

<sup>1</sup> Фильм “Белый Бим Чёрное Ухо” вышел на экраны в 1977 году.

## 3

14.3.72. Воронеж.

Дорогой Сергей Васильевич!

Видимо, Вас уже информировали о положении дела с “Колоколом”. Моя обязанность, как я почёл, состоит теперь в том, чтобы чем-то возместить убытие “Колокола” в этом году.

Как раз кстати и получена на домашний адрес повесть В. Афонина “В том краю”<sup>1</sup>. Прочитал и возрадовался: появился новый талант. Эту повесть и посылаю Вам одновременно с настоящим письмом.

Лично у меня такое впечатление: автор очень хорошо знает деревню, а её проблемы подаёт изнутри, в самом человеке, как настоящий художник.



Природа у него тоже – через человека. Сцены неизбежного исхода деревни в город и переход от военного и послевоенного бесхлебья и неурядиц к материальному обеспечению – всё это подаётся без политграммоты и морализации, жизнь – как жизнь. И язык у него свой – ни на кого не похожий, и голос свой.

Но автору нужна и редакторская рука. Как увидите – он ещё не столь опытен, – требуются определённые сокращения, а кое-где надобна опытная рука Вячеслава Ивановича<sup>2</sup>, чтобы ослабить в отдельных местах “нажимы” или (как он умеет делать) вежливо их удалить по методу “крест-накрест от сих до сих”. От сокращения повесть только выиграет (как, в общем-то, выигрывает любая вещь в умелых руках).

Короче говоря, Вы откроете новое имя, никому не ведомое, и объявите о появлении нового таланта. Надо только немножко ему помочь.

Не подумайте, пожалуйста, что навязываю своё мнение, и прочитайте повесть так, будто и не знаете о настоящем письме.

Автор – сельский учитель из Одесской области. Это все данные о нём. Обратного адреса тоже нет. Узнаю – сообщу.

Доброго Вам здоровья.

Ваш Г. Троепольский.

---

<sup>1</sup> Повесть Василия Егоровича Афонина (1939–2021) “В том краю” была напечатана в журнале в № 11 за 1972 год.

<sup>2</sup> Редактор отдела прозы. Фамилия не установлена.

## ПИСЬМА ЕВГЕНИЯ НОСОВА

### 1

Дорогой Сергей!

Спасибо за телеграмму, за добрые слова. Это иногда лучше, чем кардиоваленовые капли. Дела мои пошли на поправку. Как видишь, могу уже стучать на машинке. Буду помаленьку добивать рассказ. Очень рад, что “Красное вино” хорошо прозвучало<sup>1</sup>. Получаю много приятных отзывов. В Литинституте уже обсуждали на ряде семинаров по текущей литературе. Всё это как-то поддерживает.

Получил я из комитета по печати приглашение войти в состав совета по “деревенской” прозе. В общем, я дал согласие, но меня всё это настораживает: что за совет, о чём совещаться? Боюсь, что это очередное сито, сквозь которое будут просеиваться все, кто пишет на эту тему.

Я тут пытался что-либо организовать для 4-го номера. Но ничего не нашлось путного. Организация наша маломощная, и литературная братия средней руки. Кроме той поэмы Корнеева, ничего нет<sup>2</sup>.

Читал ль в “Комсомолке” интервью с Астафьевым? Передай ему, что он становится пижоном. А вообще он прав: в провинции сидеть нудно в том смысле, что некому показать написанное, вокруг – мясомордая, быкомычащая орава. Вот разделяюсь с рассказом и поеду к ребятам в Вологду, отведу душу.

А ещё в “Комсомолке” была статья Витьки Логинова<sup>3</sup>. Взъярился против водки и требует сухого закона. Это Витя-то Логинов! Уж похлебал он на своём веку порядочно, особенно с московскими актрисами. Статья сумбурная, пустая. Не потому, что против водки, а просто глупая по претенциозности. И что это мужиков тынет на всякие интервью? Стареют, что ль?

Когда съезд?<sup>4</sup> А то я уже купил для этого новую рубаху... Правда, рубаха тёплая, боюсь, что в ней будет жарковато...

Обнимаю, привет ребятам,  
твой Женя.

---

<sup>1</sup> Рассказ Евгения Носова “Красное вино победы” был напечатан в №11 за 1969 год.

<sup>2</sup> Поэма Николая Юрьевича Корнеева (1915–2001) опубликована не была.

<sup>3</sup> Логинов Виктор Николаевич (1925–2012) – русский писатель.

<sup>4</sup> Третий съезд Союза писателей РСФСР проходил 24–28 марта 1970 года.

## 2

Дорогой Сергей!

Спасибо за доброе письмо. Ты застал меня как раз за работой над рассказом. Но этот рассказ я пишу для “Нашего современника”<sup>1</sup>, как раз самое втянулся в работу и, сам понимаешь, сейчас просто не смогу переключиться на что-либо другое. Все мои мысли и думы сейчас с моей новой вещью. С этим встаю и ложусь. Работы с Божьей помощью ещё недели на две – рассказ большой. Так что прости великодушно – прислать ничего не могу. Запасов у меня никаких не водится, к тому же уже полгода просрочил с договором на сборник в “Сов<етской> России”. Петров недавно прислал мне письмо, потребовал объяснений. Приходится торопиться.

Не знаю, как получится, но пишу о Севере и думаю дать непременно тебе.

Двенадцатая книжка “Современника” получилась хорошая, содержательная и читабельная<sup>2</sup>. Хотя критика и публицистика мне понравились больше, чем проза (правда, хорош рассказ Уханова, которого я уже однажды “завернул”<sup>3</sup>). Но завернул я его, думается, справедливо. А вообще я уже много свернул салазок набок – и Коле Родичеву, и Борису Дьякову<sup>4</sup>.

Не слишком ль я круто обхожусь с авторами? Но поверь, Сергей, иначе не могу. Зачем нам давать поблажки, зачем наводнять журнал серостью и аляповатостью? Если мы будем требовательны к себе и другим, я убеждён, мы сделаем, наконец, хороший журнал. Это уже намечилось, и я очень рад такому сдвигу. Вот ещё отправил вам отлично написанный рассказ Ирины Ракши, который мне присылали на рецензию<sup>5</sup>. Таких бы вещей побольше!

Жаловался мне Лёня Сапронов, что пошерстили его рассказ “Старожил”<sup>6</sup>. Будто правила Лариса Карлович. Не знаю, что она там правила, но я Сапронова знаю как очень добросовестного, мало того, просто как щепетильного писателя, и уж он никогда не предложит редакции сыromятину. Это тебе не Коля Родичев. К тому же рассказ автобиографичен и посвящён старому другу-шахтёру. Так что редакционная операция очень огорчила Сапронова. Впрочем, пошлю-ка я тебе его письмо. Посмотри сам. Только ты на него не сердись за это. Его ведь тоже понять надо – всё же автор, всё же своё родное дитя вам послал.

Ну, пока, Сергей.

Дружески обнимаю,  
Женя.

P. S. Спроси про рассказ у Нагибина. Он пишет много и быстро. И наверняка. Я бы с превеликим моим удовольствием, но – увы! Это же надо ещё придумать про что. Не всё годится для газеты. А думать сейчас просто не способен.

<sup>1</sup> Речь идёт о рассказе “Шопен, соната номер два” (№ 3, 1973).

<sup>2</sup> Имеется в виду № 12 за 1970 год.

<sup>3</sup> Речь идёт о рассказе Ивана Сергеевича Уханова (1940–2017) “Сено-солома” (№ 7, 1970).

<sup>4</sup> Николай Иванович Родичев (1925–2002) и Борис Александрович Дьяков (1902–1992) – русские прозаики.

<sup>5</sup> Рассказ Ирины Евгеньевны Ракши опубликован не был.

<sup>6</sup> Рассказ Леонида Лаврентьевича Сапронова “Старожил” был опубликован в № 3 за 1969 год.

## 3

Дорогой Сергей!

Спасибо за добрые слова о моих “Пароходах...” Высылаю подписанный договор. Право, меня очень тронули твои внимание и забота: и то, что ты

сразу прочитал рукопись и откликнулся телеграммой, и то, что выслал договор. Спасибо, друже!

На редколлегия приеду непременно, если только не помешает нездоровье. Пока чувствую себя нормально, и будем считать, что приеду обязательно, а потому закажите гостиницу — дня на три.

Из полученного списка предлагаемых публикаций присылайте всё, что находите возможным. Сейчас у меня есть время почитать. Выбора не делаю, поскольку не хочу затруднять редакцию, а кроме того, мне всё интересно, в том числе и публицистические статьи.

Получил письмо от Георгия Фролова<sup>1</sup>, из которого чувствуется, что парень обиделся моим замечанием относительно статьи Конорева о ярмарках<sup>2</sup>. Я не имею никаких претензий к самому Фролову и вовсе не думал его в чём-либо упрекать. Я хотел только сказать, что нам нужно требовать от публицистов более глубокого осмысления темы, чтобы статьи привлекали к себе внимания не меньше, чем, скажем, литературные материалы, а то и больше.

В этой связи было бы не худо, если бы Ю. Черниченко выступил бы у нас с одной из своих острых публикаций<sup>3</sup>. Можно было бы попросить об этом и Б. Можая<sup>4</sup>. При всей его петушливости, он может сделать толково и остро.

Короче говоря, публицистика чрезвычайно влияет на рост авторитета журнала, и нам не следует довольствоваться средним уровнем. В разговоре с Коноревым выяснились огромные возможности затронутой темы. Ярмарка, в сущности, сложный социально-экономический организм, и в административно-устроительном порядке их насадить нельзя, так же как нельзя привить всякие праздники “блинов” и “урожаев”. Одно то, что колхозы не принимают участия в сельских ярмарках, — парадокс, достойный глубокого авторского исследования, и пр., и пр.

Конорев же сознательно не показал мне свой очерк, поскольку испугался меня, хотя я бы мог ему подсказать кое-что в этом плане. Но мы уже договорились с ним на этот счёт.

Что касается просьбы Фролова, чтобы я сам выступил с какой-либо статьёй или очерком, то тут обещать что-нибудь трудно. Дело в том, что написать статью не менее трудно, чем рассказ: нужно специальное исследование темы, поездки, рыскание по статистическим отделам, всяким конторам, а таким временем подчас не располагаешь. Такая статья может родиться исподволь, из накопленных наблюдений, а когда — сказать трудно. Одного запала и полемического задора тут недостаточно. Словом, для писателя это не так-то просто, если он этим специально не занимается. Специализация есть специализация! Думаю быть полезным в этом разрезе пока хотя бы тем, что охотно и заинтересованно прочту любой материал, если Фролов пришлёт мне таковой.

Ну, вот и лады...

Надвигается день Советской армии и, пользуясь оказией, поздравляю тебя, Серёжа, и всех ребят редакции с Днём Солдата.

Обнимаю.

Женя.

---

<sup>1</sup> Евгений Иванович Носов ошибочно назвал “Георгием” Леонида Анатольевича Фролова (1937–2010), который в то время был ответственным секретарём журнала.

<sup>2</sup> Речь идёт о статье Льва Фёдоровича Конорева (1933–2011) “Есть праздники в русских селеньях...” (№ 5, 1971).

<sup>3</sup> После публикации жёсткой статьи Юрия Дмитриевича Черниченко (1929–2010) “Где же “тонко”?” (“Литературная газета” 18.3.1970) с критикой освоения целинных земель (ранее Черниченко был неистовым апологетом этого освоения) этого автора пригласили в журнал “Наш современник” в качестве публициста. Начиная с 1974 года он регулярно публиковался в журнале до тех пор, пока не порвал с ним по идейным соображениям.

<sup>4</sup> Публицистика Бориса Андреевича Можая (1923–1996) в “Нашем современнике” не публиковалась.

Дорогой Серёжа!

Такая досада, что не смог приехать на редколлегию! Только-только с поезда, почти полтора месяца проторчал в Волгограде, влип в карантин, хотя рассчитывал пробыть в тех местах пару недель. И вот на столе куча писем и в том числе – приглашение на редколлегию. Я давно ожидал такого вызова, давно не собирались, и было что сказать по публикациям, особенно по рассказу Н. Сизова<sup>1</sup> и запискам снайпера<sup>2</sup>. Я удивился небрежности обработки Ивана Падерина: сколько там всякой ерунды, нелепости и дурнины<sup>3</sup>. Но увы, теперь об этом придётся поговорить в другой раз, если придётся.

Очень тронут, Серёжа, твоими отзывами о моих “Пароходах”, хотя во многом вещь далека от совершенства. Что касается ожидаемых нападок, то я их не боюсь. Я писал правду, и моральный облик Савони чист и высок, и ни в коей мере не противоречит твоему выступлению на съезде. Ты ведь как раз и говорил о том, что именно вот такие Савони, бессловесные и незаметные, выдержали на своих плечах и тяжесть войны, и тяжесть разрухи. Не будь их, не было бы и героев. Все Герои (с большой буквы и со звездой на груди) возможны лишь тогда, когда рядом с ними и вокруг них стоят и подпирают героизм эти самые Савони. Хотелось бы послушать на редколлегии, что об этом говорили ребята.

За время, пока не было меня дома, принял рассказ Георгия Боровикова “Киря”<sup>4</sup>. Прочти в ближайшие дни. Присылайте ещё, потому что буду себя чувствовать тунеядцем, если не смогу тебе чем-либо помочь в работе над журналом. Можешь ни минуты не сомневаться в том, что нет для меня роднее и ближе издания, чем “Наш современник”. Что же касается моих планов, то всё, что будет написано, не минует журнала и будет предоставлено прежде всего ему. Конкретно пока не знаю, за что возьмусь. После съезда заканчивал сборник и нового ничего не писал. Просьются на бумагу рассказы “Переписка на машинке”, “По перволедку”, “Два сольди”, “Осенний отлёт” (последняя вещица, возможно, выльется в маленькую повесть-раздумье)<sup>5</sup>. Но ни один из этих рассказов не рискую предлагать для рекламы, поскольку, сам знаешь, всё зависит не от меня, а от возникновения какого-то внутреннего толчка. Потому что в последнюю минуту можешь засесть вдруг совсем за другое, о чём и не предполагал.

Вот засел за ответы на кучу писем. Получил поэму от Вити Коротаева, надо прочесть и отослать отзыв<sup>6</sup>. От Гриши Коновалова<sup>7</sup> тоже получил весточку, что ввели меня в состав Совета Правления СП РСФСР по русской прозе. Вот дочь принесла ещё какую-то бандеролищу из “Сов<етской> России”... (как бы не гранки сборника...) А ещё на столе два последних “Современника”. Словом, пора отпусков закончилась, и я в душе рад этому, рад работе, своему столу, рад хотя бы письменному общению с тобой и со всеми нашими ребятами, без которых я чувствовал бы себя одиноко и сиротливо.

Очень жалею, что не обнял тебя, Сергей, воочию, а посему вынужден обнимать заочно.

Твой Женя.  
17 сентября 1970 г.

Лёня Фролов спрашивал о моих творч<еских> планах, писать ему не буду специально, а попрошу тебя в двух словах пересказать о моих замыслах.

<sup>1</sup> Речь идёт о публикации Николая Трофимовича Сизова (1916–1996) “Клочок газеты. Из невыдуманных рассказов” (№ 6, 1970).

<sup>2</sup> Речь идёт о публикации воспоминаний Василия Григорьевича Зайцева (1915–1991) “За Волгой земли для нас не было. Записки снайпера” (№№ 4–7, 1970).

<sup>3</sup> Эта повесть Ивана Григорьевича Падерина (1918–1998) “На Крутояре” не была опубликована в журнале, но вышла отдельным изданием в издательстве “Современник” в 1974 году.

<sup>4</sup> Этот рассказ не был опубликован в журнале.

<sup>5</sup> Ни один из этих рассказов в журнале не появился.

<sup>6</sup> Очевидно, речь идёт о небольшой поэме Виктора Вениаминовича Коротаева (1939–1997) “Лейтенант” (№ 2, 1972).

<sup>7</sup> Коновалов Григорий Иванович (1908–1987) — русский прозаик.

## 5

Дорогой Сергей Васильевич!

Спасибо за письмо, за твою заботу. Честно, это всегда трогает.

Подлечиться, конечно, надо бы. Но всё некогда, некогда, некогда. Всё откладываете на лучшие времена. А когда они будут ещё, если лучшие времена уже позади... А я всё ждал тебя с ребятами на Курщину: вот приедут, вот нагрянут. Но лето прошло, и, видимо, уже не приедете. Начинаются всякие заседания, семинары, когда уж...

Правда, Чалмаев<sup>1</sup> успел побывать у меня, возил я его в свою деревню, показал Стрелецкую заповедную степь. Он написал про меня книжку, и те куски, которые вы даёте, видимо, оттуда.

Посмотрел план работы редколлегии. Зря вы меня подключили на обсуждение повести Астафьева<sup>2</sup>. Он мой друг, и мне трудно будет говорить о ней даже если только одно хорошее. Понимаешь? Ну, да ладно...

Прибуду в Москву 4-го, гостиницу надо дня на 3-4.

А вообще еду к вам с хорошим чувством радости, потому что по-человечески соскучился по всем вам. Выезд на редколлегию для меня всегда сопровождается ощущением праздничности. Не потому, что вырываюсь из дома, а потому, что увижу друзей и буду говорить с ними, т. е. с вами, черти полосатые!

Сергей, как же это так получилось с Феликсом?! Ах, как жалко парня! Умница-то какой!<sup>3</sup>

Обнимаю тебя, дорогой, и всех ребят.

Пока.

Твой Женя.

---

<sup>1</sup> Чалмаев Виктор Андреевич (род. в 1932 г.) — русский критик, литературовед.

<sup>2</sup> Речь идёт о повести Виктора Петровича Астафьева (1924–2001) “Пастух и пастушка. Современная пастораль” (№ 8, 1971).

<sup>3</sup> Феликс Евгеньевич Овчаренко (1932–1971) — журналист, критик, главный редактор журнала “Молодая гвардия”. Скончался от рака в 39 лет.

## 6

Дорогой Сергей!

Прости, пожалуйста, что подзадержал Волкова<sup>1</sup>. Я уже было собрался отправить рукопись сразу же после того телефонного разговора. Но потом показалось, что рецензия выглядит резковато, и снова засел за переделку. Провозился ещё два дня, да пока перепечатал... Вообще-то рукопись можно спасти, хорошо, если бы мне поговорить с ним лично. В рецензии всего ведь не скажешь. Но в таком виде её давать нельзя: уж слишком отдаёт белым эмигрантством. Если мы её напечатаем, то тут же с ходу её издадут за границей, ну, а нас, соответственно, разгонят...

Ну, а рукописи, при нужде, присылай, буду по возможности читать. Ганину скоро подошло<sup>2</sup>.

Обнимаю,  
Женя.

---

<sup>1</sup> Волков Олег Васильевич (1900–1966) — русский прозаик публицист. Дворянин, бывший юнкер, 20 лет проведший в лагерях и ссылках. Скорее всего, Е. И. Носов имел здесь в виду очерк “Енисейские пейзажи” (№№ 7–8, 1972).

<sup>2</sup> Проза Майи Анатольевны Ганиной (1927–2005) опубликована не была.

## ПИСЬМО ФЁДОРА АБРАМОВА

Дорогой Сергей Васильевич!

Жена только что переслала мне Ваше письмо (я в Ярославской деревне).

Спасибо за все хорошие и добрые слова. И всего более я от всего сердца желаю Вам успеха. Во всём! В поэзии. В Вашей нелёгкой журнальной работе.

Я верю: “Современник” — будет! Да он уже и сейчас есть.

Г. Троепольского прочёл. Начало — до приключений Бима — превосходно! А что касается приключений, то тут, по-моему, многовато беллетристики, морализаторства. Впрочем, даже и при этих огрехах повесть всё равно хороша. Она облагораживает читателя, просветляет его сердце.

Понравился мне очерк Вячеслава Шугаева<sup>1</sup>. Талантливый парень! А всё остальное у него на таком же уровне?

Псылаю подписанный договор и карточку. Авторский экз<емпляр> договора, пожалуйста, пришлите. Карточки другой нету. Если не устроит, верните, а я сделаю другую.

Ещё раз привет и лучшие пожелания. Я рад, что мы с Вами возобновили диалог.

Крепко жму руку.

Ф. Абрамов.  
31/V 71 г.

---

<sup>1</sup> Речь идёт об очерке Вячеслава Максимовича Шугаева (1938–1997) “Тунгусский берег” (№ 1, 1971).

## ПИСЬМА ВАСИЛИЯ ШУКШИНА

### 1

Сергей Васильевич!

Шлю обещанное. Жмёт меня, что рукописи такие, но если ждать машинку — это будет числа 10 июля. Не хотелось бы ещё отсрочить на месяц. И так затянул. Прочитайте. Если пойдут, порядок установите сами. Думаю, первым надо бы “Беседы при ясной луне” — он посильнее, а в конце — “Сны”<sup>1</sup>.

Ещё одна просьба (если я не сумею побывать у вас в июле): посмотрите, пожалуйста, после машинки с рукописью — попросите кого-нибудь, они иногда “непонятные” слова заменяют понятными. Всего бодрого! Читаю журнал...

Очень понравилась повесть Скалона<sup>2</sup>. Хорошо пишет!

До сентября в Москве не буду. Но когда буду — по новому адресу. И телефон даю.

Вот — на всякий случай:

Москва, ул. Бочкова, д. 5, кв. 121.

Тел. 287-60-20 Шукшин.

До свидания!

Деньги машинистке положил в рукопись.

---

<sup>1</sup> Рассказы Василия Макаровича Шукшина (1929–1974) были напечатаны в № 10 за 1972 год.

<sup>2</sup> Повесть Андрея Васильевича Скалона (род. в 1939 г.) “Живые деньги” была напечатана в № 3 за 1972 год.

### 2

Сергей Васильевич! Здравствуйте.

Получил ваше письмо (и журнал), где много добрых слов. Спасибо! И мне тоже охота увидеться с вами, и мы сделаем так, что увидимся. Как только я вернусь в Москву (теперь уезжаю в Ялту снимать натуру своей картины<sup>1</sup>), так зайду к Вам. Дорогу теперь знаю.

Мне очень дорогим становится журнал “Н.С.”. Но и заранее болит душа: дай Бог ему здоровья! Вокруг слышны разговоры, что – вот: журнал становится тем, чем был...<sup>2</sup> Опасные разговоры, как-нибудь глушите их. Есть один ловкий и гнусный способ напаковать: восторженно донести. Оно и так: были бы друзья, способ найдётся, но всё же – ради бога, чтоб не так просто было им проявить ещё одну заботу о русской литературе.

Простите, что сразу и полез с советами: правда, загодя мрёт душа. Ну, может, ничего.

Рассказы, конечно, принесу<sup>3</sup>.

С уважением  
В. Шукшин.

---

<sup>1</sup> Речь идёт о фильме “Печки-лавочки”, снятом в 1972 году.

<sup>2</sup> Шукшин имеет в виду, что “Наш современник” сравнивают с “Новым миром” Твардовского при виде на его страницах многих авторов бывшего “Нового мира”, причём сравнивают с подлым подтекстом: дескать, не пора ль убирать и Викулова? О писателях, которые после ухода Твардовского пришли из “Нового мира” в “Наш современник”, см. статью В. В. Кожина “Самая большая опасность” (“Наш современник” № 1, 1989).

<sup>3</sup> Новые рассказы В. М. Шукшина были напечатаны в № 9 за 1974 год. Это была последняя публикация писателя, актёра и режиссёра.

## ПИСЬМА ЭДУАРДА СКОБЕЛЕВА

### 1

Дорогой Сергей Васильевич!

С Новым годом! Здоровья Вам, удач, энергии, новых побед на благо народа и его культуры!

Посылаю Вам “Гладиатора”<sup>1</sup>. Очень, очень прошу прочитать без спешки (это немного), потому что меня начинают уже лупить всерьёз, хотя ухватиться им не за что. Их бесит, что показана та перестройка, о которой втайне мечтают торгаши.

Прогрессивное человечество, понятно, за меня, но прогрессивное человечество не имеет практически органов самовыражения за исключением стен в общественных туалетах.

Поддержите, поскольку этот ребёнок встал и на ваших весах!

Положение на Белорусском фронте непростое. Даже Василя Быкова, кажется, более всего заботит ныне памятник Шагалу в Витебске<sup>2</sup> да ускоренная реабилитация некоторых наивных белорусских письменников, давших втянуть себя в орбиту правотроцкистского блока.

Отсюда, с периферии, ясно просматривается готовящаяся попытка спровоцировать братоубийственную свалку. При той природной склонности искать абсолютную истину, которая свойственна русским людям, это сделать не столь уже сложно. Тем более что мы никак не можем найти общую объединяющую идею: трагедия народа, молчавшего слишком долго.

Всегда ваш  
Э. Скобелев.  
13.01.88.

---

<sup>1</sup> Главы из романа Эдуарда Васильевича Скобелева (1935–2017) “Смерть столоничальника” под общим названием “Гладиатор” печатались в журнале “Неман” (№ 1, 1988).

<sup>2</sup> В 1988 году началась борьба белорусских и еврейских националистов за открытие музея и установку памятника Марка Шагала в Витебске, который был установлен в 1997 году.

## 2

Дорогой Сергей Васильевич!

Читаю журнал и слежу за другими вашими действиями в пользу перестройки и прогресса на родной земле. Если молчу, это не значит, что не вижу и не одобряю. Вдохновляемый вашим примером, веду борьбу на своём участке фронта – отчитываюсь днесь вырезкой из главной газеты Белоруссии. Статья делает своё дело.

Посмотрите, как тов. Гозман, старш<ий> науч<ный> сотрудник МГУ, разлагает нашу мораль, какие методы применяет<sup>1</sup>. Это не только любопытно, это многое приоткрывает. Может быть, Ваш журнал захочет развернуть эту актуальную тему?

2–4 сентября был в Михайловском в гостях у Пушкина. Великий русский свет струят поля и рощи, обласканные взором гения.

Но есть проблема, решению которой лучше всех в России могли бы помочь только Вы.

Семён Степанович Гейченко<sup>2</sup>, хотя ещё лично принимает паломников, состарился и просит освободить себя от директорства. Московские “круги” навязывают страшных людей, которые в 2–3 года переменяют научных сотрудников и выхолощают русский дух Пушкина.

Гейченко это понимает, но на месте нет подходящих людей.

Может быть, вы указали бы на подвижника? Среди активистов Вашего журнала должны быть такие люди. Дело спешное, важное, нужное. Пушкинский мемориал – это ещё один “Наш современник”. Нельзя позволить преобразовать его в ещё одно чье-то “Знамя”.

С поклоном Ваш Э. Скобелев.

5 сент. 1988 г.

---

<sup>1</sup> Тогдашний преподаватель на факультете психологии МГУ Леонид Яковлевич Гозман (род. в 1950 г.), зарекомендовавший себя неистовым либералом и русофобом. В настоящее время внесён в список СМИ – “иностранных агентов”.

<sup>2</sup> Семён Степанович Гейченко (1903–1993) – организатор воссоздания и многолетний директор музея-заповедника А. С. Пушкина “Михайловское” в Псковской области.

## 3

Дорогой Сергей Васильевич!

Может быть, напишу статью о молодёжи и вечных ценностях, как Вы предлагаете<sup>1</sup>, но, честно говоря, не хочу работать на корзину, поскольку тоже взят временем и обстоятельствами за горло...

Вот я в мае сдал вам статью о народном художнике СССР М. Савицком – ни слуху ни духу<sup>2</sup>.

Понято, что Вы весь в проблемах. Понятно и извинительно. Даже поражает, что Вы столько сил уже выложили на общий алтарь. И всё же ...

Дела наши главные никак не пойдут, и всё-то будут закавыки, пока мы будем только сами организовывать каждое дело, пока не научимся использовать активистов, что под рукой.

Неужели же среди молодёжи, что столбом вьётся перед журналом, нет патриотов, которые бы сами рискнули взять на себя Пушкинский музей или порекомендовали подвижника?

Есть такой молодой ученый в Калининне – Владимир Юдин<sup>3</sup>, он у Вас печатался. Можно его сосватать...

И вообще – журнал мог бы посоветоваться с Гейченко на этот счёт, и материал принять от него. Пушкин – всегда наш первый современник, и любая публикация о нём в Вашем журнале – драгоценность.

Общая ситуация только усложняется. Вот у нас, в Белоруссии, поднимается националистическая волна, перед которой идут Быков и Адамович<sup>4</sup>. Попахивает “народным фронтом” по типу прибалтийских.

Лично я выступаю активно против, зная, что стоит за этим движением и что оно сулит СССР и русскому народу.



Я люблю Вас. Вы явление обновляющейся России – своеобразный Иоанн Креститель, готовящий почву для русского “Христа”, человек великой правды и великого мужества.

Работать с Вами – это работать для грядущего. Так что, независимо от сиюминутных настроений, я готов выполнить любую Вашу просьбу.

Если есть серьёзное намерение поговорить о проблемах молодёжи в журнале, пусть кто-либо из критиков или “читателей” выскажется о моей “исповеди”, а я дам ответ. Это будет самый результативный вариант.

Будьте здоровы.

Всегда Ваш  
Э. Скобелев.  
14. XI-88.

---

<sup>1</sup> Статью о молодёжи Эдуард Мартинович Скобелев (1935–2017) не написал. Вместо неё была опубликована его статья “В поисках истины” (№ 10, 1989) с весьма своевременным предупреждением: “Взамен “учителя всех времён и народов” нам подсовывают новых “учителей” в виде односторонне управляемого общественного мнения, ничего общего не имеющего с действительным мнением народа, или “беспристрастные” международные форумы, где уютный междусобойчик интеллектуалов возьмёт на себя смелость вырабатывать “параграфы поведения” для 5-миллиардного человечества и тем определять его судьбы”.

<sup>2</sup> Статья о народном художнике СССР Михаиле Андреевиче Савицком (1922–2010) опубликована не была.

<sup>3</sup> Владимир Александрович Юдин (род. в 1947 г.) – критик, литературовед.

<sup>4</sup> Василь Владимирович Быков (1924–2003) и Александр (Алесь) Михайлович Адамович (1927–1994) – белорусские писатели, активно поддерживавшие создание “Белорусского народного фронта”.

*Публикация П. С. Викуловой.  
Предисловие и комментарии С. С. Куняева.*

НАТАЛЬЯ МЕЛЁХИНА

“ОСТАЛСЯ В ПОЛЕ СЛЕД...”

*(К 100-летию С. В. Викулова)*

Поражает количество теперь уже классических произведений второй половины XX века, опубликованных в “Нашем современнике” в годы, когда им руководил Сергей Викулов:

Василий Белов “Лад” (очерки о народной жизни, № 10 за 1979 год);

Валентин Распутин “Живи и помни” (№ 10-11 за 1974 год), а также все его “программные” произведения;

Гавриил Троепольский “Белый Бим Черное Ухо” (№ 1 и 2 за 1971 год);

Виктор Астафьев “Царь-рыба” (№ 1-6 за 1976 год);

Евгений Носов “Красное вино победы” (№ 11 за 1969 год).

Добавим сюда стихи Николая Рубцова и Ольги Фокиной, Леонида Мартынова и Александра Романова, Александра Яшина и Виктора Коротяева, и, конечно же, ещё одного уроженца белозёрской земли Сергея Орлова, земляка и друга Сергея Викулова.

Этот список можно долго продолжать. Реже вспоминают, что в “Нашем современнике” в годы, когда редакторствовал С. В. Викулов, были опубликованы и выдающиеся произведения, написанные на языках народов СССР. Например, великолепная поэма осетинского поэта Даута Дарчиева “Чабахан” (№ 3 за 1971 год), до сих пор любимая многими. Стихи якутского поэта, теперь уже классика, Семёна Данилова (№ 7 за 1976 год), стихи поэтов народов СССР: Алвади Шайхиева, Кайсына Кулиева, Мухаммада Рахмана, Эдуарда Милитоняна, Азима Суюна, Мухаммада Солиха и т. д. Нечасто вспоминают и о шедеврах публицистики. Так, до сих пор актуальны идеи, касающиеся сельского хозяйства, из очерка Юрия Черниченко “Про картошку” (№ 6 за 1978 год), или Александра Хватова “Черты народности” (№ 1 за 1973 год), или Наримана Аитова “Горизонты города” (№ 6 за 1972). Самое удивительное, что эти очерки до сих пор обсуждают не только литераторы. Например, об очерке Черниченко до сих пор спорят аграрии, идеи Наримана Аитова востребованы у современных градозащитников, очерк Александра Хватова читают современные этнографы. Мало того, в “Нашем современнике” выходили шедевры развлекательной литературы, в том числе переводной. Например, произведения Рекса Стаута и Клиффа Ричарда.

Как же Сергею Викулову удалось собрать под обложкой “Нашего современника” всё самое важное и интересное, что создавалось в литературе СССР, и при этом ещё и не замыкаться только в одной тематике и только на одном направлении? Ответ на этот вопрос получаешь, когда внимательно изучаешь архив “Нашего современника” с 1969-го по 1990 год. (Кстати, все жур-

налы этого периода оцифрованы, и поработать с ними можно на сайте Культурного центра имени С. В. Викулова.) Если их проанализировать последовательно, номер за номером, то выяснится, что редакторская политика С. В. Викулова базировалась на четырёх главных принципах.

Первый и самый важный – последовательность. Раз взявшись за какую-то тему, С. В. Викулов уже не бросал её. Например, для него, участника Великой Отечественной войны, необыкновенно важна была военная тематика. Но она появлялась на страницах “Нашего современника” отнюдь не только в майских и июньских номерах, не только к 9 мая и 22 июня, как это принято делать в толстых журналах и СМИ сейчас. Он последовательно публиковал произведения о войне из номера в номер. Причём читатель даже не с первого раза это понимал, потому что это были совершенно разные по жанру произведения, разноплановые по тематике, показывающие войну с самых необычных и неожиданных сторон. В одном номере это могли быть стихи о судьбе женщин на войне поэтессы Елены Ульяничевой, в другом – рефлексия о пережитом уже с точки зрения мирного времени поэта Владимира Поташева, в третьем – рассказ Василия Субботина “Белый Дунаец” о путешествии по местам его собственного фронтового пути в Европе и т. д. То же самое касается темы противостояния деревни и города. Последовательно из номера в номер она появляется на страницах “Нашего современника”, но в разнообразных, ничуть не похожих друг на друга произведениях и материалах.

Принцип второй – актуальность. Если мы посмотрим, какие же темы отбирал С. В. Викулов для последовательного отображения в “Нашем современнике”, то мы поймём, что он обращался к самым болезненным вопросам своего времени, а через них – к вечным для всего человечества. Для второй половины XX века это, безусловно, переживание травматического опыта Второй мировой войны, разрушение традиции в глобальном её понимании, урбанизация, проводимая в ущерб не только деревенской цивилизации, но и человеку, природе. К примеру, выше уже был упомянут очерк Наримана Аитова “Горизонты города”. Так вот, в нём прозвучала мысль, которую не очень поняли во времена С. В. Викулова, но сейчас она просто на пике востребованности. Нариман Аитов утверждал в своём очерке, что мегаполис должен строиться для человека, а не человек приспосабливаться под мегаполисы. “Если свободное время людей увеличивается, то это значит, что у нас должно быть больше театров, клубов, стадионов, кинотеатров, чтобы это свободное время было рационально использовано. Если город молодёжный, где почти нет бабушек и дедушек, а рождаемость высокая, – значит, ему нужно больше детских садов, чем городу, в котором много пенсионеров”, – считал автор. Удивительно, как в 70-е годы Викулов как редактор уловил болезненность этого отдельно взятого сегмента. На примере с очерком Наримана Аитова мы видим, насколько точно Сергей Васильевич чувствовал нерв времени, но не в сиюминутном биении, а с перспективой развития на будущее, на долгие годы вперёд.

Принцип третий – формирование “своего круга” авторов. Безусловно, у каждой редакции есть круг “своих” писателей и поэтов, критиков и публицистов. Но С. В. Викулов не просто постоянно публиковал того или иного автора, он ещё и следил за творческой судьбой каждого писателя и поэта на протяжении всей творческой карьеры этого человека. Он становился другом и постоянным оппонентом, так что подчас отношения его к авторам напоминали уже по-настоящему родственные, семейные. Так, по словам Ольги Александровны Фокиной, Сергей Викулов был для неё как старший брат: помог ей устроиться в Вологде, в том числе получить жильё, написал предисловие для её двухтомного издания, всегда с самым искренним участием интересовался перипетиями её творческой и личной судьбы. Дважды Сергей Васильевич обиделся на поэтессу. Один раз, когда она разрешила опубликовать свои стихи журналу “Знамя”, а не “Нашему современнику”. “Я тогда не знала, что издания конкурировали, и Сергей Васильевич сделал мне выговор”, – поясняет в воспоминаниях Ольга Александровна\*. Вторая обида случилась на творческом вечере поэтессы в Центральном доме литераторов в Москве. Сергей Васильевич был ведущим мероприятия, помимо этого, как уже упомянуто выше, именно он написал предисловие к двухтомнику Ольги Фокиной. И так получи-

---

\* Мелёхина Н. Старший брат // Вологда. РФ. 2022. 6 октября.

лось, что все книги поэтессы распродали, а ему не хватило экземпляра. “Но мне дороги были даже эти его обиды, очень уж он был неравнодушен к нам, вологжанам, северянам, болел за нас всей душой, а ведь мог бы тратить это время, которое тратил на нас, на свои стихи, своё творчество”, – говорит Ольга Александровна.

С. В. Викулов всегда был готов встать и на защиту “своих” авторов перед властью и идейными противниками. Примеров такого “заступничества” – масса в воспоминаниях авторов “НС” и не только. “Как редактор Сергей Васильевич смело отстаивал интересы национальной русской культуры и литературы, не боясь вступать в конфликты с идеологами ЦК КПСС Суловым и Зимяниным. Благодаря стойкости и мужеству редактора увидели свет такие произведения, как “Живи и помни” Валентина Распутина, “У последней черты” Пикуля”, – пишет поэт Валентин Суховский\*. То есть журнал в годы С. В. Викулова – это не просто набор фамилий в содержании, это сообщество единомышленников, близких по духу и близких лично людей.

Четвёртый принцип – отсутствие снобизма. Крайне редко встречающееся качество как в истории литературы, так и в наши дни: “неотделимость” себя, высокообразованного человека, и своей аудитории, возможно, образованной гораздо хуже, но от этого не менее ценной в общечеловеческом, гуманистическом понимании. С. В. Викулов не считал свои художественные вкусы мерой всех вещей, не ставил одни жанры или направления выше, чем другие, не считал, что литературные журналы – это элитарное чтение только для так называемых “высших кругов общества”. Потому и очерк “Про картошку”, до сих пор интересный крестьянам, колхозникам, появлялся на страницах “Нашего современника”, потому публиковались и произведения развлекательные, и рубрика юмора была в журнале на регулярной основе, потому и печатались тексты, с которыми, может быть, не всегда и не во всём сам С. В. Викулов был согласен. Но он давал право читателю самому составить своё мнение, а не навязывал свою точку зрения как некий непререкаемый догмат. Сергей Васильевич не считал своего читателя глупее, чем он сам. Он доверял народу, из которого вышел, народу, который любил как поэт.

Да, я стартовал от крылечка!  
И этим, мой недруг, горжусь!  
Крылечко  
да русская печка,  
да сани, да в бляшках уздечка —  
сама изначальная Русь.  
(“От крылечка”)

“Он пришёл к людям для того, чтобы сказать о мире, его породившем”, – так написал о Сергее Васильевиче известный критик и литературовед Василий Оботуров\*\*. “Мир, его породивший” – это родная деревня и родной Белозерский район, это великая и многообразная Россия, это самая непостижимая и глубокая на земле литература – русская, это воинская доблесть нашего народа. Этим объясняется близость “Нашего современника” к рядовому массовому читателю при высочайшем художественном уровне публикуемых произведений, многие из которых стали классикой.

---

\* Суховский В. Писатель, редактор, патриот//<https://proza.ru/2022/06/10/1726>.

\*\* Оботуров В. Сергей Викулов. М.: Современник, 1983.

НИКИТА БРАГИН

## ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И ПРИРОДА В СТИХАХ СЕРГЕЯ ВИКУЛОВА

Из всех современных вызовов, стоящих перед цивилизацией, одним из самых сложных представляется нарастающий кризис во взаимоотношениях человечества и природы. Обычно эту проблему называют экологической, но по сути она много шире и включает в себя вопросы экономики, социальной сферы, этики и философии. Сейчас это кажется очевидным и общеизвестным, но так было не всегда. Более того, связь человек—природа часто рассматривалась совершенно иначе. Из классической русской литературы нам знакомо утверждение: “Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник”. Впоследствии патетика индустриализации выразилась в строках: “Человек сказал Днепру: я стеной тебя запру!” Ещё ближе к нашему времени поэт, воспевший героизм Великой Отечественной войны, описал перекрытие Ангары языком солдата: “И, точно танки РГК, двадцатитонные минчане, качнув бортами, как плечами, с исходной, с грузом — на врага!”

В этих словах была своя правда. Но параллельно им в поэзии звучала и другая тема — иногда как тоска Верхарна по природе, задушенной в тисках города, иногда как насмешка Превера над статьями в защиту лесов, напечатанными на бумаге, сделанной из древесины этих самых лесов. Особый интерес представляет выражение этой темы в русской поэзии, отличающееся глубоким, системным и мировоззренческим подходом. Всё это можно убедительно показать на примере трёх стихотворений Сергея Викулова. Вот первое под названием “Природа ждёт”:

Всё на земле устроено на ять!  
Ничто Природа не творила слепо.  
— Зачем над твердью распахнула небо  
она?  
— Чтоб птице птицу догонять.  
— Зачем, не ставя в грош свои труды,  
она так щедро расплескала воду?  
— Затем, чтоб рыбам тоже дать свободу  
передвигаться в поисках еды.  
Но вот она пустила по земле,  
гордясь своим уменьем,  
человека.  
“Тебе, — сказала, — всё:  
моря и реки,



и томительной этой любовной игры.  
 Но на деле — ах, столько веков миновало! —  
 в мир давно уж на смену бесшумной стреле  
 громовые, литые пришли самопалы —  
 сто смертей, коль без промаха,  
 в каждом стволе!  
 Ну, а он всё поёт...  
 Он, как прежде, бормочет  
 “стих” свой древний —  
 и слеп в это время, и глух.  
 И шаги отмеряет к нему между кочек  
 смерть...  
 И носятся в воздухе перья да пух,  
 где упал он. Краснеет брусничинкой спелой  
 в клюве капелька крови... Бледнеет заря.  
 Не ошибся счастливый охотник прицелом,  
 очень точно направил смертельный заряд!  
 Подошёл: “Ух, красавец!” — и поднял,  
 помешкав.  
 Крылья — в стороны сразу: “Не птица,  
 а царь!”  
 И качнув головою, добавил с усмешкой:  
 “Но глухарь!  
 Удивительный просто глухарь!”

В этом многогранном стихотворении особое внимание заслуживают слова о красоте природы. “Не птица, а царь” — так утверждается царственность красоты, а это высочайший уровень, если учитывать особое значение слов “царь”, “царский”, “царственный” в русском языке. С другой стороны, именно эта прекрасная и величавая царственность определяет обречённость прекрасной птицы, именно благодаря этому качеству глухарь становится добычей. Здесь стоит вспомнить понятие, введённое писателем и учёным Иваном Ефремовым — “стрела Аримана”. Этими словами Ефремов назвал страшную закономерность, согласно которой в пору кризисов, хищничества, вторжений, колонизации, в первую очередь, страдают и гибнут самые прекрасные и самые заметные животные — как во времена кровавых охот, устраивавшихся европейцами в Северной Америке и Африке!

Продолжая мысль, можно сказать, что “стрела Аримана” точно так же губит самые прекрасные создания человека. При этом вандализм часто сопровождается отвратительной сытой пошлостью, вроде упомянутой усмешки охотника в конце стихотворения. Вспомним слова другого поэта: “Если ударами ядр тысячи Реймсов разбить удалось бы, — по-прежнему будут ножки у пулярд, и дышать по-прежнему будет ростбиф”. Потому не случайно у Сергея Викулова сравнение токования глухаря со стихом, с песней, с поэзией. Трагическая обречённость природы сливается в стихотворении с не менее трагической обречённостью культуры...

Наконец, перечитаем третье стихотворение — “Природа-мать”:

### 1

Три клада у Природы есть: вода,  
 земля и воздух —  
 три её основы.  
 Какая бы ни грянула беда:  
 целы они — всё возродится снова.  
 Но если... Впрочем, в наш жестокий век  
 понятно всем, что это “если” значит.  
 О человек! Природа-мать ни рек  
 и ни морей  
 от глаз твоих не прячет,  
 ни росных трав, ни голубых небес...  
 Цени её доверие, Природы.

Не обмани его!  
И в тёмный лес  
входи, как в храм под мраморные своды.

2

Ты — Человек. Ты — царь Природы. Так,  
поскольку всё в ней сущее подвластно  
тебе... Живи, сверяя каждый шаг  
с Природою — и будет всё прекрасно!  
И царские замашки не лелей  
в душе и не давай себе свободы...  
Ты — царь Природы, так.  
Но знай: трудней  
почувствовать себя венцом Природы!

3

Взглянув на то, что смято, сметено  
в очередном разбое или раже,  
не утешай себя, что всё равно  
Природа никому о том не скажет.  
Она не скажет, да... Но не простит!  
И час настанет: лично ли, заочно —  
она тебе жестоко отомстит!  
А не тебе — так сыну. Это точно.

В первой части звучит мысль о способности природы к возрождению. Так самоочищается вода, на месте гари растёт новый лес. Природа способна вернуться в своё прежнее состояние — но лишь если человек начнёт относиться к ней, как к храму. Эта мысль развита во второй части стихотворения до формулы самоограничения. Стоит, наверное, упомянуть, что самоограничение было важнейшей темой многих русских мыслителей в течение двух прошедших веков.

Финал стихотворения прост и ясен: в нём сказано об ответственности перед будущими поколениями: что мы им оставляем, на каком пепелище они будут жить? Имея все возможности для мирного и обеспеченного сосуществования (с природой ли, с другими людьми), человек предаётся разбою и тем самым губит собственное будущее. Это состояние нынешнего дня, ставшее предельно острым.

Поэты часто бывают прозорливы. Думается, это происходит благодаря тому, что поэзия всегда направлена к будущему. Не случайны слова “только грядущее — область поэта”. Не случаен и другой взгляд: “поэзия — вся! — езда в неизвестное”.

И сейчас, когда мы размышляем о будущности России и всего мира, о путях дальнейшей истории человечества, для нас бесценен опыт русской поэзии, неоднократно предугадавшей величайшую проблему нашего времени, угрожающую самому существованию цивилизации.

Многие русские поэты писали об этом. Я упомяну три имени: Николая Клюева, сказавшего о подмене лада хаосом, о приходе бесчеловечности, о том, как “каменная скука” попирает “берестяный рай”; Юрия Кузнецова, обратившего внимание на бессмысленную и бездумную жестокость человека, прикрываемую якобы научными целями; и, конечно, Сергея Викулова, в стихах которого сформулированы важнейшие принципы — гармоничность и системная целостность природы, трагическая обречённость её красоты перед мировым злом, неизбежность возмездия со стороны природы. Осмысление этого опыта и творческое следование ему — наша первостепенная задача.



АЛЕКСАНДР ШУРАЛЁВ

## ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЯНАКИ

17 сентября исполняется 70 лет со дня рождения талантливого русского поэта и прекрасного человека Сергея Георгиевича Янаки (1952–2021).

Сергей Георгиевич был истинно верующим человеком, и его вера была не какой-то ритуальной, а нутряной, сердечной, соединённой в единое неразрывное целое со всем его образом жизни. Она выражалась в милосердно деятельной и бескорыстной помощи всем встреченным им людям. Творить добро было для него повседневным, обычным делом. Он так жил, дышал, ходил по земле, будучи мастером на все руки, настоящим альтруистом и в то же время очень скромным тружеником, предъявляющим к себе самые высокие требования.

У Сергея Георгиевича был тонкий музыкальный слух. Это ощущается в каждом его стихотворении. Кроме того, к целому ряду стихов он сочинил музыку и задушевно исполнял их под аккомпанемент своей верной двенадцатиструнной гитары, настроенной, как русская семиструнка.

Помимо оригинального стихосложения, Сергей Георгиевич был замечательным переводчиком. Благодаря его таланту на русском языке в полный голос зазвучали многие поэты и поэтессы Башкортостана.

**“ДО БОЛИ, ДО СЛЁЗ, ДО БЕЛА...”**

**Колодец**

Был колодец мой стар и глубок...  
Я умру, обо мне так не скажут.  
Невысок будет мой бугорок.  
Невеликой потеря-пропажа...

Захотелось напиться воды.  
Да такой — обжигающей губы!  
Мне ль пугаться ночной темноты?..  
Мне ль страшиться колодезной глубины?..

Ветка охнет, согнётся в дугу,  
И антоновка катится в ноги...  
Месяц-мельник просыпал муку  
На просёлочной зыбкой дороге.

Надо мною кружит мотылёк.  
Старый сад зарастает пыреем.  
Догорает в окне уголёк.  
Догорит — и расплечется ревень.

Вот уже зачерпнул я воды,  
Вот уже отнимаются руки.  
И серебряный шелест звезды  
Мне в знакомом слышался звуке.

Оттого-то и стало светло,  
И отпрянула тень от сарая...  
Оттого-то мне так тяжело,  
Что верёвка в ладони — пустая...

Я достану ведро поутру.  
В донном иле — ведёрное донце.  
Покосился берёзовый сруб.  
И вода утекла из колодца.

Потому и хожу сам не свой,  
Потому и ночами не спится.  
Не испил я воды со звездой,  
И другой мне водой не напиться.

### **Сон предчувствия**

Опоённый хмельною травой,  
Сон-травой заговорной отпетый,  
Озаряюсь глухой стороной,  
Силясь вспомнить былые обеты.

Люди добрые, кто я? и где?  
Лик чужой мой с отливом извёстки.  
И роса ли в седой бороде  
Заронила горючие блёстки?

Это птица взметнулась иль бровь?  
Дятел, сердце ль стучит, что есть мочи?  
Это с ветром крикливая кровь  
Сговорились тайком среди ночи?

Что за власть оборола меня  
И ведёт за собой вдоль обрыва?  
И зачем мне подводят коня,  
И уже развевается грива?

Ни шлеи, ни седла, ни вожжей,  
И дорога донельзя размыта,  
И держусь я за пряди дождей,  
И скользят над обрывом копыта.

АЛЕКСЕЙ ТАТАРИНОВ

## ЮРИЙ ПАВЛОВ И ЗАХАР ПРИЛЕПИН: ДРАМА НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ

Имя Юрия Павлова прочно связано с южнороссийской литературоведческой школой. Одним из главных её деяний стала научная конференция правого фланга русской словесности, ежегодно собирающая представителей литературного, философско-публицистического, политического традиционализма. Начиналось движение в Армавире почти двадцать лет назад. До 2013 года конференция росла и крепла вокруг имени Вадима Кожинова. Последние семь лет, после переезда Юрия Павлова в Краснодар, она проходит в Кубанском государственном университете под знаком жизни и творчества Юрия Селезнёва и Виктора Лихоносова.

Захар Прилепин как минимум дважды принимал участие в этих чтениях: в 2008-м и 2013 годах. Естественно, по приглашению главного стратега конференции. В самом начале своей статьи [1] о книге «Есенин» [2] Павлов кратко пишет о добром отношении к прилепинской публицистике и эссеистике, к донбасскому периоду его жизни. Дальше – резкое размежевание. Так как оно имеет значение и для понимания литературы, и с точки зрения прояснения основ современного традиционализма, – стоит высказаться.

Книги о писателях Павлов считает «самыми неудачными» в творчестве Прилепина. В «Есенине» обнаружены недобросовестное цитирование и тенденциозное отношение к источникам, беспочвенные фантазии, «грубое насилие над жизненными реалиями» и многочисленные фактические ошибки. Биография становится презентацией левых взглядов Прилепина, его безосновательной уверенности в народных, старообрядческих корнях большевистской революции. Тема России (главная для поэта) автором отброшена с первого плана, норма здесь – неуважительное отношение к национальным контекстам творчества Есенина, к его друзьям, погибшим в сопротивлении «красному террору». Основным информатором и авторитетом для Прилепина остаётся безнравственный и бездарный Мариенгоф. Ключевым мотивом есенинской жизни и смерти объявляется погоня за славой. Таковы контуры павловской атаки на «Есенина».

В прежние времена книги в серии «Жизнь замечательных людей» писались десятилетиями, подводили итог качественному изучению судьбы. Юрий Селезнёв создавал своего «Достоевского» как главную книгу жизни, и на «Лермонтова» жизни уже не хватило. Трагическое сгорание есть плата за искренность сопричастности; нет возможности для компромисса и экономии сил.

В нашем веке правила иные. Торопливость, страсть к изданию нескольких томов за год никого больше не удивляет. Биография гения творится не кровью жертвенного служителя, а ремесленником, озабоченным результатом — звучанием собственного имени и финансовым успехом.

Впрочем, бывает и так: современная скорость письма не отменяет серьёзного резонанса. В подтексте павловской статьи слышится не самый добрый вопрос: да когда он успел ещё и это, о Есенине — на 1000 страниц! Примеров прилепинской спешки Павлов привёл много. Начиная с подробного сюжета первой встречи Есенина с Блоком. Я склонен к этим минусам (вызывающим справедливый гнев профессионалов) относиться спокойно по одной причине — перед нами манифест. Один из манифестов — и самого Захара Прилепина, и того идеологического фронта, который уместно называть “новым реализмом”.

Объёмного “Есенина” надо рассматривать как ответ столь же пухлому “Пастернаку”. Дмитрий Быков, чья художественная проза не вызывает у меня никакого энтузиазма, написал яркую книгу о персональной религии — о *живаговщине*. Об исходе ранимой, творческой, интеллигентской души из социально-государственной тюрьмы, из самой, всегда противочеловеческой, истории. Если учесть, что реинкарнацией доктора Живаго как воплощённого смысла жизни занимаются сейчас весьма востребованные писатели (Михаил Шишкин, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая; в ином стиле — Виктор Пелевин), то быковский “Пастернак” — фолиант знаковый, “символ веры” идеологического и эстетического либерализма.

Прилепин предлагает нам *АнтиЖиваго* — текст о жизни и смерти русского поэта на просторах истории, без пастернаковской осторожности, самосбережения, в жестокой актуальности народной жизни. Герой Пастернака соединяет Христа и Гамлета в сюжете излёта творческой души из *вечного русского тоталитаризма*. Прилепинский Есенин совершает иное движение — интенсивностью личной муки и силой поэтического мира благословляет историю. Доктора Живаго и мирное время едва ли устроит, этому Есенину — и революция в радость.

Манифест манифестом, но Прилепин пишет и личную, интимную книгу. В одном из выпадов против Быкова автор “Есенина” издевается над основной драмой оппонента — желанием долгой славы, бессмертия и невозможности достичь их пустым, бессодержательным характером быковской проповеди. Конечно, слава и бессмертие беспокоят и самого Прилепина. Об этом — его большая семья, бесконечные явления в сети и телевизоре, способность к речи по всем ключевым вопросам. Путь воина, конечно. И блогера, разумеется. И книги, книги, книги.

Прилепин поступает правильно: активно действуя в литературном процессе, чувствуя сегодняшнюю недостаточность своих писаний для штурма вечности, он наращивает присутствие во всех сферах, оказывает делом поддержку собственным словам, двигается закономерно в сторону политики. Можно уловить в этом избыточную суету и немалую гордыню. Можно оценить иначе: желание талантливого человека продлить *литературные сюжеты* в их относительности весомостью сюжета *исключительно своей, агрессивной, мужской судьбы*. По мнению автора “Саньки”, Есенин именно так и поступал.

Гордыня? Скорее, естественное расширение личности, осознавшей, что ей дано *нечто*, и надо очень постараться не закопать талант. Есенин — древнее, без комплиментов, зеркало для Захара Прилепина. Смотреть в него страшно, но ведь настоящий мужчина должен преодолевать страх. Возможно, именно поэтому таким долгим, безотрывным и многостраничным здесь получился взгляд.

Чтобы победить, надо воплотиться в стихии чистого русского слова, приходящей из веков национальной жизни и только сейчас переживаемой исторической драмы. А ещё что надо? Не тормозить в неудобных границах своей колеи. Пить, бить, любить — часть интуитивного плана по трагическому производству бессмертных стихов. И — одновременно — будущего кризиса, который убьёт тебя самого и запечатает сотворённые слова самой надёжной печатью.

За кадром “Есенина” — прилепинская лаборатория. Занимаются в ней психологией творчества, проблемой авторского бессмертия: “Но если всё здоровьем измерять, — быть может, вообще не стоит задумываться о поэзии...”

Есенин принёс себя в жертву волшебному русскому слову – в этом его светлый подвиг, сколь бы сомнительным ни казалось наше высказывание с позиций христианского канона”. Не сияющая чистота нравственных дорог приносит славу, а риск, кураж и чуждое канонам пребывание между раем и адом.

Вот поэтому так важны для Захара Прилепина две фигуры, которые в системе ценностей Юрия Павлова занимают негативные места. Это Владимир Ленин и Владимир Высоцкий. Рискну предположить, что для Павлова первый – главный враг всей русской исторической жизни, а второй – одна из важных фигур в деле подмены русской поэзии русскоязычной массовостью, приклатнённостью, симулякрами внутренней жизни.

Вроде бы о революционере и барде в книге Прилепина сказано не слишком много. Однако намеченная связь крепка. Ни Православию, ни деревенской прозе, ни современным традиционалистам здесь не поместиться. Каноны работают плохо, вся власть – апокрифам! Парадоксальное соединение Ленина, Есенина, Высоцкого позволяет Прилепину продвинуться к восходящему из тумана мифу. На первый взгляд, он почти банален: чтобы состояться, создать и просиять, надо провалиться в бездну; в ней, в самоликвидации, в преступлении обрести вдохновение и полномочия демиурга – в истории, поэзии, песне.

Разумеется, всё сложнее. Яркий модернист (“новый реалист” не антоним), Захар Прилепин выстраивает национальный сюжет, где соборность должна учитывать имперские векторы русского сказания о совершенстве – жизни и творчества. Для него принципиально, что все трое – Есенин, Ленин и Высоцкий – способны преодолеть узость кланов и маленьких идеологических квартир, создать платформу иной, полной неологизмов и стилистических трансформаций, но при этом русской речи. Ленин здесь – *Есенин в политике*, а Высоцкий – *есенинское воплощение в предсмертном кризисе советской жизни*. Один гибнет в алкоголе, второй принимает смерть от наркотиков, третий упился революцией. Все они в восприятии Прилепина оказываются героями изменённого сознания. Изменённость эта рождает не интеллигентский аутизм, а движение из великой, но не только светлой души – в реформацию, ту или иную.

Прилепин неоднократно подчёркивает: один из учителей – Проханов. Что ж, для Александра Андреевича Серафим Саровский и Гагарин, Пушкин и Сталин – стратегические соратники в строительстве Пятой империи. Прилепин учился не зря.

Слушая Прилепина на Кожинских чтениях (Армавир, 2013), удивлялся его напряжённому дистанцированию от флангов, идеологий и мировоззренческих платформ. Оратор подчёркивал свою независимость и полифоническую сложность самой жизни. Узнав, что он завершает работу над большим, возможно, главным для себя романом (“Обитель”), перестал удивляться. Романное мышление захватило Прилепина, и речь перед преподавателями и студентами лилась из этого источника.

Павлов – это эпос; здесь прежде всего основа его реакции на “Есенина”, потому что Прилепин – это роман. Сказано резко и категорично. Однако для такого шага есть основания. Когда Юрий Михайлович делит словесность на русскую и русскоязычную, он – в эпосе. Пребывает там и тогда, когда говорит о трёх типах личности: православном, амбивалентном, апостасийном. В публицистической и педагогической деятельности отстаивает первостепенное значение мировоззрения, духовной позиции в работе с эстетическим материалом. Знает без сомнений, кто в литературном процессе свой, кто – чужой.

Сейчас уместно вспомнить Вадима Кожина. Десять конференций, посвящённых ему, провёл Юрий Павлов. Трепетно относится к Вадиму Валерьяновичу и Прилепин. Разное понимание Кожина может помочь в идентификации интересующей нас драмы на правом фланге.

Нет спора о Русской идее Кожина, о его защите национальной словесности во всём пространстве творчества – от ранних теоретических статей до историософских книг последних лет. Мне приходилось писать (для Кожинских чтений-2010 и “Нашего современника”) о центральной концепции В. В. Кожина – об эписком романе как жанровой форме, нравственной философии и учении о жизни [3]. Соратником теоретика я назвал Юрия Кузнецова. Развивая бахтинскую идею открытого/незавершённого,

диалогического/полифонического, фамильярного/неканонического текста, Кожинув усиливает мысль о центростремительном характере романа, о его героической сущности.

Последний шаг особенно важен для Павлова, который не склонен преувеличивать “незавершённость”, “диалогичность” и “фамильярность” литературного произведения. Иначе поступает Прилепин. Судя по многим движениям, прилепинская идея жизни предусматривает наличие широкоформатного – романного – объекта. Его возможности запрещают отсечение материала на первом уровне: политика, литература, рок-музыка, советское и монархическое, радостное восприятие столь разных Терехова и Гиголашвили, журналистика, Донбасс, разрастающееся общение с самыми заметными людьми современности – всё греет душу цветущей сложностью, ничто не отрицается как лишнее и чужое.

В Павлове и его ближайших соратниках по южнороссийской школе видна эпическая иерархия, не исчезающая ценностная шкала. Уже на стартовом этапе работы с объектом и материалом многое априорно концентрируется в большом стане антирусского слова, лишается возможности духовного сближения.

Романная философия Прилепина (“Обитель” – её самое понятное выражение) настраивает на самые разные – пусть временные – союзы; здесь отсечение чужого находит замену в компромиссе собеседования. Компромисс позволяет слегка подвинуть эпос и обусловленные им нравственные императивы. Именно поэтому Прилепин далёк от желания агиографического прославления Есенина, его канонизации в контексте литературной святости. Интуиция совершенно не причёсанной жизни, почти программа естественных падений человека настолько близки Прилепину, что он усиливает звучание есенинского алкоголизма, его буйства, безумия, совершенно особого христианства. Захар Прилепин рад такому живому и одновременно смертному поэту, не сомневается в его самоубийстве, которое не было спонтанным, а явилось актом захватившей гения трагедии.

И я не сомневаюсь. Завершение есенинского пути – и в природе безграничного творчества, и в природе тяжкого алкоголизма. Сочетание этих двух природ оставляет мало шансов на продолжение пути. Возможно, в книге “Есенин” на этом сделан слишком большой акцент. Слово рад Прилепин, что поэт подтверждает его представления о тяжести творчества.

Главный казус даже не в фамильярности, с которой рассказывается трагическая история, а в том, что я бы назвал несоответствием установленного объёма и сил с интересом. Прилепин устал, когда пришло время описывать последние месяцы жизни своего героя. Здесь необходимо возрастные милосердия и трагических нот. Вместо них – зашкаливающая торопливость (напомню, один из системных признаков современной литературы), ёрничанье и даже лёгкое, совсем неожиданное презрение. Павлов упрекает Прилепина в гордыне – в самой основе проекта и его реализации. Я бы говорил о погружённости в страшную суету, о какой-то смешной обиде на поэта, что заставил пренебречь иными статусными мероприятиями. “Слишком долго я занимаюсь тобой, Есенин!” – доносится крик лучшего из “новых реалистов”.

Есенин и есть абсолютный центр прилепинского романа. Романности как принципа повествования и жизни. Небесные стихи и пьяные драки, кощунства и молитва, равнодушные к детям и жертвенность, гимн жизни и суицид образуют многоцветное единство.

Первая попытка канонизировать романность как форму религии была сделана Прилепиным в книге о Леониде Леонове (ЖЗЛ). Думаю, что не получилось. Леонид Леонов (особенно как автор “Пирамиды”) – не его автор. Слишком мало резкости в собственном житейском сюжете, изначальный уход главного проекта в стол, внешний официоз. И самое главное – леоновская грандиозная идея вызревающего апокалипсиса, жуть интеллектуального, монологического романа. Прилепин – как “новый реалист” – знает, что его талант обретает себя в совершенно иных контекстах. Интеллектуально-профетический роман – не прилепинской жанр. По крайней мере, сейчас.

Так вот, многоцветное есенинское единство не только радует, но и озадачивает Захара Прилепина. Неуспешность и многоканальность вводит в пантеон совершенных. Не размеры гонимых, не публикаций количество

и вакханалия лайков, а цельность трагической судьбы – свидетельство искренности. А ведь так хочется жить! И точно – надо!

У Павлова – иное представление о природе творчества. Его этическая платформа предполагает обязательное разведение по разным полюсам всех тех поведенческих моментов, что для автора “Есенина” образуют синтез. Павлову важно спасти поэта от самоубийства, вывести его из суицидального сюжета Маяковского и Цветаевой, утвердить образ гения убиенного, а не провалившегося во мрак последнего поражения.

Говоря о доминирующей романности Прилепина, мы должны помнить о Лимонове и Проханове, о сильнейшей эпической составляющей в теории Кожина. Это роман – с идеей, с проповедью своего и русского пути, с программой действий и уж точно оценочных суждений – внутри полифонического разнообразия. Прилепин явно уменьшает самолюбование и наглый декаданс лимоновского Я, преодолевает схематизм и публицистичность дидактических повествований Проханова. Кожин не писал романов, но его словесность – по сути, учение о человеке, о становлении личности в диалектике фавулы (простота героического действия!) и сюжета (сложность речи и внутренних миров!) – в “Есенине” находит отклик. Уж точно не утверждаю, что специально, сознательно.

Когда говорю о правом фланге современной русской словесности, всегда называю Захара Прилепина. Все три части павловской критики “Есенина”, опубликованные на этот момент, убеждают без особой вариативности: для Юрия Павлова Прилепин – левый, возможно, самый опасный из тех левых, что могут обитать в среде традиционалистов. Левизна эта не западная, не либеральная, а вроде патриотическая, и потому – в оценке Павлова – способная ввести в заблуждение.

“Есенин” – это текст об одном из главных русских героев *советского романа*. И роман этот получился у Прилепина идеологическим: *эпос* отмечает и его проект. В “Родной Кубани” Есенина защищают как одного из святых русского – антисоветского – жития: мученика и апологета народного понимания праведности. Павлову отвратителен Троцкий, Прилепин готов собеседовать с ним и о нём. Революция аттестована как кульминация исторического пути и всё-таки благой катастрофы; Есенин – как эпицентр русского *эпического романа* – невымыслим без указанной кульминации.

Думаю, что Захар Прилепин считает Ленина, большевиков с их деяниями – чудом и трагедией, а Юрий Павлов – преступлением. Борьба с оголтелым либерализмом, отвращение к Быкову, Акунину, Гришковцу, необходимость Крыма и Украины, безусловная вера в русский путь – это сблизает наших авторов. Разъединяет отношение к советскому стилю, к вопросу о символическом воскрешении Ленина как неорусского титана. Возвращать его в жизнь Павлов точно не хочет.

Нет у меня желания завершать статью чёткой моделью совершившейся победы: Павлов или Прилепин. В моём восприятии они остаются соратниками, и павловская критика “Есенина” лишь показывает ещё раз, как на “правом фланге” всё сложно. Надо искать совместности, потому что общие противники Павлова и Прилепина значительно больше склонны к солидарности и общим действиям по правилам боевой риторики. Да, я помню, что Юрий Михайлович – просвещённый русский националист и классический реалист, а Захар Николаевич – империалист, модернист и ценитель Октябрьской революции.

Я остаюсь при своём понимании литературы. Она – не воплощённая праведность, не форма Священного Писания; она не обязана соответствовать церковным или иным представлениям о правильном пути. Литературное произведение – апокриф в океане спорящих друг с другом канонов: религиозных, политических, юридических. Совершенство русского текста – и в качестве авторского языка (в творческом взаимодействии с великой нормой), и в искреннем исповедании Русской идеи – вневременной и исторической, зависимой от эпохи, воплощённой в ней. Эта искренность часто предполагает такой риск, что возникает соблазн вывести творца за пределы своего нравственного круга. Однако спешить не стоит.

Не вписываясь в концепцию Юрия Павлова (русская литература – против русскоязычной), я благодарен ему за восприятие прозы и поэзии как духовной словесности, которая никогда не остаётся беллетристикой, услаждением

пустых умов и отсыревших душ. Меня может раздражать желание Прилепина быть везде, его утомлённость собственными словами, страшное упрощение революции как вполне объективного процесса. Однако продолжаю верить, что у Захара есть шанс создать тот жизнь-роман, который поможет и русской литературе, и грядущей национальной политике.

### **Библиография**

1. Павлов Ю. Заметки о нескольких сюжетах в книге Прилепина “Есенин: обещаю встречу впереди” [Электронный ресурс] // [https://rkuban.ru/archive/rubric/literaturovedenie-i-kritika/literaturovedenie-i-kritika\\_367.html](https://rkuban.ru/archive/rubric/literaturovedenie-i-kritika/literaturovedenie-i-kritika_367.html); [https://rkuban.ru/archive/rubric/literaturovedenie-i-kritika/literaturovedenie-i-kritika\\_507.html](https://rkuban.ru/archive/rubric/literaturovedenie-i-kritika/literaturovedenie-i-kritika_507.html).
2. Прилепин З. Есенин. Обещаю встречу впереди. М., 2020.
3. Татаринов А. Вадим Кожин и Юрий Кузнецов: творцы эпического романа // Наш современник. 2012. № 7. С. 261–269.



АНДРЕЙ МИНАКОВ

## ТРУДНЫЙ ОПЫТ БОЛЬШОЙ КНИГИ О СЛАВЯНСТВЕ

Современная внешнеполитическая и культурная ситуация обострила тему будущего славянского мира, судьбы славянской семьи, да и, в целом, грядущих перспектив политического и духовного лидерства России. Разрешение этого комплекса проблем, конечно, не может ограничиться дипломатическими площадками и военными диспозициями. Сегодня эта тема будоражит умы не только российского интеллектуального сообщества, но и является предметом размышлений философов, историков, политологов и обществоведов разных стран. Все задаются вопросом, какого же будущее Русского мира и его присутствия в общественном сознании а priori родственных по языку и культуре славянских народов?

Особую роль России, её миссию цивилизационного средоточия, скрестившего исторические судьбы стран и народов евразийского континента, всегда признавали даже наши идеологические визави. Достаточно вспомнить А. Дж. Тойнби — одного из наиболее популярных авторов англосаксонского научного мира. В своих монументальных трудах он подчёркнуто выделял православную христианскую цивилизацию России. Залогом её жизнеспособности, равновесия и непрерывного развития, по его мнению, были превентивные ответы на перманентные вызовы своего времени. Поразительно, насколько современен этот теоретический посыл сегодня. В этом отношении интересно мнение и другого западного интеллектуала, только более практического склада, нашего современника, — Г. Киссинджера. Аксакал американской публичной политики, известный своим противоречивым отношением к нашей стране, не так давно как-то обмолвился, что считает Россию ключевым элементом любого нового глобального равновесия. Заметим, что обоим персонажам западной просвещённой элиты трудно заподозрить в симпатиях к нашей стране, но налицо их взвешенная оценка роли России как этнополитического и культурно-территориального целого в ретроспективе и актуальных реалиях. Вывод очевиден: как бы ни был высок градус русофобии политического истеблишмента Европы, сколько бы ни упражнялись изобретатели “альтернативных” подходов к оценке России в мировом сообществе, думается, их неминуемо ожидает равновесие в суждениях о происходящем.

Сегодня Россия нуждается в мобилизации подлинно патриотических сил для глубокого осмысления процессов, которые без всякого преувеличения можно назвать тектоническими метаморфозами мирового общественного,

институционального и культурного пространства. Традиционно осмысление этих острых, по сути, мировоззренческих вопросов шло через колоссальное информационное наследие, фундаментальную основу которого всё ещё сохраняет книжное знание.

В связи с этим заслуживает внимания большая просветительская работа, которую уже длительное время ведёт в этом направлении Институт русской цивилизации. Широкую известность получила его издательская деятельность, ориентированная на популяризацию идеалов и ценностей славянского мира. Сегодня комплекс реализованных Институтом проектов представлен обширной библиотекой публикаций, включающей сочинения видных русских государственных и общественных деятелей, мыслителей, историков, литераторов, а также разнообразную справочную и другую разносюжетную литературу. Именно в этом ключе следует оценивать выход новой «Славянской энциклопедии» – очередного масштабного труда, подготовленного коллективом Института\*. Три объёмных тома предлагают панорамный взгляд на политическую, социально-экономическую и культурную историю восточных, западных и южных славян. Читателей ждёт знакомство с археологией, этнографией, мифологией и другими сторонами многогранного облика народов, населяющих значительное пространство и имеющих общие этнокультурные корни. Энциклопедия насыщена богатым фактическим материалом буквально по всем областям славистики. От внимания авторов не ускользнули яркая галерея исторических и современных персоналий; государственные, общественные институты и важнейшие славянские центры; масса религиозно-философских, культурологических, исторических понятий и многое другое. Читатель встретит хорошо знакомые фигуры государственных мужей, деятелей науки, культуры и искусства. Вместе с тем рассматриваемое издание притворяет нам образы исторических персонажей, которые известны не столь широко, но тоже интересны своей жизнью и деятельностью. Большое внимание составители уделили традиционной культуре славян. В книгах много материала о патриархальных культах, праздниках, обычаях, быте и мировоззрении славянских народов. Чрезвычайно насыщенный фактами нарратив гармонично дополняет комплекс поясняющих иллюстраций. Вообще, взяв в руки какой-нибудь том энциклопедии, вы испытываете ощущение, что это своеобразная книга для чтения, а не только справочник.

Уже на первых страницах предисловия к энциклопедии составители заострили внимание на побудительных мотивах своей работы, подчеркнув, что «народам славянской цивилизации выпала тяжёлая историческая задача – быть бастионом на пути сил мирового зла» (т. 1, с. 5). При этом авторы видят себя продолжателями идеи такой энциклопедии, озвученной в 1903 году с трибуны Съезда русских славистов. Им импонируют и сформулированные тогда же принципы подготовки издания: «строгость научных приёмов исследования прошлых судеб славянства», а также «отыскание единства в развитии славянских народов» (т. 1, с. 4). Данные принципы, а также контуры намеченного издания определил выдающийся петербургский историк А. С. Лаппо-Данилевский, – председатель исторической секции будущей энциклопедии. Однако в дальнейшем из-за революции 1917 года, а также недостатка «государственной и политической воли» издание энциклопедии так и не состоялось, хотя этот вопрос неоднократно поднимался вновь на последующих съездах славистов. Наконец, с 2014 года Институт русской цивилизации приступил к реализации этого проекта, результатом которого и стал выход рецензируемого издания.

Между тем идея собрать воедино информацию о славянском мире не нова, а попытки систематизировать такую информацию в словарной литературе предпринимались ещё на заре отечественной энциклопедистики. Поэтому кратко остановимся на основных вехах развития последней, чтобы составители энциклопедии не казались нам колумбами славянской темы в этом жанре литературы.

Уже на рубеже XVIII–XIX столетий, когда российская общественная мысль накопила значительный историографический нарратив, славянская тема стала

---

\* Славянская энциклопедия в 3-х томах / гл. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации. 2021. Т. 1: А – К. 871 с.; Т. 2: Л – Русская правда, 862 с., Т. 3: Русская философия – Я. 851 с.

транслироваться через словарно-энциклопедические труды, которые были чрезвычайно востребованными сокровищницами знаний о важнейших событиях и фактах своего времени. И уже тогда не фактографическая, а аналитическая сторона стала определять их информационный ресурс. Всей образованной России пушкинского времени был знаком 17-томный, хотя и не завершённый “Энциклопедический лексикон” петербургского издателя А. А. Плюшара. Манифестом золотого века русской культуры стали мечты о содружестве славянских народов и колоссальной исторической миссии России в процессе их духовного объединения. Панорама былинных и летописных героев, но, главное, типично русских образов и картин быта представлена в бессмертных произведениях великого А. С. Пушкина. Великолепным знатоком малороссийского эпоса был Н. В. Гоголь. Да и вообще трудно найти русского писателя, который бы по-своему не породнился с этой темой. Квинтэссенцией художественного осмысления русского характера и его христианских основ стал творческий гений Достоевского. “Всеми миру готовится великое обновление через русскую мысль, которая плотно спаяна с православием <...> но чтоб это великое дело совершилось, надобно, чтоб политическое право и первенство великорусского племени над всем славянским миром совершилось окончательно и уже бесспорно”, – писал Достоевский в 1868 году своему близкому другу А. Н. Майкову. Славянская тема, особенно русская старина вдохновляли художников-передвижников. В. М. Васнецов создаёт своих великолепных “Богатырей”, “Алёнушку” и “Витязя на распутье”. По полотнам В. И. Сурикова можно изучать ключевые события русской истории. Художественное дарование И. Я. Билибина проявилось именно в иллюстрировании русских сказок и былин. Русская тема неизменно присутствовала в произведениях композиторов блистательного содружества “Могучая кучка”.

Всё это происходило в обстановке бурных дебатов. Тема необходимости развития славянской идеи в разной степени была подхвачена почти всеми видными общественно-политическими течениями страны. Общественники-славянофилы, учёные-антинорманисты, революционеры-народники – кто только не пытался вписать её в систему своих идейно-теоретических построений. Укоренилась она и в официальных кругах, где приобрела как крайние формы в виде панславизма с такими яркими сторонниками, как генералы М. Д. Скобелев, М. Г. Черняев, Н. П. Игнатьев, Р. А. Фадеев и др., так и умеренные теоретические конструкции, как у К. Н. Леонтьева, близкие к скептическому академизму. Так или иначе, проблема русского присутствия на внешних рубежах и сферах влияния всегда вызвала острейший интерес верховной власти и патриотический подъём в обществе. Это проявлялось вне зависимости, был ли это вопрос избавления балканских народов от османского владычества или несгибаемое стремление к Черноморским проливам, продвижение в Среднюю Азию или военно-экономическая экспансия на Дальний Восток. Таким образом, политический курс и общественная атмосфера коррелировались с соответствующим культурным ландшафтом.

Наступившая эпоха Великих реформ, эмансипировавшая российское общество, подготовила почву для создания выдающегося памятника отечественного словарно-энциклопедического дела – энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. В словнике этого монументального труда пореформенной России славянская тематика заняла одно из ведущих мест. В написании “славянских” статей участвовал цвет научной и общественной мысли тех лет. Видный географ, антрополог и этнограф Д. Н. Анучин, выдающийся представитель культурного панславизма В. И. Ламанский, крупный филолог-славист К. Я. Грот и др. подготовили тексты, превратившиеся фактически в самостоятельные научные произведения. У этого ставшего уже во время выхода классического словаря был высокий научный уровень и мощная библиографическая основа. Почти одновременно увидел свет не менее знаменитый Энциклопедический словарь братьев Гранат. В нём также сотрудничали видные учёные-слависты: филолог А. Л. Погодин, историк Б. Д. Греков, фольклорист и византинист М. Н. Сперанский и др.

В советское время эстафету комплексного охвата славянской темы подхватили издания Большой советской энциклопедии, а в современной России начали выходить и специализированные справочники. Так, в 1995 году Институт славяноведения РАН издал энциклопедический словарь “Славянская мифология”, где собрано толкование основных образов и символов славянской

мифологии. В 2002-м и 2011 годах последовало его переиздание. Кроме того, в 2000 году Институт выпустил “Славянский бестиарий”, содержащий более тысячи словарных статей по символике животных, написанный на основе материалов восточно- и южнославянских книжных памятников XII–XVII вв.

В 2001 году увидел свет словарь В. Д. Гладкого “Славянский мир: I–XVI века”, содержащий статьи по этнографии, истории, лингвистике, литературе, мифологии и другим областям жизни восточных, западных и южных славян. В том же году издан словарь Н. С. Шапаровой “Краткая энциклопедия славянской мифологии”, включающий около 1 тысячи статей по проблематике языческой и христианской мифологии восточных, западных и южных славян. Тогда же, в 2001 году вышли двухтомные иллюстрированные “Славянская энциклопедия. Киевская Русь – Московия”, а в 2004 году – “Славянская энциклопедия. XVII век”, составленные В. В. Богуславским. Наконец, в 2021 году был опубликован “Путеводитель по славянской мифологии” в двух томах, где составителями указаны М. А. Краснов и М. А. Лепёшкин. Этот словник подготовлен с учётом материала былин, сказок и преданий славянского фольклора.

Как мы видим, современная библиография словарной литературы по славянской проблематике предлагает не только специалистам, но и широкой читательской аудитории разнообразные энциклопедии и справочники как общего, так и тематического характера. Поэтому славянский мир давно уже не является terra incognita. И всё-таки рецензируемый многотомник, несомненно, видится нам первым комплексным и наиболее широким по тематическому и хронологическому охвату справочным изданием в отечественной практике.

Наряду с этим, “Славянская энциклопедия”, при всей её бесспорной актуальности, общественной и научной значимости, а также глубине сюжетного нарратива, вызывает смешанные чувства. Прежде всего, стиль и содержание многих статей не лишены субъективности и тенденциозности. Статьи изобилуют постулированными утверждениями. Выбор такой манеры изложения привёл к тому, что многие статьи по ключевым направлениям заявленной темы, являющиеся одновременно дискуссионными в историографии, превратились из научно-справочных в публицистические, нередко с элементами памфлета. Приведём несколько характерных образчиков такой работы.

Например, в статье “норманизм (норманнская “теория”)” (автор С. Лебедев) – это понятие толкуется как “ряд антинаучных, русофобских концепций о создании Русского государства некими скандинавами”. Далее следует категоричный приговор: “Норманизм не может считаться научной теорией <...> все его положения противоречат фактам, имеют весьма сомнительную доказательную базу. Тем не менее норманизм продолжает существовать, служа интересам не науки, а русофобской пропаганде” (т. 2, с. 302). Автор умалчивает, что на заре становления отечественной исторической науки в начале XVIII века норманнская теория и была обязана своим появлением именно сложившемуся комплексу достаточных научных доказательств. Как раз-таки это и обусловило её жизнестойкость и превращение к XIX веку в официально признанную научную концепцию. Справедливости ради стоит сказать, что политические и научные круги уже тогда признавали уязвимость отдельных её положений. Именно поэтому установка в 1862 году в Великом Новгороде знаменитого памятника 1000-летия России рассматривалась как дань памяти символической дате основания Древнерусского государства. Между тем антинорманизм, который возник как антитеза норманизму, всё-таки проявил себя как влиятельное направление достаточно отчётливо уже у славянофилов и вообще во второй половине XIX столетия. Можно вспомнить историка Д. И. Иловайского с его учебником, ставшим практически официальным для средних образовательных учреждений. Однако в XX веке дополнительный импульс развитию антинорманизма дали именно субъективные факторы. Так, следуя марксистско-ленинским канонам, отдельные советские историки лили воду на мельницу энгельсовской теории о невозможности возникновения государства из внешних источников. Под этот посыл подгонялись данные не только истории и археологии, но также этнографии и лингвистики. Сегодня, лишившись политического базиса, антинорманизму очень трудно вести научную полемику с норманистами. И данная статья энциклопедии, собственно, продемонстрировала то, что представляет собой современный антинорманизм – набор популистских тезисов, разбавленный подогнанными “научными”

фигурами речи, которые смотрятся очень бледно как аргумент в академической полемике. Пристательная библиография к этой статье ожидаемо подобрана с пристрастием и представлена только работами антинорманистов.

Невозможно согласиться и с толкованием понятия “Вторая мировая война” (т. 1, с. 357–361, автор О. Платонов) как “война, развязанная Германией и рядом др. стран западного мира против славянских государств”. Равным образом смущают предлагаемые авторами её хронологические рамки – июнь 1941 – май 1945 годов, т. е. период Великой Отечественной войны. Во-первых, автор статьи опускает чрезвычайно важный отрезок с сентября 1939 года по июнь 1941 года, а также боевые действия на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана в мае–сентябре 1945 г. Но, главное, – это время особенно дорого обошлось Славянскому миру. Тогда в который раз была уничтожена Польская государственность, гитлеровцы вторглись на Балканы, под их пятою оказались Болгария, Венгрия, Румыния. И вновь удивительно, но при обилии опубликованных исторических источников и исследовательской литературы по этой теме вообще отсутствует какая-либо библиография.

Подобные “вольности” авторы допускают и в адрес исторических персонажей. Например, статья “Иван Грозный” (т. 1, с. 610–615, автор О. Платонов) композиционно выдержана в проблемно-хронологическом изложении. Однако по факту – это панегирик, акцентирующий внимание читателя на борьбе царя Ивана IV с внутренней оппозицией и опасностью с Запада. Опричнина как внутренняя политика 1565–1572 годов оценивается исключительно в положительном плане. Опричное войско, по мнению автора, сыграло большую роль в “искоренении пережитков феодальной раздробленности и укреплении Русского централизованного государства”. Как бы вскользь признаётся, что “ухудшение положения народных масс было связано также с мероприятиями во время опричнины”.

Автор почему-то умалчивает широко известные из письменных исторических источников факты, что по непосредственному указанию Ивана Грозного были физически устранены как его политические соперники, так и попавшие в опалу недавние соратники. Среди известных жертв этого “выдающегося исторического деятеля России” и “одного из крупных культурных деятелей своего времени” были митрополит Филипп, последний новгородский архиепископ Леонид, игумен Псково-Печерского монастыря Корнилий, Иван Висковатый и др. В активе “блестящего дипломата и искусного полководца” не только покорение Казани и победы в Ливонской войне, но и печально известные разорения Новгорода и Пскова, сопровождавшиеся зверскими бесчинствами опричников. Если читатель вдруг вспомнит все эти хрестоматийные факты о масштабных издержках внутренней и внешней политики Ивана Грозного, автор приготовил для него безапелляционное объяснение – “в литературных произведениях современников личность Ивана IV получила высокую оценку” и далее: “истоки несправедливой критики Ивана Грозного идут с Запада <...> Выдумки западных недругов охотно распространялись русским либералами и русофобами” (т. 1, с. 614–615). Самая последняя работа в списке литературы к этой статье датируется 1950 годом (sic!). Думается, если при написании статьи были бы использованы исследования Д. М. Володихина, А. А. Зиминой, Р. Г. Скрынниковой, Б. Н. Флори, С. О. Шмидта и других отсутствующих в библиографии авторов, выводы могли быть иными.

Если дифирамбы в адрес Ивана Грозного ещё звучат на фоне некоторого исторического контекста, то энциклопедическая статья о И. В. Сталине превратилась в хвалебную оду, исполненную в лучших традициях придворных борзописцев. Сталин весьма оригинально аттестуется единственным определением – “грузинский большевик”, усилиями которого “была осуществлена национальная революция, свергнувшая власть еврейских большевиков, в значительной степени (но далеко не полностью) возродившая было значение русского народа” (т. 3, с. 434).

Здесь автор, кажется, настолько увлёкся нарочитым перечислением достоинств этого исторического деятеля, что упустил и другие, менее комплиментарные его характеристики. Более того, мы видим попытку сохранить позитивный стиль изложения даже там, где это сделать очень сложно. К примеру, автор пишет, что “большая часть репрессированных в 1937 году и позднее были врагами русского народа. Уничтожая большевистскую гвардию, Сталин не только разделялся с соперниками в борьбе за власть, но и в какой-то

степени искупал свою вину перед русским народом, для которого казнь революционных погромщиков была актом исторического возмездия” (т. 3, с. 435). Резюмируя в целом итоги государственной деятельности Сталина, он императивно заключает, что его политика “не устраивала иудейские и космополитические силы большевистской партии”, а потому он был “тайно умерщвлён”. При этом читатель не найдёт в статье материала о политике Сталина по национальному вопросу, ни о его роли в гражданской и Великой Отечественной войнах, ни о гонениях на церковь, ни ответов на многие другие вопросы. Равным образом фигурой умолчания в статье стал вопрос о культе личности Сталина и массовых репрессиях. Пристатейной литературы, как и ожидалось, в статье также нет.

Подобные примеры можно продолжать и дальше. Как оценивать данную ситуацию? Любая энциклопедия неминуемо содержит набор неких идеологических посылов, но их восприятие читателем возможно лишь в понятной и компетентной оболочке. Современный читатель очень чуток к директивной форме подачи материала. Тут-то и встаёт проблема профессионализма авторов словарных статей. Именно на них лежит ответственность за воплощение ключевых замыслов издания. Неслучайно крупнейшие энциклопедии царской России и Советского Союза, как мы отмечали ранее, стремились привлечь для написания статей наиболее квалифицированные кадры, ведущих специалистов в своих областях знаний.

Какие же профессиональные ресурсы сконцентрированы в “Славянской энциклопедии” для реализации столь масштабного словника? Следует признать, что отчасти научный уровень издания усилен за счёт привлечения авторов из Института славяноведения РАН. Наряду с этим, в рецензируемом издании широко использованы опубликованные в Советской исторической энциклопедии (СИЭ) статьи ныне покойных признанных учёных. Такой подход встречается в словарно-справочной литературе и по другим направлениям. Однако в данном издании данный метод отличается оригинальностью. Например, статья “Летописи”, где автором указан академик АН СССР М. Н. Тихомиров (1893–1965), является компиляцией его же статьи из Советской исторической энциклопедии (СИЭ. Т. 8, с. 599–602). Материал значительно произвольно отредактирован, а летописи названы “славяно-русскими” произведениями. Другой пример – статья “Дранг Нах Остен” (т. 1, с. 524–526), написанная членом-корреспондентом АН СССР В. Т. Пашуто (т. 5, с. 322–325), также подверглась редакции. Слова “историки социалистических стран с позиций марксизма-ленинизма” просто заменены на фразу “современные славянские историки”. Отдельные статьи, например, “Варяги” (т. 1, с. 252) – автор И. П. Шаскольский (1918–1995), “Вятичи” (т. 1, с. 363), написанная исследователем легендарного Гнездовского археологического комплекса Д. А. Авдусиным (1918–1994), или “Рюрик, Синеус, Трувор” (т. 3, с. 58) – автор член-корреспондент РАН В. И. Буганов (1928–1996), – дословно перепечатаны из СИЭ (соответственно т. 2, с. 990–991; т. 3, с. 973–974; т. 12, с. 430.).

По всем статьям, заимствованным из СИЭ, издававшейся в 1961–1976 годах, даётся очень старая литература. По статье “Летописи” последняя работа в библиографии 1986 года. К статье “Вятичи” литература не прилагается, хотя она, как стоит полагать, обширна. В статье “Варяги” библиография останавливается на работе 1960 года. Литература к статье “Дранг Нах Остен” (последняя работа в списке 1962 года, а список скопирован из СИЭ полностью) отражает состояние историографии и политическую ситуацию середины XX столетия. Удивительно, но по многим ключевым статьям литература вообще отсутствует. Например, её не найти к таким, как нам видится, важным статьям, как “Бородинское сражение 1812”, “Достоевский”, “Русская философия”, “Русские”, “Православие”, “Николай II Александрович”, “Русская музыка”, “Русская наука”, “Русская литература” и др. Такие примеры, увы, не единичны.

Наконец, о самом неприятном. Ряд материалов заимствован из СИЭ без указания на источник и авторство. В их числе статья “Древляне” (т. 1, с. 526), кстати, написанная известным археологом-славистом, членом-корреспондентом АН СССР П. Н. Третьяковым (1909–1976), а также статьи “Скифия”, “Скифское государство” (т. 3, с. 214–215) и др. Данные факты, безусловно, снижают научную оценку издания в целом.

Историческая наука — очень подвижная во времени область знаний о человеке. Приращение фактического и аналитического нарратива в ней идёт непрерывно. С начала издания “Советской исторической энциклопедии”, которая, по всей видимости, была “базой” для написания многих статей рецензируемого издания, минуло более чем полстолетия. За это время возникали, находили подтверждение или опровергались различные гипотезы, вводились в научный оборот или по-новому интерпретировались исторические источники, обобщался колоссальный комплекс накопленной информации и т. д. Поэтому современное справочное издание, а тем более претендующее на роль альфы и омеги знаний по славянской тематике, обязательно должно отражать передовые научные данные во всём их многообразии.

В целом по составу словника энциклопедии остаётся довольно много вопросов. Ряд персоналий, исторических фактов, понятий оказались вне словарного поля. Например, в словнике почему-то не нашлось места для великого русского композитора М. И. Глинки (он лишь упоминается в статье “Русская культура”). Неутомимый пропагандист русского искусства В. В. Стасов ставил его по значению для развития национальной культуры в один ряд с А. С. Пушкиным. Общеизвестно, что Глинке принадлежит заслуга создания русской национальной оперы. Он на долгое время определил духовное развитие отечественной симфонической музыки.

В книге много статей о политических персоналиях балканских стран, но среди них, например, отсутствует имя крупного деятеля болгарской национально-освободительной борьбы Д. Благоева. Долгие годы он являлся, по сути, идейным вожакom и организатором социал-демократического движения Болгарии, начиная ещё с времени владычества Османской империи на её территории.

Антинорманский пафос статей на древнерусскую тематику обусловил включение в энциклопедию персональных текстов о ведущих представителях соответствующего направления историографии. Таковые написаны об академике Б. А. Рыбакове, М. Н. Тихомирове и др. Однако удивляет отсутствие в этом списке статьи о крупном историке Древней Руси и одном из последователей защитников антинорманизма А. Г. Кузьмине. Страстный полемист и неутомимый оппонент норманистов, влюблённый в древнерусские источники, он очень много сделал для изучения древнерусской летописной культуры. Кстати, составители энциклопедии использовали его работы в пристатейной библиографии к некоторым статьям. Заметим, что на протяжении десяти лет, с 1982-го по 1992 годы Кузьмин входил в состав редколлегии “Нашего современника” и много писал для журнала. Стоило бы дополнить словник статьями и о таких видных приверженцах антинорманского взгляда на происхождение Древнерусского государства, как В. В. Мавродин и А. Н. Сахаров.

Нет статьи о видном историке, общественном деятеле и организаторе педагогического образования В. И. Герье. Именно по его инициативе в 1872 году при единодушной поддержке российской просвещённой общечественности в Москве были организованы Высшие женские курсы, которые положили начало высшему женскому образованию в России. До этого момента русские женщины получали образование университетского стандарта только в Западной Европе.

Было бы уместно написать статью и о замечательной подвижнице, популяризаторе русской культуры, меценатке М. К. Тенишевой. В своём имении Талашкино она организовала известный всей культурной общественности России заповедник русской старины.

Как отмечалось выше, составители опирались на богатый исследовательский опыт головного славистического центра России — Института славяноведения РАН. Не только многие статьи написаны сотрудниками института, но и деятельность этого крупнейшего в стране центра изучения славянской истории и культуры представлена подробно. Однако в энциклопедии явно не хватает статьи о серьёзном отечественном научном журнале “Славяноведение”. Этот печатный орган начал выходить в 1965 году как журнал “Советское славяноведение” и превратился в авторитетную печатную трибуну учёного сообщества. Журнал хорошо известен и среди зарубежных исследователей-славистов.

Отдельная тема, которая в контексте современной международной ситуации приобретает особую остроту и нуждается в непереносном освещении, — это геноцид славянских народов в годы Великой Отечественной войны. В энциклопедии присутствует статья о концентрационном лагере Ясеновац на

территории Хорватии, где творились страшные преступления против человечества, но нет статей, например, о таких лагерях смерти, как Освенцим, Майданек и т. п., унесших сотни тысяч жизней. Было бы уместно дать несколько статей о местах массовой гибели, в том числе славянского населения на территории Советского Союза. В их числе белорусская Хатынь, Змиевская балка под Ростовом, Жестяная горка близ Великого Новгорода и др. В настоящее время проблеме сохранения исторической памяти о жертвах мирного населения, погибших от рук нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, посвящён крупный федеральный проект “Без срока давности”, о котором также было бы уместно дать специальную статью.

Энциклопедия даёт ряд замечательных портретных зарисовок таких легендарных былинных героев, как Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, Микула Селянинович, Чурило Пленкович и др. Вместе с тем этот список мог быть расширен за счёт включения в него таких фигур, как Садко, Василий Буслаев, Ставр Годинович. Все три тома перегружены терминологией, относящейся к теме язычества, языческой старины, однако совсем, например, не раскрыта тема кинематографа и отражения в нём славянской темы.

Стоит остановиться ещё на одном, что бросается в глаза. В обозначении авторов статей опущено их отчество. В этой связи заранее возражу тем, кто, может быть, считает достоянием для употребления укоренившийся, особенно в СМИ, двухимённый манер. Он копирует соответствующий мировой стандарт и кажется удобным. Однако отчество как указание на связь с отцом является важным элементом самоидентификации русских, а также украинцев, белорусов и других славянских народов. В патриархальной по своей природе России всегда было важно сохранять принадлежность к родовой линии, интуитивно ощущая неразрывные нити с предками (в семьях знали отчества отца, деду и т. д.). Всё это и давала данная часть родового имени. Необходимо бережнее относиться к нашей уникальной трёхимённой системе. Это уважение как к собственным корням, так и национальным традициям. Именно поэтому отчество как неотъемлемая часть русской культуры тем более необходимо в книгах с таким названием.

Таким образом, рецензируемое издание представляется интересным, чрезвычайно содержательным, хотя и слишком противоречивым для однозначной оценки изданием. С одной стороны, “Славянская энциклопедия” в целом отвечает универсальности и всеохватности своей титульной темы. Думаю, древние эллины, для которых “ἑγκύκλιος παιδεία” являлся определённым кругом разнообразных познаний, которыми должен был обладать всякий свободный человек, вступающий во взрослую жизнь, согласились бы, что славянская тема в представленной книге получила развёрнутое освещение.

Но какова конечная когнитивная функция “Славянской энциклопедии”? Провокация, как у Французской энциклопедии, сформировавшей духовную платформу для Великой Французской революции, или же всё-таки высокая и благородная идея просвещения, лежавшая в основе большинства отечественных энциклопедий? Здесь приходится констатировать, что её внешняя масштабность, увы, зачастую не тождественна глубине и научности изложения. Учитывая, что целевая аудитория энциклопедии представляется *urbī et orbī*, её противоречивый материал неизбежно породит у читателей массу вопросов, ответы на которые данное издание, к сожалению, не даст. Видимо, филиппика в адрес идейных оппонентов и построение сложных конспирологических гипотез настолько увлекли авторов, что позволили местами ослабить научную канву словарных статей.

Но разве этого ждёт современный читатель, для которого современное информационное поле стало пространством без времени и границ? Именно сегодня, когда, возможно, рождается новый образ славянского мира, обновлённый, но с колоссальной тысячелетней цивилизационной историей; сегодня, когда на Россию как на его бесспорного лидера смотрят как на защитника традиционных ценностей, ответы на вызовы, брошенные славянству и его жизнеспособности в условиях нынешней международной геополитической и этнокультурной ситуации, мы можем отыскать только в бережно сохранённом многообразии нашего исторического наследия.

И тем не менее, даже если считать “Славянскую энциклопедию” скорее незавершённым наброском большого и ответственного начинания, её выход — это интеллектуальный вызов и яркое событие для всей мыслящей, читающей и просвещённой России. Все, кому дороги судьбы страны, русского народа, славянства в целом, наверняка не пройдут мимо этой книги.



АЛЕКСАНДР БАЛТИН

## КОСМОС ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА

1

Мастерство поэта Евгения Степанова становится явным читателю и в регулярных стихах, исполняемых им легко и виртуозно, и в верлибрах, с серебряных ветвей которых часто осыпаются тонкие иглы афоризмов.

Мудрость умножается на своеобразие смирения — о! не в смысле согбенной шеи, конечно, но в плане ощущения мира в душе, как бы ни была горька и тяжела описываемая реальность:

А человек, точно мошка,  
А путь-дорожка коротка...  
Ах, коротенька путь-дорожка  
От мальчика до старика.

А всё же человек огромен,  
Велик, огромен человек,  
Как, например, Андрей Коровин,  
Как мой отец, как Таня Бек...

Алмазная грань каждой строки врезается в память, и краткое точное стихотворение запоминается естественно: будто существовало в читательском сознании всегда...

Пространство горя освоено поэтом. И то, что пространство это — в поэтическом плане — не превращается в крик о катастрофе, свидетельствует о стоицизме поэта пред лицом происшедшего:

Я умру.  
И мои страдания закончатся.  
То есть страдания не вечны.  
И, может быть, Господь даже даст  
нам возможность встретиться.  
Я расскажу тебе,  
что до последнего выполнял все твои поручения  
и помогал всем нашим.  
Я знаю точно: мы все — единое целое.

Русский философ Фёдоров, приподнявшись со своего вечного аскетического сундука, благосклонно вглядывается в последние две строки: дело всеобщности дано Степановым как чёткое знание, не подлежащее сомнению.

... Если хотя бы ослабить страх смерти в нас — человечество бы преобразилось.

Если бы людские множества осознали своё единство — с ювелирной чёткостью, — жизнь стала бы иной.

Культурологические пласты в поэзии Степанова естественны. Вот как возникает, к примеру, могучая тень Фёдора Михайловича:

Бесы хороводы шумно водят.  
И звучат призывно бубенцы.  
Женщины приходят и уходят,  
Остаются на сердце рубцы.  
Бесы на просторах Азиопы.  
Телек бесам делает пиар.  
Ватники, и янки, и укропы  
Тушат керосинками пожар.  
Бесы стали гибельною силой.  
Неужели здесь они одни?  
Что же делать? Господи, помилуй!  
Господи, спаси и сохрани!

Обращение поэта к высшим инстанциям спокойно: никакого надрыва, тем более истерии: нам не дано ведать глобальный план, и все мы, являясь крошечными его деталями, должны понимать и принимать сущность вечной воли. Поэт понял её – и принял согласие с ней, как необходимую данность жизни.

... Небесных переливов и оттенков много в алхимических сосудах стихов:

я мальчик я во сне калиточку закрою  
и я наедине с деревьями травую

державна тень ольхи цвета люпинов броски  
но я прочту стихи есенинской берёзке

изящна и светла как подобает даме  
она сюда пришла небесными шагами

прочту — она простит пошелестит листвою  
как будто сам пиит поговорит со мною

И нежность акварельных разводов стихотворения чудесна...  
Нежность – шёлковая, изящно-лёгкая – часто выступает доминантой поэзии поэта.

... Афористический верлибр может быть окрашен в иронические тона:

Бог  
Творчество  
надежда на Рай

“Моя жизнь” – так назван верлибр: и то, как укладывается она, жизнь, наполненная трудами и свершениями, в несколько строк, свидетельствует о многом.

Ирония Степанова особого свойства: она отлиывает серебристыми снежными мерцаниями, а потом вскипает острой социальностью:

Сродни тарифам ЖКХ  
Растёт империя греха.  
Растёт и расширяется.  
Сосед (торчок) ширяется.

Растёт империя греха.  
Куда ни кинь — везде труха,  
Пиар и фанаберия.  
Греховная империя.

Здесь в своеобразный звуко-смысловой орнамент сливаются ирония и метафизика, сплетаются различные линии, не повреждая органической целостности произведения.

Под псевдонимом Иосиф Быковский Евгений Степанов выступает как пародист, и в пародиях его недостатки избираемых целью поэтов просвечиваются виртуозно, но никакой злости, даже избыточного сарказма, мы не увидим. Поэт нашёл ту меру, которая позволяет пародии быть доброй.

...Создание собственного издательства: шаг сложный, требующий отказа от себя, поэта и писателя, и издательство Степанова исполняет благородную миссию популяризации современной поэзии. Он создал ещё десять периодических изданий, журналов и газет, и все они дают читателю полноценную картину современной поэзии: той, что будет представлять нынешнее время в пространствах грядущего.

## 2

Хроника жизни и мужественной борьбы со смертью, трагедии, противостояния болезни — “Ковидная больница” Евгения Степанова, опубликованная в журнале “Дети Ра” (№ 3, 2022). Это почти поэма — своеобразная комбинация стихов, прозы, заметок, портретов поэтов, врачей... Эмоциональные всплески чередуются с сухой подачей фактов... Философский лиризм верлибра, помещённого ближе к финалу поэтической мистерии, завораживает своей стоической нежностью:

Я умру.  
И мои страдания закончатся.  
То есть страдания не вечны.  
И, может быть, Господь даже даст нам возможность  
встретиться.  
Я расскажу тебе,  
что до последнего выполнял все твои поручения  
и помогал всем нашим.  
Я знаю точно:  
мы все — единое целое.

И это знание высоко, как космос, как надежда на вечную жизнь. Уход в мир иной самого близкого человека окрашивает горькими красками словесную мистику, представляемую Евгением Степановым. Вспыхивают самоцветно стихи:

Испита не до дна моя земная чаша.  
Куда ни бросишь взор — повсюду ты, Наташа.

Повсюду я с тобой, повсюду ты со мною.  
И сорок лет подряд жизнь не была иною.

Но ты ушла туда, откуда нет возврата.  
Там старый серый кот бежит молодцевато.

Там чистая вода и брызги водопада.  
И надо жить и жить, а умирать не надо.

Мистерия длится. Возникают верлибры, посвящённые Чеславу Милошу, Валерию Брюсову: культурологический мир, предлагаемый Степановым, густ и насыщен. А потом дневник снова заземляет мистику, возвращая её к материальной плотности боли, болезни, страдания...

Возникают тщательно прописанные портреты врачей. Потом — портреты запахов, нежно и властно возвращающихся после ковида. Коридоры больницы мерцают неизвестным.

...Вибрирует раскалённая нить воспалённого вопроса:

Есть ли в мире хоть одна счастливая судьба?  
А напрашивающийся ответ рифмуется со словом “свет”...  
Но — надо выстоять.  
Поэт выстоял.

АЛЕКСАНДР НЕСТРУГИН

## “ТЁПЛЫЙ СВЕТ ИЗДАЛЕКА...”

**Кремер В. А. Вода небесная светла: Избранные стихи и проза. – Саратов, 2021. 460 с.**

Валерий Кремер...

Поэт. Родился и жил в Саратове. Были публикации (их перечень убедителен, но не слишком длинен). Выходили книги. Получив несколько лет назад в подарок одну из них, я, скользнув взглядом по скромного вида обложке, прочитал: “Любовь”. Помню, удивился тогда: слово-то ёмкое, но затёртое, потерявшее “вкус”. И взять его в название, да ещё и без “соуса”-эпитета, – для любого автора риск немалый. Удивиться-то удивился, но как-то буднично, походя (названия и мне даются трудно), – и открыл книгу. Однако вскоре, уже “вжившись” в неё, подумал: нет, с названием что-то не так. Не “прилипает” оно к таким неоднозначным стихам, которые просто не умеют, подобно паучкам-водомеркам, скользить по поверхности.

Вернулся к обложке – Господи, ну куда ж я смотрел? – “Любошь”!

Вот оно – настоящее, глубинное, предельно точное. Суметь так назвать свои книги, найти редкие, уводящие за собой, влекущие имена-метафоры немногим удаётся. Жаль только, что мы, читатели, привыкшие даже на поэзию смотреть сквозь серую муть словесных штампов, не всегда такие жемчужины замечаем...

Почувствовав в авторе “Любоши” душу близкую, я откликнулся на стихи В. Кремера коротким “эпистолярным” – привычным в наши дни виртуальным “мылом”. На большее не сподобился и, хоть были на то свои причины, чувствовал перед Валерием вину. Утешал себя: ведь будут у него ещё книги; вот следующая выйдет...

Вот она и вышла, следующая, но ничего не поправишь. Сло́ва моего мой ровесник уже не услышит: в прошлом году Валерия Адольфовича Кремера не стало. Саратовская поэтесса Елизавета Мартынова, друг, жена и муза Валерия, составила и издала книгу его избранных стихов и прозы “Вода небесная светла”. И вот она передо мной, эта книга – увесистый том, с любовью и тонким вкусом выстроенный, неброско, но точно оформленный, снабжённый не пафосным, очень важным для понимания жизни и творчества В. Кремера послесловием. На обложке – фото автора, сидящего в лесу на поваленном дереве. Обхватив руками колено, Валерий Кремер не позирует, а спокойно и внимательно вглядывается в нас, будущих читателей. Попробуем и мы “вглядеться” в поэта столь же внимательно...

Эпиграфом – и главным посылом-критерием – пусть будет при этом мысль самого поэта: “Стихотворение – суть человека, – говорил он мне, – в написанном на бумаге автор виден как на ладони, в нём, стихотворении, проявляется всё его человеческое существо. И никакие показные метафоры, сравнения и прочие “завитушки вокруг пустоты” не делают стихотворение стихотворением, не спасают написанное в рифму от этой самой пустоты”.

Далеко не всегда поэты живут, как говорится, “по сказанному”, но Валерий Кремер, действительно, жил и писал “без завитушек”.

Мы только выучились жить  
И от судьбы не ждать подвоха.  
Пока мы вышли покурить,  
Сменились ветер и эпоха.  
Мы дверь толкнули в темноту  
И думали, нам чёрт не страшен,  
Войдя в страну уже не ту,  
Совсем не ту. Совсем не нашу.

Такие строки не пишутся, а вырываются, как стон, из почти задохнувшейся немоты, из рухнувших надежд и отчаяния целого поколения. Мы ведь и вправду тогда, накануне разрушившего советский материк тектонического сдвига, “только выучились жить”: середина восьмидесятых, тридцать лет, пора “восковой” зрелости и неутраченных ещё иллюзий, полная грудь воздуха, первые весомые публикации, столько планов, столько сил – дух захватывает! И вдруг...

Спасибо настоящей поэзии, умеющей выразить суть случившегося потрясения всего одной строкой: “Мы только вышли покурить”. И ведь метафора эта – не головная, не “показная”, а, помимо главного обобщающего смысла, ещё и жизненно точная: сколько было у нас на молодых дрожжах дружеских посиделок под “сухарь”, да хоть ту же молдавскую “Фетяску”, стихов и песен, разговоров за полночь...

Стихотворение “А поезд мчался, торопясь...” вроде бы не совсем о том: едущий в поезде лирический герой, “от духоты томясь и от душевной смуты”, мучится вопросом вечным: “Успеешь ли собою стать...” Но концовка, концовка!

И тут, недолгий сон губя,  
В тумане звёздной пыли  
Промчался встречный. Сквозь тебя.  
Как будто век.  
Навылет.

“Встречный” нам выпал ещё тот: с плящимся в поставленное перед собой зеркало мокрогубым нарциссом-машинистом и вырывающим у него “руль” пьяным помощником-расстригой, – безбашенный, бестормозной, не замечающий ни светофоров, ни стрелок. Сколько беды он наделал, сколько жизней унёс, сколько судеб покaleчил – если бы только литературных...

Срубили дерево, что пело,  
Меня встречая на тропе.  
Его обрубленное тело  
Едва виднеется в траве.

Парадокс поэзии: автор, скорее всего, написал о реальном дереве, а мне, читателю, глядящему на этот частный случай сквозь призму времени и личной судьбы поэта, видится нечто куда более значительное: жизнь, поэзия. Что это – беспочвенные фантазии, домыслы, небезобидный читательский произвол? Не знаю, не знаю... Но сдаётся мне почему-то, что восприятие поэзии – не чужая территория, а часть моего “я”, которое должно иметь право голоса. И когда поэт горько сожалеет, что от поющего дерева осталось всего ничего – “пень”, который “понадобится – станет плахой, / но никогда не запоёт”, – я в рамках своего осмысления горячо возражаю: “А побеги, молодые побеги, которые обязательно пойдут от корня? Ведь хоть один из них, но обязательно выживет, и, встав на цыпочки, потянется к небу и выдохнет поющую небо и землю листву!” Я возражаю, возражаю, и – странное дело! – помогает мне в этом мой товарищ, мой ровесник, суровый и нежный лирик, “сокровенный человек” Валерий Кремер:

Сожми ладонь. Нам по пути  
С рекою ночи, полной жажды,

Путь дважды не дано войти  
И выйти не дано однажды.

Это снова о нём, о чувстве, которым и жива жизнь: тревожном и влекущем, понятном и необъяснимом, спасительном, окрыляющем, знобящем, перехватывающем горло:

И снова ищешь ты прилежно  
Название взгляду моему.  
Не бойся. Это просто нежность.  
Ни для чего. Ни почему.

О том, что чувство это дарит не только счастливые мгновения, кричит тишине эпитет — “непоправимая” — в “городском” стихотворении “Поздняя встреча”:

Трамваи вскрикивали тонко.  
Свет фар метался по стене  
В непоправимой тишине,  
Засасывавшей, как воронка.

С ним, с этим чувством, двоим бывает порой так непросто, но даже в трудные минуты прощаний оно учит душу не одинокой муке, а со-страданию:

Уйдёшь — и дверь закроешь виновато.  
Ну, что ты, что ты, в чём тебя винить?  
Она нам неподвластна, эта нить,  
Ведущая откуда-то куда-то.

Эту тему будто бы продолжает сам ночной город — “стальной”, но не безразличный, не безучастный:

Каждой ночью бежит по стальному кольцу,  
Каждой ночью скользит одинокий трамвай,  
Как ладонь по щеке, как слеза по лицу,  
От “прощай” до “люблю”,  
От “люблю” до “прощай”.

Да, так близко друг к другу порой стоят эти два таких разных слова, так непоправимо близко. И всё же, всё же:

Ты касаешься взглядом меня,  
Осторожно, как пробуют воду  
И случайный напев, и свободу  
Не скрывать потайного огня,  
Что расцвёл в середине зимы  
В глубине ледяной немоты.  
Подожди, скоро будем на “ты”.  
Потерпи, скоро будем на “мы”.

И наконец, — как солнце, прорвавшееся сквозь хмурые тучи, сквозь снежные порывы и скрадывающую даль подслеповатую наволочь, — радостное, животворящее:

Всё, прощай, чужая роль!  
Здравствуй, жизнь в морозном блеске!  
Эти солнечные всплески  
Называются Люболь.  
На куски — сомнений тучи,  
Мёртвой логики каркас,  
Как струна, остра, певуча  
Нить, связующая нас.

То, что рядом — за окном, на улицах, в так называемом “большом мире”, — не стало ни честнее, ни милостивее. Но оно уже — не край, не плаха:

Громыкает смутная эпоха  
Лживыми словами на крови.  
Но ещё настанет время Вдоха —  
Время Возвращения Любви.

В своих поздних стихах Валерий Кремер нередко размышлял о конечности земного пути, о смерти, но эта невесёлая тема не ложилась на его строки угрюмой беспросветной тенью:

Нежное небо. Полоска заката.  
Рыже-лимонная тянется нить.  
Странно представить, что жил здесь когда-то.  
Странно представить, что буду не жить.  
Что перестану любить и касаться  
Всей этой нежности. Просто уйду  
В тёмное небо. Чтоб где-то остаться,  
Будто ребёнку в детском саду.

Какой образ, какая щемящая, пронзительная лирическая нота! Но всё равно жизнь — больше и выше, сильнее и милосердней смерти:

Человек грустит, смеётся,  
Он и остров, и река.  
Он уйдёт. Но остаётся  
Тёплый свет издалека.

Завершает книгу проза — миниатюры, рассказы, повесть, эссе. Зная Валерия Кремера как значительного корневого поэта русской классической традиции, я читал её с интересом уже потому, что хотелось узнать: а он ли это — там, в этих нерифмованных, лишённых привычных ритма и метра строках? И скоро убедился совершенно точно: да, это он.

Мятущийся и сильный.

Путник, странник, пилигрим, пытающийся найти в себе — Себя (“Лабиринт”, “Мост”, “Роль”, “Пересекающий площадь”).

Влюблённый, сомневающийся, любимый — и боящийся всё это потерять (“Дождь”, “Утренний крик”).

Лирик (“Берёза”, “Вокзал”), трагик (“Что-то другое”), философ (“Так ли и не так ли”, “Камень”, “Сказка о свободе”). Художник, кисти которого по силам несколькими лаконичными касаниями создать законченную картину, психологически точную, умеющую “зацепить” взгляд: *“Загремело, как молоток по жести, покатилося от стены к стене очередное объявление диктора, и она, вскинув голову и сжав тонкими пальцами ремень сумки, прислушалась. Глаза её снова встретились с глазами Олега, и в них была всё та же тревога, проступающая сквозь решимость. Нет, он не ошибся. Он остро почувствовал край этой встречи, за которым начинается гигантская воронка неба, где серебряной снежинкой растает её самолёт”* (“Пушной зверь из пяти букв”).

Да, это проза поэта, — но без того снисходительного критического смысла, которому так нравится заключать это определение в ухмыляющиеся кавычки. Многие тексты я отнёс бы к лирико-философским притчам (да, бывают и такие!), в которых мысль и чувство идут к читателю рука об руку с ясным, глубоким, на дух не переносящим дежурных длинных словом. Проза эта несколько суховата, далека от пресловутой “сюжетности”, но прочесть её стоит. Она многое сумеет рассказать — и об авторе, русском поэте Валерии Кремере, и о нас, земных и грешных, усталых, почти во всём разочаровавшихся, но — ведь правда же? — всё ещё не потерявших надежду найти свою “небесную воду”, что одна только и умеет утолить жажду — не телесную, горную, вечную.

АНАТОЛИЙ САЗЫКИН

## ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РУССКОЙ ДУШЕ

*Николай Зиновьев. Портрет неизвестного. — Ростов-на-Дону: Терра Дон, 2020.*

Стихи должны быть с тайным смыслом,  
Чтоб строчка каждая в них жгла  
И чтобы баба с коромыслом  
К колодцу с песней тихо шла;  
И чтоб в них не было печали,  
И чтоб печалили до слёз,  
И чтоб стояли за плечами  
И смерть сама, и сам Христос;  
Чтоб в них и плакалось, и пелось  
И чтоб шумела в них листва;  
И чтоб была в них неумелость —  
Та, что превыше мастерства.

*Николай Зиновьев.*

Толчком к началу работы над этим очерком стала публикация в газете “Аргументы недели” (№ 25 от 29 июня 2022 года) статьи журналиста Юрия Антонова “Загадка русской души: “чёрная дыра” для социологов”. Вообще же эта тема на страницах отечественной и мировой публицистики периодически возникает. Автор газетной статьи считает, что “население России никогда ещё не было таким чёрным ящиком, как сегодня”. Связано это, по его мнению, с событиями на Украине. Но он замечает, что и другие не менее судьбоносные события последних десятилетий не вызывали у населения чёткой и тем более предсказуемой реакции. По вопросу об отношении к различным жизненным ценностям — подобный же разнобой. Ясность лишь в отношении к таким ценностям, как здоровье (76% опрошенных) и семейное счастье (62%). Это данные крупнейшего социологического центра “Циркон”: только 3-4% электората ориентированы на внятные, непротиворечивые ценности. Данные “Левада-центра” других существенных отличий не показывают. По мнению автора, “народ снова массово повадился скрывать, что думает”, и, в конце концов, “власть для народа такой же чёрный ящик, как и народ для неё”. И ещё заключает: “Впрочем, как устроена Россия, часто не понимают даже специалисты”.



Естественно, встаёт вопрос: а при чём здесь поэзия? И в частности, сборник стихотворений Николая Александровича Зиновьева “Портрет неизвестного”?

Поэзия концентрирует и выражает духовную энергию человека и общества. Величайшие поэты мира, включая Александра Сергеевича Пушкина, были убеждены в пророческой миссии поэта. И творчество великих русских поэтов эту мысль только подтверждает. Поэзия вообще, независимо от уровня дарования конкретных поэтов, делает работу по выявлению, концентрации, обобщению и выражению духовных сторон жизни человека и общества, без чего ни экономика, ни политика, ни технологии сами по себе жизни не создадут.

Место и значение Николая Зиновьева в русской литературе определит история. Пока приведу лишь мнение о его творчестве, высказанное в 2003 году Валентином Григорьевичем Распутиным: “Николай Зиновьев талант особенный... Он немногословен в стихе и чётко в выражении мысли, он строки не навеивает, как часто бывает в поэзии, а вырубает настолько мощной и ударной, неожиданной мыслью, мыслью точной и яркой, что это производит сильное, если не оглушительное впечатление...”

Николая Зиновьева сравнить не с кем; там, откуда он берёт свои слова, никто никогда не бывал, это словно и не взгляд, и не суд современника, а доносящееся из земных глубин суровое и праведное о нас мнение тех, кто имеет на это право”.

Чтение стихотворений Зиновьева неизбежно активизирует и мысль, и чувство, тем более что поэт вовсе не озабочен поисками новых форм, он совершенно традиционен, но степень его душевной боли так велика, что безучастным она может оставить только человека, напрочь лишённого духовного и нравственного стержня.

О себе он говорит:

Я за словом лезу в душу,  
Но не в чужую, а в свою.  
Это больно, очень больно,  
Как свои считать грехи.  
И поэтому невольню  
Коротки мои стихи.

Духовная напряжённость творчества Зиновьева порождена глубоким искренним сознанием своей причастности к народной душе. Он мог бы повторить вслед за Некрасовым: “Я был рождён воспеть твои страдания, терпением изумляющий народ”. Именно Некрасову он наиболее близок. Хотя известно, что любимый поэт Зиновьева — Лермонтов, из современных поэтов ему очень близки Николай Рубцов и Анатолий Передреев. И в то же время совершенно прав Валентин Распутин, когда пишет: “Николая Зиновьева сравнить не с кем”.

Всё сказанное даёт мне основание сделать попытку всмотреться внимательнее, как в стихах Зиновьева нашли отражение те самые особенности народной души, которые так трудно поддаются социологическим анализам и оценкам. Разумеется, поэт никаких таких задач перед собой не ставит, он просто живёт в своём народе и со своим народом. Тем и ценнее его переживания, суждения и мнения. Они не претендуют на признание и высокие оценки, они очень самокритичны, но они заставляют думать и чувствовать.

Нужно сказать и об одной общей особенности построения большинства его стихотворений. Не случайно стихотворение, ставшее эпиграфом ко всей статье, начинается фразой: “Стихи должны быть с тайным смыслом...” Тайный смысл содержит тот ассоциативный фонд, что возникает почти в каждом стихотворении. Ассоциации образуются в результате столкновения в стихе тезиса и антитезиса — так проявляется в поэзии Зиновьева жизненная диалектика. Антитезис в концовке стихотворения, а то и вовсе в последней строчке. Такая композиция стиха и создаёт единство противоречий, возбуждает мысль, заставляет думать, то есть рождает тот самый скрытый, “тайный смысл”.

## 1

Первая тема стихотворений сборника “Портрет неизвестного” — неодолимое желание жить, любовь к жизни, невзирая на тяготы и испытания, выпадавшие и выпадающие на долю русского человека.

Наше горе по свету не шляется,  
Оно с нами с рожденья живёт:  
С мужиками вина напивается,  
Со старухами корку жуёт;  
Ходит в церковь тропинками узкими,  
Держит свечку, читает псалмы,  
Знает прелесть сумы и тюрьмы —  
Без него мы бы не были русскими.

Именно последняя строчка-антитезис обращает нашу память и мысль к Достоевскому, к Лескову, к Шолохову, к песенному фольклору, по большому счёту, к нашей русской истории.

Или вот ещё одно стихотворение, внешне совершенно незамысловатое, но с удивительно глубоким ассоциативным фондом:

В тупике, где заправляют  
Маневровый тепловоз,  
Непонятно как, но вырос  
Куст душистых чайных роз.  
И дрожащий дрожью частой,  
Он в мазутном тупике  
Был нелеп, как слово “счастье”  
В нашем русском языке.

Вопрос возникает естественно и сразу: почему же слово “счастье” нелепо “в нашем русском языке”? И конечно, в поиске ответа сразу вспоминается великое произведение русской литературы, вполне сопоставимое с романом-эпосом Льва Толстого, где главный вопрос о том, в чём счастье и кто счастлив на Руси, — поэма Некрасова “Кому на Руси жить хорошо”.

Разброс мнений по вопросу о счастье в поэме необычайно широк: от “вот обогреет солнышко, да пропущу косушечку — так вот и счастлив я” до “...ни в ком противоречия! Кого хочу — помилую, кого хочу — казню! Закон — моё желание, кулак — моя полиция!” И даже для нерусского уха странное: “Мне счастье в девках выпало — у нас была хорошая, непьющая семья”...

Мужики разошлись, видимо, ни с чем, но автор нашёл счастливого и опять же не бесспорного: “Ему судьба готовила путь славный: имя громкое народного заступника, чахотку и Сибирь”.

Вот таков “тайный смысл” вроде бы простенького стихотворения, и это очень характерно для поэзии Николая Зиновьева.

## 2

Но тяготы и невзгоды никогда не порождали духовного кризиса в сознании людей, абсолютной безнадёги и нежелания жить. А вот такое интересное сочетание: светлой памяти о прошлом хотя бы потому, что у каждого было детство с его теплом, верой и надеждами, и всё-таки веры в жизнь, в будущее — Веры в самом высоком и чистом смысле этого понятия. Это сложное сочетание в полной мере живёт в стихотворении Зиновьева “Память”:

Стояла летняя жара,  
И мама жарила котлеты.  
И я вершил свои “дела” —  
Пускал кораблик из газеты.  
И песня русская лилась  
Из репродуктора в прихожей...  
Не знаю, чья была то власть,  
Но жизнь была на жизнь похожа.  
Я помню, как был дядька рад,  
Когда жена родила двойню.  
Сосед соседу был как брат.  
Тем и живу, что это помню.

Сегодняшняя ностальгия по советскому прошлому, его нравственному и социальному наполнению – неоспоримый факт. Да, “пережитки советского прошлого”, да, “совковое сознание”. Но звук душевной струны ничем не заглушить. Тем более у неё такая мощная жизненная и литературная традиция.

Я люблю эти старые хаты  
С вечно ржавой пилой под стрехой,  
Этот мох на крылечках горбатых —  
Так и тянет прижаться щекой.  
Этих старых церквей полукружья  
И калеку на грязном снегу.  
До рыданий люблю, до удушья,  
А за что — объяснить не могу.

Эта лермонтовская нотка в последней строке у Зиновьева прозвучит ещё много раз, и это очень усиливает его поэтическую позицию. К тому же позиция эта несводима лишь к ностальгическим нотам. Она полна тревоги и боли, она и требовательна, и горька.

Где русские тихие песни?  
Хотел бы их слышать... Вотще.  
Крикун же заморский, хоть тресни,  
Мне нужен, как волос в борще.  
Где русские квасы и каши?  
Где русский на избах венец?  
Где русские женщины наши?  
Где русская речь, наконец?  
Россия, любимая, где ты?  
Какой тебя смёл ураган?  
Остался на ветку надетый  
Небьющийся русский стакан.

Опять же, какой мощный ассоциативный ряд, касающийся современной нашей культуры, эстрады, морали, языка нашего, речи, и какой обобщающей силы образ – антитезис в последних строках.

### 3

В душевном состоянии лирического героя, выражающем, по сути, народное сознание, свило гнездо чувство тревоги, охватившее сегодня без преувеличения всю планету. Хорошо выражено это чувство в стихотворении, озаглавленном “XXI веку”:

Спадёт с очей твоих завеса,  
И ты узришь, как мир людей  
Под погребальный марш прогресса  
Стремится к бездне всё быстрее.  
Но ты пока не видишь это,  
Ты в суете погряж мирской.  
Лишь сердце чуткое поэта,  
Как атмосферой планета,  
Объято страхом и тоской.

Возразить этому стихотворению нечего ни по одному пункту. Краток и афористичен поэт, и за этим стоит выношенность и выстраданность абсолютного большинства стихотворений.

Но наибольшую тревогу в душе поэта, как и в душах абсолютного большинства людей Земли, вызывает грозящая миру война. Выражена эта тревога у автора и в присущей ему манере – полушутливой, близкой к народной, – и жёстко, прямо, хочется сказать – апокалиптически.

Вот сначала так:

Сколько помню, он такой:  
Редкая бородка,  
Грязный, серенький, сухой,  
Лёгкая походка.  
Допотопный армячок,  
Детская улыбка.  
— Здравствуй, Ваня-дурачок,  
Как дела?  
— Не шибко.  
— Издеваются ли, бьют?  
Что тому виною?  
— Больно много подают...  
Как перед войною.

Это, видимо, вот та способность предчувствования, о которой упоминал Валентин Распутин.

А вот и прямое видение. Я приведу строки из необычного по размеру для Зиновьева стихотворения, так и названного “Большое стихотворение”:

Война-то Третья мировая  
Давно шагает по планете.  
И, на победу уповая,  
Кричат взхлёб то те, то эти...  
...Шагает Третья мировая  
По умирающей планете,  
Где, ужаса не сознавая,  
Ещё растут цветы и дети.

#### 4

Ничуть не меньшую тревогу вызывает в душе и в сознании поэта ситуация, сложившаяся в стране после ельцинской контрреволюции 1993 года. Ещё раз подчеркну, что речь идёт не об объективных социально-экономических исследованиях, а о “мнении, да, мнении народном”.

Мнение это абсолютно нелицеприятно:

Мы перестали быть народом,  
Мы стали рыночной толпой —  
Толпа редет год за годом  
И тает в дымке голубой,  
Наживы ветер всюду свищет,  
И карлик смотрит свысока.  
А выход где? Никто не ищет,  
Хотя он есть наверняка.

Тема эта раскрывается в целом ряде его стихотворений, она ненадуманна и существует вовсе не ради злободневности. Это очень трудно и вообразить, и тем более оправдать, что ничтожно малая часть населения страны владеет львиной долей национального богатства, а абсолютно бóльшая часть народа живёт в бедности.

Но едва ли не самая страшная расправа состоялась и продолжается с культурой.

Литература — основа образования и духовного становления человека — по большому счёту вытеснена из школьных и вузовских программ и сокращена до примитива. Издание книг поставлено на рыночные рельсы и стало делом торговцев, жаждущих прибыли.

В стихотворении Зиновьева “На свалке” один персонаж — “философ местный и уже поддавший хорошо” —

...изрёк торжественно и жалко,  
“Войну и мир” доставши из огня:  
— Страна, в которой книги жгут на свалках,  
На страшные пути обречена.

В этом контексте интересен вопрос и о месте интеллигенции и её роли в современной очень сложной обстановке. Когда начались украинские события, вдруг, казалось бы, неожиданно выявилась интеллигентская оппозиция, по сути “пятая колонна”. Озабоченные, конечно, судьбой своих счетов в зарубежных банках, но под видом своего свободолюбия и миролюбия, вдруг “в знак протеста” потянулись за границу. А задолго до событий на Украине Николай Александрович Зиновьев пишет стихотворение “ПСЕВДОИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ”:

Всегда, всегда была ты стервой.  
В чаду своей богемной скуки  
Народ ты предавала первой,  
На пепелище грея руки.  
Была ты рупором разврата  
И верной подданной его,  
И поднимался брат на брата  
Не без участия твоего.  
По заграницам ты моталась,  
Всю грязь оттуда привозя.  
Такой ты, впрочем, и осталась,  
И изменить тебя нельзя.

В таком суждении можно только что-то скорректировать и добавить, а изменить, к сожалению, ничего нельзя.

## 5

Обратимся к вопросу — одному из самых значимых и в общественной жизни, и в поэтическом творчестве Николая Зиновьева.

В той же статье, с упоминания которой начинался очерк, её автор Юрий Антонов пишет:

“По данным одних исследований, до 80% граждан России считают себя православными христианами. В то же время Рождественские богослужения посещает в среднем 2,5 миллиона россиян, т. е. менее 2% населения. Эта цифра стабильна на протяжении многих лет и не меняется по мере открытия новых церквей. Даже на Пасху “дорога приводит в храм” 4,5 млн верующих при 145 млн населения... 60% православных не относят себя к религиозным людям, менее 40% из них уверены в существовании Бога. А около 30% полагают, что Бога вообще нет”.

Все до единого стихотворения сборника Зиновьева “Портрет неизвестного” и вообще его творчество пронизаны искренней, глубокой, подлинной Верой. В то же время поэт не закрывает глаза и очень серьёзно задумывается над сложностью, судьбоносностью этой проблемы. В двух кратких стихотворениях он в своей манере выражает диалектику её:

Вот сменила эпоху эпоха.  
Что же в этом печальней всего?  
Раньше тайно мы верили в Бога.  
Нынче тайно не верим в него...

Ужасная эпоха!  
За храмом строим храм.  
Твердим, что верим в Бога,  
Но Он не верит нам.

В 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны Сталин восстановил в стране Патриаршество и прекратил преследование Церкви, чем упорно занималась власть десятки лет. На фронте неверующих не было. Сегодня высокое вообще отошло на третий план, и поэт говорит об этом с горьким упреком:

У ворот старик сидит.  
Только денег он не просит,  
Даже власть он не хулит,  
Просто тихо произносит:

“Я пришёл из старины,  
Православный русский витязь,  
Я не смог узнать страны, —  
Хоть один перекреститесь!”

По глубокому убеждению поэта Николая Александровича Зиновьева, вера в Бога в душе русского человека совершенно органична, она не нуждается в выкладках и требованиях ума:

А я на ум не претендую,  
Когда гляжу, разинув рот,  
Как и глухую, и слепую  
Бабулю внук во Храм ведёт.  
Хоть каждый день я вижу это,  
Но строчка русского поэта  
Опять приходит и опять:  
“Умом Россию не понять”.

Нужда в Боге и вера в Него внушены русскому человеку суровым климатом, безграничными просторами, историей, вечной необходимостью отбиваться от врагов, отсутствием дармовых доходов, нестяжательством — всем, что образует понятие менталитета.

Сколько раз на протяжении Истории стояла Россия, казалось бы, на последнем краю, и всегда спасала её великая воля к жизни и великая Вера в Божью милость. Как и сегодня в очередной раз...

## 6

В раздумьях поэта на протяжении всего его творчества все вопросы сводятся к одному главному: “Какова же судьба России?”

И снова здесь на первый план выдвигается стихотворение, полное “тайного смысла”, порождающее такие ассоциативные ряды, что их до конца трудно исчерпать:

В степи, покрытой пылью брэнной,  
Сидел и плакал человек.  
А мимо шёл Творец Вселенной.  
Остановившись, Он изрек:  
“Я друг униженных и бедных,  
Я всех убогих берегу.  
Я знаю много слов заветных,  
Я есмь твой Бог. Я всё могу.  
Меня печалит вид твой грустный —  
Какой нуждою ты тесним?”  
И человек сказал: “Я — русский”.  
И Бог заплакал вместе с ним.

Именно сегодня стихотворение с более значимым сакральным смыслом трудно даже представить. За его строками встают и всеевропейские экономические и политические санкции, война информационная и что ни на есть горячая, и внутренние наши социальные и экономические проблемы, и очень тревожная демография, и огромное количество либеральных словоблудов, и т. д., и т. п.

Есть отчего Богу заплакать над Россией...

Но поэт, следуя состоянию народной души, слезам предпочитает внимательно и серьёзно всмотреться в российские обстоятельства, чтобы лучше и правильнее их понять. На протяжении всего сборника Николай Зиновьев не один раз вспоминал слова великого русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева: “Умом Россию не понять”. Но и не ставить вопросы и не пытаться искать на них ответы поэт не может.

*Этот материал был написан в год антигосударственного переворота на Украине и прислан в редакцию сравнительно недавно. Нам он представляется чрезвычайно актуальным.*

*Редакция*

## СОБЫТИЯ НА УКРАИНЕ В СВЕТЕ ЭКРАНИЗАЦИИ РОМАНА “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”

В самый разгар украинского кризиса 3 марта 2014 года по телеканалу “Россия 1” анонсировали показ фильма “Белая гвардия”. При этом телеведущий сказал, что, мол, при его просмотре не забудьте задаться вопросом, как так получилось, что события в Киеве, описанные Булгаковым, повторились через 96 лет. Ну что же, вопрос актуальный и действительно требующий честного ответа. Только сразу надо уточнить: нынешние события – это далеко не то же, что происходило в 1918 году. Очередной мировой войны ещё нет, как нет и накопившихся противоречий монархического управления. В остальном же действительно неплохо провести кое-какие параллели, чтобы поискать причины конфликта в прошлом и настоящем.

Когда впервые показывали этот фильм, я сразу отказался его смотреть до прочтения романа. Уж слишком ярко его анонсировали как антисоветское, антикоммунистическое произведение. Так и представлялась картина о злодеяниях большевиков против гвардейцев белой армии, этаких вышколенных в кадетских корпусах молодых людей высочайшей культуры, истинных патриотов Родины, которой была для них в то время Россия. Тут же представлялся многострадальный образ писателя, чьи произведения не печатала советская власть по идеологическим причинам. Кстати, многие до сих пор думают, что Булгаков был жертвой сталинских репрессий, и даже считают, что его не то замучили в застенках ЧК, не то расстреляли как белогвардейского офицера.

А теперь давайте о романе и о фильме, так как здесь есть очевидная необходимость отделить “котлеты от мух”.

Первое, что необходимо констатировать, – фильм по своему смысловому содержанию не соответствует роману. Сходство наблюдается только во второстепенных сценах, сопровождающихся закадровыми комментариями из текста книги, но и они далеки от основной нити сюжета.

В отличие от фильма, нет в произведении Булгакова и белой гвардии. Её нет по объективным причинам: белая армия не фигурирует в описываемых событиях. Но самое главное – это то, что нет в романе персонажей, которые бы соответствовали общепринятым представлениям об образе гвардейского офицера. Чем больше читаешь роман, тем сильнее убеждаешься, что в название вложен иронический смысл. Поручики Мышлаевский и Шервинский, подпоручик Степанов (Карась) и уж тем более капитан Тальберг на протяжении всего

повествования не совершают никаких заслуживающих уважения ратных или хотя бы гражданских поступков. Скорее наоборот, они более запоминаются неприятным поведением. Чего только стоит описание ночной пьянки в доме Турбиных. Сам автор в образе Алексея Васильевича Турбина изображён по натуре человеком штатским и не претендующим на звание гвардейца. Ну, а его брат Николка, как говорится, ещё не дорос.

Если кратко описать морально-психологический портрет всех действующих лиц произведения на фоне сюжета, то получится примерно вот что. В стране идёт война, разделившая общество по сословиям, национальностям, идеологиям, но всегда есть люди, которые в силу характера или жизненной ситуации не могут определить, “где свои, а где чужие”. Многие из них мечутся в мучительных поисках своего пути, а некоторые просто переживают “тёмные времена”. Болтает их суровое сложное время, извините, как известное вещество в проруби, и куда прибьёт, им неизвестно в силу несформировавшегося духовного стержня. Люди, обладающие таким стержнем, даже заблудившись в жизненном шторме, не теряют главного – чести, они продолжают выполнять свой долг, сохраняя её в любой ситуации. И, пожалуй, единственным персонажем, которого можно причислить к представителям гвардии, является полковник Най-Турс, который до последнего всеми силами пытался спасти вверенных ему необстрелянных кадетов.

Судя по откликам современников, Булгаков писал роман как хронику событий, причём событий драматичных и не понятных ни ему, ни действующим лицам его произведения.

В то же время автор очень критичен в своих суждениях о том обществе, о котором сейчас у нас принято говорить, как о цвете российского государства. Булгаков описывает, как в 1918-м город наводнили беженцы, в основном из Питера и Москвы, и получился такой уплотнённый срез российской гражданской и военной аристократии, перемешанной с прислугой, лавочниками, артистами, журналистами, проститутками, картёжниками... Вся эта публика пила и обжиралась в ресторанах, проводила ночи в театрах и борделях, играла в карты, то есть продолжала ту “светскую жизнь”, к которой привыкла, и не расставалась с ней ни во время экономических кризисов, ни во время войн. При этом всех, кто мог потревожить такой образ жизни, они люто ненавидели.

**Большевиков ненавидели “ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днём в ресторанах, читая газеты...” Ненавидели “всей душой” не только большевиков, но и весь простой народ, не зная его настоящей жизни и его трудностей. “И когда доходили смутные вести из таинственных областей, которые носят название деревня, о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливая из пулемётов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту... но не раз под шёлковыми абажурами в гостиных скалились по-волчьи зубы и слышно было бормотание: – Так им и надо! Так и надо; мало ещё! Я бы их ещё не так. Вот будут они помнить революцию. Выучат их немцы – своих не хотели, попробуют чужих!”**

Здесь, кстати, уместно задать резонный вопрос: ну и как, по-вашему, должен был относиться простой народ к этому “цвету российского общества”?

**Писатель в контексте произведения не разделяет таких чувств ни к народу, ни к большевикам.** Он даже упрекает своих знакомых: “Ох, как неразумны ваши речи, ох, как неразумны”, – и считает, “что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только большевики”. И нет нигде в романе его негативного проявления к новой российской власти! И поэтому, в отличие от сценариста и режиссёра фильма, не мог он изобразить входящих в Киев этаких бандитов-большевиков, стреляющих от нечего делать в крест памятника князю Владимиру! Также как нет в книге эпизода, в котором якобы благородный полковник Малышев пускает себе пулю в висок от безысходности и чувства патриотизма. Напротив, он трусливо сбегает, спасая свою шкуру, переодевшись в “студенческую шинель и штатскую, молью траченную шапку с ушами, притянутыми на темя”. Сбегает с трусливо растерянным выражением лица, сбрив усы, бросив на произвол судьбы насуп сформированный из разрозненных оставшихся офицеров и юных необстрелянных кадетов дивизион.



Прочитав роман дважды, я ещё раз убедился в неизбежности революции, потому что при таком скотском отношении “цвета страны” к своему народу ни один уважающий себя народ жить не сможет. Убедился ещё раз и в неизбежности последовавшей за революцией гражданской войны, которую не могла не развязать та часть общества, которая даже в самые тяжёлые для страны времена не хотела ни в чём ущемлять своё благополучие и свои прихоти, считая, что за все трудности должны расплачиваться только представители низших сословий.

**А вот теперь можно ответить на вопрос, поставленный телеведущим канала “Россия 1”: как же так получилось, что события в Киеве, описанные Булгаковым, повторились через 96 лет?**

И здесь неплохо бы сначала узнать, для чего создатели фильма так исказили смысл романа? Ведь ещё Станиславский говорил, что **“в искусстве главное не то, что ты изобразил, а то, для чего ты это сделал”**. И ещё он был сторонником уважения авторской идеи, что естественно, так как это труд другого человека, и переляпывать его на свой кокряк – невежество. **“Ни режиссёр, ни актёры не должны пренебрегать идеей автора в угоду своим мыслям и убеждениям. Режиссёр должен обнаружить авторскую точку зрения и стремиться выразить её. Актёры – и того больше – должны понять, принять и проникнуться идеями своих героев”**.

Было бы полбеды, если бы речь шла об одном фильме или хотя бы о нескольких произведениях или публичных выступлениях известных людей. Но с начала советской перестройки самой модной темой является критика советского строя и всего, что было связано со временами СССР. Взяв карандаш и глядя в телевизор, можно подсчитать, сколько раз за день вы услышите и увидите фрагменты о зверствах коммунизма. Уверяю вас, это не идёт ни в какое сравнение с количеством упоминаний о преступлениях фашизма. “Лягнуть” большевизм и Советский Союз стало делом обязательным даже в передачах о кулинарии, садоводстве или о модной одежде. Этим занимаются все, начиная от президента и заканчивая дворниками. Ну, а уж когда за дело берутся журналисты, политики, учёные и особенно артисты всех жанров, то тут, как говорится, “хоть святых вон выноси”. Чего только мы не услышали в последние годы о революции и гражданской войне! Этот период истории нашего государства извратили до безобразия. **Людей, мечтавших о справедливом обществе свободного труда на благо родной страны, о равных возможностях всестороннего развития для всех и боровшихся за это с теми, кто хотел сохранить сословные привилегии, право владеть богатством и властвовать над другими, превратили в злодеев.** В ранг героев тех времён возвели атамана Махно, налётчика Мишку Япончика и прочих откровенных бандитов, о которых даже их сотоварищи оставили далеко не лестные воспоминания. Да что там гражданская война! Вы посмотрите фильмы о Великой Отечественной, которую, оказывается, выиграли благодаря исключительно штрафным батальонам, где в атаке солдат гнали в основном жестокие и безграмотные командиры-коммунисты, где разведчиков после каждого задания в тылу врага избивали и пытали и только потом отправляли на новое задание. В каждом фильме присутствуют персонажи этаких циничных особистов, подозревающих в предательстве всех (кроме Сталина). В каждом фильме они допрашивают и даже пытаются солдат и офицеров, причём с таким старанием и жестокостью, что порой в этих же фильмах гестаповцы по сравнению с ними кажутся безобидными и интеллигентными офицерами вермахта. В произведениях последних десятилетий и в их экранизации идёт настоящее соревнование, кто страшнее изобразит пороки коммунизма. Для большинства “ваятелей” кино такие сюжеты стали основой “творчества”. Все преступления капитализма (и фашизма в том числе) уже давно померкли в сравнении с ужасами большевизма и социализма в нашей стране. Всё это происходит на фоне всеобщего оболванивания молодёжи в основном тупой рекламой и дебильными юмористическими передачами. И вы хотите, чтобы образовавшуюся в головах балдёжную пустоту с заученными телеуроками на тему: “Коммунизм – это кровавое зло, а Социалистическая Россия – это 74 года концлагерей”, – не заполнили исподволь подаваемые мысли о хорошем национализме и не таком уж плохом фашизме? А что, ведь умудрились сдоложить учёные публично рассуждать о роли “благородного” генерала Франко в спасении Испании от коммунистов. А сколько уже говорено о значении генерала Пиночета в подъёме

чилийской экономики... Вот уже и образ Бенито Муссолини светлеет с каждым годом. А тут уж совсем близко и “смешной Адик” вскидывает ручку в знак приветствия новым поколениям успешных, делающих карьеру и деньги мальчиков и девочек.

Вряд ли где-то ещё можно встретить больше критики и откровенной травли прошлого нашей страны, а вместе с тем и пропаганды национализма, а исподволь и фашизма, чем в сегодняшней России. При этом патриотическое воспитание осуществляется дешёвыми, дурацкими приёмами, почти сразу, в силу созданных морально-этических условий, закономерно превращающимися в маскарадное шоу. Надуманный, высосанный из пальца проект развешивания георгиевских лент или ещё того глупее – телепроекты “Имя России” и “Имя Победы”, в которых, по сути, предлагают присвоить номера выдающимся людям страны, как на конкурсе красоты. Осталось только потом портреты выставить на подиуме. И вот уже молодые нацепляют куда попало знаки боевого отличия, даже не подозревая, что это без соответствующих заслуг дело пошлое. Вот уже спорят, кто для Российского государства значимей: Кутузов или Жуков, даже не задумываясь о неэтичности и глупости такого спора.

**Стёрли мы грань между хорошим и плохим сами. И я не верю, что на Украине не нашлось бы достаточного количества людей для отпора махровой нацпропаганде. Ведь, в конце концов, детей и внуков советских солдат – ветеранов войны, – в том числе и коммунистов, там намного больше, чем потомков бандеровцев. Но отпор они не смогли дать потому, что не на что было опереться в своих аргументах, ведь даже в сердце советской идеологии – в Кремле – критикуют советское прошлое и пугают коммунизмом. Даже бывший КГБэшник утверждает, что прошлое, в котором он ревностно следил за нашей преданностью идеалам социализма, никогда не вернётся.**

Недавно посмотрел передачу телеканала ОТР “На грани безумия”, в которой впервые за последние 25 лет повели публичный разговор на тему честного, взвешенного отношения к прошлому страны и подвергли сомнению нашу нынешнюю векторную позицию к её советскому периоду. Точно сказал ведущий, что бывают ситуации, когда мнение недруга оказывается вернее словословия друзей. Он имел при этом в виду мудрую фразу Уинстона Черчилля: **“Устроив распрю между прошлым и настоящим, мы лишимся будущего”**. Насколько далеко мы завели распрю с советским прошлым своей страны?

Люди моего, послевоенного поколения, помнящие своих отцов-фронтовиков, их манеру разговаривать, общаться с окружающими, помнящие их отношение к Родине, к труду, к дружбе, к другим человеческим качествам, и то не все могут разобраться в этом потоке лжи о советском периоде жизни. А что уж говорить о молодых, которым “нарисовали” его только в чёрных красках. Много ли надо для того, чтобы создать основу для армии будущих националистов, бандитов всех мастей? Да нет, конечно, для этого надо убрать из школьной программы Мальчиша-Кибальчиша и Павку Корчагина и заставить изучать Солженицына (только не капитана-фронтовика, а летописца ГУЛага). Потом вбить в мозги, что главное в жизни человека – карьера, деньги и сладкая жизнь. Завалить его досуг дискотеками, конкурсами красоты, фильмами о хороших и плохих бандитах, о хороших и плохих бизнесменах, о хороших и плохих полицейских... А затем за пару банок пива, за сто-триста рублей, за зачёт или освобождение от занятий попросить помахать флагами партии, поучаствовать в мероприятиях “Наших”, “Молодой гвардии”, покричать на просторах интернета славу вождю, составить списки пятой колонны (это тех, кто эту славу не приемлет и имеет своё мнение).

А если кто-то заплатит больше? За участие в майдане, за кураж покидать камнями в тех, кто не угоден тому, кто платит? А если заплатят больше вожди фашизма? “Слава кому...” мы услышим?

**4 мая 2014 г. Александр Тор**

## К 85-ЛЕТИЮ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ФОКИНОЙ



*Песни у людей разные,  
А моя одна на века.  
Звездочка моя ясная,  
Как ты от меня далека.*

*Поздно мы с тобой поняли,  
Что вдвоем вдвойне веселей.  
Даже проплывать по небу,  
А не то, что жить на Земле.*

*Облако тебя трогает,  
Хочет от меня закрыть...  
Чистая моя, строгая,  
Как же я хочу рядом быть.*

*Знаю — для тебя я не бог,  
Крылья, говорят, не те...  
Мне нельзя к тебе на небо,  
Мне нельзя к тебе прилететь...*

*Бродят за тобой тученьки,  
Около кружат они...  
Протяни ж ко мне лучики,  
Ясная моя, протяни!*



#### К 100-ЛЕТИЮ ИВАНА ИВАНОВИЧА АКУЛОВА

Не слишком часто, к сожалению, вспоминают имя этого выдающегося писателя, автора одного из самых жёстких и пронзительных романов о Великой Отечественной войне “Крещение”; о романе “Касьян Остудный”, по художественному совершенству и трагическому наполнению превосходящий “Поднятую целину”.

“Могучую книгу Вы написали, Иван Иванович! Так о русской деревне на её великом рубеже ещё никто до Вас не писал! И понятно, почему о ней ни звука в нашей сволочной печати. Из России сделали целину, Россию в задичалую, бесплодную пустошь превратили, а знаете какой она была? Читайте Ивана Акулова. Великолепно выписаны характеры, бесподобно знание и понимание души крестьянской, души земли, невероятно богатый язык, быт, поднятый из самых глубин, природа, по-акуловски неистощимая и многоцветная... Спасибо Вам великое от меня, “деревенщика” (из письма Фёдора Абрамова Ивану Акулову о романе “Касьян Остудный”. Апрель 1979 г.).

А вот что писал Игорь Золотуский о романе Акулова “Ошибись, милуя”: “В отличие от “Канунов” В. Белова и “Мужиков и баб” Б. Можяева, Иван Акулов обращается к годам более далёким, уже как бы пропавшим за пределом истории. Это предреволюционные годы, годы начала века. Забытые сейчас, они чересчур много значили. Это были годы дискуссий русской интеллигенции о выборе пути, о том, какую дорогой должна пойти в XX веке Россия <...> Автор предлагает своему герою на выбор три пути: террор, мирная жизнь в общине и такая же жизнь за пределами её на наделах земли, выделяемой общиной для выходящего из неё хозяина”.